ISSN 0130-6545

2.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

УМБЕРТО ЭКО
Остров Накануне

СОЛ БЕЛЛОУ
На память обо мне

ЛИТературный ГИД

XX век: СТОП-КАДР

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

**Из общего тиража в 15 200 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 4535 экземпляров.**

**Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).**

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

2 февраль 1999

СОДЕРЖАНИЕ

УМБЕРТО ЭКО — Остров Накануне *(Роман. Перевод с итальянского и вступление Елены Костюкович)*..... 5
АННА КАМЕНЬСКАЯ — Стихи *(Перевод с польского и вступление Натальи Астафьевой)*..... 76
СОЛ БЕЛЛОУ — На память обо мне *(Рассказ. Перевод с английского Л. Беспаловой)*..... 81
ГОНСАЛО ТОРРЕНТЕ БАЛЬЕСТЕР — Дон Хуан *(Роман. Окончание. Перевод с испанского Н. Богомоловой)*. К. Д. БАЛЬМОНТ — Тип Дон Жуана в мировой литературе..... 99

Литературный гид

XX век: СТОП-КАДР

МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО — Легенда о затмении *(Перевод с испанского П. Грушко)*..... 184
ДЖЕК ЛОНДОН — Из военной корреспонденции *(Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина)*..... 187
ЧЕСЛАВ МИЛОШ — Из книги «Родная Европа» *(Перевод с польского К. Старосельской)*..... 193
ЭРНСТ ЮНГЕР — Из книги «В стальных грозах» *(Перевод с немецкого А. Егоршева)*..... 195
СЕСАР ВАЛЬЕХО — Парижские хроники *(Перевод с испанского П. Грушко)* 202
ИВЛИН ВО — Коронация 1930 года *(Перевод с английского В. Михайлина)* 206
ЖОЗЕФ КЕССЕЛЬ — Комедия сухого закона *(Перевод с французского Н. Кулиш)*..... 215
ЛАРРИ ЛЕЗЕР — Битва под Москвой. Декабрь 1941-го *(Перевод с английского А. Соколинской)*..... 219
ЭНЦО БЬЯДЖИ — Конец империи *(Перевод с итальянского М. Архангельской)*..... 225
ХАНС КОНИНГ — Заметки о XX веке *(Перевод с английского Н. Калошиной под редакцией О. Варшавер)*..... 229

Галерея «ИЛ»

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ — Осколки повседневного..... 240

Анкета «ИЛ»

Мировая литература: круг мнений. На вопросы анкеты отвечают ЕВГЕНИЙ ПОПОВ, ЛЕВ РУБИНШТЕЙН..... 244

У книжной витрины..... 248

Курьер «ИЛ»..... 250

Авторы этого номера..... 253

ПАМЯТИ АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА..... 254

© «Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

Пронизанные особой мистической образностью рассказы чешского писателя **Ивана Климы**, чье творчество после подавления «пражской весны» находилось под запретом и вернулось на родину только благодаря «бархатной революции» 1989 года.

«КИТАЙСКАЯ ПРИНЦЕССА» – повесть знаменитого французского кинорежиссера **Рене Клера**, герой которой, страдающий комплексом безволия и нерешительности, попадает в нелепые, смешные и порой печальные истории.

Литературный гид *«ЖИЗНЬ КАК РОМАН»* посвящен писателям, чья слава основывается не только на творческом наследии, но и на мифологизированной биографии. В этом выпуске речь пойдет о трех авторах, принадлежащих разным эпохам, странам и традициям: **Эдгаре Аллане По, Лоуренсе Аравийском** и **Ежи Косинском**.

Цветные иллюстрации номера — работы художников «римской школы» (1925—1945):

На 1-й стр. обложки — ДЖУЗЕППЕ КАПОГРОССИ. «Танцы на реке» (ок.1936)
На 2-й стр. обложки — СЦИПИОНЕ. «Улица, ведущая к Святому Петру» (1930)
На 3-й стр. обложки — АНТОНИО ДОНГИ. «Холм Палатин» (1928)
На 4-й стр. обложки — АНТОНИЕТТА РАФАЭЛЬ. «Автопортрет со скрипкой» (1928)

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, д.46

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 28.01.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,39. Заказ №3879.

Тираж 15 200 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

УМБЕРТО ЭКО

Остров Накануне

РОМАН

Перевод с итальянского ЕЛЕНЫ КОСТЮКОВИЧ

От переводчика

Первый («Имя розы», опубликован на русском языке в «ИЛ», 1988) и второй («Маятник Фуко», «ИЛ», 1995) романы Умберто Эко, невзирая на эрудированную насыщенность текста, печатались и в журнальном и в книжном изданиях практически без комментариев: изобилие сносок нарушило бы художественный эффект, на что Эко не соглашается. Это правило остается в силе и в отношении третьего, и на настоящий момент последнего, его романа «Остров Накануне» (1994). Полный вариант этого произведения выйдет третьим томом собрания сочинений Эко в санкт-петербургском издательстве «Симпозиум» (план выхода 1999 г.).

Разумеется, нельзя забывать при чтении, что «Остров Накануне» — связка цитат. В ней смонтированы куски научных и художественных произведений авторов в основном XVII века[1]. Широко используются сюжеты живописных полотен от Вермеера и Веласкеса до Жоржа де ла Тура, Пуссена и, разумеется, Гогена; многие описания в романе воспроизводят известные картины. Анатомические описания созданы на основании гравюр из медицинского атласа Везалия, и поэтому Страна Мертвых названа в романе Везальским Островом.

Имена собственные в книге тоже содержат второй и третий планы. Автор намеренно не дает читателю подсказок. Но следует, наверно, предупредить русскоязычную публику о том, что точно так же, как в имени Вильгельм Баскервильский философа-сыщика из «Имени розы» сочетались отсылки к Оккаму и к Конан Дойлу (Хорхе из Бургоса не нуждался в пояснениях: этот образ символизировал Хорхе Луиса Борхеса с выдуманной им Вавилонской библиотекой), так же полны подтекстов имена в романе «Остров Накануне»[2].

---

[1] В первую очередь Джована Баттисты Марино и Джона Донна, о чем программно заявляется в двух эпиграфах к роману, хотя внутри текста цитаты из Донна и Марино не отмечаются. Используются и Галилей, Кальдерон, Декарт и очень широко — писания кардинала Мазарини, «Селестина» Рохаса, произведения Ларошфуко и мадам де Скюдери; узнаются Спиноза, Боссюэ, Жюль Верн, Александр Дюма, от которого перебежал в текст Эко капитан гвардейцев кардинала Бискара́, Роберт Луис Стивенсон, некоторые реплики Джека Лондона и другой литературный материал.

[2] Герой Роберт де ла Грив Поццо ди Сан Патрицио, выброшенный кораблекрушением в необитаемое место, безусловно должен напоминать читателю Робинзона Крузо (Робин — уменьшительное от Роберт). Но связь этим не ограничивается. Робин по-английски — это малиновка, птица семейства дроздовых, turdus migratorius; по-итальянски она называется tordo, а на пьемонтском диалекте griva, Грив (таким образом, фамилия Роберта имеет тот же подтекст, что и имя: он получает полное право именоваться Робинзоном). Но и здесь хитросплетение не кончается. Имение Роберта называется Грив Поццо ди Сан Патрицио. Выражение «поццо (колодец) святого Патриция» по-итальянски означает также «бездонная бочка, прорва». Раблезианская подоплека имени подкрепляет собой и богатырски-былинную фигуру отца героя, и фигуру матери, едва проглядывающую из-за потока кулинарных рецептов.

Английский эквивалент того же выражения — widow's cruse. Крузо: таким сложным путем имя Роберта де ла Грива Поццо ди Сан Патрицио играет в прятки с именем персонажа Дефо — Робинзоном Крузо!

В то же время автору важен и другой игровой момент, связанный с «птичьей» символикой. Немецкое имя «робина»-дрозда — drossel. Каспар Вандердроссель — имя иезуита, второго и единственного «живого» героя книги, если первым считать Роберта. Каспар Шотт — имя реального исторического прототипа, иезуита, изобретателя сложных механизмов, описываемых в романе. Его фамилия заменена на «птичью», в pendant фамилии Роберта. Медика — исследователя долгот с «Амариллиды» зовут доктор Берд. Вполне логично для произведения, которое, судя по интервью Эко, даже называться первоначально должно было «Голубка огненного цвета».

© 1994 R.C.S. Libri and Grandi Opere S.p.A
© Е. Костюкович. Перевод, 1999

Исторические прототипы героев романа поддаются разгадыванию, но нужно знать подробности их биографий. Отец Иммануил — иезуит Эмануеле Тезауро, автор широко, хотя и скрыто, цитируемого в тексте трактата «Подзорная труба Аристотеля» (1654). Диньский каноник, читающий лекции об атомах и цитирующий Эпикура, — несомненно Пьер Гассенди. Сен-Савен — Сирано де Бержерак[1], хотя в этой фигуре немало и от Фонтенеля. Эко во многом опирается на сочинения Бержерака и при создании монологов и при написании писем к Прекрасной Даме, причем тут материалом для него в немалой степени служит и вымышленный Сирано из пьесы Ростана с его влюбленностью в вымышленную Роксану.

Содержательны не только имена героев, но и имена неодушевленных предметов[2].

Пожалуй, единственной изначально непреодолимой лингвистической преградой явилось то обстоятельство, что по-итальянски остров, isola (так же, как и корабль, nave), женского рода. Роберт по-мужски обладает своей плавучей крепостью и вожделеет встречи и объятья со своей «обетованной землей», идентифицируя ее с недостижимой любовницей[3]. Это на сюжетном уровне передано, но на словесном — непередаваемо.

И последнее. Названия глав этого романа (что мало кто замечает) являют собой каталог тайной библиотеки. 39 заголовков (кроме одного оригинального — «Пламяцветная голубица»), невзирая на то что в оригинале они приведены по-итальянски, восходят к названиям реально существующих литературных и — еще в большей степени — научных произведений, созданных в период барокко в разных странах мира. Многие эти словосочетания «на слуху» у европейца, но не у русского читателя.

Поэтому этот единственный аспект (и именно в силу его структурообразующей функции) переводчик позволяет себе откомментировать в сносках, сообщая также название соответствующего произведения на языке оригинала.

Кроме того, по норме русскоязычной издательской традиции даются подстраничные переводы иноязычных вкраплений, за исключением самых простых и очевидных и за исключением тех, которые незаметно переведены внутри текста. Мы старались как можно меньше нарушать эстетику издания, предпочитаемую автором (полное отсутствие сносок).

Чтобы ярче осветить приоритетные принципы перевода, формулируемые самим Умберто Эко (с которыми его русский переводчик отнюдь не всегда солидаризируется), «ИЛ» опубликует в «Приложении» к тексту в следующем номере журнала «Инструкции автора для переводчиков «Острова Накануне» (по тексту У. Эко, напечатанному в журнале «Эуропео» 12 октября 1994). Будет опубликовано и «Эксклюзивное интервью для «ИЛ» Умберто Эко (1998), посвященное вопросам художественного перевода.

---

[1] Крещальное имя реального прототипа, Сирано де Бержерака (1619—1655), — Савиньен.

[2] «Дафна» и «Амариллида» — названия мелодий для флейты сочинения ван Эйка (существенно также, что оба корабля — флиботы, flûte, флейты. Надо помнить, что флейта — именно тот музыкальный инструмент, на котором почти профессионально играет сам автор, Эко). В то же время дафния и амариллис — названия цветов, и цветок amaryllis принадлежит к семейству liliales класс liliopsida подкласс lillidae, а Прекрасная Дама романа носит имя Лилея.

[3] Не говоря уж о том, что по-французски «остров» выговаривается как «лиль», что близко к «lilia».

Is the Pacifique Sea my Home?

John Donne, «Hymne to God my God»

Stolto! a cui parlo? Misero! Che tento?
Racconto il dolor mio
A l'insensata riva
A la mutola selce, al sordo vento...
Ahi, ch'altro non risponde
che il mormorar de l'onde!

Giovan Battista Marino,
«Eco», La Lira, XIX[1]

1. Дафна[2]

«Тщеславлюсь униженностью и, будучи к подобному прославлению предназначен, почти что обожаю свое ужасное избавление; думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль».

Роберт де ла Грив пишет эти неисправимо витиеватые строки предположительно в июле—августе 1643 года.

Сколько дней его мотало на доске по хлябям, в дневные часы ничком, чтоб не выслепило солнце, с противоестественно вытянутой шеей, чтоб не попадала в рот вода, с ожогами соли на теле, в лихорадке? Письма не сообщают сколько и подводят к представлению о вечности; однако дней не могло быть более двух, иначе бы он не уберегся под стрелами Феба (как пышно выражается сам), он, такой некрепкий, он, ночное животное из-за природного порока.

Он не следил за временем, но полагаю, что море утихомирилось сразу после шквала, скинувшего его с палубы «Амариллиды», и плотик, полученный от матроса, ведомый ализеями, пригнался в тихую заводь в ту пору года, когда южнее экватора стоит мягчайшая зима, и отплыл не на очень много морских миль по воле течения, тянувшего в воды залива.

Была ночь, он дремал и не сразу почувствовал, что доска прибилась к судну и стукнула о водорез «Дафны».

И вдруг при полной луне он заметил, что дрейфует под бушпритом на уровне бака, а с полубака рядом с якорной цепью свисает штормтрап (Лествицей Иакова назвал бы его фатер Каспар!), и сразу обрел присутствие духа. Видимо, сила отчаяния: он сопоставил, больше ли истратит силы на крик (но глотка была вся сухой пламень) или на то, чтобы выпутаться из веревок, исполосовавших его синяками, и попытаться взойти. Думаю, что в подобные минуты умирающий становится Гераклом, душителем змей в колыбели. Роберт нечеток в описании, но логика требует заключить, что если в конце концов он оказался на полубаке, значит, по тому трапу худо-бедно взлез. Пусть по ступенечке за час, изнеможенный, но перекинулся через планширь, оползь по сваленному такелажу, отыскал дверь полубака... Бессознательной побудкой нашарил в полумраке бочку, подтянулся за край, выудил кружку на цепочке. Пил сколько мог вместить и рухнул, насытившийся во всех значениях слова, поскольку в воду, вероятно, нападало столько мошек, что она давала и попить и поесть. Проспал он не менее суток, следует думать,

---

[1] Что, Тихий океан мой дом?
Джон Донн, «Гимн Богу, моему Богу»

Глупец! К кому реку? Бедняк! Что порываюсь?
С печалью обращаюсь
К бесчувственному брегу,
Немому камню и глухому ветру.
Увы! Иного мне ответа,
Чем говор волн, и нету!
Джован Баттиста Марино, «Эхо», сборник «Лира», XIX

[2] Мелодия «Daphne» создана фламандским флейтистом Якобом ван Эйком (XVII в.), ему же принадлежит мелодия «Amaryllis», что соответствует имени другого корабля у Эко (в тексте корабль назван по-итальянски «Amarilli»). Именем еще одной мелодии ван Эйка названа 7-я глава романа (см. сноску).

ибо, когда он открыл глаза, была ночь, но он как будто заново родился. Значит, это была опять ночь, а не еще ночь.

Но он подумал, что не опять, а еще, потому что за день кто-нибудь да натолкнулся бы на него. Луч луны светил внутрь с бака, озарял камбуз, котелок качался над очагом.

С полубака было два хода: к бушприту и на бак. Во вторую дверь Роберт выглянул и разглядел, как днем, аккуратно уложенные снасти, кабестан, мачты с подобранными парусами, немногочисленные орудия у пушечных портов и надстройку полуюта. На шевеления Роберта не отвечал никто. Он подошел к правому фальшборту и стал смотреть вдаль. По правому борту открылся на расстоянии приблизительно одной мили абрис Острова с береговыми пальмами, колышущимися на ветру. Земля давала излучину, окаймляемую пляжем, белевшим в свете худосочных сумерек, но, как бывает с потерпевшими крушение, Роберт не умел определить, остров перед ним или континент.

Он перешел к противоположному борту. Там открывались — на этот раз далеко, почти на линии окоема — отроги других гор, тоже ограниченных мысами. Все прочее — вода; все подводило к мысли, что корабль сидит на мели в широком проливе. Роберт сделал вывод, что это или два острова, или, может быть, остров, а напротив него большая земля. Не думаю, чтоб он брал в расчет иные гипотезы. Он никогда не слыхивал о таких просторных бухтах, где кажется, будто находишься меж двумя массивами земли.

Неплохая ситуация для потерпевшего: опора под ногами и суша почти под боком. Но Роберт не умел плавать. На борту не имелось ни единой шлюпки. Течение оттащило в сторону доску, доставившую его к кораблю. Так что облегчение спасшегося от гибели накладывалось на кошмарное ощущение трех пустот: пустоты моря, пустоты видимого с моря Острова и пустоты корабля. «Эй, на борту!» — прокричал он на известных ему языках. Крик вышел слабым. Молчание. Как перемерли. Редко когда он выражался — при падкости на сравнения — до такой степени буквально. Или почти буквально... Именно об этом «почти» я хотел бы рассказать, но не знаю, откуда начать.

Вообще-то, я уже начал. Человек в изможднии в волнах океана; смилостивившись, воды выносят его на судно, оказывающееся опустошенным. Опустошенным, как если бы экипаж недавно его оставил. Роберт вернулся на камбуз и увидел лампу и огниво, было похоже, что кок приготовил это, укладываясь спать. Но сбоку от очага обе подвесные койки были безлюдны. Роберт засветил лампу, освоился и обнаружил солидные запасы: вяленая рыба и сухари, совсем немного позеленевшие, их ничего не стоило отскрести ножом. Рыба была соленая, но пресной воды вдостаток.

Должно быть, он быстро восстановил силы или же погодил с отчетом, покуда не пришел в себя, настолько высокопарно он живописует роскошества этого первого пира: «Николи Олимповы боги не вкушаше подобного яства, о сладкая амброзия от обетованного края, о чудище, гибелью даровавшее мне жизнь...» Все это писал Роберт Владычице своей души:

«Солнце тени моей и свет среди моей ночи, для чего небеса не истребили меня той самою бурей, которую надменно возбудили? Для того ли от прожорливого моря восхитили бренное тело, дабы в алчном одиночестве, наипаче злоключивом, неизбывно сокрушаться судилось моей душе?

Быть может, если только умилостивясь небеса не предуготовят мне помощь, Вы не получите строки, кои сице начертаю, и снедаемый, факелу подобно, светом этих морей, затемнюсь я перед Вашими очами, уподобившись Селене, коя, черезмерно, увы! наслаждавшись сиянием своего Солнца, соразмерно с продвижением за закрой нашей планеты, и не споспешествуемая лучами Повелителя своего — Светила, сначала утончается наподобие серпа, пресекающего ее жизнь, а затем, дотлевающий светоч, расточается на безбрежном щите лазури, где изобретательная природа разместила героические гербы и таинственные эмблемы своих тайн. Лишившийся Ваших взоров, я слеп, ибо не наблюдаем Вами; бессловесен, ибо Вы ко мне не речете; беспамятен, ибо в Вашей памяти не имею места.

Я всего только жив! Пылающая тусклота и сумеречное пламя; тащусь как образ, который моя мысль, описывая в тождестве, хотя и при посредстве горсти несогласных противопоставлений, старается переслать мысли Вашей. Спасаю естество на деревянном утесе, на пловучем оплоте, заложенник моря, от моря меня обороняющем, покаранный милосердыми небесами, в сокровенном саркофаге, отверзтом всяческому сол-

нцу, в воздушном подземелье, в неприступном карцере, пригодном на любую сторону для побега, и отчаиваюсь увидеть Вас хотя бы однажды.

Госпожа, пишу Вам поднося, недостойный подарок! безуханную розу моей тоски. Но тщеславлюсь униженностью и, будучи к подобному прославлению предназначен, почти что обожаю свое ужасное избавление; думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль».

<...>

Итак, в ту вторую ночь, подкрепившись провизией, найденной у кока, Роберт наконец отважился при свете луны выступить на полубак.

По форме водореза, по выпуклым бокам, замеченным предыдущей ночью, осмотрев также узкую палубу, характерный форштевень и тонкий круглый ют, Роберт сопоставил это судно с «Амариллидой» и пришел к выводу, что «Дафна» тоже относилась к типу голландских «флейт» (fluyt, flûte или fluste), то есть флиботов, как обычно именуются эти торговые корабли среднего водоизмещения, вооружаемые десятком пушек, просто для очистки совести в случае взятия корабля пиратской бандой, и рассчитанные на команду в дюжину матросов, с возможностью принимать на борт к тому же много пассажиров, если не держаться за жизненные удобства (и без того скудные), навешивая койки так, чтобы в кубрике было невпроступ, — и в дорогу, не опасаясь зловредных миазмов, хватило бы урыльников. «Дафна» — флибот, но крупнее «Амариллиды», и полубак весь зарешечен, как если бы капитану нравилось зачерпывать воду при каждом ощутительном взбрызге пучин.

В любом случае то, что «Дафна» являлась флиботом, это было преимущество, потому что Роберт мог исходить из привычного размещения вещей. Скажем, на середине верхней палубы должна была быть большая шлюпка, на экипаж в полном составе; она отсутствовала, что наводило на мысль, будто экипаж отбыл на ней. Это вовсе не успокаивало Роберта. Корабль не бросают без призора на открытом рейде — даже на якоре, с подобранными парусами, в тихом заливе.

В тот первый вечер он направился прямиком к полуюту, осторожно и обходительно приоткрыл дверь, как будто спрашивая у кого-то позволенья... Компас на вахтенном месте показывал, что пролив был ориентирован с юга на север. После этого Роберт переместился в отсек, который сейчас назвали бы кают-компанией, — зал L-образной формы; а за переборкой обнаружилась командная рубка, откуда широкое окно выходило на ют поверх румпеля и имелись боковые двери на балюстраду. На «Амариллиде» командная рубка не совмещалась с каютой, где капитан ночевал, а здесь, на «Дафне», как будто старались сэкономить пространство и выгородить место для чего-то еще. И точно, при том что налево из кают-компании проходили в две офицерские каюты, справа размещался еще один отсек, даже более обширный, чем капитанский, с маленькой койкой у дальней стены, но весь отсек имел явно рабочий характер.

Стол был завален картами, Роберту показалось, что их гораздо больше, нежели кораблю потребно в плавании. Кабинет ученого? Карты, зрительные трубы, превосходная ноттурлябия из меди, метавшая рыжие сполохи, как будто сама она содержала источник света; небесная сфера, привинченная к столешнице, листы, испещренные цифирью, и пергамент с вычерченными окружностями черной и красной тушью. Что-то подобное (но не такой тонкой работы) имелось на «Амариллиде», и назывались эти таблицы Регионтановыми картами лунных затмений.

Он возвратился в командный отсек, вышел на галерею, увидел Остров и смог — как выражается сам Роберт — рысьим оком проницать его немоту. Попросту говоря, Остров открывался, где был и раньше, на своем прежнем месте.

На корабль Роберт попал почти голым. Полагаю, что прежде всего, чтобы избавиться от соляной корки, он помылся на камбузе, не подумавши даже, не последнюю ли тратит пресную воду на борту. Вслед за этим вытащил из ларя выходное платье капитана, хранившееся к возвращению в родной порт, и покрасовался в командирской сбруе; обул сапоги и как будто снова вступил в родную стихию. Лишь теперь, благородным дворянином в должном обмундировании, а не измочаленным оборванцем, он официально принял под команду покинутый корабль и уже не узурпаторским, а хозяйским жестом пододвинул к себе ожидавший на столе в распахнутом виде бортовой журнал вместе с гусиным пером и с чернильницей. Из первой записи ему стало известно имя корабля; все

остальное — непроходимая чаща anker, passer, sterre-kyker, roer; не много радости было ему убедиться, что капитан был фламандец. В любом случае последняя запись датировалась парой недель до того. Среди неудобочитаемых письмен бросалась в глаза подчеркнутая жирной линией фраза по-латыни: pestis, quae dicitur bubonica[1].

Ну вот он, след, вот намек на объяснение. На корабле поразбойничал мор. Это открытие не озаботило Роберта: он переболел чумой за тринадцать лет до того, а как известно, перехворавшие пользуются неким чудодейственным попустительством; змей заразы не решается атаковать вторично чресла того, кто единожды возобладал над ним.

Тем не менее этот след не столь уж многое открывал. Скорее он открывал простор для нового беспокойства. Допустим, что умерли все. Но тогда где же в беспорядке наваленные на верхнем деке трупы последних, тех, кто до гибели успел предать милосердному морскому погребению прах усопших товарищей?

Отсутствовала шлюпка. Остатки команды — или вся команда? — покинули корабль. Что их выжило с зачумленного судна, составив непреодолимую опасность? Крысы, быть может?

Роберту показалось — промелькнуло в острой остготической скорописи капитана слово rottenest (гнездо пасюков, канавных крыс?), и он мгновенно дернулся, поднял фонарь, чтобы встретить лицом к лицу шуршащую у подножья стены нечисть, чтоб не сробеть от мерзкого писка, оледенившего ему кровь когда-то на «Амариллиде». Он передернулся при воспоминании о том, как волосатая погань щекотнула по его лицу в полудреме и как на вопль примчался доктор Берд. Потом над Робертом потешались все, что-де на кораблях и без всякой чумы крыс должно водиться нисколько не меньше, нежели прыгает в роще пернатых, и что к ним следует относиться спокойно, если собрался ходить по морям.

Однако крыс, по крайней мере здесь, на полуюте, не было заметно. Может, отсиживаются в трюме: красноватенькие глазки мерцают через мрак в ожидании свежего мяса. Роберт произнес про себя: если все дело в крысах, следует выяснить и понять обстановку. С крысами нормальными и в нормальном количестве можно как-то сосуществовать. Впрочем, каким еще им быть, этим крысам? Спросил себя Роберт, и отвечать ему не захотелось.

Роберт отыскал ружье, саблю и кинжал. Он прошел войну; ружье было типа калибер — так звали его англичане — и наводилось без рогатки. Он проверил амуницию, больше для порядка; вряд ли он собирался разгонять пулями крысьи рати. И даже зачем-то заткнул за пояс кинжал, хотя против крыс кинжал мало чем мог быть полезен.

Он собрался исследовать судно от юта до бака. Пройдя через камбуз по трапику, уходившему вниз от крепления бушприта, спустился в провиантскую. Там были складированы припасы — вдоволь для дальнего плавания. Все это не могло лежать тут с начала рейса, экипаж явно пополнил провиант совсем недавно на гостеприимной пристани. Плетеные короба были полны свежезавяленной рыбы. Кокосовые орехи лежали пирамидами, и тут же в бочонках какие-то клубни не встречавшейся формы, но съедобного вида, безусловно годные храниться долго. Там были такие же фрукты, как те, что появлялись в свое время на борту «Амариллиды» после первых заходов на тропические острова; эти фрукты тоже не портились от лежания, снаружи страшили шипами и чешуями, однако их острый аромат выдавал сокровенную сочность, сахаристые тайные гуморы. Из какого-то островного сырья, вероятно, вырабатывалась и черноватая мука, попахивавшая гнилью, из нее были испечены уложенные рядом с мешками муки хлебы; эти хлебы напоминали те безвкусные шишки — картофель, — которые шли в пищу у индейцев Нового Света.

У дальней переборки стояло около десятка бочонков с кранами. Он отвернул один кран, потекла вода, и причем не провонявшая, а свежая, набранная совсем недавно и обработанная серой, чтоб сохраняться про запас. Воды было немного, но, имея в виду, что и фрукты утоляют жажду, можно было рассчитывать на довольно долгое житье на борту. Как на грех, все эти открытия, дававшие понять, что экипаж не вымер от истощения, растревожили его еще сильнее, и это всегда случается у меланхоликов, для них любой знак судьбы — провозвестие злокачественных чудес.

---

[1] Чума, называемая бубонной.

Быть выброшену на опустошенный корабль само по себе довольно странное дело, но уж хотя бы пусть тогда корабль будет оставлен Господом и людьми как непригодная к пользованию рухлядь, не имеющая в себе ни произведений природы, ни произведений ремесел, ничем не богатая сень; это было бы в порядке вещей и в порядке тогдашнего мореплавания; но найти перед собой плавучее средство в таком глазоутешном виде, прямо приготовленное для дорогого долгожданного гостя, прямо похожее на настоятельное подношение, — вот что действительно начинало отдавать ,серой, и посильнее чем бочечная вода. Роберту припомнились сказочные повести, слышанные от бабки, и другие, более изысканного плетения, читавшиеся в парижских литературных салонах, где заблудившаяся принцесса вступает в сказочный замок и находит пышно разубранные залы, видит ложа под балдахинами, гардеробные с роскошной одеждой, даже накрытые к пиршеству столы... Как известно, в этих рассказах в самой последней комнате принцессу, среди испарений серы, поджидает то исчадие ада, которое и подстроило ловушку.

Роберт потрогал кокос в нижнем слое кучи, нарушил равновесие, и щетинистые шары расскакались, будто крысы, прежде притворявшиеся неживыми, выжидавшие на полу, подобно нетопырям, оцепенело вцепляющимся в потолочные балки, покуда не настанет миг, чтобы броситься врассыпную, добежать до него, закарабкаться на тело, на плечи, внюхаться в лицо, соленое от ручьев пота.

Убедиться, что нет заклятья! Роберт за месяцы странствий научился обращению с заморскими плодами. Действуя кинжалом, как секирой, одним ударом он разрубил орех, сломал скорлупу и впился в мягкую манну, открывшуюся под корой. Это яство было столь восхитительно и сладко, что ощущение коварства только усугубилось в нем. «Вот, — прошептал он себе, — я уже во власти очарованья, мечтаю отведать плод, а на деле угрызаю грызунов, пресуществляю их сущность, вот-вот и мои руки утончатся, скрючатся и окогтятся, тело опушится кисловатыми волосиками, хребет выгнется, и я буду востребован к потустороннему апофеозу шершавых насельников этой нашей ладьи Ахерона».

Вдобавок, чтоб кончить рассказ о первой ночи, упомянем еще одно кошмарное провозвестие. Грохот катающихся кокосов, похоже, растревожил кого-то, спящего на корабле. Из-за переборки послышалось, правда, не мышье попискивание, а чириканье, щебетанье, кто-то скребся коготками. Значит, чара существовала, ночные исчадия собирались на шабаш в каком-то закуте.

Роберт спросил себя, должен ли он с ружьем наперевес немедля атаковать этот их Армагеддон. Сердце колотилось, и он костерил себя за трусость и убеждал себя, что не этою ночью так будущей, но придется ему столкнуться с Ними к лицу лицом. И все же он ретировался. Взбежал на палубу по трапу, и, к счастию, языки зари уже слизывали белесый воск с металла орудий, изласканных бликами луны. «Занимается день, — сказал он себе с облегчением, — а от дня я обязан убегать».

Подобно венгерскому вурдалаку, прыжками он промчался по шкафуту, чтобы скорее попасть на полуют, в ту каюту, которую отныне присвоил, забаррикадировался, перекрыл выходы на галереи, разложил оружие прямо под рукой и бросился в постель, чтоб не видеть солнца — палача, перерубающего лучевой алебардой тонкие шеи теней.

<...>

2. О том, что произошло в Монферрато[1]

О шестнадцати годах жизни до Монферрато, до памятного лета 1630 года, Роберт рассказывает очень мало. О прошлом он вспоминает, только если, по его понятиям, оно имеет отношение к «Дафне», так что уяснить эту азартную повесть можно только обшарив закоулки недомолвок. Как в детективном романе, где автор старается сбить читателя с толку и сообщает ему совсем немного деталей, так и здесь: будем разбираться в полунамеках.

[1] Французская историческая хроника «Histoire Journalière de ce qui s'est passé dans le Montferrat» (первая половина XVII в).

Семья Поццо ди Сан Патрицио была средней знатности и владела обширным имением Грив на окраине области Алессандрии, которая принадлежала в те времена к Миланскому герцогству, а следовательно, была во власти испанцев. Тем не менее, по геополитическим причинам или по душевному расположению, они считали себя вассалами герцогства Монферрато. Глава семьи — говоривший по-французски с женой, по-монферратски с людьми и по-итальянски с посторонними — к Роберту обращался на любом из этих языков, в зависимости от того, учил ли его шпажной колке или скакал вместе с ним по полям, горланя на воробьев с воронами, портивших посевы. Остальное время мальчик рос в одиночестве и выдумывал сказочные страны, слоняясь по виноградникам. Гоняя голубей, он воображал соколиную охоту. Играя с собакой, закалывал дракона. Любая комната фамильного замка, хотя вряд ли это был такой уж замок, могла оказаться сокровищницей. Брожению отроческой фантазии способствовали романы и рыцарские поэмы, находимые им под слоем пыли в южной башне.

Так что можно сказать, что он не был полным невеждой и даже занимался с учителем, правда нерегулярно. Некий монах кармелитского братства, якобы путешествовавший по странам Востока и, по слухам (рассказывала, крестясь, мать Роберта), перешедший на этом Востоке в магометанство, ежегодно являлся к ним с одним слугой, везя на четырех мулах книги и прочий бумажный скарб, и нахлебничал три месяца в замке. Что он преподавал ученику, неясно, но, приехавши в Париж, Роберт выглядел в Париже не так уж скверно и в любом случае был способен быстро запоминать и усваивать то, что слышал.

Единственное, что мы знаем об этом кармелите, Роберт рассказывает в связи с одним своим делом. Оказывается, старый Поццо когда-то порезался, чистя шпагу, и от ржавчины или попал на неудачное место, но только эта рана болела и болела. Тогда кармелит взял в руки ту шпагу, посыпал порошочком из коробочки, и мгновенно Поццо поклялся, что испытал облегчение. На следующий день рана зарубцевалась.

Кармелит развеселился, видя, как все заахали, и сказал, что секрет пороха он получил от араба и это гораздо целебнее снадобья, которое христианские лекари-спагирики называют unguentum armarium. Когда же его спросили, почему порошок сыплют не на рану, а на лезо, ее нанесшее, он отвечал, что таково действует природа, между самыми сильными силами коей существует всемирная симпатия, правящая на далеке. И добавил, что кому затруднительно верить в это, пусть помыслит о магните, который не что иное как камень, тянущий к себе стружки металлов, или о больших железных горах, стоящих на севере нашей планеты, и как они тянут иглу буссоли. Так лезвейная мазь, плотно приставая к лезу, оттягивает те достоинства металла, которые лезо оставило в ране и от которых рана не заживает.

Кто в отрочестве столкнулся с подобным фактом, не мог не запомнить его на всю жизнь. Скоро мы увидим, как вся судьба Роберта переменилась из-за этого его интереса к притягательной способности мазей и порошков.

Вообще говоря, не этот эпизод представляется главным для юношеского возраста Роберта. Есть еще одна тема, она проходит постоянным мотивом, он неизгладимым подозрением вкоренился в глубины его памяти. Так вот, похоже, что отец, безусловно любивший его — хотя и сдержанно-грубовато, как свойственно мужчинам тех краев, — время от времени в раннюю пору жизни, а именно в первые пять Робертовых лет, любил подымать его высоко в воздух и восклицать: «Ты наш первенец! Перворожденный!» Ничего в этом нет примечательного, кроме некоторой очевидности говоримого, учитывая, что Роберт был и оставался единственным ребенком. Но следует сказать, что, подрастая, Роберт как бы начал припоминать (или убеждать себя, будто припоминает), что при подобных отцовских восторгах на лице матери пробегало беспокойство, сменявшееся улыбкой, как будто речи отца радовали ее, но и оживляли подавляемую тревогу. Роберт в своем сознании постоянно обдумывал тон отцовской фразы, и всякий раз ему казалось, что слова отца не носили характера констатации и что по сути это было противительное высказывание со смыслом: «Ты! Ты — а не кто иной! —наш перворожденный и полноправный отпрыск».

Не кто иной или не некий Иной? В письмах Роберта фигура Иного появляется постоянно, он просто одержим этой идеей, и зародилась она в ту пору, когда он вообразил себе (известно, как работает воображение у ребенка, который растет среди башен с

нетопырями, среди виноградников, ящериц и коней, который должен воспитываться с крестьянскими недорослями и питать свой ум то бабушкиными сказками, то учением кармелита), вообразил существование непризнанного брата, вероятно дурнонравного, раз отец от него отказался. Сперва Роберт был слишком мал, а впоследствии чересчур стыдлив, чтобы спрашивать, по какой из линий тот ему приходится братом — по отцу или по матери (и так и этак на одного из родителей падала тень традиционного и непростительного прегрешения). В любом случае брат существовал, и по какой-то, возможно даже сверхъестественной, вине он был отринут и отвергнут, и разумеется, не мог не ненавидеть его, Роберта, балованного в доме.

Призрак этого противного брата (с которым тем не менее он хотел бы свидеться, полюбить его и ему полюбиться) тревожил его в детстве ночами, а постарше, подростком, он перелистывал в библиотеке старинные томы, ища запрятанного портрета ли, церковной ли записи, какого-то знака. Он кружил по чердакам, копался в сундуках с дедовской одеждой, рассматривал зеленые от окислов медали, мавританские клинки, теребил вопрошающими пальцами распашонки тонкой бязи, безусловно надеванные новорожденным, но неясно — годы или столетия назад.

Как-то постепенно этому утраченному брату было присвоено собственное имя, Феррант, и ему стали приписываться мелкие проступки, в которых облыжно обвиняли Роберта, а именно хищение пирожного или отпуск цепной собаки со сворки. Феррант полномочием своего небытия действовал за спиной Роберта, а Роберт прикрывался Феррантом. Постепенно привычка виноватить несуществующего брата в том, чего Роберт не совершал, перешла в порок приписывать ему и те грехи, которые Роберт на самом деле содеял и в которых раскаивался.

Не то чтобы Роберт лгал людям; принимая бессловесно, с комом в горле наказание за собственные проступки, он убеждал себя в невиновности и что он жертва злоупотребления.

Однажды, например, Роберт, опробуя новый топор, незадолго до того полученный от мастера, а по существу в отместку за какую-то несправедливость, которую с ним сотворили, смахнул фруктовое деревце, выращенное отцом на развод. Осознав, какое глупое лиходейство теперь на его совести, Роберт стал предчувствовать мучительные последствия, наименьшим из каковых была продажа в рабство туркам, с тем чтобы они продержали его остаток жизни гребцом на галерах, от чего он решил спасаться бегством и пристать к горным бандитам. Ища оправдания свершенному, он довольно скоро уверил себя, что изувечил саженец не он, а Феррант.

Однако отец, обнаружив проруху, велел сойтись всем мальчишкам в имении и заявил, что, во избежание неукротимого его гнева, провинившемуся предлагается сознаться. Роберт ощутил порыв жалости и великодушия: если бы он выдал Ферранта, тот, бедолага, был бы заново отвергнут. В сущности говоря, он и вредничал только из-за своего одинокого сиротства, видя, как соперник купается в ласках матери с отцом... Роберт выступил из ряда и, содрогаясь от ужаса и гордости, сказал, что не желает, чтобы кого-либо наказывали взамен его. Эта речь, хотя и не была признанием, воспринялась как таковое. Отец, закручивая ус и поглядывая на мать, свирепо прочищая глотку, ответствовал на это, что хотя вина и была тяжчайшей и кара неотвратима, но все же невозможно не оценить, как юный синьор де ла Грив с честью следует семейному заводу и, значит, не изменит чести и в будущем, хотя пока что ему только восемь лет. Затем подвел итоги: Роберт не будет взят в августовскую поездку к кузенам Сан Сальваторе. Хотя приговор и не сильно радовал (в имении Сан Сальваторе один винодел, Квирин, учил Роберта залезать на фиговое дерево огромного размера), все же он был значительно мягче, нежели султановы галеры.

На наш взгляд, история эта проста. Родителю приятно, что его отпрыск нелжив; с неприкрытым удовлетворением он взглядывает на мать и избирает несуровое наказание, раз уж наказание было обещано. Однако Роберт обдумывал и обсасывал этот случай очень долго и пришел к выводу, что его мать и отец несомненно почувствовали, что виновник — это Феррант, восхитились братской самоотверженностью их перворожденного сына и порадовались, что в очередной раз обошлось без обнародования семейного греха.

Может, мы вышиваем сюжет по ничтожным обрывкам канвы; но присутствие от-

сутствующего брата будет иметь определяющее значение для нашей повести. Во взрослом Роберте — по крайней мере, в Роберте того сложнейшего, путаного периода, когда мы наблюдаем его на «Дафне», — отзывается полудетская игра самого с собой.

Но я чуть не утратил нить. Мы еще не уяснили, как Роберт оказался в осаждавшемся Казале. Думаю, правильнее всего будет пустить на свободу фантазию и вообразить, как разворачивались дела.

В имение Грив новости доходили не слишком-то спешно, но за последние два года как-то узналось, что открытый вопрос мантуанского наследства принес немало огорчений герцогству Монферрато и что-то вроде полуосады уже происходило там. Коротко говоря — историю эту рассказывали и другие, хотя даже еще отрывочнее, чем я, — в декабре 1627 года скончался герцог Викентий II Мантуанский, и у одра этого шалопута, не умевшего делать детей, разыгрался балет четырех претендентов, а также их агентов и покровителей. Победителем оказался маркиз Сен-Шармон, он убедил Викентия, что наследником должен быть назначен один кузен по французской линии, Карл Гонзага, герцог Невер. Старый Викентий между охами и вздохами женил или позволил жениться в страшной спешке этому Неверу на своей племяннице Марии Гонзага и испустил дух, оставляя племяннице область.

Этот Невер был француз, а герцогство, что ему отходило, включало в себя среди прочего Монферратский маркизат; столицей маркизата был город Казале, самая серьезная крепость Северной Италии. Будучи расположен между миланскими владениями (то есть испанскими) и землями Савойя, Монферрато давал возможность контролировать всю область верхнего течения По, все пути через Альпы к югу, сообщение между Миланом и Генуей и вообще представлял собой одну из двух буферных территорий между Францией и Испанией. Ни одна из двух больших держав не доверяла второй буферной территории, герцогству Савойя, поскольку Карл Иммануил I Савойский постоянно вел игру, которую только из большой вежливости можно называть двойной. Переход Монферрато к Неверам практически означал бы переход этих земель к Ришелье. Естественно, Испания предпочитала, чтобы Монферрато оказался у любого другого хозяина, скажем у герцога Гвастальского. Не будем уж говорить, что кое-какие права на наследование имелись у Савойского герцога. Но так как все же завещание существовало и указывался в нем Невер, всем прочим претендентам оставалось только уповать на то, что Священный и Римский Германский Император, чьим вассалом формально являлся Мантуанский герцог, не ратифицирует это наследование.

Испанцы, однако, проявили нетерпеливость и не дожидаясь, пока император решится наконец высказать свое мнение, начали осаждать Казале; первая осада была проведена Гонсало де Кордова, а теперь, во второй раз, город обступила основательная армия испанских и имперских сил под командованием Спинолы. Французский гарнизон готовился оказать сопротивление в ожидании помощной французской армии, а она, занятая на северном фронте, один Бог знал, успевала ли подойти.

Примерно на такой стадии находились дела в середине апреля, когда старый Поццо выстроил на площадке напротив замка самых молодых из дворового люда и самых поворотливых крестьян своей деревни, роздал им снаряды, имевшиеся в оружейне, вызвал туда же Роберта и произнес следующую речь, заготовленную за ночь: «Слушайте, вот что я говорю. Наша с вами округа спокон века платила монферратскому маркизу, монферратцы уже давно заодно с герцогом Мантуанским, а этот герцог теперь господин Невер. Кто будет врать, что Невер не мантуанец и не монферратец, тому я лично дам кулаком в рожу, потому что вы — бессмысленные твари и об этом рассуждать рылом не вышли. За вас думать буду я, так как я хозяин и хотя бы понимаю дело чести. Но поскольку вы эту честь в гробу видали, могу вам обещать попросту, что если имперцы займут Казале, они вас пряниками не накормят, с виноградниками сотворят аллилуйю, а уж с вашими женами, лучше не думать. Так что вперед на защиту Казале. Я никого не принуждаю. Если есть среди вас ничтожные прохвосты, кто со мною не согласен, пусть скажет сразу, и я его вздерну на том дубу». Никто из присутствовавших на митинге, разумеется, не мог быть знаком с офортами Калло, где повешенные гроздьями свисают с мощных дубовых веток, но речь, по-видимому, проняла всех: они повскидывали на плечи мушкеты, пики, жерди с привязанными наверху серпами и закричали: Виват Казале, гибель имперцам, мы победим!

— Сын мой, — сказал Поццо Роберту, когда они спускались с холма в долину, а немногочисленное войско сопровождало их сам-пеш, — этот Невер не стоит волоска из моего зада, а Викентий, когда удумал передать ему это герцогство, уже ослабел, видать, не только на передок, но и на голову, хотя на голову он не был силен и в хорошее время. Но теперь, что отдано, отдано Неверу, а не этому козлу из Гвасталлы. Наш род вассал законного хозяина Монферрато еще с Адама и Евы. И потому мы встанем за Монферрато и, если надо, за Монферрато поляжем, потому что, как Бог свят, не годится, что пока все ладно, то друзья до гроба, а когда кругом дерьмо, то будь здоров. Но лучше все-таки не дать себя укокать, потому зри в оба.

Переброска наших волонтеров от границы алессандрийской земли до крепости Казале была одной из самых долгих, какие может припомнить история. Старый Поццо разработал стратагему в некотором смысле безукоризненную. «Знаем мы испанцев, — сказал он. — Они не любят утруждаться. На Казале они пойдут долиной, югом, потому что с повозками, пушками и с барахлом удобнее идти по ровному. Значит, мы сразу после Мирабелло двинем на запад и будем пробираться холмами, потратим на день-два больше, но дойдем без приключений и к тому же скорее, чем они».

К сожалению, у Спинолы имелись гораздо более затейливые соображения насчет того, как подготавливается осада, и, при том что на юго-востоке от Казале он приступил к оккупации Валенцы и Оччимиано, за несколько недель до того были переброшены к западу от города отряды герцога Лермы, Оттавио Сфорца и графа Гембургского, около семи тысяч воинов, и было решено разом захватить крепости Розиньяно, Понтестура и Святого Георгия, с тем чтобы перекрыть возможную подмогу со стороны французской армии; при этом разворачивался на марше, форсируя реку По, и обхватывал клещами город с севера губернатор Алессандрии дон Иеронимо Аугустин и с ним пять тысяч человек. Все эти силы были сосредоточены на той траектории, которую Поццо так благостно считал совершенно пустынной. И своротить с этой дороги, после того как наш полководец узнал от местных поселян реальную обстановку, уже не представлялось возможным, потому что на востоке имперцев было, по крайней мере, столько же, сколько на западе.

Поццо сказал по-простому: «Все остается в силе. Я знаю округу лучше их; прошмыгнем между ногами, как суслики». Это означало, что пируэтов и поворотов предстояло довольно много. Они даже налетели на французов, отступавших из Понтестуры, которые успели там сдаться и под обещание не показываться в Казале были отпущены в сторону Финале, чтоб возвратиться во Францию морем. Команда де ла Грива наскочила на них в окрестностях Оттельи, и они чуть не постреляли друг друга, а потом Поццо услышал от их командира, что среди условий сдачи имелось и такое: весь хлеб из Понтестуры скупается испанцами, и эти деньги выплачиваются осажденным жителям Казале.

«Вот что значит благородные люди, видите, детки, — сказал на это старый Поццо. — Воевать с такими — одно удовольствие. Слава Господу, что сейчас не та война, как была у Карла с маврами, умри ты сегодня, а я завтра. Совсем иное дело — христиане против христиан, тысяча чертей! Пока те пыхтят под Розиньяно, мы обойдем их с задницы, проскочим между Розиньяно и Понтестурой и послезавтра будем в Казале».

Сказавши эти слова в конце апреля, Поццо с людьми смог увидеть городскую стену Казале 24 мая в первой половине дня. Путь их оказался, по крайней мере в памяти Роберта, весьма увлекательным, то и дело они ретировались с дорог на тропки, а с тропинок просто в сторону и двигались напрогляд через посевы: наплевать, приговаривал Поццо, в войну все равно пашни не целы, не стопчем мы, так стопчут они. Пропитание добывалось в курятниках, на огородах и в амбарах. Все по правилам, комментировал Поццо, это земля монферратская и должна поддерживать защитников Монферрато. Мужику из Момбелло, который было запротестовал, велели всыпать тридцать палок в назидание, что, если-де в войну не поддерживать дисциплину, победишь не ты, а тебя.

Роберту эта война начинала казаться очаровательной. Путники рассказывали душеполезные новеллы, к примеру такие. Французский шевалье был ранен и пленен в крепости Святого Георгия. Он жаловался, что солдат ограбил его, отнял дорогой портрет. Герцог Лерма, об этом узнавши, велел вернуть портрет, вылечить французского дворянина и отпустить в Казале, дав ему коня. В то же время, со всеми витками и поворотами, от которых полностью утрачивалась ориентация в пространстве, старый Поццо действи-

тельно вел свою компанию так, что военного дела в собственном смысле они не нюхнули.

Так что все вздохнули почти с облегчением и с радостью, как при начале давно ожидавшегося бала, когда в прекрасный день с верхушки недальней горы под их ногами открылся тот самый город Казале, огибаемый с севера, по левой их руке, широкой полосою По, которая прямо перед замком разбивалась двумя большими островами, делившими реку на рукава, и ощетинивающийся на юге зубчатым массивом цитадели. Весело заставленный изнутри башнями и колокольнями, снаружи Казале представлялся совершенно неприступным со своими остриями, шипами и бастионами, похожий на свирепого дракона с гравюры.

И впрямь было чем полюбоваться. Вокруг города солдаты в ярко окрашенных мундирах перетаскивали осадные машины от одной до другой палатки, утыканной флажками, при постоянном скаканье всадников в пернатых шляпах. На зеленом полотне лесов, на желтизне полей вдруг нестерпимое блистание почти царапало взор, и это оказывались рыцари в серебряных кирасах, перемигивавшихся с солнцем, и не было понятно, куда же они несутся вскачь, казалось, галопируют попросту ради картинки.

Во всей своей красоте это зрелище совсем не понравилось Поццо, который проговорил: — Ребята, вот теперь, я думаю, мы подсели. — И на вопрос Роберта о причине подобного пессимизма добавил, шлепнув того по затылку: — Не валяй дурочку, разве не видно, это имперцы, или ты думаешь, что казальцев такая куча и все гуляют снаружи города? Казальцы с французами сидят внутри обделанные от страха, потому что их не наберется даже двух тысяч, а тех голубчиков тысяч чуть ли не сотня, судя по тому, что я вижу на склонах холмов напротив.

Поццо преувеличивал, войско Спинолы насчитывало только восемнадцать тысяч пехоты и шесть тысяч конных воинов, но и тех, что было, хватало и еще оставалось.

— Что будем делать, отец мой? — вопросил Роберт.

— Не будем, — отвечал ему отец на вопрос, — проходить там, где стоят лютеране. In primis, ни холеры не понятно, что они там болбочут, а in secundis, они сперва тебя расстреляют, а потом спросят, по какому ты вопросу. Ищем, где народ похож на испанцев. С испанцами, как вам уже говорилось, дело иметь можно. И выбираем повальяжнее. В таких делах первое дело — это воспитание.

Был намечен участок, где развевались знамена христианнейших королей и где сверкало больше всего начищенных доспехов, и с верой в судьбу выступили туда. В общей суматохе довольно далеко им удалось продвинуться среди вражеского стана, никому не рекомендуясь, потому что в те времена униформу носили только отборные подразделения вроде мушкетерских, а все остальные постоянно путались, кто свои, кто чужие. Но когда уже осталось только перейти ничейную полосу, они налетели на аванпост и были остановлены офицером, который вежливо попросил их рассказать, кто они такие и куда направляются, в то время как за плечами у него нависала солдатня угрожающего вида.

— Синьор мой, — начал свою речь старый Поццо, — окажите же любезность освободить для нас дорогу, поелику мы имеем нужду оказаться на месте, которое нам пристало, откуда сможем начать стрелять по вам и по вашим солдатам.

Офицер стащил свою шляпу, погрузился в реверанс, размел перьями на два метра пыль вокруг себя и ответил:

— Señor, no es minor gloria vencer al enemigo con la cortesía en la paz que con las armas en la guerra[1]. — А потом, на недурном итальянском: — Проходите, о сударь мой, и, если одна четверть наших людей будет обладать половиною вашей отваги, мы победим. Да ниспошлют небеса мне отраду повстречаться с вами на ристалищном поле, и да будет мне честь лишить вас жизни.

— Типун тебе на язык, язва в душу, — пробормотал сквозь зубы Поццо, но так как требовалось что-то отвечать, он напряг все свои лингвистические таланты и из последних представлений о риторике выудил что-то вроде: — Yo también![2]

Помахавши шляпой, он слегка ткнул коня шпорой, никак не более чем требовала театральность мизансцены, потому что надо же было дать подтянуться его пешеходным воякам, и все отправились к воротам.

---

[1] Сударь, не менее славно победить врага любезностью в мире, чем оружием на войне (*исп.*).

[2] И я тоже (*исп.*).

— Суди сам: с аристократами договориться... — начал Поццо, обернувшись к сыну на ходу, и прекрасно сделал, что обернулся, потому что с бастиона жахнули из аркебузы. — Не стреляйте, идиоты, свои, свои, Невер! — заорал он, подняв руки, и вполголоса Роберту: — Узнаю наших. Грех говорить, но с испанцами спокойнее.

Они вступили за стены. Кто-то, по-видимому, уже оповестил об их появлении коменданта гарнизона, господина Туара́. Это был давний товарищ по оружию старого Поццо. Объятия, поцелуи, ознакомление с обстановкой.

— Друг мой дорогой, — повел рассказ Туара, — по парижским реляциям выходит, будто у меня здесь имеется пять полков пехотинцев и в полку по десять рот, что составляет десять тысяч бойцов. Но у господина де Лагранжа только пятьсот человек, у Монша двести пятьдесят, и всего я могу рассчитывать на тысячу семьсот пеших воинов. Еще у меня шесть рот кавалеристов, всего числом четыреста, правда, хорошо экипированных. Кардинал знает, что я имею меньше солдат, чем должен был бы иметь, но он утверждает, что я имею три тысячи восемьсот. Я пишу ему, доказывая обратное, но Его Высокопреосвященство делает вид, что не понимает. Я был вынужден составить полк из наемных итальянцев любого разбора, корсиканцев, монферратцев, но позвольте сказать, вас не обидев, что солдаты они плохие, и добавлю, что пришлось даже приказать офицерам набрать отдельную роту из денщиков. Ваши люди вольются в итальянский полк под команду капитана Бассани, он хороший солдат. Пошлем туда и молодого де ла Грива, чтобы, идучи под огонь, он получал команды на своем языке. Что до вас, драгоценный друг, присоединитесь к почтенным моим советчикам, пришедшим в лагерь, как и вы, по собственной доброй воле и образующим мою свиту. Город вам знаком, помощь будет неоценима.

Жан де Сен-Бонне, господин де Туара, высокий, темный, светлоглазый, в расцвете опыта — сорока пяти лет, вспыльчивый и отходчивый, был приятен в общении и любим войсками. Отличившись при обороне острова Ре от англичан, двором и Ришелье он вознагражден не был. Знакомые пересказывали его беседу с канцлером — хранителем королевской печати Марийяком. Канцлер сказал, что две тысячи французских дворян распорядились бы обороной Ре не хуже Туара, а тот в ответ сдерзил, что уж хранить-то печати сколько угодно французских дворян смогут не хуже Марийяка. Офицеры приписывали ему еще одну лихую фразу (но похоже, что ее автор на самом деле один шотландский капитан). Военный совет в Ларошели; отец Жозеф (в то время знаменитый серый кардинал) тычет пальцем в карту и предлагает: «Переправимся тут». На что Туара холодно произносит: «Святой отец, жаль, что ваш палец не мост».

— Вот так, любезный друг, — продолжал Туара, обходя с ними бастионы и рукой обводя горизонт. — Сцена великолепна, и актеры недурны, приглашены из двух империй и из многих синьорий. Против нас выведен даже флорентийский полк под командованием, вообразите, Медичи. Казале как город, думаю, довольно надежен. Занимаемый нами замок позволяет держать под обзором реку, хорошо укреплен и защищается хорошим рвом. К стенам мы подвели насыпи, они помогут обороне. Что касается цитадели, в ней есть шестьдесят пушек. Бастионы по всем правилам искусства. Были слабые места, но их я усилил люнетами и батареями. Все это лучше некуда против лобовой атаки, но и Спинола не мальчик, вон какое копошение внизу. Роются минные подкопы, и когда их доведут до стен, считайте, что открылись ворота. Чтоб не давать им работать, приходится воевать в открытом поле, хотя в поле мы не сильны. Как только неприятель подтащит поближе вон те пушки, начнутся бомбардировки, и тут выйдут на сцену новые герои — обыватели Казале, у которых испортится настроение. В этом отношении Казале совсем ненадежен. С другой стороны, население можно понять. Им дороже их город, чем синьор де Невер и французские лилии. Будем разъяснять, что савойцы и испанцы отберут их независимость и что, переставши быть столицей, они превратятся в захудалую крепостцу вроде Сузы, которую савойцы продадут за два скуди. Во всем остальном будем импровизировать, как положено в комедии дель арте. Вчера я выезжал с четырьмя сотнями людей в сторону Фрассинето, там скапливались имперцы, и мы их разогнали. Но пока мы занимались этим, неаполитанцы укрепились на том берегу. Я велел палить по ним из пушек, мы не прекращали несколько часов и, вероятно, разнесли там все на щепки, однако неаполитанцы не уходят. За кем перевес в результате дня? Клянусь Господом, не

знаю, и Спинола не знает тоже. Я только знаю, что нам делать завтра. Видите вон те дома в логе? От них хорошо бы простреливались позиции врага. Мой шпион донес, что дома эти пусты; можно предположить, что там кто-то прячется; молодой друг Роберт напрасно делает возмущенное лицо, он пусть выучит первый постулат, что войны выигрываются через шпионов, и постулат второй, что шпион, предатель по натуре, с равным успехом предает тебя... Как бы то ни было, завтра отправляю пехоту на захват этих строений. Чем портить солдат бездельем, пусть поразомнутся. Рано волнуетесь, Роберт, это еще не ваш случай. Вот послезавтра полк Бассиани пойдет за реку. Видите куски стен? Это форт, который мы начали строить, пока нас не вышибли. Мои офицеры против, а я так думаю, что надо отбить, пока его не приспособили себе имперцы. Надо лупить их в долине, не давать копать ходы. Славы хватит на всех. Сейчас будет ужин. Осада еще в начале, и в провизии нет недостатка. Это впоследствии мы станем есть мышей.

3. Зверинец чудес света[1]

Избегнуть поедания мышей в Монферрато, с тем чтобы стать на «Дафне» будущей добычею мышей... В печали разрабатывая эту изящную противительность, Роберт все-таки решился на вылазку туда, откуда ночью донеслись непостижимые звуки.

Он пошел вниз с полуюта, полагая, что корабельное устройство в точности подобно «Амариллиде» и, значит, под палубой обнаружится кубрик с дюжиной пушечных портов по бортам и с тюфяками или гамаками матросов. Сойдя по трапу от вахты в нижний отсек, пронизанный поскрипывавшим румпелем, он увидел дверь в переборке, но, как будто бы желая обведаться в глубинах судна, прежде чем идти на стычку с врагом, в эту дверь не пошел, а нырнул через люк в самую глубину трюма, где должны были храниться остальные запасы еды. Вместо этого он увидел притиснутые друг к другу спальные места на дюжину человек. Значит, команда спала здесь, в кокпите; выходит, что верхний ярус предназначался для иных целей. Койки были в идеальном порядке. Если мор на корабле и имел место, то, должно быть, выживавшие убирали за вымиравшими, чтоб не сеялся страх... Но откуда явствовало, что моряки перемерли? Снова подумал Роберт, и снова эта мысль не успокоила его. Когда чума пустошит судно, это природная напасть, или, сказали бы многие богословы, рука Провидения; а когда экипаж оставляет корабль в столь превосходном порядке, это устрашает втройне.

Объяснение, возможно, ждало на второй палубе. Собравшись с духом, Роберт возвратился на прежний ярус и толкнул дверь, которая вела в страшившее его место.

И тут объяснились решетки на опер-деке. Через сетчатый пол на гон-дек, как в церковный неф, искоса попадали лучи денницы, перекрещиваясь со светом, проходившим через пушечные порты и янтарно отблескивавшим от стволов.

Сперва Роберт не увидел ничего,только лезвия света, в которых скакали и подпрыгивали неисчислимые частички, приведшие ему на память (до чего ж он пространно тешится высокоучеными воспоминаниями, старается произвести впечатление на Прекрасную Даму, нет чтобы сказать в простоте!) те слова, которыми Диньский настоятель растолковывал ему зрелище световых водопадов, проливавшихся в кафедральный собор, одушевляясь в своей середине множественными монадами, семенами, нерасчленимыми естествами, каплями мужского ладана, спонтанно взрывавшимися, и первоначальными атомами, затевавшими между собой свалки, потасовки, толкотню, бесконечно встречаясь и бесконечно разлучаясь; се есть наглядное подтверждение устройства нашей вселенной, которая не из иного состоит, как из первичных тел, движущихся в пустоте.

И сразу вслед за этим, как будто в подтверждение мысли, что сей мир есть результат балета атомов, у него возникло ощущение сада, и он осознал, что попавши сюда, подвергся действию полчищ запахов гораздо более крепких, нежели те, которые долетали прежде от берега через пролив.

Сад, крытая оранжерея. Вот чем исчезнувшие обитатели «Дафны» заселили этот отсек судна, с целью переправить на родину цветы и деревья с островов, которые они

---

[1] Книга итальянского автора Томмазо Гарцони (1549—1589) «Il serraglio degli stupori del mondo» (опубл. в 1619).

открывали, и чтобы к ним проникали солнце, ветра и небесная влага. Сколько месяцев сумел бы корабль беречь свою зеленую добычу, не сожгла ли бы растения солью первая же морская буря, Роберт не знал, но несомненно: видеть эту рощу в добром здоровии означало, как и с припасами, что попала она на борт недавно.

Цветы, кустарники и деревца были выкопаны с корнями и с почвой и рассажены по корзинам и ящикам, сделанным из чего нашлось. Многие короба растрескались, на полу была земля, вывалившаяся из полных с верхом плетенок, и в эту свилеватую землю метили молодые отростки, чтобы укорениться, и тем создавалось подобие райского сада, росшего прямо из досок мореплавательной «Дафны».

Солнце било не так сильно, чтобы заболели глаза у Роберта, но его света хватало играть на расцветке стеблей и листьев и заставлять раскрываться многие цветы. Роберт увидел раздвоенный лист, походивший на раковый хвост, на нем жемчужились белые почки; в другом, нежно-зеленом, расправлялся какой-то полуцветок из пучочка сливочных дуль. Тошнотворным смрадом повеяло от желтого уха, в которое как будто был воткнут кукурузный початок, за ним гирляндами вились фарфоровые раковинки, белоснежные, с розовыми каймами, тут же торчала гроздь не то рожков, не то колокольчиков и пованивала болотной гнилью. Он увидел цветок лимонной прожелти, оказавшийся при дальнейшем знакомстве переменчивым: абрикосовым на заре, темно-красным на закате; другой, шафрановый в сердцевине, переливался к закраине лепестков в лилейную белизну. Были и шероховатые плоды, он не решился бы их даже тронуть, но один упал, расселся, обнажил гранатовую глубь. Роберт попробовал на язык, но, по-видимому, не на тот язык, которым осязают вкус, а на тот, коим слагают песнопения, поскольку пишет: это кладезь меда, манна, загустелая в изобилии собственной отрасли, сокровищница изумрудов, изузоренная рубиновой зернию. Осмыслив это описание, рискну заявить, что Роберт дегустировал фигу.

Ни один из этих плодов и ни одно растение не были ему прежде ведомы, каждое порождалось будто фантазиею художника, насмехавшегося над нормами природы, дабы изобрести убедительные неправдоподобия, мучительные услады и восхитительные лжи: как та корона беловатого пуха, что возвышалась с фиолетовой кокардой, походившая на сизую примулу, выставившую непристойный член, или это была маска, венчавшая седой цветок козлобородa? Кому мог прийти в голову кустарник, чьи листья, темно-зеленые по одной стороне, имели желтые и красные разводы, а на другой стороне были цвета пламени и перемежались с листьями светлыми и мясистыми, вогнутыми, так что в них неизвестно с какого времени держалась влага последнего дождя?

Роберт под впечатлением обстановки не задавался вопросом, о каком дожде речь, если за последние три дня осадков не выпадало. Ароматы оглушали его и не удивляла необычайность. Не удивляло, что мокрый разваливающийся плод пах, как испорченный сыр; что фиолетовый баклажан с дыркой в днище тарахтел твердыми семечками — не овощ, а бубенец; что какой-то цветок с одной стороны был заострен и вытянут, как спица, а с другой — закруглен и толст. Роберт никогда раньше не видел плакучую пальму, она плакала, будто ива, воздушные ее корни лишь на некоторой высоте сплетались в стволы, а побеги свисали, изнеможенные собственной плодовитостью. Другое растение, незнакомое прежде Роберту, имело листья широкие, сочные, из которых каждый пронизывался железистой жилой. Готовые блюда, подносы! И нерукотворные черпачки росли тоже неподалеку.

Гадая, в механическом ли он лесу или в земном рае, упрятанном в подпочвенной толщине, Роберт скитался внутри этого Эдема, среди одуряющих ароматов. Когда он рассказывает об этом Прекрасной Даме, он упоминает деревенские неистовства, сумасбродства огородов, где густолистые Протеи, где кедры (а может быть, не кедры, а цитроны?) шалеют от усладительного восторга... В его повести сад — это дрейфующий острог, населенный коварными автоматами, где за ограждением чудовищно свитых канатов бьются упрямые настурции, непокорные вскормленницы дикарской пущи... Он напишет об опиуме чувств, об атаке гнилостных испарений, которые нечистыми обаяниями завлекают жертву в края антиподов ума.

Сначала он приписал птичьему пению, доносящемуся с Острова, свое чувство, будто выкрики пернатых излетали от цветов и от трав; но внезапно все тело его пошло мурашками от пролета нетопыря, почти зацепившего крылом его за щеку, и тут же

пришлось отпрыгивать от сокола, камнем падающего на добычу и вонзающего в летучую мышь крючковатый клюв.

Продвигаясь по гон-деку и слыша далекие голоса птиц от Острова, удивляясь, как им удается проникать через щели в бортах, Роберт постепенно приходил к убеждению, что птицы поют где-то близко. Не могло это слышаться с берега. Значит, какие-то другие птицы пели прямо за деревьями, в носовой части палубы, за переборкой у провиантской, откуда предыдущей ночью раздавался опасный шум.

Он натолкнулся на какой-то ствол. Дерево, похоже, прошибло палубу и просунулось выше. Не сразу Роберт понял, что перед ним рангоутное дерево, то есть колонна мачты, и он стоит на самой середине судна, где шпор вращен в степс и мощно укоренен в кильсон. В этой точке ремесло и природа переплетались настолько тесно, что заблуждение нашего героя простительно. Еще добавим, что в точности на этом месте до его ноздрей довеяло какое-то смешение запахов, дух перегноя в сочетании со скотской вонью, что символизировало границу медленного перехода из оранжереи в хлев.

После этого, тронувшись от грот-мачты к носу, он попал на птичник.

Он не знал, как по-другому назвать скопище тростниковых клеток, пронизанных крепкими жердями, служившими для насестов, и населенных летучими существами, старательно угадывавшими по свету зари тот восход, от которого к ним просачивалось лишь нищенская подачка, и перекликавшимися, хотя пение и выходило не похоже на то, что в природе, с собратьями, свободно голосившими на Острове. Вольеры стояли на полу, висели на решетке верхней палубы; с этими сталактитами и сталагмитами гон-дек казался еще одним зачарованным гротом, где порхающие пернатые качали клетки, а те, подпрыгивая, рассекали потоки солнечных лучей, и высвечивалась карусель цветов и блистательное мельтешение радуг.

До этого дня он, пожалуй, никогда по-настоящему не слышал пенье птиц. Можно сказать также, он ни разу по-настоящему их, птиц, не видел, по крайней мере столько разных сразу, и не мог понять, этот ли облик свойствен им в природе или же рука художника разрисовала их и изукрасила к пантомиме военного парада. Каждый воин и каждый член командования красовался своими боевыми колерами и собственным флагом.

Незадачливый Адам, он не располагал названиями для этих тварей. Разве только имена, что использовались на его родном полушарии: это аист, бормотал он, а это журавль, а вот куропатка... Но с таким же успехом можно было называть гусаком лебедя.

Птицы-прелаты с широкими кардинальскими шлейфами и с носами как алхимические сосуды топырили крылья цвета трав, раздувая пурпурные зобы и выпячивая голубую грудь, причитая почти по-человечьи; в другой стороне собирался многочисленный турнир, воины разминались, и приплюснутая сквозная кровля их решетчатого турнирного поля дрожала от наскоков цвета горлинки и от жарко-огненных ударов, напоминавших, как штандарт в руках знаменосца плывет над строем, взмывает и полощется на ветру. Насупленные ходулечники на долговязых нервных конечностях, зажатые в тесноте, с негодованием гоготали, поджимали то одну, то другую ногу, подозрительно озирались, тянули шею, трясли чубатой головой. Только в одной, вытянутой в высоту, клетке привольно чувствовал себя крупный капитан в голубом мундире, в карминовой, под цвет очей, манишке, с лилейным султаном на кивере, и ворковал как голубка. Рядом с ним в маленькой клетке три пешехода мерили настил шагами, не имея крыльев, и подскакивали, испачканные комочки пуха: мышиные мордочки, усы у основания клювов. Клювы у них были горбатые, с крупными ноздрями, которыми эти уродцы обнюхивали червей, отщипывая от них куски. В одной клетке, вытянутой и закрученной, как кишечник, прохаживалась маленькая цапля с морковными лапами, с аквамариновой грудкой, с черными крылышками и лиловым носом, а за ней гуськом шествовали цыплята. Дойдя до окончания кишки, она со злобным карканьем пыталась разнести загородку, видимо считая ее случайным нагромождением отростков и корешков, а потом разворачивалась и маршировала обратно со всем своим выводком, который не мог догадаться, идти ли впереди или позади родительницы.

Роберт испытывал и возбуждение от открытия, и жалость к этим пленникам, и желание отворить клетки и посмотреть, во что превратится этот готический собор, наполнившись этими герольдами воздушного войска, выпущенными из осады, к которой «Дафна», в свою очередь осаждаемая полчищами им подобных, их принуждала. Потом он

подумал, что птицы голодны. В клетках валялись ошметки корма, а плошки и корытца, куда заливать воду, стояли пустые. Около клеток, однако, имелись мешки с зерном и нарубленная вяленая рыба, все было заготовлено для того, чтобы птицы благополучно доехали до Европы, поскольку редкий корабль, сплавав к южному краю земного шара, не привозит ко дворам и академиям Европы редкости новых миров.

Ближе к оконечности носа он обнаружил дощатый загон, где рылась в подстилке дюжина цесарок, или вроде этого, в любом случае куриц с подобным оперением он в жизни не встречал. Они тоже, по всей видимости, испытывали голод, тем не менее куры отложили шесть яиц и торжествовали столь же бурно, как любые их товарки во всех частях света.

Роберт немедленно подобрал яйцо, продырявил скорлупу концом ножа и выпил яйцо через дырочку, как в годы детства. Другие яйца уложил за пазуху, а для успокоения матерей и плодовитейших отцов, хмуро трясших зобами, роздал корм и воду; то же самое во все прочие клетки, причем он спрашивал себя, какое провидение распорядилось прибыть ему на «Дафну», когда население птичника почти обессилело от голода. И впрямь, он провел на корабле вот уже две ночи; за птицами ухаживали в последний раз, самое позднее, днем раньше появления Роберта. Он попал на корабль будто опоздавший на праздник гость, пришедший к еще не убранному столу.

Впрочем, сказал он, с самого начала было ясно, что раньше кто-то здесь был, а теперь его нет. Были тут люди день или десять дней назад, для меня ничего не меняет, самое большее — усугубляет насмешку судьбы, ведь, выбрось меня море на один только день раньше, я мог бы присоединиться к экипажу «Дафны» и отправиться с ними туда же, куда они. Или нет: погибнуть вместе с ними, если все они погибли. В общем, он перевел дух (по крайней мере, дело было не в крысах) и подумал, что в его распоряжении теперь имеется курятник. Он отказался от идеи выпустить на волю более благородные породы и решил, что, если его сидение окажется очень долгим, и эти породы могут представиться съедобными. Идальго, порхавшие под стенами Монферрато, тоже были благородные и разноцветные, однако мы по ним палили, а окажись наше там сидение очень долгим, вполне могли бы начать их есть. Кто воевал в Тридцатилетнюю войну (скажу я сейчас, хотя ее прямые участники не называли ее так и, вероятно, даже не сознавали, что речь идет об одной очень долгой войне, в которой время от времени подписывался какой-нибудь мир), тот отучался от прекраснодушия.

4. Наглядная фортификация[1]

Отчего Роберту так часто приходит на язык Казале при описании его первых дней на корабле? Бесспорно, параллелизм напрашивается: осажден теперь, как осажден был тогда; но для человека его столетия как-то жидковато. Скорее уж, при подобии, его тем более зачаровывают несходства, изысканные противопоставления: в Казале он попал по желанию, дабы не допустить попасть других, а на «Дафне» оказался поневоле и мечтал только о том, чтоб выбраться. Но в наибольшей степени, думаю я, существуя в мире полутени, он тянулся памятью к истории раскаленных дней, прожитых под ярым светилом осады.

И еще. В начальную пору жизни Роберту выпало единственных два периода, которые меняли его представления о мире и о человеческой жизни в нем. Это были несколько месяцев осады и несколько лет в Париже. Ныне он переживал третий возраст мужания, скорее всего последний, на излете которого зрелость приравняется, вероятно, уже к распаду. И он пытался расшифровать тайну этой поры, накладывая очертания прошлого опыта на современье.

Поначалу казальская жизнь сплошь состояла из вылазок. Роберт описывает эту жизнь своей адресатке, преображая стилем и как бы желая ей показать: неспособный захватывать упорную твердыню льда, палимую, но не растопляемую двух ее солнц пла-

[1] Французский военный учебник «La fortification demontrée» (XVII в).

менами, под лучами солнца иного он невзирая ни на что оказался в высшей степени способен сопротивляться тем, кто старался захватить монферратскую твердыню.

Утром следующего дня после приезда гривской команды Туара отправил нескольких офицеров с карабинами на плече поглядеть, что там устраивают неаполитанцы на холмах, захваченных накануне. Офицеры подъехали слишком близко, возникла легкая перестрелка, и молодой лейтенант Помпадурского полка был застрелен. Товарищи доставили его тело в крепость, и так Роберт увидал первого убитого в своей жизни. Туара отдал приказ захватить строения, о которых говорилось на день раньше.

С бастионов было удобно наблюдать вылазку десяти мушкетеров, раздвоивших свой ряд на скаку, чтобы окружить и захватить первый дом. Из крепости тем временем было пущено ядро, пролетевшее над их головами и сорвавшее с дома крышу; оттуда, как насекомые, вылетели испанские солдаты и побежали наутек. Мушкетеры дали испанцам ретироваться, захватили строение, забаррикадировались в нем и повели оттуда будоражащий огонь по склону взгорья.

Та же операция требовалась и в отношении прочих строений. С бастионов было прекрасно видно, что неаполитанцы выкапывают ямы, обкладывают фашинами, хворостяными снопами, причем ямы не опоясывают холм, а как бы тянутся по равнине к замку. Роберту объяснили, что это входы в минные галереи, которые доводят под землей до стены, а там набивают порохом. Нельзя давать неприятелю закапываться под землю. Вот и вся война. Рушить в самом начатке подкопы противника, а самим по возможности вести в его сторону контрподкопы и дожидаться подхода подмоги или полного расхода вооружения и припасов. Осада состоит в этих двух занятиях: гадить неприятелю и тянуть время.

На следующее утро, как и ожидалось, занимали редут. Роберт в обнимку со своей пищалью оказался в ораве наемников из Лу, Куккаро, Одаленго, соседствовавших с бессловесными корсиканцами; всех скопом набили в лодку и перевезли через По, когда две роты французов уже сошли на неприятельскую сторону. Туара и штабные наблюдали за операцией с правобережья, старый Поццо махнул сыну и предупредительно поднял палец: действуй, дескать, с головой.

Три роты захватили безлюдный форт. Он не был доделан, и начальная постройка потихоньку распадалась. День прошел в затыкании дырок в стенах. Укрепление было окружено хорошим рвом, за ров отправили нескольких впередсмотрящих. Наступила ночь, но такая светлая, что часовые спокойно дремали, а офицеры их не одергивали в уверенности, что нападения не будет. Тут-то и раздалась команда «На приступ!» и налетели конные испанцы.

Роберт, приставленный капитаном Бассиани сторожить брешь, заделанную мешками с сухой травой, не успел уразуметь, как это все происходило: на крупе коня у каждого всадника находился мушкетер, и, доскакав до укреплений, лошади помчались по кругу вдоль канавы, в то время как стрелки на ходу убирали немногих часовых, а мушкетеры прыгали с коней и катились кубарем в глубину рва. Очистив место, кавалеристы полукругом сгруппировались напротив входа, загоняя защитников за стену непрерывным огнем, мушкетеры невредимые подобрались к воротам и к разбитым участкам стен.

Итальянская пехота, выставленная для караула, покидала оружие и в ужасе разбежалась, покрывая себя бесчестием; но и французский гарнизон повел себя не лучше. От начала атаки до взятия стен форта прошло только несколько минут, и для встречи атакующих, уже прорвавшихся за стены, защитники форта не успели даже вооружиться.

Неприятели, пользуясь внезапностью, резали кого попало; их было столько, что в то время как одни убивали, другие обирали убитых. Роберт, выстреливши в набегавших пехотинцев, с болью отдачи в плече перезаряжал ружье, когда налетела кавалерийская атака и копыта коня, перескакивавшего стену, сшибли Роберта и обрушили ему на голову обломки кладки. Это было его счастье; под мешками он спасся от смертоносного налета и теперь из соломенного укрытия видел, как нападавшие приканчивали упавших, отрезали пальцы ради колец и кисти рук ради браслетов.

Капитан Бассиани, чтоб оборонить честь своего бегущего войска, доблестно отбивался, но его окружили и принудили к сдаче. С того берега заметили, что происходит, и полковник Лагранж, незадолго перед этим вернувшийся с форта с поверки, рвался на спасение гарнизона, но офицеры его удерживали до подхода городских подкреплений. С

правого берега отчаливали какие-то лодки, в то время как, разбуженный дурною вестью, к месту их отплытия галопом опрометью мчался Туара. Было уже понятно, что французы в форте разбиты и что единственная им помощь была прикрывать навесным огнем отход остающихся в живых.

В этой суматохе старый Поццо метался между штабными позициями и лодочным причалом, куда приставали спасавшиеся, но Роберта не было среди них. Когда увиделось, что новых лодок уже не будет, он прорычал: «О Господи!» После этого, не нуждаясь ни в какой лодке, зная законы речных течений, двинул коня прямо в воду чуть повыше первого острова, молотя шпорой. Конь пересек реку в месте брода, даже не поплывши, выскакал на другой берег, и Поццо с поднятою шпагой, не разбирая дороги, бросился на врага.

Несколько мушкетеров противника двинулись ему навстречу при светлеющем небе, не понимая, зачем этот одинокий всадник. Тот пролетел сквозь их строй, уложив по меньшей мере пятерых яростною рубкой, навстречу двум конникам и на вздыбленной лошади отклонился в сторону, избегнув удара, и откачнулся в другую, шпага его описала в воздухе круг, и левый кавалерист осел на круп, в то время как его кишечник выползал на сапоги, а правый так и застыл с вытаращенными глазами, ловя рукою ухо, которое, не вполне оторванное от щеки, повисло ему ниже бороды.

Поццо был уже около форта, в котором захватчики, занятые грабежом последних дорубленных со спин, не умели понять вообще, откуда он взялся. Он влетел внутрь укреплений, выкрикивая имя сына, заколол четырех человек, работая, как мельницею, шпагой и разя в четыре стороны света; Роберт из-под своей соломы завидел его еще в отдалении и прежде отца узнал Пануфли, отцовского коня, с которым игрывал еще ребенком. Тогда он всадил два пальца в рот и свистнул условным свистом, который коню был издавна привычен, и верно, тот уперся, насторожил свои уши и поскакал с отцом по направлению к Робертовой бреши. Поццо увидел Роберта и крикнул: «Нашел место сидеть! Прыгай на лошадь!» Роберт схватился за его пояс, и Поццо повернул коня к переправе, бормоча: «Наказание, вечно за тобой надо черт-те где бегать». Пануфли галопом несся обратно к реке.

Какие-то из грабителей поняли, что этот человек явно не должен здесь находиться, показывали пальцами и кричали. Офицер со вмятиной на кирасе в сопровождении трех солдат попробовал перекрыть ему путь. Поццо увидел, хотел обскакать и вдруг, натянув поводья, вскрикнул: «Вот врут про судьбу!» Роберт выглянул из-за него и узнал в офицере того самого испанского гранда, который позавчера пропустил их в крепость. Тот тоже узнал в лицо встречных, взор его блеснул, он нацелил шпагу.

Старый Поццо мгновенно перебросил шпагу в левую руку, выхватил правой пистоль и протянул руку в сторону испанца, который, сбитый с толку маневром, с разбегу оказался почти под его рукой. Но Поццо стрелял не сразу. Он нашел время произнести: «Прошу прощенья за стрельбу, но так как вы защищены кирасой, меня можно понять...» Нажал курок и всадил тому в рот пулю. Солдаты, видя убийство командующего, побежали, и Поццо вернул пистолет на место за пояс со словами «Пора обратно, пока они не потеряли терпенье... Пошел, Пануфли!»

В облаке пыли пролетели они по равнине, в ореоле брызг перенеслись по речному броду, а кто-то издалека палил и палил, стараясь попасть им в спину и не попадая.

На правом берегу их встретили плеском в ладоши. Туара сказал: «Très bien fait, mon cher ami»[1] — и потом Роберту: — Ла Грив, сегодня бежали все, вы остались на посту. Добрая кровь сказывается. Вам нечего быть в этой ватаге трусливых. Займете место у меня в свите».

Роберт поблагодарил и, сходя на землю с лошади, пожал руку отцу, чтоб передать ему свою благодарность. Поццо рассеянно пожал ему руку и сказал: «Очень мне жаль этого господина испанца, он был дворянин. Сволочная война. С другой стороны, запомни себе науку, любезный сын: уж как он тебе ни размил, но если он хочет отправить тебя на тот свет, не прав он, а не ты. Мне кажется так».

Уходя за городскую стену, отец, как слышалось Роберту, продолжал бормотать: «Я за ним не гонялся...» — и приговаривать себе под нос.

---

[1] Хорошая работа, дорогой друг (*франц.*).

5. *Лабиринт света*[1]

<...> Французская армия все еще была занята на севере, и никто не мог бы сказать, успеет ли она до того, как Казале захватят. Оставалось уповать на Господа, так говорил капеллан французов: «Господа, политическая мудрость в том, чтоб относиться к людским ресурсам, как будто божеских не существует, и к божеским, как будто исчерпаны людские».

— Тогда нам придется довольствоваться божескими, — произнес его собеседник за трапезой у Туара, но тон его был малопочтителен, и, поднимая кубок, он расплескал часть вина на камзол аббата.

— Сударь, вы облили меня вином, — вскричал аббат, бледнея. Бледнеть было положено, гневаясь, в те времена.

— Ну а вы сделайте вид, — отвечал дерзкий дворянин, — будто это случилось при виносвящении. Какая разница, что то вино, что это.

— Месье де Сен-Савен! — выкрикнул аббат, вскакивая и хватаясь за шпагу. — Не в первый раз вы бесчестите собственное имя, оскорбляя Нашего Господа! Лучше бы вы, да простятся мне такие слова, оставались в Париже и бесчестили женщин, как заведено у вас, пирронианцев!

— Ну-ну, — парировал Сен-Савен, уже заметно опьяневший, — мы, пирронианцы, когда ходили по ночам петь серенады милым дамам и брали в компанию своих знакомцев, у кого крепкий характер и кто любит пострелять, прекрасно знали, что, если дама не выглядывает с балкона, это только оттого, что ее нагревает в постели семейный духовник.

Аббат потянул шпагу из ножен, присутствующие офицеры удержали его. Сен-Савен не в себе от вина, успокаивали они аббата, простим человеку, он храбро сражался в эти дни, простим из уважения к памяти погибших.

— Сдаюсь на вашу просьбу, — сказал аббат и направился к выходу из залы. — Сен-Савен, рекомендую вам употребить эту ночь на заупокойную молитву по павшим друзьям, и я сочту себя удовлетворенным.

За ним закрылась дверь. Сен-Савен сидел как раз рядом с Робертом. Он приобнял Роберта за плечи и произнес:

— Ни псы, ни речные птицы не устраивают такой базар, как мы с нашими заупокоями. К чему суетиться и хлопотать, воскрешать этих усопших? — Он с ходу осушил свой кубок, выпрямил палец, будто для назидательного поучения: — Милый, гордитесь. Сегодня вы чуть-чуть не поимели геройскую смерть. Ведите себя и дальше так бездумно. Помните, душа умрет с вашим телом. Поживите себе на радость и умирайте на здоровье. Люди такие же твари, как все твари, такие же порождения материи, только защищены похуже. Но поскольку в отличие от прочих тварей мы знаем, что обязаны умереть, то порадуемся жизни, которая досталась нам нечаянно и случайно. Мудрость подсказывает нам, что время следует проводить в питии и душевной беседе, как подобает благородным господам, и презирать малодушных. Сотоварищи! Жизнь в долгу перед нами! Гнием в этом Казале. Опоздали родиться, когда можно было так чудно развлекаться при дворе короля Генриха, когда в Лувре были ублюдки, обезьяны, шуты, придурки, карлики и жонглеры, музыканты и поэты и король развлекался с ними. А сейчас иезуиты, похотливые, как козы, изничтожают любого, кто читает Рабле и латинских поэтов, и требуют, чтобы все ходили по струнке и давили гугенотов. Господи Боже, война превосходная штука, но я желаю драться для собственного удовольствия, а не из-за того, что мой противник кушает мясо в пост. Язычники были нас умнее. У них тоже было три бога, но, по крайней мере, их матушка Кибела не требовала верить, что, родивши их, осталась непорочной.

— Помилуйте, — заикнулся Роберт, а прочие захохотали.

— Помилуйте, — передразнил его Сен-Савен,— первое свойство благородного человека — это презрение к религии, которая пугает нас самой естественной на свете вещью, а именно смертью, отвращает от самой милой на свете вещи, то есть от жизни, и потчует перспективой попасть на небо, где вековечное блаженство уготовано только

---

[1] Книга чешского мыслителя Яна Амоса Коменского (1592—1670) «Labyrint sveta».

планетам, и они на самом деле не подлежат ни наградам, ни наказаньям, а только своему постоянному движению в объятиях пустоты. Будьте сильны, как мудрые мужи древних греков, и взирайте на смерть твердо, без боязни. Иисус как-то чересчур исстрадался, ее ожидая. С чего ему было так беспокоиться, в сущности, если он знал, что все равно воскреснет?

— Довольно, господин де Сен-Савен, — оборвал его капитан, беря под руку. — Не стоит скандализировать юного друга, он еще не знает, что современная мода в Париже требует безбожия. Он может воспринять все это слишком серьезно. Вы тоже идите спать, господин де ла Грив. Знайте, что Господь до того великодушен, что извинит даже и Сен-Савена. Как говорил один богослов, силен король, он все разрушает, сильнее женщина, она все получает, но еще сильней вино, оно заливает мозги.

— Вы недоцитировали, любезнейший, — уперся Сен-Савен, в то время как два однополчанина под руки вытаскивали его из зала, — эти слова якобы произносит Язык и добавляет: но сильнее всего истина, и я вам ее говорю. Вот и мой язык хотя в данный миг ворочается с трудом, но молчать не будет. Умный в этом мире должен побивать неправоту не только ударами шпаги, но и усилиями речи. Послушайте, ну как вы можете называть великодушным божество, которое обрекает нас на пожизненные муки из-за того, что когда-то на какую-то минуту рассердилось на наших прадедушек? Мы должны прощать ближнему, а Господь Бог что же? И мы еще обязаны любить такого немилостивца? Аббат ругает меня пирронианцем. Пусть мы пирронианцы, но это означает — те, кто пытается утешить жертв мошеннического обмана. Мы когда-то с тремя друзьями раздаривали дамам непристойные четки. Видели бы вы, как эти дамы полюбили читать молитвы!

Общество расхохоталось, и он ушел под слова офицера: «Не Господь, так мы простим ему длинный язык, хотя бы ради его длинной шпаги». Роберту сказали: «Старайтесь с ним дружить и слишком сильно не спорьте. Он заколол больше французов в Париже из-за богословских разногласий, нежели испанцев сейчас на нашей памяти тут, в Монферрато. Не хочется оказываться рядом с ним во время мессы, но приятно иметь его у плеча на поле боя».

Войдя таким путем в область первых сомнений, Роберт столкнулся и с другим сомнением сразу вслед за этим. Он пошел в далекое крыло замка, где провел с монферратцами первые ночи, за своим мешком. Но довольно скоро заплутал в двориках и коридорах. По какому-то из коридоров он торопился, понимая, что сбился с дороги, когда углядел на торцовой стене зеркало, черное от грязи. В зеркале отражался он; но, пробежав коридор почти до упора, обратил внимание, что этот «он» почему-то в пышном испанском мундире и волосы собраны в сеточку. И более того, зеркальный портрет не смотрел прямо ему в лицо, а отворотился в сторону и утек в боковой проход.

Значит, не зеркало это было, а окно с запыленными стеклами, выходившее в соседний двор на портик над лестницей. Выходит, видел он не себя, а кого-то другого, невероятно похожего, чьи следы тут же и утерялись. Конечно, в голову ему сразу пришел Феррант. Феррант захотел сопроводить его в Казале. Может, он записался в соседнюю роту того же самого полка. Или в другом французском полку, пока Роберт в вылазке рисковал жизнью, этот Феррант получал от войны неведомо какие интересы.

Однако он был уже в том возрасте, Роберт, когда юношеские фантазии о Ферранте вызывали у него улыбку; обдумав свое впечатление, он довольно быстро убедил себя, что ему встретился кто-то отдаленно похожий, только и всего.

Он вытеснил из памяти этот случай. Много лет он сосуществовал с невидимым братом, в этот день чуть не поверил, будто видит невидимого, но в том-то и загвоздка, убеждал он себя (стараясь усилиями логики противостоять ощущениям сердца), что он его видел, и значит, он не плод воображения, а так как Феррант — плод воображения, виденный им Феррантом быть не может.

Преподаватель логики возразил бы против этого паралогизма, но на том этапе Роберт удовольствовался им.

6. Великое искусство света и тени[1]

< > После любования Островом, его загнала под палубу светобоязнь — или же некий иной позыв. Дело в том, что Роберт услыхал кур, снесших новые яйца, и замыслил устроить себе вечером цыпленка на вертеле. Прежде, однако, ножницами капитана он привел в порядок бороду, волосы и усы, чтоб не так походить на жертву краха. И положил себе относиться к кораблекрушению как к загородному житью, сулящему обширную серию зорь, рассветов и (предвкушал он) заходов.

Спустился он, таким образом, через час после того, как куры отквохтали, и сразу же обнаружил, что яиц, которые должны были бы быть, если только куры квохтали не ложно, — не было. И не только это казалось странно. В кормушках свежее зерно было разровнено так аккуратно, как будто курицы его не копали.

В каком-то подозрении он заглянул в оранжерею и там увидел, что и в этот день, как накануне и намедни, листья блестели от росы, венчики были полны прозрачной влаги, вся земля около корней казалась мокрой, а перегной раскисшим и липучим — верный знак, что кто-то на протяжении ночи приходил поливать в теплице.

Забавно сказать, но первым его чувством была ревность. Кто-то хозяйничал на корабле и оспаривал у него и заботы, и ту пользу, которая могла быть от забот. Лишиться мира, дабы обрести в свое владение заброшенный корабль, а затем уведомиться, что на нем живет кто-то другой, это было невыносимо, в точности как узнать, что Властительница, недостижимый и желанный предел, уступила желанию другого.

Затем наступил черед более разумного беспокойства. Точно так же как мир его детских лет вмещал в себя Другого, который предшествовал и следовал Роберту, так же и «Дафна», по всей видимости, имела нутро и закоулки, которых он еще не знал, и в которых таился невидимый хозяин, кравшийся по всем путям Роберта вслед за тем, как Роберт проходил, или за миг перед этим.

Он бросился прятаться в каюту, как африканский страус, который закапывается головой и думает, что мира больше не существует.

Чтоб добежать до полуюта, он миновал отверстие трапа, спускавшегося в трюм. Что там скрывалось, в его глубинах, если на гон-деке он нашел воссозданный Остров в миниатюре? Что там было, царство Постороннего? Заметим, что уже тогда он воспринимал судно как предмет страсти, предмет, который, только его откроешь и только откроешь для себя, что желаешь его, как тотчас все те, кто владел им прежде, становятся узурпаторами. Что и признает Роберт в письме к Владычице: в тот миг, как ее увидел впервые, и увидел, именно проследив за взором другого, не сводившего с нее глаз, он почувствовал мерзость, как будто обнаружив червяка на розе.

До чего это трогательно — ревновать посудину, провонявшую рыбой, дымом и мочой! Но Роберт уже тогда терялся в зыбком лабиринте, где от каждой развилки обе тропы вели к одному и тому же образу. Он страдал и по Острову, который был не его, и по кораблю, который был его, из-за недостижимости обоих: первого по причине далека, второго по причине загадки, и оба оказывались как бы на месте возлюбленной, обманывавшей его, обольщавшей посулами, которые он сам себе обетовал. Иначе невозможно воспринять письмо, где Роберт изощряется в выспренней слезоточивости лишь для того, чтобы пожаловаться, в сущности дела, на украденный завтрак.

«Сударыня,

как уповать на милость того, кто меня гонит? И все же кому, как не Вам, повем печаль, взыскуя утешенья, коли не в слушании Вашем, то в собственных невыслушанных речах? Ежели любовь лекарство, излечивающее любую муку мукою еще горчайшей, прав ли я, в ней видя напасть, затмевающую своей огромностью любые другие напасти, так что она становится снадобьем против чего угодно, исключая самое себя? Ибо если когда я и любовался красой и вожделел ее, это была только греза о Вашей красоте; как мне теперь горевать оттого, что и иная краса мне только греза? Горчее было бы, ежели та, иная, мне далась бы и, услаждаяся ею, я не крушился бы по образу Вашей; жалкий медикамент! и болезненность моя бы усугубилась угрызениями из-за неверно-

---

[1] Книга римского иезуита, немца отца Афанасиуса Кирхера (1601—1680) «Ars Magna Lucis et Umbrae».

сти мечте. Слаще доверяться Вашему образу, и наипаче теперь, когда новократно я лицезрею врага, лицо которого незримо, и нежелательно мне узрить его никогда. Дабы затмить это ненавистное явленье, да появится Ваш возлюбленный призрак. И да обращусь я толикой неутоленной любовью в бесчувственную руину, в мандрагору, в каменный кладезь, высачивающий слезами неисточимую скорбь...»

Но и самоистребляясь этим терзанием, Роберт в каменный кладезь не превратился и поэтому от приступа горя, которое испытывал, обратился к горю, пережитому им в Казале и гораздо — как мы увидим — более роковому.

7. Слезная павана[1]

Эта повесть настолько же прозрачна, сколь и странна. На фоне легких стычек, выполнявших точно такую роль, какая в шахматной игре отводится, нет, не ходу, а взгляду, которым, предугадавши импульс хода противника, стараются предотвратить этот могущий стать выигрышным шаг, Туара решил попытаться осуществить что-то более важное. Было ясно, что игра идет между разведкой и контрразведкой; в Казале распространялись слухи, будто подмога близка и ведет ее сам король, что господин Монморанси подвигается от Асти, а маршалы де Креки и де ла Форс — от Ивреи. Ничего подобного, догадывался Роберт, видя ярость Туара, когда приходили с севера депеши. Туара уведомлял Ришелье, что у него кончаются припасы, а Кардинал писал в ответ, что господин Ажанкур в свое время проинспектировал склады и видел, что Казале прекрасно продержится три летних месяца. Переход же армии по плану намечается на август, чтобы поддерживаться на марше продуктами нового урожая.

Роберт удивлялся, когда Туара подучивал корсиканцев дезертировать и доносить Спиноле, что французы подойдут только в осень. Но Туара пояснил штабным: «Если Спинола сочтет, что у него есть время, он займется подкопами, а нам даст делать контрподкопы. Если же он будет думать, что прибытие французов дело скорое, что ему остается? Не кидаться на эту армию — у него не хватит сил; и не ждать ее сложа руки, так его самого обложат; и не возвращаться в Милан ради обороны миланской области, потому что это против чести. Ему останется немедленно брать Казале. Но так как у него не выйдет взять Казале лобовой атакой, он изведет прорву денег на подкуп города и гарнизона. С этой минуты любой друг может обратиться для нас во врага. Зашлем же мы наших подкупленных к Спиноле и убедим его, что эшелоны не подходят, позволим рыть и минировать траншеи там, где они нам не сильно вредны, и будем уничтожать те, которые действительно угрожают, и пусть изматываются в этих плясках. Господин Поццо, вам данная местность известна. На каких участках позволим им подкапываться, а где будем отгонять любой ценою?»

Тогда старик Поццо, не притрагиваясь к военным картам (они были слишком разузорены, чтобы внушать доверие) и тыча пальцем из окошка, доложил, в какой стороне земля дырявая, с родниками и ключами, там Спинола пусть ковыряет сколько хочет, его саперы рано или поздно задушатся, наевшись слизней; а в других местах рыть истинная радость, и туда надо лупить артиллерией и набегать нашей конницей.

«Быть по сему, — подытожил Туара. — Значит, завтра задаем им жару около бастиона Святого Карла, а в это время располагаем засаду под бастионом Святого Георгия». Идея была прекрасно решена, все роты получили точные распоряжения. А так как у Роберта был хороший почерк, Туара продержал его с шести вечера до двух утра, диктуя депеши, и сказал ему спать в одежде на ларе перед дверью, чтобы принять и рассмотреть ответы и разбудить, если обнаружится заминка. И пришлось так и поступать не однажды в ту ночь с двух часов и до рассвета.

Поутру войска были наготове в крытых проходах, защищенных контрэскарпами, и внутри крепости под стеной. По сигналу от Туара, который руководил из цитадели, пер-

---

[1] Название мелодии фламандского флейтиста Якоба ван Эйка (XVII в) «Pavane Lachryme». Павана — торжественный придворный танец XVI—XVII вв. Существен для последней страницы главы и еще один возможный подтекст названия: «Pavane pour une infante défunte» («Павана по почившей принцессе»), 1899, Мориса Равеля (1875—1937).

вый авангард, довольно многочисленный, двинулся для обманного маневра: вначале копейщики и мушкетеры, затем поддержка из пятидесяти человек с мушкетонами, на малом расстоянии от первых, а дальше, открытым маршем, пятьсот пехотинцев и две конные полуроты. Настоящий парад, и задним числом стало ясно, что испанцы таковым его и посчитали.

Роберт видел, как тридцать пять человек, которыми командовал капитан Колюмба́, впрыгнули россыпью в окоп. Испанский капитан, вынырнувший из-за укрепления, церемонно отдал им честь. Колюмба и его люди посередине атаки замешкались и по правилам хорошего тона ответили испанцам с той же вежливостью. Испанцы показали, что соглашаются отступить, французы затоптались, Туара велел выстрелить со стены по траншее, Колюмба понял намек и скомандовал атаку, кавалерия налетела на окоп и справа и слева, испанцы неохотно заняли боевую стойку и тут же были сметены. Французы будто ополоумели, разя наотмашь, выкрикивая имена погибших друзей: «Вот вам за Бессьера, вот за высоту Бриккетто!» Возбуждение было такое, что когда Колюмба попытался собрать людей, он не смог, те продолжали изгаляться над упавшими, поворачивались к городу, махали трофеями: серьгами, перевязями, клоками волос, насаженными на древки.

Контратаки не воспоследовало, Туара допустил оплошность, посчитав это оплошностью, а это была уловка. Полагая, что имперские командиры собирают новую команду, дабы отразить налет, он теребил их артиллерией, они же ограничивались стрельбой по городу, и одно ядро угодило в храм Святого Антония, недалеко от генерального штаба.

Туара удовлетворился этим ответом и подал знак второму отряду выходить из башни Святого Георгия. Немногочисленное подразделение, но под командованием господина де Лагранжа: он был подвижен, как подросток, невзирая на пятьдесят пятый год. С обнаженной шпагой, Лагранж повел атаку на заброшенную церковку, рядом с которой виднелся вход в уже начатую и разрытую сапу. Тут из смежной канавы и начала выскакивать чуть ли не вся главная сила неприятеля, с утра караулившая на месте встречи.

— Их предупредили, — закричал Туара, бросаясь к воротам и подавая знак Лагранжу скакать назад.

Вскоре после того дозор Помпадурского полка им доставил связанного по рукам казальского парня, которого застукали на башенке у замка, откуда он белой тряпкой махал осадчикам. Туара разложил его на полу, просунул палец его правой руки под курок пистоли, уткнул ствол в ладонь левой руки парня, приблизил собственный палец к спуску и сказал:

— Et alors?[1]

Парню повторять не понадобилось, он все рассказал. Накануне поздно, почти в полночь, перед церковью Святого Доминика какой-то капитан Гамберо обещал ему шесть пистолей, три из них выдал сразу же, чтобы парень поступил как велено, что им было и выполнено. Велено было махать, как только французы выедут из ворот Георгия. Парень даже имел такой вид, будто, не понимая военных правил, ожидает остальных пистолей от Туара за оказанную службу. Тут он завидел Роберта и завопил, что это и есть капитан Гамберо.

Роберт остолбенел, отец его Поццо кинулся на поганого лгунишку и удушил бы, если б не удержали какие-то офицеры свиты. Туара сразу же возразил, что Роберт провел всю ночь с ним бок о бок и что при всей его приглядности никак не мог бы сойти за капитана. Тем временем доложили, что какой-то капитан Гамберо действительно числится в подразделении Бассиани; толчками и тычками его пригнали пред очи Туара. Гамберо надрывался, что ни в чем не повинен, да и парень сказал, что имел дело не с этим, однако Туара предусмотрительно велел посадить его под стражу. Добавило сумятицы сообщение о том, что при отходе формирования Лагранжа с бастиона Святого Георгия кто-то перебежал к испанцам и его встретили овацией. Подробности не были известны, только что бежавший был молод и одет был по испанскому фасону с сеточкой на волосах. Немедленно Роберт припомнил Ферранта. Но сильнее всего его удручила та подозрительность, с которой французские командиры буравили взорами итальянцев в свите Туара.

---

[1] Ну так как? *(франц.)*

— Одной мелкой дряни довольно, чтоб остановить армию? — послышался голос его отца, тот наступал на французов, а те пятились. — Простите, уважаемый друг, — повернулся Поццо к Туара, — но здесь, похоже, кто-то думает, что в наших краях все похожи на эту ракалию Гамберо, или я путаю? — И, не слушая сбивчивых заверений Туара в дружестве и почтительности, Поццо выпалил: — Можете не трудиться. Тут, я вижу, многие наложили под себя, а мне от этих вшивых испанцев до того тошно, что я сейчас, с вашего позволения, уберу двойку-тройку, чтобы им показать, что и мы умеем плясать, когда есть музыка, и что не родился тот, кто припрет нас к стенке, разъязви меня к чертовой матери в душу Господь!

Он выскакал из ворот и погнал, подобно фурии, с выставленной шпагой против неприятельских рядов. Разумеется, он не полагал обратить их в бегство, но на него нашло исступление — действовать по собственному почину и показать что следует испанцам.

Как доказательство храбрости это годилось, как военная операция не годилось никуда. Пуля вошла ему в переносье и откинула на круп Пануфли. Второй выстрел долетел до контрэскарпа, и Роберт почувствовал жесткий удар в висок, будто камнем, и потерял равновесие. Он был ранен, однако вывернулся из рук тех, кто его подхватил. С именем отца на устах он поднялся и увидел Пануфли, который в растерянности шел галопом с трупом хозяина в седле по полосе ничейного пространства.

Тогда Роберт во второй раз засунул в рот два пальца и испустил условный свист. Пануфли услышал и повернул свой путь к стенам, однако медленно, мелким и торжественным скоком, чтобы не потревожить всадника, уже не стискивающего ему мощной хваткою бока. Он вернулся с легким ржанием, как бы исполняя павану по опочившему хозяину, и передал его прах Роберту, который закрыл эти выкаченные заледенелые очи и отер чело, испачканное кровью, почти уже свернувшейся, в то время как ему самому еще горячая кровь из раны бороздила щеку.

Кто знает, не затронуло ли ему этим ударом зрительный нерв. На следующий день на выходе из собора Святого Евасия, в котором Туара организовал торжественное погребение господина Поццо ди Сан Патрицио де ла Грив, Роберт с трудом выдержал свет дня. Может быть, глаза были разъедены слезами, но с этой поры они у него начали болеть. Современные исследователи психики сказали бы, что, поскольку его отец удалился во владение тени, в эту же область хотел войти и Роберт. Он очень мало ориентировался в вопросах психологии, но как фигура речи подобное допущение вполне могло бы очаровать его, особенно в свете (или в тени) тех событий, которым было предуготовано произойти потом.

Вот так старый Поццо расстался с жизнью ради принципов, что мне кажется великолепным, но Роберт не думал того же самого. Все превозносили геройство отца, Роберту надлежало гордиться утратой, а он ревел. Помня, что отец говорил, что благородный человек обязан выдерживать, не увлажняя глазниц, удары карающей судьбы, он извинялся за слабость (перед родителем, который уже не спрашивал у него отчета) тем, что сиротеет впервые. Он думал, что постарается привыкнуть к тому, не понимая, что к утрате отца привыкать бессмысленно, все равно она не повторится никогда; с таким же успехом можно оставить рану открытой.

Но чтоб придать какой-то смысл произошедшему, он не мог опять не вернуться своими мыслями к Ферранту. Феррант, преследуя его незаметно, передал врагу известные Роберту секреты; вслед за тем бессовестно перешел на сторону врага, дабы взять Иудину награду; отец, осознавший тягостную истину, пожелал кровью смыть позор с чести семьи и осиять биографию Роберта блистательною отчею отвагой, дабы очистить от подозрительной тени, которая незаслуженно пала на него, неповинного. Чтобы это самопожертвование не было напрасно, Роберт обязан был в честь отца являть примеры доблести, которая всеми людьми в Казале ожидалась от отпрыска героя.

У него не было выбора. Отныне он, законный властитель Грив, был наследником имени и состояния семейства, и Туара не мог уже его использовать для мелких дел, хотя не рисковал употреблять для крупных. Так, оставшись один по причине именно этой репутации знаменитого сироты, он оказался еще более одиноким, не получая даже утешения в действовании; среди азарта осады, не имея обязанностей, он мучил себя вопросом, как ему проводить дни в осажденной цитадели.

8. Занимательная наука изящных умов той эпохи[1]

Придержав на мгновение наплыв воспоминаний, Роберт осознал, что вызывает в памяти смерть родителя не из благого порыва растравить Филоктетову язву, а по чистой акциденции: призрак отца шел за призраком Ферранта, а последний был соединен с призраком Постороннего на «Дафне». Эти двое облизнечились в его сознании до такой меры, что он решил изжить одного из них, слабейшего, а с сильнейшим побороться и его побороть

В сущности, сказал он, в осадные дни чуял ли я по-прежнему дух Ферранта, двойника? Нет. Почему нет? Потому что Сен-Савен убедил меня в его мнимости.

Действительно. Роберт привязался к господину де Сен-Савену. Тот пришел на отпевание. Роберт принял это как знак приязни. Вдалеке от алкогольных паров Сен-Савен был благороднейшим человеком. Невысокого роста, нервный, прыткий, со следами на лице, видимо, тех парижских рассеяний, о которых рассказывал, он, должно быть, не достиг тридцати лет.

Он извинился за несдержанность памятной ночи, не за суть высказываний, а за резкую манеру. Он расспросил о господине Поццо, и Роберт был Сен-Савену благодарен за то, что он если не испытывал, то, по крайней мере, изображал живой интерес. Роберт рассказал, как отец учил его фехтованию; Сен-Савен задавал вопросы, оживился при описании одного приема, обнажил шпагу на площади и пригласил Роберта продемонстрировать штосс. Либо выпад был ему известен, либо искусство велико, так как он отпарировал батманом очень ловко, но согласился, что хитрость была первостатейной боевой школы

Чтоб отблагодарить, он показал Роберту один из знаемых им приемов. Он пригласил Роберта в стойку, и, обменявшись несколькими финтами, когда был атакован, Сен-Савен неожиданно соскользнул на землю, Роберт в удивлении открылся, а тот, чудом ожив, пружинно выпрямился и отрезал лезвием пуговицу с Робертовой сорочки — в знак того, что, захотевши, мог бы пропороть его очень сильно.

— Нравится, мой друг? — спросил он Роберта, сдававшегося и благодарившего за показ. — Это Удар Баклана, или Удар Чайки, зовите как звучнее. Кто бывал на море, знает, как эти птицы пикируют вниз почти отвесно, но над поверхностью воды их падение замирает, и они резко взмывают ввысь с добычею в клюве. Этому удару учатся долго, не всякий раз он задается. Вот и молодчику, который изобрел его, однажды он не задался. Он отдал мне и жизнь и драгоценный свой секрет. И больше огорчался, я полагаю, о последнем

Они бы еще фехтовали, не соберись маленькая толпа жителей.

Прекратим, — сказал Роберт. — Не желаю, чтобы кому-то показалось, будто я забыл траур.

— Вы лучше чтите отца тут, со мной, — сказал Сен-Савен, — репетируя его уроки, нежели когда вы забивали себе уши дурной латынью в церкви.

Тогда Роберт спросил Сен-Савена:

Вы не боитесь кончить жизнь на костре?

Сен-Савен омрачился. — Мне было примерно столько лет, сколько вам сейчас, один приятель был мне как старший брат. Я звал его именем древнего философа — Лукреций. Он тоже был философ и вместе с тем священник. Он кончил жизнь на костре в Тулузе, перед казнью ему вырвали язык, потом придушили. Вот видите, мы, философы, острим языком не только ради бонтона, как полагал тот давешний господин за ужином. Пусть язык послужит для дела, пока его не вырвали. Или зубоскальство в сторону: язык должен побеждать предрассудки и исследовать природную причину вещей.

Так вы действительно не веруете в Бога?

Не нахожу для этого оснований в природе. И я не единственный. Страбон замечает, что галисийцы не имели никакого представления о верховном существе. Когда миссионеры стали рассказывать о Боге туземцам Западных Индий, как свидетельствует Акоста... кстати, он иезуит.... им пришлось позаимствовать слово испанского языка «Dios».

---

[1] Сочинение римского иезуита, француза Франсуа Гарасса (первая пол. XVII в) «La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps»

Вы не поверите, но в языке туземцев не содержалось соответственного термина. Если идея Бога не наблюдается в живой природе, значит, эта идея выдумана людьми... Ну, не смотрите же на меня, как будто я не дворянин твердых принципов и не преданный слуга королю. Истинный философ не требует переменить порядок вещей. Он приемлет этот порядок. Он лишь взывает, чтоб ему позволили питать собственные мысли, утешающие сильную душу. Что до других... На счастье, существуют епископы и папы, удерживающие толпу от бунта и мятежа. Упорядоченное государство вынуждает к однородному поведению. Религия необходима для народа. Умный человек поступается частью независимости, чтобы общество было стабильно. Я полагаю себя человеком почтенным. Я верен дружбе; не лгу, то есть лгу только в любовном разговоре; люблю познание и сочиняю, как уверяют окружающие, неплохие стихи. Поэтому дамы считают меня галантным. Я бы хотел писать романы, поскольку они изрядно в моде, но вспамятуя многие из них, зарекаюсь от написания даже и единого.

— Какие романы?

— Нередко, глядя на Луну, я воображаю, что пятна на ней — это пещеры, города, острова, а сияющие пространства — моря, блистающие на солнце как зеркальные поверхности. В моем уме складывается повесть их королей, их войн и революций или несчастливых любовников, которые по ночам вздыхают, созерцая нашу Землю. Мне бы хотелось рассказать о распрях и о приятельстве частей нашего тела, как руки состязаются с ногами, как вены любодействуют с артериями, кости — с костным мозгом. Ненаписанные романы гоняются за мной. Когда я у себя в спальне, мне кажется, что я ими окружен, бесенятами, и один таскает меня за ухо, другой — за нос и каждый: «Господин, возьмитесь за меня, я великолепен». Затем я вижу, что возможно разыграть не менее любопытную историю, устроив забавную дуэль, например если в знак победы вынудить противника отрешиться от Бога и после этого проткнуть, чтобы он ушел на тот свет отреченцем и попал прямо в ад. Ну же, де ла Грив, шпагу наголо, попробуем снова, защищайтесь! Ваши пятки на одной линии, это дурно, теряете устойчивость. Голову не держите так прямо, потому что протяженность от плеча до вашей макушки открывает слишком большое пространство для моих фланконад.

— Но я всегда могу парадировать, ведь шпага на вытянутой руке.

— Тоже неправильно, рука быстро устанет. Вдобавок я занял ангард по-немецки, а вы остались в итальянской стойке. Это плохо. Когда перед вами противник в необычном ангарде, старайтесь повторить его стойку как можно точнее. Однако вы не рассказали ничего о себе. Чем вы занимались до того, как угодили в сию долину праха

Никто не очаровывает юношу сильнее, чем старший приятель, блистающий двусмысленными парадоксами. Юноша всеми силами старается превзойти того. Робер распахнул душу Сен-Савену. Чтобы казаться интереснее, а первые шестнадцать лет его жизни не так уж много давали к тому материала, рассказал об одержимости неизвестным близнецом.

— Вы начитались романов, — сказал Сен-Савен. — И даже стараетесь прожить один из них. Отлично, так как задача романов — обучать развлекая, а обучают они распознавать капканы, которые ставит нам жизнь.

— Чему же может научить, по-вашему, роман о Ферранте?

— Роман, — пояснил на это Сен-Савен, — всегда основывается на путанице персоны ли, действия, места, времени либо обстоятельств. Из этой основной путаницы проистекают частные недоразумения, подмены, казусы и перипетии, а вслед за тем неожиданные и приятные узнавания. Путаницей может выступить мнимая смерть героя, или когда убивают одного вместо другого, или бывают ошибки в количестве, это когда любовница полагает умершим одного любовника и соединяется с другим, или ошибки в качестве, то есть когда к ошибочному выводу приходит суд чувств, или когда хоронят того, кто не умер, полагая покойным, а он под воздействием дурманного былья, или еще превратность отношения, когда одного облыжно выводят убийцею другого, или превратность средства, как если закалывают, используя такой кинжал, в котором лезвие не вонзается в тело, а уходит в рукоять и надавливает там на губку, пропитанную кровью... Не говоря уж о подмененных посланиях, о ложных слухах, а также о переписке, не доставленной вовремя либо доставленной не в то место или не тому адресату. И из всех названных стратагем самая приветствуемая, но чересчур избитая, это та, которая пред-

ставляет ошибочное принятие одного лица за другое, объяснение каковой погрешности заключается в двойничестве... Двойник, или Сосий греческой комедии, это отражение, которое у героя маячит за плечами или предшествует ему во всяких обстоятельствах. Изумительная уловка, при которой читатель отождествляет себя с персонажем и делит с оным смутную боязнь Брата-Противоборца. Но вы видите, до чего подобен машине человек; достаточно обернуть колесико на поверхности, чтоб зашевелились другие в его нутре; Брат и противоборье не иным являются, как отражением боязни, которую всякий питает к самому себе, к тайникам своей души, где содержатся неудобовысказуемые страсти, или, как называют их в Париже, концепты, глухие невыразимые концепты. Поелику доказано, что есть неуловимые помышления, которые впечатлеваются в душу, даже когда душа не сознает того; потаенные мысли, бытие которых доказывается из той данности, что сколь ни мало каждый сам себя исследует, не преминует обнаружить, что в сердце у него любовь и ненависть, мед и раствава, хотя и не умеет точно припомнить те рассуждения, которыми эти чувства рождены...

— Значит, выйдет, Феррант... — заикнулся Роберт, а Сен-Савен продолжил:

— Феррант — замена ваших страхов и ваших стыдов. Очень часто люди, чтоб не признаваться себе, что они распорядители своей жизни, видят ее как роман, движимый взбалмошным обманщиком — сочинителем.

— Но что за смысл имеет моя парабола, сочиненная бессознательно?

— Кто знает? Вдруг вы не любили вашего папашу настолько крепко, как сами верите, и опасались суровости, с какой он требовал от вас быть добродетельным, и выдумали его виноватость, чтобы затем покарать его, не собственной виной, а чужою.

— Сударь, вы говорите с сыном, оплакивающим возлюбленного отца! Полагаю, что тяжелейший грех — внушать непочтительность к отцу, нежели даже к Создателю!

— Полегче, полегче, милый де ла Грив! Философ смеет критиковать обманные поучения, которыми нас напичкивали, и среди них — бессмысленное требование почитать старость, как будто бы не молодость — наивысшее благо и наивысшая доброта. Ну по совести, молодой человек, способный замышлять, судить и действовать, не более ли пригоден к управлению семьей, чем расслабленный, на седьмом десятке, обморозивший сединой и волосы свои и характер? То, что мы почитаем за осмотрительность в наших старцах, не что иное, как панический страх перед действием. Вам угодно подлежать таким, которые от лени утратили упругость мышц, чьи сосуды заскорузли, чьи соки испарились и костный мозг усох во внутренности костей? Если вы обожаете женщину, не по причине ли ее красот? Вы ведь не продолжаете преклонять пред нею колена, когда возраст обращает ее в привидение когдатошних прелестей, пригодное прежде всего напоминать вам неминуемую смерть? И ежели вы так обходитесь с вашими любовницами, почему бы не так же обойтись и с вашими старцами? Вы мне скажете, что старец вам родитель и что небеса обещают вам многие лета за то, что вы его обиходите. Но кем это сказано, я спрашиваю? Кем? Евреями-долгожителями, понимавшими, что просуществовать среди пустыни они сподобятся, лишь поработивши порождения собственных чресл. Вы думаете, что небеса прибавят вам хотя бы один день жизни за то, что вы овечка перед батюшкиной волею? Что пыль, развеваемая перьями в пылу ваших почтительнейших поклонов пред стопами родителя, способна излечить злокачественный нарыв, зарубцевать в вас дырку от шпаги или вывести камни из пузыря? Коли б так, лекаря не прописывали бы вам обычную гадость, а рекомендовали бы против итальянской болезни четыре реверанса до еды перед высокочтимым вашим патриархом и поцелуй высокочтимой родительницы, прежде чем укладываться спать. Вы скажете, что без отца вас не было бы на свете, ниже его бы не было помимо его родителя и так все выше и выше вплоть до Мельхиседека. В то время как отец вам повинен, а не вы ему, ибо расплачиваетесь многими слезными годами за одну секунду приятной для него щекотки.

— Вы сами не верите в то, что говорите.

— Не верю. Почти. Но философ подобен поэту. Последний сочиняет идеальные послания идеальной нимфе, дабы промерить лотом поэтического высказывания глубину собственной аффектации. Философ поверяет хладность собственного взора, хочет видеть, вплоть до которой степени он способен подточить твердыню ханжества. Я не стремлюсь укоротить почтение ваше к родителю, поскольку вы рассказываете, что он

дал вам полезные уроки. Но не печалуйтесь слишком сильно при воспоминании о нем. Я вижу у вас слезы...

— Это не от печали. Наверное, ранение в голову ослабило мне глаза.

— Пейте кофий.

— Кофий?

— Попомните, он входит в моду. Вылечивает от всего. Я вам достану кофию. Он сушит хладные гуморы, гонит ветры, усиливает печень, и нет великолепнейшего средства от водянки и чесотки. Освежает сердце, облегчает от маеты в желудке. Паром кофия пользуют от слезотечения, звона в ухе, от насморка, отделения носовых мокрот, называйте как угодно. И еще, похороним вместе с вашим папашею того неудачного брата, которого вы сочинили. Далее. Заведите себе любовь. Она поможет лучше, чем кофий. Огорчаясь из-за живого существа, забудете горечь по мертвому.

— Я еще не любил женщину, — порозовев, признался Роберт.

— Не обязательно женщину. Это может быть мужчина.

— Сударь! — завопил Роберт.

— Вот видно, что вас воспитывали в деревне.

Вне себя от смущения, Роберт начал прощаться, сославшись на глазное нездоровье. И положил конец свиданию.

Пытаясь отгородиться от всего, что услышал, Роберт убедил себя, что Сен-Савен шутил. Как на дуэли, показывал те уколы, которые модны в Париже. А Роберт показал себя провинциалом. И не только; выслушивая с серьезностью шальные речи, согрешил, а этого бы не случилось, прими он их сразу же за шутку. Теперь же удлинился перечень совершенных им преступлений; он склонил ухо к осквернению веры, приличий, государства и почтения к семье. Обдумывая сии проступки, он отуманился еще горчее: вспомнил, что отец его опочил, имея на устах святохульство.

9. Подзорная труба Аристотеля[1]

На другой день он опять молился в соборе Святого Евасия. Он искал там прохлады; в тот первоиюньский междень солнце палило полупустынные улицы — точно так же и ныне на «Дафне» ощущался жар, накатывавший от краев бухты, борта корабля не спасали, дерево калилось как на углях. Но ему хотелось не только охладиться, а и покаяться в своем и отцовом прегрешении. Он остановил священника в нефе, тот сразу же сказал, что не того прихода, но, увидев глаза юноши, все-таки согласился и уселся в исповедальню слушать.

Отец Иммануил, не престарелый годами, имел около сорока и по описанию Роберта, был «полносочен и розовощек, при лице горделивом и приветном». Роберт расположенный к нему, высказал все терзания. Прежде всего он упомянул об отцовом богохульстве. Верно ли, что из-за этого отец не состоит сейчас в объятиях Отца, а терзается в преисподне ада? Исповедник задал несколько вопросов и вместе с Робертом пришел к заключению, что в какой бы миг своей жизни старый Поццо ни вынужден был распроститься с земной юдолью, вероятность подобного исхода, то есть когда он суесловил именем Господним, была достаточно велика. Такую пагубную привычку заимствуют у простонародья, и помещики области Монферрато полагали, что это очень лихо — выражаться в обществе себе подобных, как грубые землепашцы.

— Видишь ли, сынок, — подвел итог исповедник. — Твой отец опочил в миг, когда им совершалось одно из тех великих и благородных Деяний, за которые, по поверью, причитается доступ в Парадиз Героев. Так вот, вообще-то я не думаю, будто подобный Парадиз имеет место, и полагаю, что в Царствии небесном сожительствуют в священном согласии Властодержатели и Нищебродники, Самоотверженцы и Малодушные, и неупустительно Милостивый Господь не отринет твоего родителя из пределов только из-за того, что у него не то навернулось на язык, когда голова была вся занята исполнением

[1] Трактат по эстетике туринского иезуита отца Эмануеле Тезауро (1591—1660) «Il Cannocchiale Aristotelico» (1654).

геройства; рискую даже предположить, что в подобные моменты любое такое Восклицание может использоваться для призывания Господа во Свидетели и Судии благого поступка. Если ты все же продолжаешь крушиться, то помолись за спасение отчей души и закажи за него мессу, не столько чтобы вынудить Господа переменить его суд, так как Господь не флюгарка, чтобы вертеться туда и сюда из-за первого сквозняка, а ради умиротворения твоей собственной совести.

Тогда Роберт признался, какие соблазнительные речи он слышал от друга; тут отец Иммануил безутешно развел руками.

— Сынок, я мало знаю Париж, но, слушая рассказы, просто даешься диву, сколь изобилен Безрассудниками, Наглецами, Вероотступниками, Доносителями, Интриганами этот новый Содом. Между оных нередки Лжесвидетели, Мощехитители, Осквернители Распятий, и такие, кто снабжает деньгами неимущих, дабы те отрекались от Господа, и даже такие Люди, которые для издевательства окрестили собак... И это называется «следовать моде века». Во храмах сейчас уже не звучат проповеди, там прогуливаются; там посмеиваются, укрываются за колоннами, желая докучать женщинам, и слышится непрерывное бормотание даже во время Вознесения Даров. Под соусом философствования, изводят тебя злонамеренными вопросами: зачем Господь ниспослал миру заповеди? зачем запрещено прелюбодеяние? зачем Отпрыск Божий воплотился? И каждый и любой ответ они используют в оправдание атеизма. Вот они, Благородные Умы нашего времени: Эпикурейцы, Пиррониане, Диогенисты и Либертины! Так не наклоняй слуха к этим Искусителям, они заманщики от Лукавого.

Обыкновенно Роберт не злоупотребляет заглавными буквами, как грешили сочинители его эпохи. Но когда он пересказывает высказывания и сентенции отца Иммануила, заглавные буквы преизобилуют, как будто святой отец не только писал, но и выговаривал слова с некой особой торжественностью — признак великой и очаровательной красноречности. И действительно, от всех этих его слов Роберт испытал такое успокоение, что, выйдя из исповедальни, пожелал еще некоторое время говорить с отцом Иммануилом. Он узнал, что священник — иезуит, что он прибыл из области савойцев и является персоной далеко не последнего разбора в городе, ибо исполняет обязанность наблюдателя, уполномоченного герцогом Савойским; это было в порядке вещей при осадах того века.

Отец Иммануил охотно состоял в своей должности. Мрачная осадная жизнь более способствовала успешности занятий, нежели рассеянный Турин. На вопрос, в чем состоит его наука, он отвечал, что, подобно астроному, созидает Зрительную Трубу.

— Ты не мог не слышать о том Астрономе Флорентийце, который для объяснения Мира использовал Зрительные стекла, гиперболу очес, и с Подзорною трубою увидел то, что глаза только воображали. Я ценю, когда употребляются Механические Приборы, чтоб разобрать, как принято говорить сейчас, распространенную Вещь. А чтобы расследовать Вещь мыслящую, то есть понять наш подход к постижению мира, мы должны использовать другую трубу, ту, которую уже применял Аристотель, и она не труба и не линза, а Словесная Сеть, Проницательная Идея, потому что лишь благодаря дару Изобретательной Элоквенции возможно постичь сущий Универс.

Говоря, отец Иммануил вывел Роберта из церкви, и, прогуливаясь, они сошли на отсыпной скат перед бастионом, там было тихо в послеполуденный час, редкие пушечные выстрелы как в вате погрохатывали на другой стороне. Прямо перед ними на отдалении были аванпосты имперских войск, но между городом и имперцами лежали поля и луга, в них не было ни солдат, ни повозок, и склоны холмов сияли под лучом.

— Что ты видишь, чадо? — спросил отец Иммануил. На что Роберт, в ту пору несильный красноречием: — Поля.

— Само собою, каждый способен видеть эти Поля. Но хорошо известно, что в зависимости от стояния Солнца, от освещения неба, от часа дня и времени года поля показываются нам в различных видах, будят разные чувства. Мужику, умаянному работой, они представляются Полями, и вся недолга. И неотесанный рыбарь, видя в небе ночные Огненные Знаки, немо их созерцает и боится; но лишь стоит Метеорологам, а по существу Поэтам, додуматься назвать их Кометами — Гривастыми, Бородатыми либо же Хвостатыми; Козами, Балками, Щитами, Факелами и Стрелами, — как эти фигуры речи разъясняют, какие остроумные Символы употребляет Натура, когда пользуется

сказанными Образами на манер Иероглифов, каковые, с одной стороны, соотносятся со знаками Зодиака, а с другой — с Событиями, миновавшими и будущими. А Поля? Смотри сколько можно сказать о них, и чем больше говоришь, тем больше открываешь своему взору. Дышит Фавоний, Земля распахивается, плачут соловьи, павлинятся Деревья, гривастые листвою, и ты проницаешь восхитительный замысел Полей в разнообразии злаковых семейств, вспаиваемых Ручьями, что перешучиваются в отроческой беззаботности. Праздничные поля ликуют, при явлении Солнца открывая лик; радуются радугой улыбок; при явлении Светила упиваются лобзаниями Австра, и хохотанье пляшет на земле, и земля расстилается для нешумливого Счастья, и утреннее тепло преисполняет Поля Довольством, которым они захлебываются в слезоточении рос. Увенчанные цветами Луга отдаются своему Гению и слагают остроумные Гиперболы Радуг. Но в скором времени их Младенчество сознает, что не за горами омертвелость, и смех их смущается внезапною бледнотой, выцветает небо, и Зефир, явившийся с опозданием, развевается над чахнущею Землей. При первом приближении досад зимы скукоживаются поля и цепенеют от хлада. Вот, сын: если бы ты попросту сказал, что поля благовидны, ты бы только описал их зеленоцветие, наглядное и без того; а если ты говоришь, что слышится полей смех, ты даешь мне познать Землю как одушевленного человека, и, обоюдно, я прочитываю на человеческих лицах такие полутона, которые наблюдал на лугах... Вот она, работа наивеликолепнейшей из Фигур из всех — Метафоры. Если Гений, Быстрый разум, а следовательно, и Знание состоят в связывании между собой отдаленных понятий и в нахождении Подобий между вещами неподобными, Метафора, из всех известных фигур самая острая и редкая, единственная способна производить Изумление, из коего родится Услада, как при смене декораций на театре. И если Услада, доставляемая Фигурами, состоит в изучении новых вещей без натуги и многих вещей в малом объеме, вот так же и Метафора, перенося на лету наш рассудок от одного явления к другому, сосредоточивает нам в одном слове более чем один Предмет.

— Но надо уметь изобретать метафоры, и это не под силу такой деревенщине как я, который во всю свою жизнь на эти поля смотрел только во время охоты за бекасами.

— Ты благородная персона и не так уж далек от того чтобы превратиться в такого, которого во Франции называют Honnête homme — светским человеком, не менее ловкого в словопрениях, чем в ратоборстве. Уметь производить Метафоры, а следовательно, видеть мир неизмеримо шире, чем он постижим для неучей, это Искусство, к которому можно приобщиться. Если уж ты хочешь знать, я, живущий в современном мире, где все с ума посходили по многим и изумительным Машинам, из которых изрядное число имеется на вооружении, увы, и у наших осадчиков, я также сооружаю Машины Аристотелевы, которые дают возможность любому и каждому прозревать при использовании Словес...

Спустя несколько дней Роберт познакомился с господином делла Салетта, он служил офицером связи между Туара и городскими властями. Туара сетовал Роберту на казальцев, в надежности которых все больше сомневался. «Не понимают, — говорил он, — что даже и в мирное время Казале в таком положении, что не может дать пропуск ни одному пехотинцу и ни одной корзине провианта без разрешения испанских министров. И что только французский протекторат поставит Казале на уважительное место». Однако от господина делла Салетта Роберт узнал, что Казале не слишком благоденствовал и под мантуанскими господами. Политика герцогов Гонзага была издавна нацелена на сужение казальских свобод, и в последние шестьдесят лет город пережил горечь постепенной утраты многих привилегий.

— Понимаете, господин де ла Грив? — горячился Салетта. — Прежде мы страдали от чрезмерных поборов, однако теперь к ним добавляются все расходы по содержанию гарнизона. Нам не хочется иметь испанцев в доме, но такой ли уж сахар эти французы? За себя мы погибаем или за них?

— За кого тогда погиб мой отец? — спросил Роберт. Господин делла Салетта не сумел ответить ему.

В отвращении к политическим разговорам Роберт пошел к иезуиту Иммануилу через несколько дней в монастырь, где тот располагался, там его направили не в келью,

а в апартамент, который был тому определен под сводами самого тихого клострума. Когда Роберт пришел, тот беседовал с двумя господами, один из них был роскошно разодет; он был в пурпуре с золотыми аграмантами, плащ покрыт золоченым позументом, подбит мехом, камзол оторочен полосой красной материи в крестах, швы отделаны галунами с камушками. Отец Иммануил представил его как альфиера дона Гаспара де Саласара, да еще и прежде Роберт сам по надменному голосу и по обстрижке бороды и волос признал в нем офицера противнической армии. Вторым собеседником был господин делла Салетта. Роберт на какой-то миг обомлел, представив, что угодил в шпионское логово, но затем, подумав, догадался, как догадываюсь и я по приведенному описанию, что на основании этикета осады в те времена некоторые представители осаждающих армий законно допускались в стены осажденных городов для переговоров и для связи точно так же, как господин делла Салетта свободно ходил в лагерь Спинолы.

Отец Иммануил сказал, что именно намеревался продемонстрировать гостям Аристотелеву машину и проводил спутников в комнату, где стояла самая странная постройка, какую только можно себе представить, и я не убежден, что сумею точно воссоздать ее форму по рассказу, включенному Робертом в одно послание к его Даме, поскольку речь идет о чем-то, не встречавшемся в действительности ни до того, ни посейчас.

Итак, в комнате находился обширный не то сундук, не то верстак, в боковой его стороне были вдвинуты ящики, девять по вертикали, девять по горизонтали, следовательно восемьдесят один. Все ряды и сверху и сбоку обозначались награвированными буквами (BCDEFGHIK). На поверхности верстака на пюпитре стояла большая рукописная тетрадь, в тетради были раскрашенные заставки. Справа от пюпитра — устройство из трех валков, разной длины и толщины (самый короткий был самым толстым, и два длинных и тонких могли проворачиваться у него внутри), рукоятка справа позволяла крутить их, причем обороты были у каждого разные из-за различия размера, слева на краях валков были нанесены те же самые девять букв, что и на ящиках в шкафу, таким образом, раскрутив устройство, получались при остановке любые произвольные сочетания из трех букв: CBD, KFE или BGH.

— Как Философ научает нас, Острый разум не в ином коренится, как в умелом проникновении в суть предметов сообразно десяти Категориям, каковы Сущность, Число, Достоинство, Связь, Действие, Чувство, Местоположение, Время, Основание, Обычай. Сущность — это основной действователь каждой Остроты, и надлежит проглядывать в Сущностях сокрытые восхитительные свойства. Каковы известные нам Сущности, перечислено в моей рукописной тетради под буквою А, и, пожалуй, самой долгой жизни не хватит для полного Сущностей перечисления. Я посильно собрал в тетради их несколько тысяч, почерпывая из книг Поэтов и Наукознавцев и из того изумительного Регистра, который находится в «Фабрике мира» Алунно. Итак, к числу Сущностей причисляем, вслед за Всеблагим Вездесущим Богом, и Божественных Персон и Идеи. Тут же вся греческая боговщина: Сказочные Боги, набольшие, срединные и малые, Божества небесные, воздушные, морские, земные и адские, Герои обожествленные, Ангелы, Дьяволы и Духи, Небеса и странствующие Звезды, Небесные знамения и созвездия, Зодиак, Круги и Сферы солнцеворота, Стихии, Испарения, Пары, а за этим вслед — чтобы не утомлять вас перечислением — Подземные Огни и Искры, Метеоры, Моря, Реки, Родники и Озера и Скалы... Добавим Рукотворные тела, именно произведения всяческих Искусств: Книги, Перья, Чернила, Глобусы, Компасы, Квадранты, Дворцы, Храмы и Хижины, Щиты, Мечи, Барабаны, Картины, Кисти, Статуи, Резцы и Пилы, и метафизические Сущности, как Род, Вид, Различие, Принадлежность и подобные Данности.

Отец Иммануил выдвигал ящички своего огромного ларя и показывал, что в каждом внутри наставлены квадратные листики из толстого пергамента, обычно используемого для книжных переплетов:

— Каждый вертикальный ряд соответствует, от B до K, разным словам из девяти категорий Свойств, и для каждой Категории имеется девять ящиков, где обитают Семейства Членов. Verbi Gratia[1], категория Числа вмещает следующие семьи: Семейство Числа по Размеру (среди его Членов мы находим: Большой и Малый, Длинный и Короткий), а также Семейство Числа по Численности (члены: Нисколько, Один, Два и так далее; Мало

[1] К примеру (*лат.*); в итальянском языке — шутливое употребление.

и Много). Далее категория Достоинства, к ней отнесем такие Части: Достоинства Зримые — Видимый, Невидимый, Прекрасный, Уродливый, Светлый, Темный; Достоинства Обоняемые — Аромат, Зловоние; Достоинства Чувствований, такие, как Радость и Грусть. И такие таблички собраны для любой из девяти Категорий. На каждую Табличку занесен один Член, и туда мы приписываем все Предметы, для оного подразделения предназначенные. Это ясно?

Присутствующие в восхищении закивали. Отец Иммануил продолжал:

— Теперь навскидку откроем Великую книгу Сущностей и посмотрим, которая попадется... Карлик. Что мы могли бы сказать, еще до Метафорических Именований, попросту о Карлике?

— Что он недоросток, недомерок, урод... несчастливый, некрасивый, потешный...

— Все это справедливо, — согласился отец Иммануил. — Но трудно предпочесть определение, и вдобавок полагаю, придись мне судить не о Карлике, а, скажем, о Кораллах, навряд бы мне пришло на ум столько же выдающихся черт. Кроме этого, Малость как свойство подлежит категории Числа, Уродство относится к категории Достоинства, и откуда надо начинать? Нет уж, пристойнее препоручиться Судьбе, коей Местодержатели, это мои катушки. Сейчас я запущу их и прочитаю, как вот теперь, что случайно совместились B, B и B. Первая из этих B — это Число, B во втором положении посылает меня заглянуть, внутри категории Числа, в ящик Объема, и там в самом начале ряда, в положении B, мы найдем Маломерность. На этой табличке, где собрано все малое, я прочту, что мал Ангел, могущий быть на острие иглы, и Полюс, единственная неподвижная точка вращающейся сферы; а из отряда веществ малы огненная Искра, Капля воды, каменная Крупица, Атом, из которых, по свидетельству Демокрита, состоят все тела; из отряда Человеков — Зародыш, Зрачок, таранная косточка в ступне — Астрагал; из животных — Муравей и Блоха; из растений — мучная Пыль, горчичное Семя и спора хлебной Плесени; из математических наук — minimum quod sic, точка над буквой i, переплет в шестнадцатую долю, драма академии Специали; из зодчества — каморка, дверная петля; а из басен — Хлебогрыз, мышиный царь в их войне с лягушками; Мирмидоняне, рождаемые муравьями... Но остановимся перечислять, ибо уже и так мы для потехи можем назвать Малорослого человека Урожденным ларчиком, Детской куколкой, Человеческой мукой. Теперь глядите, вот если бы мы восхотели заново развернуть наши валики, чтобы получить тут, к примеру, CBF, буква C отослала бы нас к Достоинствам, B наущала бы выбрать среди Достоинств внутри ящика ту часть, где подобраны Достоинства Зримые, а там на позиции F обнаружились бы слова, описывающие Невидимость. Среди Невидимых содержатся, удивительное соположение, снова Атом и еще Точка, и это позволяет мне описывать моего Карлика как Атом человека, или же Точку плоти.

<...>

Потрясши в воздухе листом, он продолжал читать свою череду определений, осыпая ими незадачливого Карлика, человека короче своего имени; верней бы звать его было зародышем, частью человека, ведь и корпускулы, проходящие со светом через окна, крупнее его; его тельце совокупно с миллионом подобных могло бы протекать, как песок, сквозь тоненький перешеек клепсидры; крошка такой, что где ноги, там и голова; откуда начинается этот плотский сегмент, там он и оканчивается; это линия, загустевшая в какой-то точке; острие иглы; предмет, с коим говорить следует осторожно, дабы дыханием не свеять с места; столь мелкая малость, что не имеет никакого цвета; горчичное зернышко, малое, однако жгучее; тельце, в котором не более, хоть и не менее, того, чего никогда не бывало; материя без формы; форма без материи; тело без тела; чистое явление рассудка; изощрение гения, защищаемое собственным ничтожеством, зане никаким ударом поразить его не удастся; в любую скважину способен укрываться; питаться целый век единственным ячменным зерном; сокращен до такого предела, что невесть, в лежачем, сидячем либо же стоячем положении пребывает; способен утонуть в улиточной скорлупке; семя, гранула, зернышко, точка над i, математическая неделимость, арифметическое ничто...

И он бы продолжал, имея достаточный запас заготовленных сравнений, если бы присутствующие не заглушили его речь рукоплесканьем.

12. Страсти души[1]

Друзья развеивали его иллюзии, а Роберт впутывался в любовные ковы.

Это началось при скончании июля, в сильное пекло. Десять дней как распространялись слухи о первых зачумленных у испанцев. В городе ощутилась недостача еды. Солдатам давали только четырнадцать унций черного хлеба, а за пинту вина казальцы хотели три флорина, то есть дюжину реалов. Саласар в городе, Салетта в лагере испанцев трудились без устали, выменивая пленных офицеров; ими выкупленные давали присягу не касаться оружия. Много рассказывалось о том капитане, теперь на взлете дипломатической карьеры, Мазарини, которого папа уполномочил оговаривать мир.

Небольшие надежды, небольшие эскапады, игра в кошки-мышки в подкопах и контрподкопах, вразвалочку велась осада города Монферрато.

В ожидании то ли мира, то ли помощной армии французов воинственность иссякала. Кое-кто из казальцев замыслил выбраться за городские стены и попытаться сжать хлеба, которые уберегли от конницы и от повозок, не смущаясь ленивыми выстрелами испанцев с дальних позиций их лагерей. Некоторые, впрочем, выходили на работу и с вооружением: Роберт увидел статную, рыжеволосую крестьянку, она откладывала серп, тянулась к мушкету, устраивалась на жнивье под прикрытием колосьев, обнимала ружье ухваткой бывалого солдата, прикладом к румяной щеке, и выпускала заряд по врагам. Те, растревоженные наскоками этой воинственной Цереры, отвечали, и одна пуля царапнула ее по запястью. Ей пришлось ретироваться, кровоточа, но она не прекратила заряжать и палить по неприятельским окопам, что-то выкрикивая. Когда она входила в крепость, испанцы заулюлюкали: «Puta de los franceses!» Она же ответствовала кратко, но гордо: «Пусть я французам и даю, а вам шиш!»

Эта-то девственная краса, квинтэссенция полнокровного пригожества и бранелюбивой досады, в сочетании с намеком на распущенность, оскорбительность которого ее удорожала, разожгли ощущения подростка.

Целый день он слонялся по улицам Казале, чтоб обновить свое видение. Он расспрашивал поселян и услышал, что дева прозывалась, по мнению одних, Анна Мария из Новары, Франческа — по мнению других. В одном трактире уверяли, что ей двадцать лет, что она из ближней деревни и завела шашню с французским солдатом. «Девка что надо, Франческа, огонь», — и многозначительно ухмылялись. Для Роберта его любимая показалась желанной тем паче, что с каждым разом все более украшалась этими непристойными комплиментами.

Через несколько дней, смеркалось, проходя по улице, он увидел ее в темной комнате первого этажа. Она сидела у окна, ловя вечерний бриз, едва унимавший знойную монферратскую припеку, и какая-то лампа, с улицы не видная, из-под окна озаряла ее. Сначала он ее не узнал, рыжая грива была зачесана в узел, свисали только две пряди впереди ушей. Было видно слегка наклоненное лицо, чистейший овал с жемчужными капельками пота, он и сиял, как единственный светоч среди густой полутьмы.

Она шила на низкой подставке, внимательно вглядываясь в шитье, и не обратила внимания на Роберта, который застыл, искоса разглядывая ее облик, вжавшись в противоположный дом. Сердце молотом ходило в груди, Роберт смотрел, как белокурые волосики опушали верхнюю губу шившей. Внезапно она подняла ко рту руку, и рука засветилась в сиянии лампы, в руке была темная нить; забрав нитку в алые губы, она чикнула белыми зубами, и нитка была перекушена лютым махом, взвивом алчной и нежной плоти, и хищница ублаготворилась собственною кроткой ярью.

Роберту нипочем было простоять там ночь, без дыхания, в опасении быть увиденным; жар его леденил. Но очень скоро обожаемая загасила лампу, и расточился дивный призрак.

Он и в другие дни проходил той же улицей, но ее не видел или видел только раз, не будучи уверен, она ли, потому что она сидела наклонившись, шея была розовой и голой и водопад волос закрывал лицо. Матрона за ее плечами, проплывая в этих львиных локонах на ладье овечьего гребня, то и дело оставляла гребень и пускала в работу ногти, ловя

---

[1] Произведение Рене Декарта (1596—1650) «Les passions de l'âme» (1649).

улепетывающую живность, которая от сухого и точного щелчка похрустывала под ногтем.

Роберт, достаточно знакомый с вошебойным ритуалом, впервые открывал для себя его благовидность и воображал, как заманчиво скользить рукой по шелковым струям, подушечками пальцев по дивному затылку и целовать белые полоски кожи, и какое счастье, должно быть, самому преследовать эти мирмидонские когорты, которые населяют лес кудрей.

Ему пришлось отрешиться от мечтаний, потому что толпа зашумела на той дороге, и это было последним разом, когда окно приберегало для него любовное виденье.

Другими днями и другими вечерами он снова приходил, видел в окне матрону и видел другую девушку, однако этой больше не бывало. Он сделал вывод, что его милая живет не в этом доме, а здесь какая-то родственница, к которой она ходит ради работы. Куда удалилась она сама, в течение долгих недель ему не дано было доведать.

Поскольку любовная печаль есть зелье, обретающее лихую крепость в тот миг, когда перетекает из наших уст в слухи друзей, Роберт, безуспешно блуждавший по Казале, тощавший в тщетных поисках, не потаил свое состояние от Сен-Савена. Он рассказал, и даже тщеславясь, поскольку обожатель щеголяет велелепием кумира, а уж в велелепии-то ее он был весьма уверен.

— Ну, любите себе, — беззаботно отозвался на это Сен-Савен. — Ничего нового. Кажется, человек даже находит в этом радость, в отличие от животных.

— Животные не любят?

— Нет. Простейшие механизмы любить не могут. Что делают колеса повозки на скате? Крутятся вниз. Машина имеет вес, вес тяготеет книзу, в повиновении слепому закону, который требует опускаться. Таково и животное: оно тяготеет совокупляться. Не остановится, покуда не совокупится, а потом остановится.

— Но вы же говорили мне вчера, что люди тоже машины?

— Да, но более сложные, чем минеральные машины, чем животные машины. Люди удовлетворяются колебательно.

— Что из этого следует?

— Из этого следует, что вы, любя, и желаете и не желаете. Любовь превращает вас во врага самому себе. Вы страшитесь, что, достигнув желанной цели, разочаруетесь. Вы наслаждаетесь in limine[1], как говорится у теологов, ублажаетесь оттяжкой.

— Это неверно, ибо я... я желаю ее сразу же!

— Если это правда, вы — все еще и всего только деревенщина. Нет, в вас есть тонкость. Если бы вы желали ее сразу же, вы бы ею овладели, как сущая скотина. Нет, вы желаете, чтобы ваше желание распалилось и чтобы в то же время распалилось желание ее. Но если бы ее желание так распалилось, чтобы отдаться вам сразу же, вы б, надо думать, ее бы больше не желали. Любовь выхоливается в ожидании. Ожидание шествует просторами Времени по направлению к Случаю.

— А я что должен делать до тех пор?

— Ухаживать.

— Но... она еще ничего не знает, и должен вам признаться, что не имел оказии к ней приблизиться...

— Напишите письмо и объявите ей о своей любви.

— Но я никогда не писал любовных писем! О, стыжусь сознаться вам, но я никогда не писал писем на моем веку.

— Когда природа бессильна, приходится прибегать к искусству. Я буду диктовать. Полезное упражнение для образованного человека — сочинять письма к дамам, которых не видел. Тут я мало кому уступаю. Не любя, я способен говорить о влюбленности красивее, чем вы, любовью лишенный языка.

— Но я считаю, что каждый любит иначе... Это будет неестественно....

— Если вы выскажете всю свою любовь, и вдобавок естественно, получится чистый смех.

— Но зато это будет правда.

---

[1] На пороге (*лат.*).

— Правда — девица милейшая, но стыдливая, она должна являться под покрывалом.

— Но я изъявлю ей то, что чувствую я, а не то, что выдумаете вы!

— Ну так вот, чтоб вам поверили, прикидывайтесь. Не бывает совершенства, не разубранного притворством.

— Но тогда она поймет, что это писано не к ней.

— Не волнуйтесь. У ней нет оснований сомневаться, что все продиктованное замышлено для нее по мерке. Давайте садитесь и пишите. Позвольте только мне приобрести вдохновение.

И Сен-Савен заскакал по комнате, как вроде, описывает Роберт, пчела, возвращающаяся к сотам. Глаза его блуждали, будто он вычитывал из воздуха послание, еще не существовавшее. Потом он начал:

— Сударыня...

— Сударыня?

— А как прикажете начинать? Эй ты, казальская шлюшонка?

— Puta de los franceses, — не удержался и пробормотал Роберт, изумленный тем, что Сен-Савен ради красного словца угадал если не истину, то хотя бы клевету на его даму.

— Как вы сказали?

— Ничего. Пусть так. Сударыня. Что за этим?

— Сударыня, в изумительной архитектуре универсума было отражено с самого первого дня Сотворения Мира, что я повстречаю вас и я вас полюблю. Но в самых первых строках письма я чувствую: душа моя до такой степени стремится к излиянию, что испаряется из моих уст и от моего пера до того еще, как я заключу.

— Заключу. Не знаю, будет ли это понятно...

— Высказывания тем превыше ценятся, чем более они ощетинены затруднительностями, и тем любезнее откровение, если оно немереных сил нам стоило. Нет, надо повысить тон. Значит, вот как... Сударыня!

— Как, опять?

— Да. Сударыня, для такой дамы, которая хороша, как Альцина, предугадательно наинеприступнейшее из прибежищ. Полагаю, что неким заклинанием вы были отнесены в далекий край и обителью вашей сделался новоявленный Пловучий Остров, коий ветром моих воздухновений отнесся на отдаление, его же я преодолеть усерден, во пребывание антиподов, где и подступы загорожены льдами... Я вижу, чем-то вы смущены, де ла Грив. Вам даже это кажется посредственным?

— Нет, мне это... я сказал бы обратное...

— Не извольте бояться, — отвечал Сен-Савен, превратно истолковав, — мы еще туда всунем обратный контрапункт. Далее. Допускаю, вашим прелестям придано право пребывать на отдалении, как Богиням то приличествует. Но возможно ли не ведать, что Богини благосклонно принимают хотя бы фимиамные пары, которые мы к ним от низу возжигаем? Коль так, не отриньте моего поклонения! Понеже вы облечены в высочайшей степени и прелестью и красотой, вы обратите меня в ничтожество, воспретив превозносить в обличии вашем два из наиценнейших божественных атрибутов... Так звучит лучше?

Роберт на этом месте был поглощен раздумьями о том, что главная неразрешенная проблема — обучена ли дева из Новары грамоте. Преодолев этот риф, все, что она прочитает, несомненно одурманит ее точно так же, как одурманивался он сам, пиша.

— Боже мой, — сказал он. — Этак она с ума сойдет...

— Сойдет, сойдет. Продолжим. Нисколь не утративши моего сердца вместе со свободой, кою имел препоручить вам, всякий день наблюдаю, как оно разрастается, обретая такие размеры, что, как если бы его одного недоставало для моей великой любови, оно размножилось по всем моим артериям, и в них я ощущаю любовное дрожанье.

— Боже мой.

— Не воспаляйтесь. Это разговоры о любви, а не любовь. Извините, о Владычица, мне отъявленность отчаяния или, скажу лучше, не отягчайтесь ею, ибо не слыхано, чтобы владетели смущались гибелью своего невольника. О, и я почту свою судьбину завидною, поскольку вы озаботились тем, чтобы свести меня к погибели: если даже по крайности вы удостоите меня ненавистью, это скажет мне, что я не окончательно для вас

безразличен. Так и смерть, которою вы полагаете истребить меня, воспримется мною как предпочтенье. Приди, желанная смерть; если любовь состоит в том, что две души созданы для того, чтобы быть едины, когда одна сознает, что другая ее не слышит, она может только умереть. И об этом — покуда жизнь еще не покинула мои телеса — душа моя, отлетая, шлет вам оповещение.

— Отлетая, шлет вам?

— Оповещение.

— Переведу дух. В голову ударяет.

— Держите себя в руках. Не путайте любовь с искусством.

— Но я ее люблю, люблю, понимаете?

— Я — нет. Потому вы и обратились ко мне. Сочиняя, вы не должны думать о ней. Думайте, ну, к примеру, о господине Туара...

— Как вы можете...

— Не вскидывайтесь. В конце концов он интересный мужчина. Пишите же. Сударыня.

— Еще раз?

— Да. Сударыня, вдобавок ко всему я обречен опочить ослепнув. Не вы ли в два аламбика претворили мои очеса, гоня из них жизнь по капле? И отчего происходит, что, чем больше взоры мои увлажняются, тем пылают сильнее? Мой родитель, излепил ли он не из глины мое туловище, давшей существование первому человеку, а из извести, и влага, точимая очами, гасит ее? И отчего происходит, что изничтоженное умеет прозябать и изыскивает новые слезы, дабы изничтожать меня беспредельно?

— Не слишком?

— К торжественному случаю — торжественное сравнение.

Роберт уже не возражал. Ему казалось, что он уже не он, а Новарская дева, и что он ощущает все то, что она ощутит, когда прочтет эти строки. Сен-Савен диктовал.

— Вы оставили в сердце у меня, его покидая, наглую захватчицу, и она есть ваша тень и бахвалится, будто властвует надо мною в жизни и в смерти. Вы удалились от меня, как монархи отходят от лобного места из нежелания выслушивать мольбы пытаемых о помиловании. Если моя душа и моя любовь представляют собою два чистейших вздоха, когда буду умирать, я закляну Агонию, дабы вздох любови моей расставался с телом в наипоследнюю очередь, и тем образом совершу — в виде последнего подношения — чудо, которым вы сможете гордиться: хотя бы миг, но о вас продолжит воздыхать тело уже бездуховное.

— Бездуховное. Конец?

— Нет, погодите, нужен финал с вывертом...

— Как это?

— Усилие ума, которым будет подмечена неслыханная до этой поры связь между двумя предметами, превосходящая любое наше соображение так, чтобы в этом занимательном упражнении таланта весело затмилось всякое понятие о сущности вещей.

— Я не понял...

— Сейчас поймете. Вот, повернем вспять все сказанное прежде, вы еще, к счастию, не умерли, и дадим ей возможность воспрепятствовать умиранию. Пишите. Вы, может быть, преуспеете еще, сударыня, меня спасти. Я отдал вам свое сердце. Но как мне существовать без этого двигателя жизни? Не прошу вас вернуть его, ибо только в сладчайшей неволе располагает оно преславнейшей из свобод. Однако прошу, пришлите ко мне в замену сердце ваше, ибо не найти поместилища более достойного, чтоб почтить его. Чтобы жить, вам нет нужды в двух сердцах. Мое же бьется в вашу честь настолько мощно, что может обеспечить вам наивековечнейшее из пыланий.

Он повернулся на каблуках и раскланялся, как артист в ожидании рукоплесканий.

— Что, разве не великолепно?

— Великолепно? Да... но, как бы сказать... немного комично. С чего бы этой даме бегать по Казале и вручать и принимать сердца, подобно разносчику?

— Вы думаете, она полюбит мужчину, который изъясняется как банальный буржуа? Подпишите и запечатайте.

— Но дело не только в даме, а если она покажет кому-нибудь, я умру от позора.

— Не покажет. Она положит письмо в корсет и каждую ночь, зажигая свечку на ночном столике, будет перечитывать, осыпая поцелуями. Подписывайте.

— Но вообразим, к примеру, что она не умеет читать. Ей придется показать кому-то, кто...

— Однако, месье де ла Грив! Не желаете ли вы сказать, что вы влюбились в деревенскую девку! Как, меня заставили растрачивать вдохновение для запугивания хамки? Единственный выход — вызвать вас к барьеру.

— Я сказал для примера. Для фантазии. Мне преподавали, что осмотрительный человек должен допускать вероятности, варианты, среди всех возможных даже самые невозможные...

— Видите, вы тоже научаетесь выражаться таким манером. Но вы допустили нелепицу, среди всех невозможных самую смехотворную. Как бы то ни было, не хочу принуждать вас. Хорошо, вычеркните последнюю фразу и пишите далее под мою диктовку...

— Но, если я зачеркну, придется переписывать лист...

— Вы еще и неусердны. Но муж разума всегда извлекает полезность из сумбура. Зачеркивайте. Готово? Замечательно. — Сен-Савен намочил палец в умывальном тазу, капнул водой на зачеркнутые строки. Бесформенная клякса медленно наливалась чернилами. — Пишите. Извините, Госпожа, за то, что я не сумел уберечь мысль, которая, исторгая у меня эти слезы, ошеломила своей горячностью. Случается, что этнейским огнем вызываются к жизни сладчайшие ручьи солоноватых струй. Но, о сударыня, сердце мое подобно раковине моря, которая, впитывая драгоценнейший пот восходов, порождает жемчужину и с нею совокупно растет. При мысли, что неблагосклонностью вашей восхитится из сердца моего тот жемчуг, который столь ревниво в нем выпестован, сердце тает в хлынувшем из глаз потоке... Несомненно, де ла Грив, сейчас получилось лучше, мы убрали излишества... Лучше к концу поуменьшить эмфазу любовника, чтоб усугубилось сострадание любимой. Подпишите, запечатайте и передайте ей. Потом ждите.

— Ждать чего?

— Север Компаса Осмотрительности указует на то, чтоб, пустив паруса по ветру, дожидаться Благоприятной Ситуации. В этих делах ожидание никогда не вредит. Присутствие усыпляет голод, а расстояние его усиливает. Будучи вдалеке, вы увидитесь львом, представши изблизи, можете показаться мышонком, что родился от горы. Несомненно, вы изобилуете превосходными достоинствами, но достоинства теряют блистательность, если их можно потрогать, а фантазия досягает дальше, нежели зрение.

Роберт поблагодарил и бросился домой, спрятав послание на груди, будто он его украл, будто боялся, что кто-то заберет у него восхитительное похищенное.

Я разведаю, где она, твердил он себе, поклонюсь и вручу ей письмо. Он метался на постели, воображая, как она будет проговаривать слова письма своими губами. Теперь он уже представлял себе Анну Марию Франческу из Новары в свете всех добродетелей, которыми наградил ее Сен-Савен; признаваясь, даже с помощью Сен-Савеновых речей, в любовной страсти, он почувствовал, что страсть возросла; неохотно втянувшегося в игру, вдохновение его воскрылило. Отныне он любил деву из Новары с тем же утонченным бешенством, которого было исполнено письмо.

Пустившись на разыскания той, от которой он был так расположен отдалиться, в то время как пушечная канонада осыпала город, не обращая внимания на опасность, через несколько дней он ее повстречал на перекрестке улиц, несущую колосья, как древнеримская богиня. В смятении он бросился навстречу, не понимая толком, что надлежало сделать или сказать.

Поравнявшись с ней и дрожа, он загородил ей дорогу и сказал: — Прошу позволения...

— Позволения? — со смехом отвечала дева. — Чего нужно?

— Нужно, — пролепетал Роберт, — узнать, какой дорогой ходят к Замку.

Дева мотнула назад головой с развевающейся гривой:

— Туда. — И повернула за угол.

И в этот же угол, в то время как Роберт в замешательстве раздумывал, идти ли, со свистом приземлилось ядро, разнеся садовую каменную ограду и распространив великую пыль. Роберт прокашлялся, обождал, когда пыль сядет, и догадался, что, шествуя ужасно нерешительно по просторным равнинам Времени, он прошляпил Благоприятный Случай.

Чтобы наказать себя, он горестно изодрал письмо и направился к дому, в то время как ошметья его души трепыхались в пыли на мостовой.

Первая неизъясненная любовь убедила его навеки, что предмет страстного чувства располагается далеко, и, думаю, этим определилась вся его участь. В последующие дни он снова пошел по перекресткам: туда, где получил известие о ней; туда, где изучал какие-то следы ее жизни; туда, где слышал чужой о ней разговор и где он сам видел возлюбленную, — и снова закрепил этот план в памяти. Так он снял чертеж Казале в свете сердечной страсти, преобразив улочки, фонтаны, площади в Реку Сердечной Склонности, Озеро Равнодушия и Море Недоброжелательства; израненный город он превратил в Страну собственной ненасытной нежности, в Остров (о, уже тогда! вещие слова!) своего одиночества.

14. Трактат о боевой науке[1]

Болея чумой, лежа в келье у отца Иммануила, он видел сны о полях, об отлогой котловине, в которой повстречал деву из Новары. Потом он выздоравливал, и мысли прояснялись, и он сознавал, что не сумеет вновь обрести ее, потому что очень скоро умрет, или потому, что уже умерла эта дева.

На самом же деле он не умирал, а, наоборот, медленно поправлялся, но не отдавал себе в этом отчета и принимал протекание поправки за утеканье жизни. Сен-Савен навещал его, сообщал устную газету новостей — это когда находился близко отец Иммануил, пронзавший Сен-Савена такими взорами, будто тот явился за его душой. Когда же отец Иммануил оставлял их ради работы (а переговоры в монастыре протекали, казалось, уже непрерывно), они вели философские беседы о жизни и смерти.

— Дружище, Спинола умирает. Вы приглашаетесь на бал в честь его исхода.

— На той неделе умру и я.

— Вздор. У умирающих не такие лица. Но жалко отвлекать вас от мыслей о смерти. Пользуйтесь болезнью для благих упражнений.

— Вы заговорили как священнослужитель.

— Отнюдь. Я призываю не готовиться к иной жизни, а получше использовать ту единственную, что вам дана, чтобы пристойно встретить, когда она придет, ту единственную смерть, которую вам суждено испытать. Нужно обдумать как следует искусство умирания, и тогда мы удовлетворительно выполним упражнение в наш единственный раз.

Роберт рвался вставать, но отец Иммануил не разрешал, считая, что юноша мало окреп, не может кидаться в жерло боя. Роберт намекнул, что спешит видеть некую особу. Отец Иммануил ошибочно рассудил, будто Робертово высохшее тело гложется вожделением к иному телу, и попытался привить ему пренебрежение к женскому роду:

— Сей пустейший Дамский Универс, — говорил он, — опирающийся на плечи новоявленных Атлантесс, оборачивается вокруг Бесчестья и существует под знаками Рака и Козерога в Тропиках. Зеркало, первейший движимый предмет убранства этого мира, никогда не бывает настолько мутно, как когда в нем отражаются Звезды женских очей лукавых, которые превращаются, под влиянием испаряющейся сырости от умопомраченных любовников, в Метеоры, предвещающие напасти Добротолюбию.

Роберт не оценил астрономическую аллегорию и не признал свою зазнобу в портрете светской чаровницы. Он остался лежать в постели, но еще более яро испарял сырость любовного умопомрачения.

Тем временем до него доходили и другие известия, их приносил Салетта. Казальцы колебались, не допустить ли французов кроме замка еще и в цитадель. Теперь им, кажется, становилось ясно, что против общего врага следует объединить силы. Но господин делла Салетта давал понять: сейчас, более чем когда ни то, притом что город, судя по

---

[1] Руководство по фехтованию «Trattato di Scienza d'arme» (1555), написанное миланским философом, математиком, инженером, архитектором и фехтовальщиком Камилло Агриппой (вторая половина XVI в.). В трактате с иллюстрациями, которые до последнего времени приписывались Микеланджело Буонарроти, правила фехтования выводятся из анатомии человеческого тела.

всему, будет вынужден пасть, казальцы, при видимости сотрудничества, в душе своей ставят под сомнение союзный договор.

— Необходимо, — говорил он, — хранить голубиную чистоту в отношении Туара, но быть хитроумными как змеи в случае, если его король после всего надумает продать казальцев. Повоюем: если Казале убережется, в том будет и наша заслуга; но повоюем без излишеств, потому что, если Казале падет, должны быть виноваты французы. — Потом он добавил в назидание Роберту: — Осмотрительный не привязывает себя к колеснице.

— О, французы говорят, что вы торгаши. Никто не видел, чтобы вы воевали, и всем известно, что вы ростовщичествуете.

— Чтобы много прожить, лучше мало цениться. Надколотый горшок не бьется в черепья и служит так долго, что успевает надоесть.

Как-то утром в начале сентября на Казале вылился освободительный дождь. Здоровые и выздоравливающие — все выбрались из-под крыш, чтобы принять на себя струи, смыть следы зараженья. Потоп принес всем бодрость, но отнюдь не излечение, и язва продолжала свирепствовать после ливня, как свирепствовала до. Единственные утешительные новости касались того раззора, который чума творила, подобно как в Казале, и в лагере противника.

Однажды, удерживаясь, хотя нетвердо, на ногах, Роберт выбрел за монастырские стены и увидел на пороге одного дома, отмеченного зеленым крестом, знаком зачумленности, Анну Марию, или Франческу из Новары. Она исхудала, как фигура Пляски Смерти. Уже не снег и гранат, какая она была, а сплошная желть разлилась по ее коже, хотя в изнуренных чертах еще улавливались намеки на былые красы. Роберту припомнились слова Сен-Савена: «Вы ведь не продолжаете преклонять пред нею колена, когда возраст обращает ее в привидение когдатошних прелестей, пригодное прежде всего напоминать вам о неминуемости смерти?»

Девушка плакала на плече капуцина, будто расставаясь с любимым образом. Может быть, погиб ее француз. Капуцин, лицо которого было белее, нежели борода, успокаивал, указывая на небо костлявым пальцем, как бы говоря: «Когда-нибудь там, наверху...»

Любовь рассудочна только тогда, когда тело полно желания и это желание не удовлетворено. Если тело во власти немощи и ему непосильно желать, рассудочная страсть иссякает. Роберт понял: он до того исчах, что любить уже не может. Exit Анна Мария (Франческа) из Новары.

<...>

Сен-Савен был застрелен. В течение кратчайшего срока Роберт потерял отца, возлюбленную, здоровье, друга и проиграл войну.

Не было утешения и от отца Иммануила, не вылезавшего с тайных советов. Роберт вернулся в ординарскую господина Туара, к единственному, кто хоть как-то напоминал ему семью. Пребывая на посылках у коменданта, он и наблюдал развязку войны.

13 сентября явились в замок посланники короля Франции, делегация герцога Савойского и капитан Мазарини. Помощная армия тоже вела переговоры с испанцами. Не последняя удивительность этой осады: французы просили о перемирии для того, чтобы подоспеть и спасти город; испанцы уступали на эту просьбу, потому что и в их лагере, опустошавшемся мором, дела были нехороши, усугублялось дезертирство, а Спинола цеплялся за жизнь зубами. Туара получил от делегаций такие условия перемирия, которые позволяли ему не отдавать Казале в то время, как Казале был уже потерян. Французы, согласно условиям, оставались в цитадели, а город и замок предоставляли испанцам на срок до 15 октября. Ежели к этой дате помощная армия все еще не появлялась, французы, предполагалось, уходят из цитадели и признают себя побежденными. В случае подхода армии испанцы возвращали и город и замок.

До оных пор осаждающие обязывались снабжать провиантом осажденных. Конечно, не вполне таким образом, полагаем мы, должны были проходить осады в те времена. Но именно так в те времена осадам иногда приводилось проходить. Не военные схватки, а настоящие партии в кости, с перерывами, пока противник отойдет по нужде. Или же как на ипподроме: делается ставка на лучшую лошадь. Фаворитом в бегах была ожидавшаяся армия, численность которой все возрастала вместе с возлагавшимися на нее на-

деждами, но которой никто не видел. В Казале, в цитадели, жизнь была похожа на жизнь на «Дафне»: с мечтой об обетованном Острове и с посторонними в квартире.

Если авангарды испанцев и проявили себя довольно прилично, сейчас положение поменялось, в город заходили основные эшелоны, и казальцы вынуждены были сосуществовать с дьявольским отродьем, отбиравшим что попало, кидавшимся на женщин, искавшим городских удовольствий после долгих месяцев лесного и полевого сиденья. Разделенная по-братски между завоевателями, завоеванными и осажденными, в крепости, городе и цитадели правила свой бал чума.

25 сентября пролетел слух, будто скончался Спинола. Ликование в цитадели, растерянность захватчиков, осиротевших, как сиротствовал Роберт. Время тянулось нуднее, нежели недели на «Дафне», вплоть до 22 октября, когда было объявлено, что армия уже в Асти. Испанцы бросились вооружать замок, устанавливать мортиры вдоль берега По, не блюли (Туара негодовал) достигнутых соглашений, по которым при появлении французской армии они должны были убраться. На это испанцы устами господина Саласара ответствовали, что договоренности были в силе вплоть до срока 15 октября, и, коль на то пошло, скорее уж французам полагалось сдать без пререканий город вот уже неделю назад, если не раньше.

24 октября с откосов цитадели заметилось великое бурление среди рядов неприятеля. Туара прикрыл своим огнем подходящих французов. В последующие дни испанцы грузили обозы на плоты и барки и отправляли в Алессандрию, это показалось наблюдателям из цитадели порядочной приметой. Но затем враги принялись наводить понтонные мосты через реку, готовя себе выход на равнину. Тут уж Туара не удержался и начал бомбить их из пушек. Испанцы обозлились и поарестовывали всех французов, еще находившихся в городе, зачем они там медлили, честно сказать, мне непостижимо, но Роберт излагает факты именно так, а я от этой осады готовлюсь ожидать каких угодно несуразиц.

Французы были уже близко, было известно, что Мазарини всеми силами старается предотвратить лобовую сшибку, таково данное ему поручение папы. Мазарини носился от одного воинства к другому, возвращался с донесениями в аббатство к отцу Иммануилу, снова скакал на коне, чтобы передать контрпредложения и тем и этим. Роберт его видел всегда и исключительно с расстояния, в облаке пыли, пылко раскланивающегося со всеми. Обе стороны пока что не страгивались с мест, поскольку первому шагнувшему причитался шах и мат. Роберт в конце концов усомнился, не является ли помощная армия чистым изобретением этого молодого капитана, баюкавшего одной и той же песенкой осадчиков и осажденных.

И действительно, начиная с июня проводился съезд имперских выборщиков в Регенсбурге, и от Франции там присутствовали уполномоченные, среди которых отец Жозеф. На съезде шел передел городов и весей, и, в частности, еще 13 октября были достигнуты соглашения по вопросу о Казале. Мазарини был извещен об этом сразу же, как сообщил отец Иммануил Роберту, и теперь занимался уговариванием и тех, кто приближался, и тех, кто ожидал. Испанцы тоже получали одно за другим известия со съезда, но каждое сообщение расходилось с предыдущим; дошли эти же сведения и до французов, но они опасались, что Ришелье не согласится — и он действительно не соглашался, но будущий кардинал Мазарини уже в те времена начинал действовать по собственному почину за спиною у того, кто состоял в роли его покровителя.

Так обстояли дела 26 октября, две армии выстроились в два фрунта. На востоке, по линии холмов, в направлении Фрассинето вытянулись французы. Напротив, имея реку по левой руке, в ложбине между крепостью и взгорьем — испанская армия, и Туара лупил по ней снарядами со спины.

Гуськом вражеские колымаги выползали из городских стен. Туара собрал эскадрон из немногочисленной оставшейся у него конницы и напустил на обоз испанцев. Роберт умолял, чтоб его включили в экспедицию, но тщетно. Роберт стоял на стене, как на палубе корабля, с которого некуда было высаживаться и можно было только глядеть на обширное водное пространство и на горы недоступного Острова.

Защелкали выстрелы, авангарды пошли на сближение. Туара скомадовал вылазку, открывая второй фронт против людей Его Католического Величества. Кавалерийский эскадрон выскакал из-за стен цитадели в долину, и тут Роберт с бастионов увидел черного всадника, который, не шарахаясь от первых уже летавших пуль, носился от одного

строя к другому, по самой середине, по линии огня, размахивая какою-то бумагой и выкрикивая, как потом доложили близкорасполагавшиеся: «Мир, мир!»

Это был капитан Мазарини. В последних своих перемещениях от одного к другому берегу он уговорил испанцев принять регенсбургские пакты. Война окончилась. Казале оставался у Невера, французы и испанцы покидали город. Видя, как строи рассеивались, Роберт быстро оседлал старого и преданного Пануфли и выехал на место несостоявшегося боя. Он видел, как дворяне в раззолоченных доспехах церемонно раскланивались друг с другом, рассыпались в комплиментах, выплясывали реверансы, на импровизированных столах подписывали и запечатывали соглашения о мире.

На следующий день начались отъезды. Прежде всех ретировались испанцы, потом удалились французы, царила суматоха, заключались неожиданные знакомства, обмены подарками, предложения дружбы, тем временем в городе пухли под солнцем трупы зачумленных, рыдали вдовы, кто-то из обывателей пересчитывал нажитую казну и залечивал французскую болезнь, причем нажитую не от кого иного, как от собственной супруги.

Роберт попытался собрать своих батраков. Но об ополчении Грива не имелось известий. Кто-то, видимо, помер в чуму, другие поразбредались. Роберт предположил, что они возвратились в деревню. Наверное, от них и его мать приняла известие о гибели мужа. Роберт подумал, что должен бы быть рядом с нею в тяжкий час. Но он не умел понять четко и ясно, в чем состоит его долг.

Трудно сказать, из-за чего расшаталась его вера: из-за рассуждений ли Сен-Савена о бесконечно малых и бесконечно больших мирах, о пустоте без Бога и без правил? из-за уроков осмотрительности Салетты и Саласара? или же по вине упражнений в Героическом Остроумии, которое отец Иммануил преподносил ему как единственную науку?

Читая, как он обо всем этом вспоминает во время сидения на «Дафне», я прихожу к выводу, что в Казале, потеряв и отца и себя самого на войне, имевшей много смыслов и никакого смысла, Роберт научился видеть всеобъемлющий мир как хитросплетение ошибок, за которым уже не стоит Автор; а если Автор и есть, он как будто теряется, переиначивая самого себя со слишком многих точек зрения.

Если там Роберт соприкасался с миром, у которого больше не имелось центра, а имелись одни периметры, на «Дафне» он ощущал себя действительно на самой дальней и самой затерянной периферии, ибо центр если и существовал, он был напротив, а Роберт являлся неподвижным сателлитом центра.

15. Часы (в том числе и маятниковые)[1]

Думаю, из-за этой неподвижности вот уже добрых сто страниц я рассказываю о событиях, предварявших высадку Роберта на «Дафну», а на самой «Дафне» не даю случиться ничему. Если дни на опустошенном корабле пустопорожни, нельзя упрекать за это меня, который и так не вполне уверен, что повесть заслуживает пересказа; не виноват и Роберт. Его, в исключительном порядке, можно укорить за то, что он потратил день (слово за слово, а протекло часов тридцать с тех пор, как у него украли яйца), пытаясь вытеснить мысль о единственном варианте, при котором его сидение на корабле приобретало интерес. Он понимал с самого начала, что «Дафна» не так уж непорочна. На этой деревяшке витал или в ней таился некто или нечто, какой-то не-он. Даже на этой развалюхе не было возможности прочувствовать осаду в чистом виде; снова враг был прямо у него в доме.

Ему бы заподозрить нехорошее еще с ночи метафизического объятия с Островом. Тогда, очувствовавшись после бреда, он ощутил жажду, кувшин был пуст, он пошел искать бочонок. Те, что он установил на верхней палубе для сбора дождя, были непомерно тяжелы; в провиант-камере, он помнил, хранились бочонки поменьше. Он спус-

---

[1] Труд голландского ученого Христиана Гюйгенса (1629—1695) «Horologium Oscillatorium». В 1659 году Гюйгенс изобрел маятниковые часы со спусковым механизмом.

тился туда и подхватил первый подвернувшийся — позднее, размышляя, он сказал себе, что как-то уж слишком подозрительно подвернувшийся — и, занеся в каюту, поставил на стол и прильнул к вертку.

Текла не вода, и закашлявшийся Роберт понял, что в бочонке содержался горячительный настой. Причем не вино, определил он как исконный крестьянин, и не перегнанное вино. Тем не менее питье было ему не противно, и в припадке неожиданной веселости он хватил изрядную порцию арака. Он не обеспокоился мыслью, что, если все бочонки в продовольственном отсеке таковы же, может создаться неприятное положение с пресным питьем. Он не стал себя спрашивать, почему во второй вечер, когда он приникал к первому попавшемуся носику в провиантском трюме, вытекала питьевая вода. Только гораздо позднее он уверился, что Некто выставил после первого его посещения свой коварный подарок, причем так, чтобы он попадался первым. Кому-то требовалось довести его до пьяного состояния, получить над ним власть. Если таков был замысел, Роберт подыграл противнику — ретивее невозможно. Не думаю, чтобы он выпил много водки, но для новобранца его разряда даже и нескольких стаканов было в избыток.

Из рассказа явствует, что Роберт пережил наступившие события в состоянии охмеления и что он охотно возвращался в это состояние и в последующие дни.

Как положено запьяневшему, Роберт уснул, но был во власти еще более жестокой жажды. Тягучий сон возвратил его воспоминанием в последние минуты в Казале. Перед отбытием он ходил прощаться с отцом Иммануилом, тот как раз разбирал и упаковывал свою поэтическую машину, отъезжая в Турин. Потом, простившись с иезуитом, Роберт оказался на улице в потоке испанских и имперских экипажей, вывозивших детали осадной техники и бомбардирных орудий.

Именно эти зубчатые колеса и населяли его сон. Слышались скрип шестеренок, шуршанье валов, и эти шумы не могли происходить от ветра, потому что море стояло тихо как масло. В неприятном полубреду, как те, кто при пробуждении воображает, будто сон еще длится, он попытался разлепить веки и опять услышал все то же шелестенье, шедшее либо со второго яруса, либо из трюма.

Он поднялся, болела голова. Для поправки ему не пришло в голову ничего умнее, как снова присосаться к крану. Глотнув, он занемог еще хуже. Вооружился, не с первого раза попавши за кушак кинжалом, многократно осенился крестным знамением и полез вниз по трапу, качаясь.

Под ним, как и предполагалось, проходил вал руля. Он сошел еще ниже и оказался на втором ярусе; пойди он в сторону носа — и попал бы в теплицу. В сторону кормы имелась дверь, которую он раньше не открывал. Оттуда и доносилось сейчас, и очень громко, трескотание многообразное и неоднородное, взаимоналожение многих ритмов, среди которых можно было вычленить и какой-то тик-тик, и какой-то так-так, но общее впечатление давало что-то вроде тик-тик-так-пататам- тюк- стук- тетете-тук; как будто бы за дверью находился целый легион пчел со шмелями, и все они бешено шарахались по самым различным траекториям, бились в стены и стукались о других; жужжало так сильно, что он боялся растворить двери, опасаясь угодить в мельтешню одуревших атомов перенаселенного улья.

После долгого замешательства решился. Прикладом ружья шарахнул по двери, сбил навесной замок и вошел.

Отсек освещался через распахнутый настежь порт и был отведен под часы.

Часы водяные и песочные, солнечные часы, бессмысленно пылившиеся на стенах, но в особенности много было механических, расставленных на стеллажах и полках, движимых медленным опусканием гирек и контргирек, оживляемых колесиками, вгрызавшимися в другие колеса, а те цеплялись за следующие, покуда последняя шестерня не затрагивала то одну, то другую неодинаковую лопаточку на концах вертикального шкворня, так чтобы они описывали полуокружность всякий раз в ином направлении и своим непристойным вихлянием шевелили балансир, а он двигал горизонтальную ось, сопряженную с верхним концом балансира. Были пружинные часы, в которых рифленый конус оборачивался в ритме разматывающейся цепочки, влекомой круговым движением барабана, завладевавшего все новыми звеньями ее.

Некоторые из этих часов прикрывали свою механику ржавыми накладками из железа и окисленной чеканкой и позволяли видеть только медленную пару стрелок; но

большинство выставляло напоказ хрипучую начинку, походя на композиции Пляски Смерти, в которых единственное, что жило, это хихикающие скелеты с гибельной косой.

Все эти механизмы жили. Крупные клепсидры сочили песок, в то время как маленькие почти все уже перепустили в нижнюю половину. Все прочее было скрежетом зубовным и астматической икотой.

Кто попадал сюда первый раз, мог подумать, будто скопление часов простирается бесконечно: задняя стена клетушки закрывалась полотном, изображавшим анфиладу покоев, заполненных до предела часами, одними часами. Но даже разогнав этот морок и принимая всерьез только часы, так сказать, из плоти и крови, было от чего ополоуметь.

Может показаться неправдоподобным (вам, кто читает эту историю с остранением), но потерпевший крушение, среди водочных паров, на брошенном судне, узрев сотни механизмов, выстукивающих почти что в унисон повесть его бесконечного узничества, прежде всего начинает размышлять о самой повести, а не о ее авторе. Размышлял и Роберт, осматривая одну за другой эти игрушки, символы преждевременного старения подростка, приговоренного к медленной смерти.

Il tuon dal ciel fu dopo[1], пишет Роберт. Отрешившись от кошмара, он сдался перед необходимостью раскрыть его причину. Если часы были в рабочем состоянии, кто-то же должен был их завести. А если они были снабжены долговременным заводом, если кто-то закрутил пружины за некоторое время до появления на корабле Роберта, Роберт услышал бы их кряхтенье гораздо прежде, проходя мимо этой двери в предыдущие проведенные на «Дафне» дни.

Будь это только одно устройство, можно было бы допустить, что оно предрасположено к самопуску и что случайно откуда-то приключился первоначальный толчок. Подрагиванье судна? Или чайка влетела в открытый люк и зацепила за рычаг? Разве не бывает, что сильным ветром сотрясается колокол или распахиваются неплотно притворенные ставни окон?

Но чайка не может запустить единым ударом несколько дюжин часов. Выходит, независимо от того, существовал ли Феррант или нет, в присутствии постороннего на корабле невозможно было сомневаться.

Посторонний приходил в часовой отсек и зарядил механизмы. Зачем это понадобилось ему, это был первый вопрос, однако не самый срочный. Вторым вопросом было, куда он после этого делся.

Значит, предстояло исследовать трюм. Роберт сказал себе, что нет иной перспективы, но, продолжая убеждать себя в необходимости действия, мешкал с его исполнением. Он сознавал, что не вполне в себе, и снова вскарабкался на палубу, умылся дождевой водой и, слегка упорядочив мысли, задумался об этом Постороннем.

Это был не туземец с острова и не уцелевший матрос, от которого можно было ждать чего угодно: дневного налета, ночного подкрадыванья, просьб о пощаде, — но только не кормления куриц и не завода автоматов. Значит, на «Дафне» прятался человек образованный и миролюбивый. Может быть, тот, что собрал коллекцию мореходных карт для лоцманской рубки. Что означает — учитывая, что он имеет место и имел его еще до появления Роберта, — что речь идет о Правомочном Постороннем. Прелестно, но остроумная антиномия не умаляла Робертовой тоскливой злости.

Если Посторонний правомочен, с чего же он таится? Опасаясь неправомочного Роберта? А решив прятаться, зачем же он выказывает свое присутствие, заводя механический концерт? Может, человек извращенного рассудка испугался Роберта, но не способен противостоять ему и задумал его погубить, доведя до сумасшествия? Но какой ему в том прок, учитывая, что, оба отверженники на этом рукотворном острове, они бы могли надеяться только на пользу от союза с товарищем по несчастью? Не исключено, подвел итоги Роберт, что «Дафна» хранит какие-то тайны, которыми Этот Самый не расположен делиться с другими.

Значит, золото, значит, алмазы и все сокровища Неизученного Пространства, Соломоновых островов, о которых говорил ему в Париже Кольбер...

Вот тут-то, затронув мыслью Соломоновы острова, Роберт обрел свою догадку. Ну

---

[1] Гром грянул позже (*итал.*). См.: *Umberto Eco,* «Il secondo diario minimo». Примерный перевод для любителей анаграмм: «Тифон, к маяку!»

разумеется! Часы! Что они тут делают, кучи часов на корабле, держащем курс на море, в котором от зари до захода время определяется по солнцу, а больше нечего знать? Неведомый Лазутчик довлекся до этой далекой параллели в погоне, подобно доктору Берду, за Точкой Отсчета! Punto Fijo!

Ну конечно, разумеется, несомненно! Игрою ошеломительной конъектуры Роберт, уехавший из Голландии, ставший соглядатаем по воле Кардинала, назначенный шпионить за тайными манипуляциями британца, засланный тайным агентом на голландский корабль в поисках Отсчетной Точки, обретался в данный момент на чужом корабле (голландском) и во власти Того Самого, неизвестно какой национальности, занятого расследованием именно этой тайны.

16. Диспут о симпатическом порохе[1]

Как Роберт угодил в эту историю?

Он относительно слабо освещает годы, которые протекли с его возвращения в Грив и до входа в парижские салоны. Из рассеянных намеков явствует, что он помогал матери до своего двадцатилетия, вяло правил батраками, ведал молотьбой и севом; но, когда мать последовала за супругом в могилу, Роберт осознал, насколько ему чужд этот быт. Тогда он, по-видимому, доверил имение родственнику, выговорив себе примерный доход, и отправился познавать мир.

Он поддерживал переписку кое с кем узнанным в Казале. Друзья бередили в нем волю совершенствовать знания. Как-то вышло, что он переселился в Экс-ан-Прованс. Роберт благодарно вспоминает два года, проведенные в доме тамошнего дворянина, сведущего в науках, с богатой библиотекой, содержавшей кроме книг произведения искусства, антики и чучела. Благодаря хозяину дома он свел знакомство с учителем, которого почтительно приводит в пример при любой оказии, с Диньским каноником, называемым еще le doux prêtre[1]. Именно от него Роберт взял рекомендательные письма, с которыми неизвестно которого числа и года наконец прибыл завоевывать Париж.

Там он сразу обратился к друзьям каноника. Ему посчастливилось — его ввели в изысканнейшее в Париже место. Роберт рассказывает о кабинете братьев Дюпюи и как его мышление ежедневно, ежевечерне обогащалось в обществе образованных людей. Упоминает и другие кабинеты, посещавшиеся им, где были собрания медалей, турецких ножиков, камней агата, математических редкостей, раковин многих Индий...

На каких перекрестьях он проводил веселый апрель (а может быть, май) своей молодой поры, указывают частые в его записках отсылки к учениям, которые выглядят неуместными в сочетании. Он целыми днями усваивал от каноника, как устроен универс, состоящий из атомов, в согласии с учением Эпикура, и все же замышленный божественным провидением и подчиняющийся ему; а потом, влекомый тою же любовью к Эпикуру, уходил вечерами беседовать с товарищами, все они звали себя эпикурейцами и умели перемежать диспуты о вековечности мира походами к прелестницам не слишком серьезного нрава.

Он описывает ораву беззаботных друзей, они в двадцать лет обладали столькими знаниями, что позавидовали бы пятидесятилетние. Линьер, Шапель, Дассуси — певец и поэт, расхаживавший с лютней; Поклен, переводчик Лукреция, с его мечтами сочинять комедии-буфф; Эркюль Савиниано, прославленный отвагой при осаде Арраса, а ныне занятый сочинением любовных деклараций к воображаемым возлюбленным, зачинщик многих флиртов с юношами из благородных домов, от которых, судя по его собственной болтовне, приобрел итальянскую болезнь, в то же время он подымал на смех одного приятеля, распущенного, как и он, что-де тот «ублажается мужественной любовию» и что простимте-де тому застенчивость, она понуждает его вечно околачиваться за спинами у знакомых.

Понимая, что приобщен к ареопагу достойных духом, Роберт сделался если не

---

[1] Сочинение английского философа, дипломата и ученого Кенельма Дигби (1603—1665) «Oratio de pulvere sympathetico».

[2] Мой милый духовник (*франц.*).

всеведущим, то неприятелем невежества, которое, как ему становилось ясно, торжествовало при французском дворе и в домах забогатевших мещан, чьи книжные полки были заставлены пустыми коробками из левантинской морщеной кожи с именами лучших сочинителей золотом по корешкам.

В общем, Роберт попал в среду так называемых honnêtes gens, которые, хотя в большинстве принадлежали не к кровным аристократам, а к жалованному дворянству, были солью Парижа. Но он был молод, жаден до новых впечатлений и наряду со своими учеными интересами и с либертинскими забавами не оставался холоден к обаянию столбового вельможества.

Много вечеров подряд во время прогулок он жег глазами фасад дворца Рамбуйе на улице Сен-Тома-дю-Лувр, разглядывал фронтоны, фризы, архитравы и пилястры, мозаику красного кирпича, белого камня и темноцветных сланцев.

Он глядел на освещенные окошки, видел, как гости съезжаются, пытался вообразить знаменитый зимний сад, до чего он должен быть великолепен, рисовал в фантазии интерьеры маленького царства, которым восхищались все в Париже, сложившегося вокруг незаурядной женщины, убежавшей от другого двора, порабощенного капризами монарха, непособного оценить истинную утонченность духа.

В конце концов Роберт решился попытать счастья. Приехав из заальпийской земли, он мог рассчитывать на любезный прием в доме госпожи, благорожденной от матери-римлянки, дочери самой древней в Риме фамилии, их имя восходило к знати Альбы Лонги. Не случайно за пятнадцать лет до того почетным гостем замка именно этой дамы был кавалер Марино, являвшийся демонстрировать французам пути нового литературного творчества, затмевающего поэзию древнего мира.

Роберту удалось быть принятым в святилище элегантности и знаний, в круг благородных мужчин и прециозниц (précieuses), образованных без педантичности, галантных без либертинства, веселых без вульгарности, пуристов без пережима. Роберт почувствовал себя уместно в их сборище. Он дышал воздухом большого города, воздухом двора, но его не принуждали пресмыкаться перед требованиями обходительности, которые преподавал ему синьор де Салазар в Казале. Здесь никого не заставляли приспосабливаться к воле властодержателей, наоборот, призывали подчеркивать оригинальность. Не подражать другим, а состязаться — хотя и соблюдая правила хорошего тона — с личностями ярче себя. Нужно было выделяться не куртуазностью, а смелостью; выказывать непринужденность в разумной и содержательной беседе; уметь изящно формулировать глубокие мысли... Сервильность не ценилась, ценился обостренный ум, отважный, как на дуэли.

Он приучался избегать напыщенности, оттачивал умение скрывать натугу и труд, чтобы все сказанное или сделанное казалось естественным даром, чтоб достигалось совершенство в искусстве, которое в Италии именуется непринужденностью, в Испании — despejo.

Привыкнув к просторам Грива, где ветер пропах лавандой, в отеле Артеники Роберт дивился кабинетам, благоухавшим ароматными цветами, везде букеты и корзины — вечная весна. Немногочисленные виллы, которые он посещал до тех пор, состояли из мелких горниц, утесняемых гигантским проемом парадного вестибюля. У Артеники лестница шла в глубине двора, в углу, а главенствовали в доме анфилады кабинетов и зал, с высокими окнами и дверями, симметрично прорезанными посреди стен. На стенах не было обычной унылой штукатурки в колорите ржавчины и кожи. Стены в палаццо Артеники были разноцветные, и Синяя Спальня хозяйки была обтянута синим штофом, расшита золотом и серебром.

Артеника принимала друзей в кровати в комнате, заставленной ширмами, завешанной коврами, чтобы не проникала зима. Она не выносила ни света дня, ни пыланья камина. Огонь и дневной свет разогревали кровь у нее в жилах и приводили к потере чувств. Однажды забыли у нее под кроватью грелку с углями, и у нее приключилась рожа. Она напоминала цветок, не терпящий ни прямого солнца, ни холода, из тех, для которых садовники создают особенный климат. Тенелюбивая Артеника принимала в постели, засунув ноги в мешок из медвежьего меха и нахлобучив на голову спальные чепцы в таком количестве, что, по ее же забавному выражению, глохла на Святого Мартина и снова обретала слух на Пасху.

Хоть уже не была молода, хозяйка дворца имела идеальную внешность: крупная, хорошо сложенная, с чудесными чертами лица. Невыразимо было сияние ее глаз, не внушавших игривые чувства, а внушавших любовь, соединенную с робостью, и облагораживавших сердца, которые они зажигали.

В этих залах хозяйка устраивала, не навязывая, диспуты о дружбе и любви, легко переходя на темы философии, политики, морали. Роберт открывал для себя достоинства противоположного пола в самых рафинированных проявлениях, обожал с почтительной дистанции недостижимых принцесс — красавицу мадемуазель Полетт, прозванную «львицей» за ее гордо разметанную гриву, и прочих дам, умевших сочетать с красотой то остроумие, которое старомодные Академии признавали только за лицами мужского пола.

Окончив несколько классов этой школы, он созрел для знакомства с Владычицей Сердца.

В первый вечер она явилась пред ним в черных покрывалах, завуалированная, как скромная Луна, что прячется под тюлем облак. Молва, le bruit, которая единственная в парижском свете занимала место истины, донесла до него противоречивые вести. Будто она самоотверженно вдовеет, но не по мужу, а по любовнику, и упивается трауром, точно символом утраченного господства. Кто-то нашептал ему, будто она прячет свой цвет кожи, являя собой божественную египтянку, прибывшую из Мореи.

Какова ни была бы истина, от первого шуршанья ее шелков, от легкой поступи, от тайны лика сердце Роберта было пленено. Он озарялся ее блистательной темнотою; воображал ее светозарной птицею ночи; гадал, трепеща, каким волшебством ей удавалось отуманить лучи, осиять сумерки, превратить в молоко чернила, в черное дерево слоновую кость. Оникс лоснился в ее прядях, легкая ткань подчеркивала, овевая, абрис лица и фигуры, посверкивающий серебряной тусклотою небесных планет.

Внезапно, однако, в самый первый вечер их встречи вуаль на мгновенье соскользнула, и он разглядел полумесяц чела и яркую глубину очей. Два влюбленных взора, когда встречаются, скажут друг другу больше, чем могли бы выговорить за день все языки этого мира, обольщал себя Роберт, уверенный, что она на него посмотрела и, посмотревши, увидела. Дома он сел писать письмо.

«Сударыня,

пламя, коим Вы меня накалили, дымит ужасно едко, так что Вы не можете отрицать: от него Ваши очи мрачатся, атакуемые такими почернелыми парами. Сама уж мощность Вашего взора вывалила из моей руки оружие надменности и понудила вопрошать, дабы Вы истребовали жизни моей. Насколько сам я оказал вспомоществование Вашей виктории, я, приступивший к поединку, как некий, кто намеревается быть побежденным, обнажив для Вашего приступа самую беззащитную долю моего тела, сердце, которое и перед этим рыдало кровавыми слезами, и таким образом Вы заране обездолили влагой мой дом и сделали его добычею пожара, которого искрой послужило Ваше хоть мимолетное внимание!»

По его мнению, письмо так изумительно вдохновлялось правилами аристотелевой машины отца Иммануила, демонстрируя Даме натуру единственного из ее знакомцев, способного на подобную нежность, что он не счел неукоснительным подписываться. Он еще не знал, что прециозницы коллекционировали образчики любовных писем, как воланы и фестоны, ради концептов, а не ради отправителей.

Недели и месяцы ответа не было. Владычица Сердца тем временем и впрямь отрешилась от траура, сбросила покрывало и оказалась наконец в сиянии своей отнюдь не мавританской кожи, в шелку блондинистых локонов, во всем великолепии зрачков, уже не прячущихся, — окон Авроры.

Но теперь, имея возможность свободно обмениваться взглядами, он предпочитал, когда они были обращены к другим; он упивался музыкою слов, не для него произносившихся. Он не мог уже жить без ее света, но впитывал свое наслаждение в тусклом конусе тени от другого тела, поглощавшего ее лучи.

Он услыхал, как ее звали Лилеей; конечно, это был прециозный псевдоним прециозницы, он прекрасно понимал, что такие имена даются и берутся для игры. Сама маркиза, хозяйка дома, именовала себя Артеникой, анаграммируя подлинное имя Катерина, и было известно, что два столпа комбинаторного искусства, Ракан и Малерб, предла-

гали варианты: Эракинта и Каринтеа. Тем не менее Роберт был совершенно уверен, что никакое иное имя не могло годиться его госпоже, истинно лилейной в белоснежной благоуханности.

Он посвящал Лилее любовные стихи, систематически уничтожая их как недостойные воспеваемой:

Твой вызывает гнев,
что я твой лик узрев,
Сладчайшая о Лилея,
что в мраке цветет, белея!
Гонюсь за тобою — прочь мчишь;
глаголю к тебе — молчишь...

На самом же деле он вовсе не говорил с нею, разве что взглядами, исполненными агрессивного обожания, потому что, чем сильнее любовь, тем сильнее озлобленность. С дрожью холодного огня, возбуждаемого хилым здоровьем, с душою легкой, как свинцовая пушинка, влекомый на голгофу любви без взаимности, он продолжал отправлять Госпоже неподписанные письма, слагал стихи к Лилее, бережно хранил лучшие из них и перечитывал каждодневно.

Так он слагал и не слал:

Лилея, Лилея, где ты? Где скрылася без ответа?
Лилея, ты свет небес, что просиял и исчез.

Тем увеличивалось ее присутствие в его судьбе. Он проследил вечером, куда она возвращалась с камеристкой («Чрез сумрачный лес прошед, увидел твой беглый след»), и таким образом разведал, в каком доме она жила. Теперь он приходил к этому дому перед часом утренней прогулки, дожидался Дамы и следовал за ней неотступно. Даже по прошествии месяцев он способен был назвать день и час, когда был очарован ее новой прической (и создал стихотворение о косах, «души тросах», змеящихся над чистым ликом), и вспоминал тот волшебный апрель, когда она впервые вышла в пелерине цвета золотого дрока, которая так пристала к летучей ее поступи — лету «солнечной птицы», — и прошествовала при первом весеннем ветре.

Иногда, провождая ее повсюду как соглядатай, он возвращался по собственному пути, обегал кругом квартала и выходил из-за угла ей навстречу; следовал робкий поклон. Госпожа воспитанно улыбалась, удивленная совпадением, и оделяла его беглым кивком не более, чем требовали приличия. Он застывал посередине дороги, подобно соляному столбу. Проезжающие телеги плескали на него, сраженного в любовной баталии.

За несколько месяцев Роберт проиграл примерно пять подобных битв. Он терзался по поводу каждой, как будто она была и первой и последней, и убеждался, что при такой частоте, которая их отличала, они не могли являться результатом случайности: может быть, Госпожа сама как-то способствовала судьбе?

Пилигрим ускользающей святой земли, вечно маемый страстью, он хотел быть ветром, колышущим ей волосы, утренней влагой, ласкающей ее тело, сорочкой, что нежила ее ночью, книгой, которую она нежила днем, перчаткой, гревшей ей руку, зеркалом, имевшим почетное право отражать все ее позы... Он узнал однажды, что ей была подарена белка, и долго думал о забавном существе, как оно, растомленное ее поглаживаниями, прижимает невинную мордочку к девственным всхолмиям, а пушистый хвост касается ее щеки.

Нескромность воображаемой картины его встревожила; виною была горячность. Свои дерзость и раскаяние он впечатлил в сокрушенные строфы, а потом говорил себе, что светский человек может влюбляться как безумец, но все же не как дурак. Только выступив с остроумною речью в Синей Спальне, он получал шанс выиграть любовное ратоборство. Новичок в галантных ритуалах, он скоро уразумел, что прециозницу можно завоевать только силою слова. Роберт слушал дискуссии в салонах, где благородные люди состязались, как на турнире, но опасался, что не готов бросить перчатку.

Имея доступ к ученым кабинета Дюпюи, он начал обдумывать, не попытаться ли пересказать у Артеники основания какой-либо новой науки, еще неведомой в обществе, сопоставив их с наукой нежного сердца. Вскоре вслед за этим благодаря встрече с госпо-

дином д'Игби он и нашел тему своей речи, той самой, которая впоследствии довела его до погибели.

Господин д'Игби, во всяком случае среди парижан он был известен под этим именем, англичанин, встретился Роберту сначала у Дюпюи, а потом в каком-то салоне.

Не прошло и трех пятилетий с тех пор, как герцог Букингем доказал, что и англичанин может прожить жизнь как роман и быть способен на галантные безрассудства. Ему рассказали, что французская королева прекрасна и горда, и этой мечте он подчинил свое существованье. Во имя ее он и умер, проживши длительное время на корабле, где велел воздвигнуть алтарь Владычице. Когда стало известно, что д'Игби, и именно по поручению Букингема, за дюжину лет до того участвовал в корсарской войне с испанцами, мир прециозниц пришел к выводу, что он обворожителен.

Что касается кабинета Дюпюи, там англичан не сильно жаловали. Их ассоциировали с такими личностями, как Роберт Флудд — Robertus a Fluctibus, Medicinae Doctor, Златой всадник и Оксфордский Рыцарь, против которого было написано множество буклетов; его возбраняли за чрезмерную приверженность к оккультным представлениям о природе. Но в их среду все-таки был вхож такой просвещенный священнослужитель, как господин Гаффарель, который по части верования в невиданные дивные дива, по слухам, не уступал никакому британцу, а д'Игби, с другой стороны, продемонстрировал, что способен судить и рядить с великим вежеством о необходимости Пустоты, причем в компании таких первоученых натурфилософов, которые испытывали ужас от всякого, кому был присущ Ужас Пустоты — horror vacui.

Скорее уж репутация д'Игби страдала пред лицом некоторых милых женщин, и как раз потому, что он изобрел притирание для лица, а у дам пошли от того прыщи. Тогда стали шептаться, будто не иначе как по вине сваренного англичанином гадючьего декохта отошла в небытие в позапрошлом году его любимая супруга Венетия. Но все это была клевета завистников, кому не давала покоя выгодная слава его лечения от почечных камней, на основании разведенного коровьего помета и некоторых частей зайца, заеденного псом. Но рассказы о подобном вряд ли бы возбудили энтузиазм в обществах, где принято было заботливо подбирать в присутствии особ стыдливого пола такие слова, где не содержалось ни единого слога, имевшего хоть отдаленно неблагопристойный звук.

Однажды вечером д'Игби продекламировал для собравшихся в салоне стихи одного поэта его земель:

Как праведники, отходя,
Неслышно шепчутся с душой,
Друзей в сомнение вводя:
«Уже не дышит». — «Нет, живой»,—
Так распадемся мы сейчас:
Без бури вздохов, ливня слез;
Спасем от нечестивых глаз
То, что изведать довелось.

Сдвиг почвы — бедствия пример:
Он порождает страх и крик;
Но тихий сдвиг небесных сфер
Всегда невинен, хоть велик.

Любовь земная оттого
Разлук не терпит, что они
Разъединяют вещество,
Составившее суть любви.

Но мы, кто чувством утончен
До несказуемых границ,
Легко снесем такой урон,
Как расставанье тел и лиц.

Ведь наши две души — одна;
Ей страх разъятья незнаком;

Уйду — растянется она,
Как золото под молотком.

А если две — то две их так,
Как две у циркуля ноги:
Вращенье той, что в центре, — знак
Единства с той, что вьет круги.

Центральная, наклонена,
Следит за странствием другой
И выпрямляется она,
Лишь если та пришла домой.

Мы как они: ведь ты тверда,
И путь мой станет образцом
Окружности: у нас всегда
Начало совпадет с концом[1].

Роберт вслушивался в это и взирал на Лилею, которая сидела, от него отвернувшись, и клялся себе, что по отношению к Лилее он вечно останется и пребудет той самой второй ножкой циркуля и что нужно выучить английский язык, чтоб прочитать остальные произведения поэта, который умеет до такой степени точно описывать его метания. В те времена ни один человек в Париже не подумал бы изучать английский язык — варварское наречие; однако, провожая д'Игби к нему в таверну, Роберт увидел, что тот не лучшим образом говорит по-итальянски, хотя и бывал на полуострове, и, конечно, устыжен, что недостаточно владеет этим обязательным для каждого образованного человека языком. Поэтому они решили видеться почаще и попытаться быть взаимно полезными, преподавая по очереди свою родную речь.

Так зародилась крепкая дружба между Робертом и этим дворянином, который оказался глубоким знатоком медицины и натуралистики.

Он узнал страдания в детстве. Отец был замешан в Пороховом заговоре и казнен. По парадоксальному сходству, а может быть, и не парадоксальному, а сопряженному с глубинными движениями души, д'Игби посвятил себя исследованиям иного пороха. Он много путешествовал, прожил восемь лет в Испании, потом три года в Италии, где, вот еще одно совпадение, был знаком с кармелитом, учителем Роберта.

Д'Игби вдобавок, в частности благодаря корсарскому опыту, был прекрасным фехтовальщиком, и у них с Робертом вошли в обычай учебные поединки. Какой-то мушкетер, увидев это, решил поразмяться и вызвал альфиера кадетской роты. Бой был пробный, участники вели себя осторожно, и тем не менее мушкетер на батмане не удержался от выпада, противник инстинктивно защитился и порезал мушкетеру руку, и порезал глубоко.

Д'Игби снял подвязку, перетянул руку над раной, но через несколько дней ранение загрозило гангреной; и хирург сказал, что руку надо отнимать.

Услышавши о подобном, д'Игби предложил услуги, предупредив, что возможно подозрение, будто это шарлатанство, но что просьба относиться ко всему с доверием. Мушкетер, не чаявший уже, к каким святым обращаться, отвечал испанской поговоркой: «Hágase el milagro, y hágalo Mahoma»[2].

Д'Игби велел дать ветошку, напитанную кровью из раны. Мушкетер снял перевязку, передал д'Игби, а рану перевязали снова. Д'Игби взял плошку воды и всыпал в нее купорос, размашисто мешая. Потом он бросил ветошку в кислоту. Тут неожиданно мушкетер, который отвлекался чем-то посторонним, подскочил и ухватил больной локоть. Он сказал, что жжение в ране внезапно унялось и что он чувствует прохладу и облегчение.

— Прекрасно, — отвечал д'Игби. — Теперь содержите язву в чистоте, мойте соленой водой ежедневно, чтоб она была восприимчивее к врачебству. Я же буду ставить

---

[1] Стихотворение Джона Донна (1572—1631) «A Valediction: Forbidding Mourning». Перевод с английского С. Козлова (публикуется впервые).

[2] Было бы чудо, хоть от Магомета (*исп.*).

этот тазик в дневные часы около окна, а ночью на угол камина, чтобы он всегда оставался при умеренной теплоте.

Роберт относил внезапное исцеление за счет неведомой, но иной причины. Тогда д'Игби с хитрым видом вынул тряпку из таза и стал нагревать над камином, и тогда же мушкетер начал снова причитать и жаловаться, так что потребовалось поскорее вернуть ветошь в серный раствор.

Рана мушкетера затянулась в одну неделю.

Думаю, что во времена, когда об антисептике не было понятий, само уж по себе ежедневное мытье вереда было достаточным залогом выздоровления, но нельзя порицать Роберта за то, что в следующие дни он расспрашивал товарища о лечебном основании его метода, который, кстати, был сходен с системой кармелита, памятной ему с отрочества. С той разницей, что кармелит наносил порох на клинок, которым причинился изъян.

— Да, действительно, — отвечал д'Игби, — диспут о лезвийном притирании тянется уже много десятилетий, и первым о нем заговорил еще великий Парацельс. Многие применяют жирную пасту и думают, что она вернее действует, если наносится на оружие. Но, как вы понимаете, орудие поражения или лоскут, прикрывавший рану, для нас это едино, потому что препарат должен применяться там, где имеются следы крови пораженного. Многие, видя, как обрабатывают оружие для лечения последствий ранения, думают, что это колдовство. В то время как моя Симпатическая Пудра основана на закономерностях природы!

— Почему она так называется?

— Вот, название сбивает с толку, якобы относясь к конформности, или симпатии, объединяющей вещи мира. Агриппа пишет, что, желая возбудить силу звезды, надо обратиться к вещам, которые звезде подобны и, следовательно, испытывают ее влияние. Он называет «симпатией» это взаимное притяжение между вещами. Точно так как деготь, сера и масло готовят дрова к возжиганию, так же, используя вещи конформные замышленному действию и конформные звезде, считается, что можно получить полезное влияние и оно отразится на материи, должным образом подготовленной посредством апелляции к душе мира. Чтобы подействовать на солнце, следует, по этой логике, действовать на золото, солярное по природе, и на те растения, которые оборачивают соцветия вслед за солнцем или же загибают листья и лепестки на заходе солнца, чтобы вновь распустить их на рассвете, как, например, лотос, пион, чистотел. Такой метод используется, но все это бредни, подобной аналогии недостаточно, чтоб объяснять закономерности природы.

Д'Игби посвятил Роберта в свой секрет. Мир, то есть воздушная сфера, преисполнен света, и свет есть материальная и телесная субстанция; эту часть урока Роберту усвоить было нетрудно, потому что в кабинете Дюпюи ему говорили уже, что свет есть тончайшее пыление атомов.

— Очевидно, что свет, — говорил д'Игби, — бесконечно извергаясь из солнца и продвигаясь на огромной скорости во все стороны по прямым траекториям, там, где встречает какие-либо помешательства на своем пути, где встречает преткновение твердых и непрозрачных тел, там он отражается под тем же углом — ad angulos aequales — и снова бежит, пока не препинется опять, наоборот, о новое твердое непрозрачное тело, и так продолжается, покуда свет не иссякает. Так мяч, прикрепленный к шнуру, отскакивает от одной стены к другой, а от той опять к этой и возвращается на ту же точку, к которой перед этим прикасался. Что происходит, когда луч ударяет о тело? Лучи отскакивают, отбивая по нескольку атомов, крошечных частичек, точно так же, как мяч отколотил бы от стены несколько кусочков штукатурки. Поскольку эти атомы состоят из четырех элементов, свет, наделенный теплотой, приклеивает к себе все липкое и уносит очень далеко. Это доказывается тем, что, когда вы просушиваете мокрую ткань у камина, вы видите, как лучи, отражающиеся от ткани, увлекают с собою легкий водянистый туман. Эти бродячие атомы подобны рыцарям на крылатых конях, которые гарцуют по пространству, покуда солнце на закате их не спешивает, отгоняя табуны их Пегасов. Тогда они всей толпой мчат в те земли, из которых появились. Вдобавок эти феномены наблюдаются не только в отношении солнечных лучей, но и в отношении ветра, который представляет собой огромную реку разноприродных атомов, оседающих на плотных земных телах...

— Таков же и дым, — вставил Роберт.

— Разумеется. В Лондоне топят дома каменным углем, привозимым из Шотландии. Он богат очень кислой летучей солью; эта соль вылетает из камина с дымами, наполняет собой дома, уродует стены, кровати, светлую мебель. Если не открывать по нескольку недель окна в доме, черная пыль обсадит все поверхности точно так же, как белой пылью запорашиваются мельницы и хлебопекарни. Весной в Лондоне все цветы зачажены копотью.

— Но может ли быть, что так много корпускулов рассеивается в воздухе, а тело, эманирующее их, не уменьшается?

— Может быть, уменьшается. Вы же отмечаете умаление воды при выпаривании. Но что касается плотных тел, их усушка незаметна, точно так же незаметно, чтобы таял мускус и остальные пахучие вещества. Любое тело, до чего бы мало ни было оно, всегда поддается разделению на новые доли, и этому разделению нет предела. Подумайте же о малости корпускулов, отскакивающих от живого тела, благодаря которым наши английские гончие, ведомые обонянием, настигают зверя по следу. Что же, лисица по сконча-нии своего бега кажется вам уменьшившейся? Вот именно за счет таких корпускулов наблюдаются феномены притяжения, которые многими именуются действиями на далеке, на самом же деле они вовсе не на далеке, и, следственно, они не колдовство, а только результат постоянного обмена атомов. Таково же притяжение отсоса, когда отсасывается вода или вино посредством сифона. Притяжение магнитом железных предметов или же притяжение фильтрования, к примеру когда льняную ленту кладут поверх кувшина с водой и из кувшина наружу вывешивается добрый кусок этой ленты, и вы видите, как вода самопроизвольно всползает наверх из кувшина и капает с ленты на пол. Последнее из притяжений — это притяжение места к огню, привлекающее к огню окрестный воздух со всеми корпускулами, кои коловращаются в нем; огонь, действуя соответственно собственной природе, увлекает с собой воздух, его окружающий, как вода реки увлекает песчинки со речного ложа. А памятуя, что воздух влажен, а огонь сух, поймем, по какой причине они лепятся один к другому. И притом, дабы заместить воздух, забранный огнем, требуется, чтобы в освободившееся пространство притек воздух из ближних мест, в противном случае произойдет пустота.

— Что же, вы противник пустоты?

— Отнюдь. Я только говорю, что природа пустот не терпит и стремится наполнить все пустоты атомами, борясь за то, чтобы населились атомами любые области. Если бы не это, мой Симпатический Порох не мог бы действовать и вы бы не наблюдали того, что было явлено в опыте. Огонь образует постоянный приток воздуха. Божественный Гиппократ очистил от чумной заразы целую провинцию, велев разложить повсюду большие костры. По этой причине во времена чумы повсюду убивают голубей, и кошек, и других теплокровных тварей, ведь они постоянно испаряют ветры, и воздух в тварях занимает место тех ветров, освободившееся при их испарении, а, значит, зачумленные атомы внедряются в тело и пристают к перьям и к шерсти этих тварей, как свежеиспеченный хлеб способен тянуть на себя пену из винных бочек и может перепортить все вино, если попадет хоть малая горбушка хлеба на верх бочонка. Так, в частности, произойдет и если вы выставите на воздух фунт винного камня, должным образом гашеного и прокаленного. Из него может получиться до десяти фунтов превосходного тартарового масла. Лекарь папы Урбана VIII рассказал мне об одной римской затворнице, которая преусердствовала в постах и молебствиях и так перегрела свое тело, что кости в ней пересохли. Ее внутреннее горение привлекало к себе воздух, и воздух обосновывался в ее теле, как было в опыте с тартаровой солью, и выходил из того конца, который предназначен к сносу разных сывороток, а именно из пузыря, поэтому бедная отшельница исторгала более двухсот фунтов мочи в сутки, и это чудо всеми почиталось за доказательство ее святой чистоты.

— Но ежели все привлекается всем... по какой причине стихии и тела пребывают в разрозненности и не наблюдается смычки всех, какие есть, сил с другими силами?

— Глубокий вопрос. Дело в том, что тела одинакового удельного веса объединяются легче, масло проще смешивается с другим маслом, нежели с водой, и мы должны прийти к выводу, что атомы одной природы удерживаются в общем месте на основании одинаковой разреженности либо плотности. Точно то же скажут вам и те философы, с которыми вы встречаетесь.

— Они мне уже это говорили и показывали на примере солей. Как их ни мели и как ни коагулируй, соли вечно возвращаются к своей естественной форме. Поваренная соль всегда имеет кубическую форму, и грань ее всегда квадратна. Нитритовая соль представляет собой шестигранные призмы, а соль аммония — заостренные шестиугольники, вроде снежинок.

— А соль мочи образует пятигранники, из чего господин Давидсон выводит форму всех восьмидесяти камней, обнаруженных в пузыре господина Пеллетье. Но если тела аналогичной структуры перемешиваются охотнее, значит, они и взаимопритягиваются живее, нежели чуждые друг другу тела. Поэтому, если вы обожжете руку, прохладу от страдания вы обретете, подержавши немного руку перед огнем.

— Мой преподаватель, когда крестьянина укусила гадюка, положил гадючью голову на укус...

— Разумеется. Яд, продвигавшийся по жилам к сердцу, оборотил бег свой и направился вспять, к источнику, где он состоял в наибольшей пропорции. Если во времена чумы принести склянку с тертыми жабами, или даже живую жабу и живого паука, или даже просто мышьяк, их ядовитая начинка высосет на себя заразу из воздуха. А сухие луковицы пускают стрелы в амбаре тогда же, когда луковицы в огороде начинают прорастать.

— И этим объясняются, в частности, родимые пятна у детей: брюхатые матери чего-то сильно желают, и...

— Тут бы я поостерегся утверждать. Бывает, что подобные феномены имеют другие причины, и человек науки не должен брать на веру всякое суеверие. Но вернемся к моей Симпатической Пудре. Что случилось, когда я несколько дней подряд посыпал Пудрою тряпку, вымоченную в крови нашего знакомого? Во первых, действия солнца и луны приманили на расстоянии ветры крови, содержавшиеся в ветошке, благодаря теплоте среды; и ветры купороса, разошедшиеся по крови больного, неизбежно повторили тот же самый путь. С другой стороны, рана продолжала исторгать из себя великое изобилие теплых и огненных ветров, а на их место внедрялся окружающий воздух. Этим воздухом притягивался новый воздух, этим новым — опять новый воздух, и ветры крови и купороса, разметанные на большом пространстве, в конце концов пригонялись к этому воздуху, так как он содержал атомы той же самой крови. Так вот, когда атомы крови — те, что исходили от тряпки, и те, что отлетали от раны, — встречались между собою, они гнали воздух как ненужного попутчика и тянулись к своему главному поместилищу, к ране, и возвращались в исходную область, ведя с собою атомы кислоты, и проницали ими плоть больного.

— Но почему было не нанести купорос непосредственно на рану?

— В данном случае вы и раненый были рядом. А если лечить на расстоянии? Вдобавок, попади купорос прямо на тело, его едким действием рана изъязвилась бы еще сильнее, в то время как путешествуя на воздухе, только сладкая и бальзамическая часть достигала пореза, та, что способна останавливать кровь и используется даже в качестве глазных капель. — Роберт вслушивался и мотал на ус все глубокомысленные советы, тем самым, как увидим, накликивая на свою голову неисчислимые злосчастья. — С другой стороны, — добавил д'Игби, — нельзя, разумеется, использовать нормальный купорос, как это делали в древности и тем калечили скорее, чем лечили. Нет, я достаю купорос с Кипра и сначала гашу его на солнце; гашение избавляет его от поверхностной влаги, и я как бы настаиваю крепкий бульон; а кроме того, то же самое известкование подготавливает ветры вещества, чтобы воздуху легче было их переносить. Вдобавок я примешиваю трагантовую смолу, которая быстро затягивает рану.

Я пересказываю столь детально узнанное Робертом от д'Игби потому, что это открытие переменило его жизнь.

Следует заметить также, отнюдь не к заслуге нашего друга, и в том он и сам признается в своих письмах, что он был захвачен вышеуказанной премудростью не по страсти к натуралистике, а по все той же любовной страсти. Другими словами, эти картины универса, населенного ветрами, совокупляющимися согласно взаимной наклонности, показались ему уместной аллегорией для описания любви, и он зачастил в библиотечные кабинеты, для того чтобы узнать сколько можно об оружной мази (unguentum

armarium), а в ту эпоху зналось уже немало, и еще больше стало известно об этом вопросе в последующие годы. По подсказке господина Гаффареля (данной вполголоса, чтобы не слышали другие посетители Дюпюи, мало верившие подобным вещам) он прочел «Ars Magnesia»[1] отца Афанасия Кирхера, «Tractatus de magnetica vulneum curatione»[2] Гоклена, труды Фракасторо, «Discursus de unguento armario» Флудда и «Hopolochrisma spongus»[3] Фостера. Он учился для того, чтобы в один прекрасный день преобразить свою науку в поэзию и смочь когда-то красноречиво проблистать как посол универсальной симпатии там, где постоянно унижался красноречием остальных.

В течение многих месяцев — именно столько продлились его истовые искания, и ни шагу он не прошел на завоевательном поприще — Роберт исповедовал двойную, даже более того — многоликую истину, что в Париже почиталось признаком дерзости и в то же время осмотрительности. Днем он рассуждал о вероятной вечности материи, ночью губил глаза над трактатами, обещавшими ему — пусть и в терминах натурфилософии — оккультные чудеса.

Замышляя великолепное, следует не столько пытаться подстраивать оказии, сколько пользоваться подвертывающимися. Однажды у Артеники, после искрометной дискуссии об «Астрее», хозяйка предложила собравшимся обсудить, что единого между любовью и дружеством. Тут Роберт взял слово и сказал, что принцип любви, будь она между друзьями или между любовниками, не отличается от того, на котором основано действие Симпатического Пороха. При первых признаках общего интереса он повторил рассказы д'Игби, выпустив только повесть о мочившейся отшельнице, а потом пустился в комментирование сказанного, причем позабыл о дружестве и напирал на любовь.

— Любовь подчиняется тем же законам, что ветер, а ветры несут запах тех мест, откуда отправлялись. Если ветер подул от огорода либо от сада, в нем будут ароматы жасмина, мяты, розмарина; таким образом, мореплавателям взманивается проведать землю, сулящую подобные роскошества. Этим же образом и любовный дух, коли дует, опьяняет ноздри воспламененного сердца (простим Роберту этот малоудачный троп). Влюбленное сердце как лютня, отзывающаяся на струны другой лютни, как колокольный звон носится по поверхности водной глади, в особенности ночью, когда в отсутствии иных звуков вода отражает то же звучание, которое было наверху. В любящем сердце сбывается то же, что имеет место в кремортартаре, который способен ароматизироваться розовой водой, если его оставят в погребе в месяц цветения роз, и воздух, полный атомами роз, превращаясь в воду при притяжении кремортартаровой соли, напитает запахом тартар. Напрасна жестокость любовницы. Бочка с вином, когда виноградники в цвету, подвержена брожению. В ней на поверхности появляется белое цветение, вплоть до осыпания лоз. Однако любящее сердце, более упорное, чем вино, когда расцветет в пору цветения возлюбленной, холит свой бутон, даже если источники пересыхают.

Он, померещилось, почувствовал на себе разнеженный взгляд Лилеи. И продолжал:

— Любить — это как принимать лунные ванны. Лучи, идущие от луны, являются солнечными лучами, отразившимися и дошедшими до нас. Собравши солнечные лучи с помощью зеркала, усиливаем их теплотворный эффект. Собрав и отразив снопик лунных лучей донцем серебряной плошки, убеждаемся, что лучи эти освежают, так как содержат росу. Казалось бы, бессмысленно мыть руки из пустой плошки. И все же руки увлажняются, и сие помогает от бородавок.

— Месье де ла Грив, — кто-то вставил из публики, — любовь же не снадобье от бородавок!

— О нет, разумеется, — перебил его Роберт, которого было уже не остановить. — Но я привел примеры подлых вещей, чтоб вы запомнили, что и любовь зависит только от пыли корпускулов. Я показал, что и любовь являет нам законы, которые управляют подлунными и небесными телами, составляя для тех законов самое благородное проявление. Любовь нарождается от взгляда и с первого взгляда возжигается. А что такое видимость, если не отражение реверберированного света от тела, которое мы наблюдаем?

---

[1] «Магнитное искусство» (*лат.*).
[2] «Трактат о магнетическом язв излечении» (*лат.*).
[3] «Притирания оружной мазью» (*греч.*).

Наблюдая, мое тело проницается наилучшей частью возлюбленного тела, самой воздушной его частью, которая через очной проток достигает непосредственно до сердца. Таким образом, полюбить с первого взгляда означает упиться ветрами сердца возлюбленной. Великий Зодчий природы, когда создавал наше тело, населил его внутренними ветрами, будто некими сторожами, чтобы они доносили свои открытия основному генералу, иначе сказать воображению, хозяину телесного семейства. Когда воображение поразится чем-либо, случается то же, что и при звуках скрипок: мы уносим в памяти игравшуюся мелодию и слушаем ее даже во сне. Наше воображение создает симулякр, им наслаждается любовник, если только не изничтожает именно за то, что он всего только симулякр. Из-за этого случается, что, когда человек захвачен лицезрением возлюбленного существа, он меняется в окраске, пламенеет и бледнеет, в зависимости от того, каким образом его посыльные, то есть внутренние ветры, быстро или медленно наведываются к любовному предмету, дабы, возвратясь, дать отчет воображению. Но эти ветры залетают после мозга прямой дорогой к сердцу по широкому проходу, и в сердце жизненные ветры превращаются в ветры животные; воображение отсылает к сердцу часть атомов, полученных от внешнего предмета, и именно эти атомы влияют на кипение жизненных ветров, отчего сердце порой расширяется, а порой сужается до синкопы.

— Вы утверждаете, мсье, что любовь — физическое движение, не отличимое от... как когда закисает вино. Но не подчеркиваете, что любовь, в отличие от других феноменов материи, является свойством избирательным, то есть применяемой к отдельным, а не ко всем предметам. Почему любовь делает нас рабами того, а не иного существа?

— Именно по этой причине я и возвел добродетели Любови к тому принципу, который у Симпатического Порошка: единородные, равноформенные атомы притягивают сходные атомы! Леча лезвейною присыпкой оружие, ранившее Пилада, не излечить Орестову рану. Вот так и любовь объединяет лишь тех двоих, которые некоторым образом и ранее обладали сходной натурой. Благородный дух тянется к благородному духу, а подлый — к подлому, ибо ведь любят и хамы, как в частности пастушки, и об этом свидетельствует чудесная повесть кавалера д'Юрфе. Любовь обнаруживает согласие между двумя созданиями, предначертанное с истоков времян, точно так же как Судьбою с самого начала было предрешено Пираму и Тисбе прорасти в одну и ту же шелковицу.

— А несчастливая любовь?

— Не думаю, что она может быть несчастливой. Существуют только любови, еще не достигнувшие совершенного созревания, где по некоей причине возлюбленная не получила сообщения, которое посылают ей очи любящего. Однако любящий знает, какое соответствие природы было ему откровенно, и, укрепляемый верой в это, способен прождать, может, всю жизнь. Ему ведомо, что откровение обоим и сопряжение обоих может произойти даже и за порогом смерти, когда, выпарившись, атомы обоих телес освободятся от земных оков и совокупятся на каком-либо небе. И вполне возможно, что как раненый, не сознавая даже, что кто-то пользует Симпатическим Присыпом поразивший его клинок, испытывает прилив здоровья, так же точно невесть скольким любовникам сообщается облегчение духа, и не ведают, что их веселость есть работа любимого сердца, ставшего в свою очередь любящим, и что началось совокупление двойнишных атомов.

Могу сказать от себя, что эта замысловатая аллегория держалась на красивых словесах, и, вероятно, Аристотелева машина преподобного Иммануила выявила бы ее шаткость. Однако в этот вечер Роберту удалось удостоверить общество в наличии родства между Пудрою, вылечивающей от язв, и любовью, которая часто лечит, а еще чаще язвит.

Может быть, поэтому пересказ речи Роберта о Симпатическом Порошке и о Любовной Симпатии в течение нескольких месяцев или более гулял по Парижу, о последствиях чего будет поведано теперь.

И именно поэтому Лилея в конце выступления снова улыбнулась Роберту. Это была улыбка одобрения, скажем даже восхищения, но мало что так естественно для человека, как обольститься, будто тебя любят. Роберт воспринял эту улыбку как апробацию всех тех писем, которые посылал. Слишком привыкший мучиться из-за ее невниманья, он покинул общество в окрылении победой. Напрасно покинул; вскоре мы поймем,

почему напрасно. С тех пор он, конечно, осмеливался обращаться к Лилее, но получал какие-то противоречивые ответы. Иногда она шептала: «Как мы договорились». Иногда укоряла: «Но вы же утверждали другое!» Иногда перед тем, как ускользнуть, обещала: «Мы это опять обсудим, держитесь!»

Роберт не понимал, может ли быть, что она по рассеянности то и дело приписывает ему слова и поступки кого-то иного или же она морочит его из кокетства.

То, чему суждено было приключиться, уложило эти редкие эпизоды в канву истории гораздо более тревожной.

17. Упованная Наука Долгот[1]

Это был — наконец можно ухватиться за дату — вечер 2 декабря 1642 года. Выходя из театра, где Роберт бессловесно разыгрывал, замешавшись в публику, любовную роль, Лилея сжала ему руку с шепотом: «Шевалье де ла Грив, вы робки. Не то было в памятный вечер. И все-таки завтра будьте снова на той же сцене».

Он вышел, безумея от волнения: прийти, куда он не знал, и повторить то, на что никогда не решался! Но ошибки не было, она назвала его имя.

О, произнес он тогда (судя по его же запискам), ныне ручьи воспятятся к истоку, белые скакуны восскачут по башням Нашей Парижской Повелительницы, огонь заплясшет в толще льдины... если она меня позвала. Или же нет, сегодня камень заплачет кровью, полоз спарится с медведицей, солнце почернеет, так как любимая поднесла мне кубок, откуда мне не пить, ибо не знаю, где пированье...

В двух шагах от счастья, в отчаянии бежал он к дому, в единственное место, где ее не могло быть.

Можно интерпретировать в гораздо менее загадочном ключе фразу Лилеи: просто она напоминала недавнюю его речь о Симпатическом Порохе, поощряла подготовить еще одну беседу и взять снова слово в салоне Артеники. С памятного дня он держался молчаливо-обожательно, это не подходило под регламент нормального кокетства. Она указывала, как сказали бы сегодня, на требования света. Ну же, будто говорила она, в тот-то вечер вы не были робки! повторите выступление, вернитесь на сцену, я буду при вашем упражнении! И чего еще ждать от прециозницы.

Но Роберт понимал все иначе: «Вы робки, однако позавчера... или запозавчера... робости не было и тени, когда мы с вами...» — воображаю, что ревность возбраняла и в то же самое время подсказывала Роберту продолжение этой фразы: «Будьте завтра на тех же подмостках, в том же таинственном месте».

Вполне естественно, что — так как его фантазия шла по самой тернистой из тропок — он заподозрил, будто некто выдал себя за Роберта и подложно одержал от Лилеи то, за что он предложил бы жизнь. Снова явился Феррант; нити прошлого плелись в четкий рисунок. Злостный двойник, Феррант, опять залезал в его жизнь, использовал его отлучки, опоздания, преждевременные отъезды, умел отобрать то, что Роберт заработал рассказом о Симпатическом Порошке.

Пока он терзался, постучали в дверь. Надежда — сон бодрствующих людей! Он кинулся открывать, ожидая увидеть ее на пороге, но это был офицер кардинальских гвардейцев и два солдата.

— Шевалье де ла Грив, полагаю? — сказал офицер. И продолжил, представившись капитаном де Баром: — Я удручен тем, что предстоит исполнить. Однако вы, шевалье, под арестом, прошу передать мне шпагу. Добровольно идите за мной, спустимся к карете как друзья, и вам не будет позорно. — Он дал понять, что не знает причины ареста, уповает на ошибку. Роберт молча шел за ним, уповая на то же, и в конце пути со многими реверансами был вверен сонному сторожу и ввергнут в Бастилию.

Он просидел две холоднющие ночи в компании разве что нескольких пасюков (пре-

---

[1] Название сочинения французского теолога, одного из помощников кардинала Ришелье, Жана Морена (1591—1659) «Longitudinum Optata Scientia».

дусмотрительная подготовка к плаванию на «Амариллиде») и охранника, который на любые вопросы отвечал, что тут перебывало столько важных господ, что он уж не дивится, за что их всех сажают; и если в этой камере семь лет продержали такое значительное лицо, как Бассомпьер, не вместно Роберту начинать плакаться всего-то через несколько часов.

Давши ему два дня на предвкушение худшего, на третий возвратился де Бар, распорядился об умывании и известил, что Роберта ожидает Кардинал. Роберт понял хотя бы, что арестован по государственному вопросу.

Во дворец они доехали запоздно, и уже по суматохе у дверей ощущалось, что вечер необычный. Лестницы были запружены людьми любых сословий, текшими во всех направлениях; в одну из приемных кавалеры и церковные лица заходили с озабоченным видом, отхаркивались из политеса на разрисованные фресками стены, принимали горестный вид и следовали в соседнюю залу, откуда высовывались домочадцы, громко выкрикивая имена запропастившихся слуг и делая обществу знаки, призывающие к тишине.

В эту залу был заведен со всеми и Роберт и увидел только спины, стеснившиеся у проема в другую залу, вытянувшись и бесшумно, будто при тягостном зрелище. Де Бар глянул, ища кого-то, махнул Роберту стать в сторону и вышел.

Другой страж, пытавшийся удалить из комнаты лишних зрителей, с разной степенью обходительности, по их положению, видя Роберта со щетиной, в платье, истрепавшемся за дни ареста, грубо спросил, для чего он здесь. Роберт сказал, что его вызывают к Кардиналу, и услышал в ответ, что Кардинала, ко всеобщему сожалению, тоже вызывают, и к Тому, кто настойчивее остальных.

Как бы то ни было, Роберта оставили, и постепенно, поскольку де Бар (единственный имевшийся там с ним товарищ) не возвращался, Роберт пододвинулся к скопищу и, то выжидая, то поджимая, подтеснился до порога самой дальней двери.

В дальней комнате в кровати, на сугробе подушек, он увидел, почивала тень того, которого вся Франция трепетала и кого немногие любили. Великий Кардинал был окружен врачами в темных одеждах, которых явно больше интересовала дискуссия, нежели больной. Какой-то монах обтирал ему губы, на них даже от слабого покашливания выступала красная пена, под покрывалами угадывалось натужное дыхание изможденного тела, в кулаке, выступавшем из манжета, был крест. У монаха вырвался всхлип. Ришелье через силу повернул голову, осклабился и прошептал:

— Вы правда думали, что я бессмертен?

Роберт недоумевал, кто же вызвал его к умирающему. Тут за спиной раздался шум. Разнеслось имя каноника де Сент-Эсташа, и при расступившейся толпе прошел каноник с сопровождающими, неся соборовальный елей.

Роберта тронули за плечо, это был де Бар. «Идемте, — сказал он Роберту. — Его Высокопреосвященство ждет». Ничего не понимая, Роберт двинулся по коридору. Де Бар ввел его в залу, дал знак снова ждать и покинул помещение.

Зала была просторная, в центре бросался в глаза большой глобус и часы на подставке в одном из углов на фоне красных драпри. Левее драпри, под огромным полнофигурным портретом Ришелье, Роберт не сразу разглядел стоявшего к нему спиною, в кардинальском пурпуре, занятого письмом на конторке человека. Порфироносец покосился и кивнул Роберту подойти, но, пока Роберт пересекал залу, снова нагорбился над своей конторкой, огораживая лист левой рукой, хотя никак не удалось бы Роберту с того почтительного расстояния, на котором он оставался, прочесть что бы то ни было.

Потом кардинал повернулся, бархатные складки всплеснули, и замер на несколько мгновений, будто воспроизводя висевший за его спиной портрет: правой рукой опираясь на подставку, левую поднеся к груди и манерно выворачивая наверх ладонью. Затем он уселся на пышные кресла около часов, разгладил усы и эспаньолку и осведомился:

— Шевалье де ла Грив?

Шевалье де ла Грив до этой минуты не знал, как ему поступить с кошмарным наваждением, потому что тот же самый Кардинал, он видел, расставался с жизнью в десяти метрах от этих стен; но, разглядев лицо, он убедился, что черты стали моложе, разгладились, как будто на бледном аристократическом абрисе с портрета кто-то подрозовил

щеки и подвел губы решительным извивом; и вдобавок голос с иностранным акцентом пробудил в нем давнее воспоминание о капитане, который за дюжину лет до того гарцевал перед двойным фрунтом неприятельских войск в Казале.

Роберт находился перед кардиналом Мазарини и понимал, что постепенно, под агонию покровителя, этот человек перенимает его полномочия, и вот уже офицер говорит «Высокопреосвященство», как будто других высокопреосвященств нет на свете.

Он не ответил, он вовремя понял, что кардинал только по форме задает вопросы, а по существу вещает, предполагая, что в любом случае собеседник может только с ним соглашаться.

— Роберт де ла Грив, — убедительно продолжал кардинал, — из рода владетелей Поццо ди Сан Патрицио. Известен нам и замок, как известна вся земля Монферрато. Изобильна до того, что могла бы быть Францией. Ваш отец во дни Казале бился с мужеством и был нам более предан, нежели другие ваши товарищи. — Он говорил «нам», как будто в ту эпоху уже состоял креатурой короля Франции. — Да и вы в том обстоятельстве повели себя отважно, как нам было рассказано. Не думаете ли вы, что тем более, и отечески, отягощается наша душа, видя, что ныне, гость государства, вы не соблюдаете священный долг визитера? Не известно ли вам, что в этом государстве законы равно распространены и на подданных, и на приезжих? Разумеется, не будет забыто ваше благородное происхождение, каков бы ни был проступок; вам окажутся те же послабления, что и Сен-Мару, чей опыт, похоже, не мерзок вам, как долженствовало бы. Вас тоже казнят секирой, а не удавкой.

Роберт, конечно, знал, о чем речь: об этом говорила вся Франция. Маркиз де Сен-Мар пытался убедить короля уволить Ришелье, но Ришелье убедил короля, что Сен-Мар замышляет против королевства. В Лионе приговоренный старался сохранять достоинство перед палачом, но палач превратил его шею в такое крошево, что возмущенная толпа превратила в крошево самого палача.

Потрясенный Роберт порывался ответить, но кардинал воспретил рукой.

— Ну же, Сан Патрицио, — и Роберт понял, что родовое имя требовалось, дабы подчеркнуть, что он чужестранец; в то же время разговор велся по-французски, хотя Мазарини мог бы говорить с ним и на итальянском. — Вы переняли пороки этого города, этой страны. Как говорит Его Высокопреосвященство, французы по легкомыслию и посредственности алчут перемен, наскучивая настоящим. Некоторые из этих легкомысленных, которых король велел облегчить и от голов, соблазнили вас бунтарскими прожектами. По таким делам не беспокоят судей. Государства, сохранность которых является наидрагоценным благом, падали бы неотлагательно, если бы при разборе преступлений, замышляемых против их цельности, была нужда в уликах, настолько же явных, как для зауряд-судопроизводства. Третьего дня вечером вас видели с друзьями Сен-Мара, снова подстрекавшими против нашей короны. Тот, кто видел вас с ними, заслуживает веры, он был внедрен нами. Довольно, — утомленно отмахнулся он. — Не затем вас привели, чтоб выслушивать заверения в невинности. Успокойтесь и запоминайте.

Роберт нисколько не успокоился, но сделал умозаключения. В тот самый час, когда Лилея с ним уславливалась, его видели в другом месте с государственными заговорщиками. Мазарини был настолько в этом убежден, что идея становилась реальностью. Повсюду шептали, что гнев Ришелье еще не утолился, все боялись оказаться на месте нового примера. Роберт на нем оказался; как бы ни обстояло дело, Роберт пропал.

Иному подумалось бы, что нередко, и не только за два вечера до того, он задерживался побеседовать у дверей Рамбуйе; что не исключен среди собеседников какой-нибудь друг Сен-Мара; что, если Мазарини зачем-то хочет погубить его, достаточно перетолковать любую фразу осведомителя... Но, как обычно у Роберта, его размышления шли в иной плоскости и подтверждали его обычные страхи: некто участвовал в подрывном совещании под его именем и в его обличье.

Опять-таки повод, чтоб не защищаться. Только была непонятна причина, по которой — если уж он приговорен — кардинал утруждается объявлять его судьбу. Ведь не Роберту предназначен пример. Он — только средство, символ, острастка иным, кому еще неясны намерения короля... Молча Роберт ждал следующих фраз.

— Видите ли, Сан Патрицио, не будь мы облечены высокосвященническим саном, коим Его Святейшество и желание короля удостоили нас в прошедшем году, мы бы

сказали, что само Провидение руководило вашей неосмотрительностью. Уже давно мы следили за вами, гадая, как бы получить услуги, которые вы вовсе не должны оказывать. Ваш ошибочный шаг три дня назад мы расценили как дар небес. Теперь, когда вы наш должник, наша роль меняется, не говоря о вашей.

— Должник?

— Вы должны нам жизнь. Разумеется, не в нашей власти помиловать, но мы можем помочь. Дадим возможность спастись от преследований закона путем бегства. По прошествии года или более года память свидетельствующего против вас затуманится, и он без колебаний поручится честью, что заговорщиком три вечера назад были не вы. Может также открыться, что именно в это время вы играли в триктрак с капитаном де Баром. И тогда — мы не решаем, имейте в виду... а предполагаем, и возможно, что произойдет как раз обратное... но будем считать, что мы видим верную перспективу, — на вашей стороне окажется правосудие и вам безусловно возвратится свобода. Садитесь, прошу вас, — сказал кардинал. — Я намерен предложить вам работу.

Роберт сел.

— Деликатного свойства. При ее выполнении, незачем скрывать, имеется вероятность расстаться с жизнью. Но такова суть нашего пакта: вместо полной уверенности в гибели от рук палача вам предоставляется вероятная возможность возвратиться во здравии, если окажетесь осмотрительны. Подытожим: год передряг против утраты целой жизни.

— Высокопреосвященство, — отвечал Роберт, сознавая прежде всего, что свидание с палачом откладывается. — Насколько я понимаю, нет толку присягать честью или на святом кресте, что...

— Было бы противородно принципу христианского милосердия совершенно отметать, что вы невинны, а мы в недоразумении. Но недоразумение настолько соответствует нашему предначертанию, что нет резона его устранять. Надеюсь, вас не возмущает постановка вопроса? Или предпочтете попасть невинному под секиру, а не виновному, пусть даже облыжно, — в услужение к нам?

— Я далек от подобных безрассудных намерений, Высокопреосвященство.

— Прелестно. Мы предлагаем вероятный риск и верную славу. И объясним, по какой причине остановили взгляд на вас еще до того, как узнали о вашем пребывании в Париже. Город, видите ли, достаточно интересуется тем, что происходит в салонах, и весь Париж недавно шумел о том, как на одном вечере вы блистали перед очами дам. Да, весь Париж, и не краснейте. О том вечере, где вы изящно описали достоинства так называемого Симпатического Порошка, и вашему описанию ирония сообщила соль, парономасии — вежество, сентенции — торжественность, гиперболы — богатство, сравнения — проницательность... так принято выражаться у них в среде, не правда ли?...

— Высокопреосвященство, я лишь пересказывал сведения, которые...

— Ценю вашу скромность, но, кажется, вы выказали незаурядные познания тайных свойств натуры. Короче, мне нужен человек подобного образования, не француз, никак не связанный с нашей короной, который сумеет внедриться в экипаж судна, отплывающего из Амстердама, и открыть один новый секрет, как-то связанный с использованием порошка.

Он предупредил еще одно возражение Роберта:

— Не беспокойтесь, мы позаботимся, чтобы вы понимали, что именно ищете, и могли истолковать даже самые неявные знаки. Мы идеально подготовим вас по теме, раз уж, как догадываюсь, вы расположены пойти нам навстречу. Вам будет дан одаренный наставник, и не обманывайтесь его юным видом. — Он дернул за шнур. Никакого звука. Но, по-видимому, где-то вдалеке сигнал был получен — так подумалось Роберту, хотя обычно в этом столетии господа, чтобы подозвать слуг, надрывали глотки.

Действительно, в скором времени вступил юноша чуть старше двадцати лет.

— Кольбер, это тот, о ком мы вам сегодня говорили, — обратился к нему Мазарини. Затем он сказал Роберту: — Кольбер подает большие надежды на тайносовещательном поприще и довольно давно занимается вопросом, интересующим Кардинала Ришелье, а следовательно, и меня. Может быть, вы знаете, Сан Патрицио, что до того как Кардинал принял руль того могучего челна, коего Людовик XIII является капитаном, французский флот был в ничтожестве по сравнению с флотами наших соперников, как во времена войн, так и во время мира. Сейчас мы можем гордиться нашими верфями и на восточ-

ном побережье, и на западе, и вы помните, с каким успехом не далее как шесть месяцев назад маркиз Брезе вывел к Барселоне флотилию из сорока четырех корветов, четырнадцати галер и не помню уж скольких шкун. Мы упрочили Новую Францию, закрепили господство на Мартинике и Гуадалупе и на всяких прочих Перуанских островах, как любит подшучивать Кардинал. Мы создаем коммерческие компании, хотя все еще не с полным успехом. К сожалению, в Объединенных Провинциях, а также в Англии, Португалии и Испании нет благородного семейства без отпрыска на морях, а во Франции, увы, такое не в заводе. И вот результат: мы, возможно, знаем не так уж мало о Новом Свете, но прискорбно мало о Новейшем. Кольбер, покажите нашему другу, до чего бедна сушей противоположная часть земного шара.

Юноша крутанул глобус, а Мазарини грустно усмехнулся:

— Увы, эта обширная водная гладь так пуста не по немилости природы, а из-за того, что нам непозволительно мало ведомо об изобилии природных даров. И все же после первооткрытия западного пути к Молуккам игра идет вокруг именно той обширной девственной области, которая простирается между западным побережьем американского континента и крайними восточными оконечностями Азии. Я имею в виду, что среди вод так называемого Тихого (португальцы считают его тихим!) океана безусловно лежит Австральная, то есть южная, Неисследованная Земля. Мы имеем даные только о близких к ней островах, крайне скудные данные о линии ее берегов, но имеем в то же время полную уверенность, что она преизбыточествует богатствами. Так вот, в тех водах и сейчас, и уже немалое время на данный день, вертится чересчур много авантюристов, не говорящих на нашем языке. Наш друг Кольбер, и я полагаю, что не по юношеской запальчивости, замыслил план французского присутствия на тех морях. Вдобавок мы наклонны думать, что первым высадился на эту Австральную землю именно француз, господин Гоннвиль, за шестнадцать лет до экспедиции Магеллана. Однако этот наш достойнейший путешественник или священнослужитель, кем бы он ни был, не удосужился обозначить на карте место, где ступил на новую землю. Можно ли допустить, чтобы истинный француз проявил такую беззаботность? конечно, нет! просто в ту миновавшую эпоху не было способа разрешения одной трудности. Каковая трудность, и вы будете удивлены, узнавши, в чем же дело, остается непреодолимой и для нас.

Он выдержал паузу, и Роберт осознал, что, поскольку и кардиналу и Кольберу известно если не разъяснение тайны, то, по крайней мере, в чем она состоит, пауза выдерживается исключительно ради него. Он почел за благо подыграть им с позиций заинтригованности и с выражением спросил:

— Но в чем же, в чем же эта тайна?

Мазарини переглянулся с Кольбером и произнес: «Тайна — тайна долгот». Кольбер торжественно подтвердил.

— Тайна долгот. Тому, кто откроет секрет Исходной точки, Punto Fijo, — продолжал кардинал, — уже семьдесят лет назад Филипп II Испанский посулил целое состояние, а позднее Филипп III обещал шесть тысяч дукатов постоянной ренты и две тысячи дукатов пенсиона, а Генеральные Штаты Голландии — три тысячи флоринов. Мы тоже не скупились на денежные дачи знающим астрономам... Кстати, Кольбер, этот доктор Морен... мы уж восемь лет как должны бы ему...

— Высокопреосвященство, вы сами говорили, что вам кажется, будто его лунный параллакс не более чем химера...

— Да, но для доказательства этой спорной гипотезы он досконально изучил и проанализировал остальные. Позволим ему участие в нашем новом проекте, он может просветить господина Сан Патрицио. Посулим ему пенсион, ничто так не укрепляет добрые намерения, как деньги. Если в его теории есть разумное зерно, мы крепче привяжем его к нам с его наукой; и ему не взбредет в голову идти наниматься к голландцам, оттого что на родине его забросили. Кстати, кажется, именно голландцы, пока испанцы мешкают, хотят подманить этого Галилея. Не стоит нам сидеть сложа руки.

— Высокопреосвященство, — нерешительно вставил Кольбер, — приятно напомнить вам, что Галилей умер в начале текущего года...

— Вот как? Надеюсь, Господь дарует ему больше удовольствия, нежели ему выпало при жизни.

— ... и в любом случае его решение хотя и представлялось окончательным, однако таковым не является...

— Вы удачно предвосхитили нашу мысль, Кольбер. Ну, будем считать, что и решение Морена не стоит ломаного гроша. Как бы то ни было, все равно мы его поддержим, пусть снова завяжется полемика вокруг его заблуждений, возбудим любопытство голландцев; голландцы разлакомятся, а мы на какое-то время отправили неприятеля по ложному следу. Уж по этому одному не зря истратятся деньги. Но довольно. Прошу вас, рассказывайте, пусть Сан Патрицио уразумеет, в чем дело. Возможно, кое-что узнаю и я.

— Его Высокопреосвященство, — краснея, сказал Кольбер, — знает все, что известно мне, однако по благосклонному соизволению отваживаюсь повториться. — Выговорив это, он почувствовал себя, по-видимому, более твердо: выпрямил голову, которая была скромно наклонена, и непринужденно стал у глобуса. — Господа, в океане, когда виднеется суша, непонятно, что это за земля, а чтоб достичь известной цели, по многу дней плывут среди бесконечной воды, и путеводны для мореплавателя одни только светила. Способы, прославившие древних астрономов, дают возможность по высоте небесного тела над горизонтом, вычтя расстояние от зенита и зная угол наклона, зная, что зенитное расстояние плюс или минус угол наклона образует градус широты, рассчитать, на какой ты параллели, то есть насколько севернее или южнее известной точки. Это, полагаю, очевидно.

— Очевидно и дитяти, — промурлыкал Мазарини.

— Казалось бы, — продолжал Кольбер, — что таким порядком можно было бы определить и насколько ты западнее или восточнее некой точки, то есть на какой ты из долгот, то бишь на каком меридиане. По формулировке Сакробоско, меридианом называется окружность, проходящая через полюса нашего мира и через зенит нашей головы. И называется она «меридианом», «серединой дня», потому что, где бы человек ни обретался и каково бы ни было время года, неизменно в минуту прохождения Солнца через дугу меридиана для этого человека наступает полдень. Но увы, по некоему издевательству природы, все средства, предлагавшиеся для определения долгот, бессильны. Что нужды? — спросил бы неуч. Однако нужды очень много.

Кольбер входил во вкус речи, он снова закрутил глобус, показывая очертания Европы:

— Пятнадцать градусов меридианов, приблизительно, отделяют Париж от Праги, несколько более двадцати — Париж от Канарских островов. Что сказал бы командующий сухопутного войска, если бы, пошедши на Белую Гору бить протестантов, он бы увидел, что истребляет докторов Сорбонны на холме Сен-Женевьев?

Мазарини усмехнулся и шутливо замахал руками, показывая, что некоторым вещам уместно происходить только на правильных меридианах.

— Но трудность заключается в том, — продолжал Кольбер, — что ошибки подобного масштаба возникают из-за средств, которыми мы до сих пор вынуждены пользоваться для определения долгот. Вот и выходит как около ста лет назад с этим испанцем Менданьей, открывшим Соломоновы острова, которые небеса благословили и плодами в лесах и золотом в копях. Этот Менданья определил положение открытых земель и воротился на родину огласить открытие, и в течение менее чем двадцатилетия четыре парусника были направлены к островам, дабы закрепить на них владычество христианнейших королей, и что же? Менданья не сумел снова отыскать остров, на который высаживался. Голландцы не сидели ждя у моря погоды, в начале нашего века они основали Ост-Индскую компанию, заложили в Азии факторию Батавию для отправки флотилий на восток, освоили Новую Голландию, а другие земли, расположенные, по-видимому, к западу от Соломоновых островов, захватили тем временем английские пираты, которым Совет Святого Иакова не замедлил утвердить претензии на дворянские гербы. Соломоновых же островов никто не сумел найти и следа, и постижимо, отчего в наше время многие полагают, что эти острова лишь легенда. Однако, легенда они или нет, Менданья все-таки выходил на их берег, если не допустить, что он верно обозначил широту, на которой они располагаются, но ошибочно — долготу. Если же, с Божиим вспомоществованием, он все-таки определил координаты земли правильно, значит, последующие мореплаватели, которые отыскивали эту долготу (как и он сам в повторном плавании), не понимали окончательно, на какой обретаются они сами. Точно так, если бы мы с вами, точно зная, где находит-

ся Париж, не имели бы представления, где мы сами, в Испании или среди персов, судите, господа, не оказались ли бы мы в роли слепцов, которые направляют других незрячих.

— Воистину, — вставил Роберт, — затруднительно даже поверить, что при всем процветании наук в нашем веке мы до сих пор умеем настолько мало.

— Не перечислишь, какое множество предлагалось способов: и исходить из лунных затмений, и исследовать отклонения намагниченной иглы, этот способ до сих пор совершенствует наш Летеллье, не говоря уж о методе лага, от которого такие успехи пророчил Шамплен... Все они оказались недостаточны, и так будет, покуда Франция не получит порядочную обсерваторию, где проверять подобные гипотезы... Разумеется, вернее всего было бы иметь на борту часы, показывающие время парижского меридиана; определять в любой точке моря местное время и по разнице времени узнавать градусы долготы. Вот он, населяемый нами шар, и вы видите, что мудростью древних жителей он разграничен на триста шестьдесят долготных градусов, причем за точку отсчета принимается меридиан Железного — одного из Канарских островов. В своем непрерывном беге солнце (и оно ли движется, или, как сейчас предлагается думать, земля, — мало меняет в конечном итоге) преодолевает за один час пятнадцать градусов долготы, и если в Париже полночь, как видим сейчас... то на сто восьмидесятом меридиане двенадцать часов дня. Ну вот, а если вам известно, что в какую-то минуту в Париже часы бьют, предположим для примера, середину дня, и в то же время там, где находитесь вы, шесть утра, можно посчитать по пятнадцати градусов в час и иметь уверенность, что ваша долгота пролегает в девяноста градусах от Парижа, то есть приблизительно вот тут, — и он показал пальцем на американский континент. — Однако до чего нетрудно знать время дня в той точке, где вы находитесь, до того же затруднительно иметь на борту часы, способные поддерживать точные показания через месяцы и месяцы плавания на борту судна, трясомого всеми ветрами; качка приводит к погрешности точнейшие и наисовременные приборы, не говоря уж о песочных и водных часах, которые способны отсчитывать время лишь на полностью бездвижной опоре.

Кардинал перебил его:

— Нам не думается, что господину Сан Патрицио полезно знать на данный момент что-либо еще, Кольбер. Устройте так, чтобы дополнительные разъяснения он получил по дороге в Амстердам. После чего уже не нам будет вместно поучать его, а ему, уповательно, учить нас. Дело в том, дорогой Сан Патрицио, что Кардинал, око которого проницало и проницает — понадеемся, и долго еще впредь — значительно далее нашего ока, заблаговременно создал сеть доверенных осведомителей, которые оседают в заграничных странах, наведываются в порты, беседуют с капитанами, отправляющимися в путешествия или возвращающимися из них, дабы знать, что предпринято и что известно иным правительствам, но еще неизвестно нам, поскольку — и это мне кажется очевидным — государство, которое разрешит загадку долгот и предотвратит огласку этого решения, получит великое преимущество перед остальными. В данное время, — и тут Мазарини выдержал новую паузу, снова расправив усы, а затем сопрягая ладони, как бы для сосредоточения и в то же время для обращения за поддержкой к небесам, — в данное время мы узнали, что английский лекарь доктор Берд испытывает новый и остроумнейший способ вычисления меридиана, с употреблением Симпатического Порошка. Как это делается, любезнейший Сан Патрицио, вы не должны спрашивать у нас, поелику я знаком лишь с отзвуком наименования этого дьявольского средства. Мы доподлинно знаем, что в историю замешана эта симпатия, но не имеем представления, что за метод использует доктор Берд, и наш осведомитель, разумеется, нетверд в изощрениях натуральной магии. Однако сведения гласят, что английский адмирал оборудовал для Берда судно, направляющееся в тихоокеанские воды. Задание настолько щекотливо, что англичане не рискуют посылать корабль как собственный. Он приписан голландцу, с виду чудаку, мечтающему повторить путь двоих соотечественников, которые четверть века тому обнаружили новый, в дополнение к Магелланову проливу, проход между Атлантическим и Тихим океанами. Но поскольку стоимость авантюры такова, что наводит на мысль о целенаправленном финансировании, голландец прилюдно грузит товары и надсадно вербует пассажиров, как будто хлопоча об оправдании расходов. Среди пассажиров как бы случайно на этом корабле отплывают доктор Берд и трое ассистентов, выдающих себя за собирателей экзотических растений. На самом же деле они являются рас-

порядителями экспедиции. Среди пассажиров будете и вы, Сан Патрицио. Все формальности уладит наш человек в Амстердаме. Вы будете из савойского дворянства, преследуемый законом по всему свету и почитающий благом убраться на продолжительное время с суши на море. Как видите, вам даже не придется грешить против истины. Имея хилое здоровье — и вы на самом деле слабы глазами, как нам подсказывают, — будете постоянно находиться с примочками на лице. Выбираясь из каюты, не сможете видеть далее носа. Рассеянно бродя без всякой цели, будете держать глаза в готовности и уши начеку. Нам известно, что английский язык вы изучали. Сделаете вид, что его не знаете, таким образом враги станут свободно переговариваться в вашем присутствии. Если кто-то на борту понимает итальянский или французский, задавайте вопросы и запоминайте ответы. Не гнушайтесь выведываньем у дюжинных людей, они за пару монет выложат вам все печенки. Но не сорите деньгами, пусть это выглядит подачкой, а не платой, иначе возникнет подозрение. Не задавайте вопросов прямо. Спросивши сегодня, попытайтесь разузнать то же самое и завтра, но любопытствуйте другими словами. Проверяйте, не солгали ли вам, выявляйте расхождения. Дрянные люди быстро забывают свое бахвальство и через день выдумывают прямую противоположность. К тому же лгуны опознаются. При улыбке у них на щеках ямочки, а ногти они носят самые короткие. Не работайте с людьми невысокого роста, они лгут для самоутверждения. В любом случае ваши беседы будут кратки. Не выказывайте удовлетворения. Единственный, с кем вам нужно говорить как можно больше, это доктор Берд, и правдоподобно, что вас будет привлекать только он, как равный по образованию. Он ученый, значит, говорит по-французски, скорее всего и по-итальянски и определенно по-латыни. Вы как больной попросите от него совета и облегчения. Вы не станете, конечно, глотать красную глину или красную смородину, чтоб разыгрывать кровохарканье. Вы просто предложите посчитать у вас пульс после ужина. В это время у каждого как будто начинается лихорадка. Скажете, что по ночам не в состоянии смежить глаз. Это объяснит, по какой причине вас можно застигнуть в любом месте корабля в ночное время и в недреманном состоянии. Это на случай, если их опыты будут проводиться при свете звезд. Берд, по-видимому, одержимый, как и другие люди науки. Выдумайте самые экстравагантные идеи и поделитесь с ним, будто сокровенной тайной. Может, он выболтает вам свои ценнейшие секреты. Примите заинтересованный вид, но создайте впечатление, будто ничего не поняли или поняли очень мало. Тогда он расскажет все сызнова и получше растолкует. Повторите все им сказанное с выражением понимания, но при пересказе сделайте ошибки. Пусть же он из тщеславия исправит ваши неточности, выложит то, что хотел бы утаить. Ни на чем не настаивайте, только намекайте. Намеки служат для прощупывания душ и проницания сердец. Вы должны приобрести его доверие. Если он смеется часто, смейтесь с ним, если он желчен, будьте и вы ко всем неблагосклонны, но неустанно восхищайтесь его познаниями. Если он холеричен и обижает вас, переносите обиды, все равно вы-то знаете, что взялись наказывать его еще до того, как он начал вас обижать. В море все дни долги, все ночи бесконечны и ничто так не умиротворяет соскучившегося англичанина, как великие порции горячительного из тех бочонков, которыми обычно набиты трюмы голландских кораблей. Вы тоже скажетесь приверженцем этого напитка и будете следить за тем, чтобы друг пригубливал более вашего. Однажды он может, заподозревавши неведомо что, обыскать вашу каюту. Поэтому не записывайте никаких наблюдений. Но можете вести дневник, где будете рассказывать о своих неурядицах, о Святых заступниках, о Пречистой Деве, о любовнице, которую отчаиваетесь увидеть, и время от времени в дневнике пусть проскальзывают отзывы о друге докторе, хвалебные, как о единственном, кто вам приятен из всего экипажа корабля. Не записывайте его фразы, относящиеся к интересующей теме, но записывайте афоризмы, не имеет значения какие. Даже самые наидурацкие. Если он их провозглашал, значит, почитал достойными и будет благодарен вам за их запоминание. Конечно, мы не предлагаем вам краткую инструкцию для тайного информатора. Подобные темы не приличествуют нашему духовному сану. Вверьтесь собственному светилу, будьте проницательно благоразумны и благоразумно проницательны, да будет острота вашего взгляда обратно пропорциональна слухам о ней и прямо пропорциональна вашей настойчивости.

Мазарини поднялся, показывая, что аудиенция кончена, и возвышаясь над Робертом на то время, покуда тот не успел еще встать.

— Слушайте указания Кольбера. Он укажет вам, с кем следовать в Амстердам для посадки на судно. Вперед и удачи.

Они уже выходили, когда кардинал опять окликнул:

— Вот что еще, Сан Патрицио. Вы уже поняли, что будете под наблюдением до отплытия. Каждый ваш шаг. Но вы гадаете, почему мы не опасаемся, что вы дадите деру на первой пристани. Мы не опасаемся, потому что вам это невыгодно. Сюда вы вернуться не сможете, во Франции вы объявлены вне закона. Поселиться в другой земле и вечно трястись, что наши агенты до вас доберутся? В обоих случаях придется отказываться от своего имени, от своего положения. Мы далеки и от подозрения, что человек вашего достоинства может перепродаться англичанам. Да что вам продавать, в сущности? Тот факт, что вы шпион, вы продать можете только в случае, если откроетесь, а открывшись, вы как шпион уже ничего не будете стоить, разве что тычка стилетом. А вот если вы возвратитесь и привезете пусть даже совсем скромные сведения, вы будете иметь право на нашу признательность. Неблагорассудно с нашей стороны будет пренебречь человеком, который хорошо справляется со сложными заданиями. Дальнейшее будет зависеть от вас. Расположение великих, единожды завоеванное, надо холить и лелеять, дабы оно не утратилось, надо подпитывать услугами, ревниво беречь. Вы сами решите, является ли ваша преданность французской короне столь настоятельной, чтобы посвятить жизнь французскому королю. Говорят, что случалось неким людям рождаться в иной стране, но обретать случай во Франции...

Перспектива службы за вознаграждение, обрисованная кардиналом, для Роберта в тот момент не сводилась к деньгам. Кардинал давал ему почувствовать вкус приключения, новых горизонтов, приобщал к той жизненной мудрости, незнание которой, может быть, до оных пор лишало его и уважения света. Наверное, благом являлось это приглашение судьбы, отдалявшее его от заурядных досад. Что же до другого приглашения, третьеводнишнего вечера, все Роберту сделалось понятно, едва кардинал начал свою речь. Если Двойник принял участие в заговоре и все решили, что это Роберт, то, наверно, Двойник злоумышленно понудил Лилею выговорить ту фразу, которая истерзала его отрадой и изласкала ревнивостью. Чересчур много Двойников между Робертом и жизнью. А если так, значит, лучше уединиться на просторе морей, где он сможет обладать любовницей тем единственным образом, который всегда в его возможности. К тому же совершенное чувство состоит не в том, чтоб быть любимым, а в том, чтоб любить.

Он преклонил колено и сказал:

— Высокопреосвященство, я ваш.

Во всяком случае, я считаю, надо закончить так. Было бы не очень прилично рассказывать, как Роберту выдавали грамоту: «Совершивший это действовал по личному распряжению кардинала и для блага государства».

19. Сиятельное мореплавание[1]

«Амариллида» отплыла из Голландии, ненадолго пристала в Лондоне, где тайком ночью погрузили что-то, матросы оцепили кордоном мостик и трюм, и Роберту не удалось распознать, какой груз заносят. Потом снялись с якоря и пошли на юго-запад.

Роберт забавно описывает бортовую компанию. Похоже, что капитан специально выбирал самых нелепых чудаков, чтобы ими прикрыться при отплытии судна, а уж потом не церемониться, даже если они запропастятся где-то по дороге. Пассажиры делились на три сорта: те, кто понимал, что корабль идет в сторону запада (как галисийская чета, путешествовавшая к сыну в Бразилию, и как старый еврей, по обету совершавший паломничество в Иерусалим самой дальней дорогой); те, кто нечетко представлял себе устройство земного шара (несколько головорезов, плывших за большими деньгами на Молукки, но они скорей бы дошли восточным курсом); и, наконец, третьи, те, кто глубоко обманывался, к примеру семья протестантов из какой-то долины в Пьемонте, целью

[1] Путеводитель «La Nautica Rilucente» (конец XVI в.).

коих было объединиться с английскими пуританами на северном побережье Нового Света, но они не учитывали, что корабль держит курс на юг и причалит только в Ресифи. Недоразумение выяснилось не ранее, чем когда они там действительно оказались, и в этой протестантской колонии — тогда управлявшейся голландцами — почли за благо высадиться, чтобы не искать на свою голову еще больших неприятностей среди католиков-португальцев. В Ресифи на корабль взошел некий мальтийский рыцарь, с пиратской физиономией, положивший себе разыскать остров, о котором слышал от одного венецианца, — остров Эскондида. Не было известно, где он находится, и никто на «Амариллиде» не слыхивал о таком. Очередное доказательство, что капитан подбирал пассажиров, как говорится, одного к одному.

Он столь же мало беспокоился и о благополучии той небольшой толпы, что расселилась на второй палубе. Пока пересекали Атлантический океан, еды хватало, и на американском берегу продовольствие было пополнено. Но после плавания в царстве вытянутых перистых облаков и аляповатого неба, после Магелланова пролива почти все, за исключением почетных пассажиров, остались на два месяца на воде, полной глистами, и хлебе, пропахшем мышачьей мочой. И многие из команды вместе с многими пассажирами померли от скорбута.

Ища, где бы подзаправиться, корабль продвигался на запад параллельно берегу Чили и причалил к ненаселенному острову, который на бортовых картах именовался Мас-Афуэра. Простояли у острова три дня. Климат на нем был здоровый, растительность пышная, так что мальтийский рыцарь бормотал даже, что было бы большим везеньем для тех, кто жертва моря, выкинуться на такой гостеприимный берег и счастливо там жить, забыв о возвращении восвояси. Он, видимо, внушал себе, будто это Эскондида. Какая разница, думал Роберт, вспоминая это на «Дафне». Останься я там взаправду, теперь бы не дрожал тут от страха перед Пришельцем, чей отпечаток мокрой босой пятки только что заметил на доске пола.

Потом задули противные ветры, по словам капитана. Корабль против всякого здравого смысла лег на северный курс. Роберт никаких противных ветров не заметил, напротив, когда было решено поворачивать, судно было на раздутых парусах и для перемены румба пришлось их обезветрить. По всей видимости, доктору Берду и его людям нужно было для опытов удерживаться на одном и том же меридиане. В любом случае пристали к Галапагосским островам, где можно было ловить громадных черепах и печь на их собственных панцирях. Мальтийский рыцарь долго копался в своих записках и пришел к заключению, что Эскондида не в этом месте.

Снова повернув на запад и сойдя до двадцать пятого градуса южной широты, они опять заправились водой, открыв остров, не обозначенный ни на единой карте. Главной его приманкой было полное безлюдие, и мальтийский рыцарь, который не переваривал на корабле ни рациона, ни капитана, признался Роберту, что было бы мило навербовать отважных, захватить корабль, высадить капитана и кто с ним захочет на шлюпку, спалить «Амариллиду» и обосноваться на той земле, в желанном далеке от знаемого мира, и основать новое общество. Роберт спросил его, похож ли остров на Эскондиду, но рыцарь уныло покачал головой.

Снова уйдя на северо-запад при благоприятных ализеях, они нашли острова, населенные дикарями с янтарного цвета кожей и обменялись с ними любезностями, одарили их и были на их праздниках, где упоительные туземки танцевали, подражая колебанию трав, опушающих морские пляжи у кромки прибоя. Рыцарь, вероятно не успевший связаться обетом непорочности, под предлогом рисования этих нимф (а рисовал он весьма талантливо) преуспел и в плотском соединении со своими натурщицами. Экипаж вознамерился последовать ему, но капитан объявил отплытие. Кавалер не знал, ехать или оставаться: ему казалось, что очень славным финалом жизни было бы предаться отчаянному рисованию. Но потом он решил, что Эскондида не тут.

Еще дальше на северо-запад лежал остров с миролюбивым народцем. Два дня и две ночи оставались там на рейде, и мальтийский рыцарь рассказывал аборигенам истории: он говорил на диалекте, который был непостижим и для Роберта, и тем менее для них, но рыцарь дополнял речь рисунками на песке и жестикулировал как актер, и с энтузиазмом местные жители славословили его, скандируя: «Тузитала, Тузитала!» Рыцарь обмолвился Роберту, как приманчиво было бы окончить дни среди этих местных жителей, пере-

сказывая им все предания подлунной. «Но Эскондида — это здесь?» — спросил Роберт. Рыцарь покачал головою.

Он погиб при крушении, раздумывал Роберт, сидя на «Дафне». А я, может статься, отыскал его Эскондиду, но не сумею его об этом оповестить и никого оповестить не сумею. Может быть, по этой причине Роберт уведомлял обо всем в письмах свою Даму. Рассказывание историй, в общем-то, залог выживанья.

Последний воздушный замок был создан мальтийским рыцарем когда-то вечером за несколько дней, за несколько миль до кораблекрушения. Они огибали архипелаг, куда капитан решил не приставать, поскольку доктор Берд, по всей видимости, снова заторопился приблизиться к экватору. В течение путешествия Роберту стало очевидно, что поведение капитана не таково, как у мореплавателей, рассказы о которых он слышал. Полагалось составлять подробные описания встречаемых новых земель, совершенствовать путевые карты, зарисовывать форму облаков, перечерчивать береговую линию, собирать натуральные редкости... «Амариллида» же вела себя как передвижная лаборатория алхимика, поглощенного своею Черной Деей, безразличного к огромному миру, который перед ним открывался.

Был один закат, облака переигрывались с небом рядом с тенью какого-то острова, и сбоку выходило, будто смарагдовые рыбы витали у его макушки. С другого боку дулись, сердясь, огненные шары. Сверху облака были серы. Сразу после, пламенея, солнце двинулось за островную кромку, и после этого обширное порозовение захватило и небо и тучи, с их краев будто капала кровь. Прошло еще несколько секунд, и пожар позади островной горы заполыхал так ярко, что отсвет попал и на сам корабль. Небо зарно золотилось, будто жаровня на фоне неярких серо-синих полос. Еще какой-то миг, и окровавился весь мир, и последние блики сини будто разодрались убийственными челюстями мурен.

— Вот сейчас бы и умереть, — произнес мальтийский рыцарь. — Вам не хотелось бы соскользнуть по шверту и раствориться в этом море? Это так мгновенно, и именно в этот миг мы узнаем все...

— Да, но как только узнаем, тут же и прекратим знать, — ответил рыцарю Роберт.

Корабль продолжал свое продвижение по пространству вод цвета сепии.

Дни текли, неотличимые. Как было предугадано Мазарини, Роберт имел общение только с благородной публикой. Матросы были такое отребье, что страх было встретиться с ними лицом к лицу на мостике ночью. Пассажиры были голодные, болявые и визгливые. Ассистенты Берда не смели садиться с ним за стол, они молча скользили взад-вперед, выполняя приказания. Капитан, что он был, что его не было: пьянствовал и говорил по-фламандски.

Берд, сухой, тощий бритт, имел до того рыжую и круглую голову, что ее можно было перепутать с корабельным фонарем. Роберт, он-то старался чиститься при любой оказии и, когда шел дождь, всегда прополаскивал одежду, ни разу не видел за много месяцев плавания, чтобы Берд менял сорочку. К счастию, даже для юноши, привыкшего к зловонию парижских салонов, смрад на корабле настолько силен, что, чем разит от соседей, трудно учуять.

Берд был охотник выпить пива. Роберт стал засиживаться с ним, делая вид, что глотает. В его стакане не убывало, но Берд, похоже, беспокоился лишь о том, чтобы доливать пустые, а пустым всегда оказывался его собственный. Он произносил тосты. Мальтийский рыцарь не пил, сидел с ними и о чем-нибудь расспрашивал.

Берд неплохо владел французским, как любой его одноплеменник в ту эпоху, если намеревался путешествовать за пределы родного острова. Его очаровали рассказы Роберта о разведении лоз в Монферрато. Роберт из ответной вежливости прослушал в подробностях, как производится пиво в Лондоне. Потом разговорились о морях. Роберт плавал впервые. Берд, по виду судя, не собирался откровенничать. Рыцарь расспрашивал о месте, где, по мнению остальных, могла бы найтись Эскондида. Но так как от него не поступало подробностей, то и ответа он не получал.

По определению, доктор Берд совершал это плавание для изучения флоры. Роберт прощупал его на эту тему. Берд, несомненно, не был невеждой в гербаристике. Напротив, он принялся разглагольствовать настолько пространно, что Роберту пришлось очень

надолго вступить с ним в заинтересованную беседу. На каждой стоянке Берд и его люди действительно рвали какие-то растения, хотя и не с таким упорством, как если бы они были учеными, весь смысл жизни которых сводился к этим травам. Многие вечера проходили за изучением собранного.

В первые дни Берд расспрашивал о прошлом и Роберта и рыцаря, как будто питал на их счет подозрения. Роберт придерживался версии, выработанной в Париже. Савойское происхождение, война в Казале на стороне имперцев, крупные неприятности как в Турине, так и в Париже вследствие нескольких дуэлей, и в особенности той, на которой он имел невезение ранить протеже Кардинала, так что Тихий океан представился ему подходящим расстоянием между собою и гвардейцами. Рыцарь рассказал множество приключений, некоторые из коих имели место в Венеции, иные в Ирландии, еще какие-то в Южной Америке, но было не вполне понятно, что происходило с ним самим, а что с какими-то другими лицами.

Наконец Роберту стало понятно, что Берд охотник поболтать о женском поле. Он весь вечер описывал сумасшедшие страсти с сумасшедшими куртизанками, у доктора сверкали глаза, он повторял, что непременно по скончании плавания ехать ему в Париж. Потом овладел собою и пробурчал, что паписты все до одного похабники. Роберт заметил, что среди савойцев многие без пяти минут гугеноты. Рыцарь Мальты осенил себя крестом и вернулся к разговору о бабах.

Вплоть до самой высадки на Мас-Афуэра жизнь доктора, казалось, протекала согласно заведенным ритмам, и если он что-то наблюдал на борту, он, видимо, делал это, когда другие сходили на берег. В плавании он целый день прохлаждался на палубе, вечерами допоздна болтал с сотрапезниками, а по ночам, разумеется, спал. Его каюта соседствовала с Робертовой, два узких отсека были разделены переборкой; Роберт вслушивался, стояла тишина.

Как только вошли в Тихий океан, привычки Берда переменились. Как отчалили от Мас-Афуэра, Роберт заметил, что Берд где-то стал отсутствовать по утрам от семи до восьми; странно, потому что прежде именно в такое время он выходил к завтраку. На отрезке пути, тянувшемся на север, к черепашьему острову, Берд удалялся всегда в один и тот же час, в шесть часов утром. Стоило кораблю отклонить курс снова на запад, как Берд начал подыматься в пять. Роберт слышал, как один из помощников приходил его будить. Потом пробуждение постепенно передвигалось на четыре, на три, на два.

Роберт точно определял время, у него имелись маленькие песочные часы. На закате с досужим видом он забредал в окрестности нактоуза, где рядом с компасом, плававшим в китовом жире, имелась табличка, на которой кормчий записывал координаты и предполагаемое время суток. Роберт принимал время к сведению, быстро шел и устанавливал свою песочную клепсидру и следил за регулярным пересыпанием ее содержимого, помечая, сколько раз приходилось переворачивать. Благодаря этому он доподлинно знал, что Берд каждое утро покидает каюту на несколько минут раньше и что, если это продолжится, не миновать такого дня, когда он удалится по делам вообще в полночь.

На фоне всего, чему Роберт обучился от Мазарини, Кольбера и их помощников, нетрудно было прийти к выводу, что походы Берда совпадали с последовательным изменением координаты. Это было как если бы из Европы некто ежедневно в час пополудни на Канарских островах или в назначенный час на каком-то другом меридиане направлял сигнал, который Берд неизвестным образом принимал в секретном месте. Зная время на борту «Амариллиды», Берд на основании этого высчитывал градус долготы!

Достаточно было бы заглянуть туда, куда Берд удалялся. Но как? Пока он делал это с утра, тайно следовать за ним вообще не представлялось возможным. Когда его отлучки переместились на ночь, Роберт, хотя и слышал, что доктор покидает каюту, не мог выскакивать ему вдогонку. Он пережидал совсем немного, потом пытался разыскивать следы лекаря. Безрезультатно. И не только оттого, что, идя по кораблю на ощупь, Роберт путался в гамаках команды или спотыкался о лежащих пилигримов. Хуже то, что нередко он сталкивался нос к носу с теми, кому полагалось бы в это время почивать. Это означало, что имеется неусыпно бдительная охрана.

Встречаясь с одним из таких, Роберт оправдывался привязчивой бессонницей и вскарабкивался на мостик, надеясь, что не вызвал подозрений. С самого начала плава-

ния он создал себе репутацию сумасброда, блуждающего по ночам, дрыхнущего днем. Но ретировавшись на мостик, где, как правило, торчал матрос, с которым Роберт почитал необходимым обменяться парой приветствий, при условии, разумеется, что у них имелся хоть какой-то общий язык, — и он терял ночь безрезультатно.

Этим объясняется, что месяц за месяцем проходили, что Роберт был довольно близок к разгадке секрета «Амариллиды» и тем не менее до последних пор не исхитрился просунуть нос туда, куда требовалось, чтоб выведать тайну.

С другой стороны, с самого отплытия он втягивал Берда в дружескую откровенность. При этом он использовал метод, которому Мазарини не учил его. Желая узнать нечто, Роберт наводил на эту тему мальтийского рыцаря, которому ответ был неведом. Роберт давал ему понять, что тема беседы обладает великой значительностью, в частности для отыскания желанной Эскондиды. После этого, когда наступал вечер, рыцарь переадресовывал тот же самый вопрос доктору Берду.

Однажды ночью на верхней палубе они любовались зведами, и доктор заметил, что судя по светилам, была полночь. Мальтийский рыцарь, подученный Робертом за несколько часов до этого, произнес: — Знать бы, который час теперь на Мальте...

— Проще простого, — вырвалось у доктора. Но он сразу же спохватился: — То есть труднее трудного, я хотел сказать.

Рыцарь спросил, отчего же это нельзя вывести из подсчета меридианов: — Разве Солнце не тратит ровно час на прохождение пятнадцати градусов румба? Значит, достаточно знать, что мы на столько-то градусов удалены от Средиземного моря, поделить на пятнадцать, взять сколько сейчас времени у нас на корабле и вычислить, сколько у них.

— Вы как те астрономы, которые всю жизнь проковырялись с картами, но никогда не ходили в море. Иначе знали бы, что не существует возможности установить, на каком вы меридиане находитесь.

Берд кратко пересказывал то, что Роберту было уже известно. Мальтийскому же рыцарю все было внове, так что Берд истратил великое множество слов. — Древние полагали, что обладают безупречным методом, вычисляя по лунным затмениям. Вы понимаете, что происходит при затмении? В этот момент Солнце, Земля и Луна оказываются на одной оси и тенью Земли покрывается лик Луны. Поскольку поддается расчету и точный день и точный час ожидаемого затмения, надо только иметь под рукой таблицы Регионтана; предположим, что некое затмение ожидается в Иерусалиме в полночь такого-то дня, ну а у вас оно наступает в десять вечера. Значит, вас отделяют от Иерусалима два часа. Следовательно, ваша точка наблюдения отстоит на тридцать градусов долготы на запад от долготы Иерусалима.

— Изумительно, — воскликнул Роберт. — И да славится мудрость древних!

— Да, но этот расчет верен лишь до некоторой степени. Великий Колумб во второе свое странствование высчитал координаты по затмению Луны, находясь у берегов Испаньолы, и допустил ошибку в двадцать три градуса к западу, то есть почти в полтора часа временной разницы! А в четвертом путешествии, опять-таки из-за затмения, он обсчитался на два часа с половиной!

— Обсчитался он или Регионтан? — спросил мальтийский рыцарь.

— Кто разберет? На корабле, который движется всегда, даже когда стоит на якоре, трудно замерять с точностью. Может быть, вам известно вдобавок, что Колумб хотел во что бы то ни стало доказать, будто доплыл до Азии, и, следовательно, он неосознанно влекся к этой ошибке продемонстрировать, будто продвинулся дальше, нежели на самом деле... Есть еще способ по положению Луны. Он вошел в большую моду в последние сто лет. Эта идея не лишена, как бы это сказать, wit, изящества. За свой месяц Луна совершает полное передвижение с востока на запад против орбит всех звезд, а следовательно, она, как стрелка небесного циферблата, посещает весь круг Зодиака. Звезды движутся по небу с востока на запад приблизительно на пятнадцать градусов в час, а Луна за то же самое время проходит только четырнадцать градусов с половиной. Так Луна расходится с движением звездной сферы на полградуса. Так вот, в древности думали, что можно вычислять по расстоянию между Луной и некой fixed sterre, как бы это сказать, некой исходной звездой в определенный момент, если эта звезда одна и та же для наблюдателей со всех концов света... Достаточно использовать опять-таки таблицы, так

называемые эфемериды, и, наблюдая небо с помощью the astronomers staffe, the Crosse...

— Балестрильи?

— Вот-вот... Этому прибору задается расстояние от Луны и до этой исходной звезды для определенного часа на нашем расчетном меридиане, что дает возможность утверждать, что в час, когда будут получены аналогичные данные в море, в таком-то городе столько-то времени. Сколько времени в это время у нас, мы знаем и значит, опять же высчитываем, на какой мы долготе. Прекрасно, но... — и Берд выдержал новую паузу, чтобы заинтриговать как можно сильнее своих слушателей, — но вмешивается параллакс. Это довольно сложная штука, которую я не стану сейчас вам объяснять, скажу лишь, что погрешность вызывается различной рефракцией небесных тел при различной высоте над горизонтом. И вот из-за параллакса лунное расстояние, получаемое тут у нас, не будет совпадать с тем, которое вычислят сейчас астрономы в Европе.

Роберт припомнил, что действительно слышал от Мазарини и Кольбера какие-то разговоры о параллаксе и о том господине Морене, который обнаружил способ, как параллаксы преодолевать. Для проверки познаний Берда он спросил его, доступно ли астрономам преодолевать параллаксы. Берд ответил, что доступно, но что это крайне трудоемкое дело и что риск ошибки чрезвычайно велик. — И вдобавок, — завершил он свою речь, — я профан и понимаю на редкость мало.

— Значит, следует изобрести более надежный метод, — подытожил Роберт.

— Знаете, что сказал ваш Веспуччи? Что долгота — крайне замысловатый предмет, и мало кто разбирается в этом вопросе, кроме тех, кто готов, пренебрегая сном, ночами наблюдать совокупление Луны с планетами. И еще он сказал: ради определения долгот я забывал о ночном сне и укоротил свой век на десятилетие... И укоротил без всякой пользы, добавлю я вам, господа.

<...>

Наконец одним прекрасным утром, воспользовавшись тем, что один матрос свалился с райны и раскроил себе череп, и на шкафуте царило смятение, а доктора спешно позвали врачевать пострадавшего, Роберту удалось скользнуть в трюм, опередив Берда.

Почти что на ощупь нашарил он верную дорогу. Может быть, повезло, а может, неведомая зверюга громче обычного стонала именно тем утром. Примерно в месте ахтерштевня, там, где на «Дафне» хранились бочонки с ромом и араком, он обнаружил закомару, где глазам его открылась кошмарная картина.

На удалении от любопытных взоров, на поддоне, построенном, видимо, по мерке, на подстилке из засаленных тряпок была распростерта собака.

Большая собака, породная, но из-за боли и от страданий она выглядела доходягой. Мучители, по всему судя, старались поддерживать ее в живых: снабжали и питьевой водой и пищей, при этом пищею не песьей, а людскою, с самого лучшего пассажирского стола.

Собака лежала на боку, закинув шею и вывалив язык. Весь бок ее был раскроен огромной, вывороченной раной. Рана имела вид свежий и одновременно нагноенный, меж ее розовых закраин сочилось гангренозное створоженное месиво гноя и сукровицы. Было понятно, что какой-то хирург, вместо того чтобы зашить разрез, раздвинул его и прикрепил края к коже, сохраняя их в зиянии, в незаживании.

Уродство целительского ремесла! Эта рана была не только нанесена нарочно, но и нарочно обрабатывалась против рубцевания, чтобы мученичество пса длилось и длилось — а началось оно неведомо когда. Роберт разглядел вокруг вереда и в вереде в самом какие-то кристаллы, будто врачеватель (исполненный карательской жестокости!) умащал язву едкой солью.

Беспомощный, Роберт погладил несчастного, тот жалобно заскулил. От прикосновений ему, наверно, становилось больнее. К тому же сострадание мешалось в душе Роберта с ликованием от победы. Вот, несомненно, разгадка тайны доктора Берда, таинственное карго, занесенное на борт с причала Лондонского порта.

Насколько наблюдал Роберт и насколько мог догадываться человек, знавший то, что было известно Роберту, пес был ранен в Лондоне, и Берд прилагал все усилия для того, чтоб его язва оставалась в незалеченном виде. В Лондоне же кто-то каждый день в определенный договоренный час что-то производил либо с нанесшим удар оружием, либо с намоченной в крови тряпкой, вызывая у животного, может быть, облегчение, а может,

сильнейшее беспокойство, потому что доктор Берд когда-то говорил Роберту, что от лезвейной мази, weapon salve, может быть не только польза, но и растрава.

Благодаря этому на «Амариллиде» узнавали, когда в Европе настает определенный час. Зная время в точке нахождения судна, могли определять долготу!

Оставалось только увериться в справедливости догадки. В эту пору Берд уединялся каждый день часов около одиннадцати: значит, «Амариллида» подходила к антимеридиану. Спрятаться около пса и выждать прихода медика!

Ему повезло, если можно так выразиться о преддверии шквала, который, как вскоре станет понятно, обещал и кораблю и всем населявшим этот корабль величайшее невезение. Все утро и после обеда море волновалось, Роберт смог сослаться на тошноту и неблагополучный желудок и упокоиться в каюте, пренебрегши в этот вечер ужином. При первой темноте, когда еще не выставили часовых, он прокрался вниз по трапу в трюм, неся с собой огниво и просмоленный шкентель, чтоб освещать дорогу. Он знал, что около собаки, над ее лежанкой, имелись нары, набитые навивами соломы. Эти навивы служили для поправки слежавшихся матросских тюфяков. Роберт заполз в глубину сеновала и зарылся. Оттуда он никак не мог видеть собаку, но имел возможность разглядывать лица тех, кто будет заходить, и слышать их разговоры.

Ожидание протянулось час или более, время шло тем медлительнее, чем отчаянней бедная тварь вопила и сокрушалась, но вот наконец послышались голоса и мелькнул свет.

Роберт смог наблюдать процедуру, совершавшуюся за несколько шагов от его укрытия. Доктору помогали три ассистента.

— Ты пишешь, Кэвендиш?

— Пишу, доктор.

— Подождем. Очень уж он воет сегодня.

— Это от качки.

— Тише, тише, Хэклит, — приговаривал доктор, видно, утешавший беднягу лицемерным ласканием. — Плохо, что мы не договаривались почетче о порядке работы. Надо бы всегда начинать с успокоительного.

— Не скажите, доктор, случается, что он в нужное время спит, и приходится его будить, бередить рану.

— Осторожнее, он, кажется, встрепенулся... Тише, Хэклит... Да, он мечется, он скачет! — Пес и вправду испускал вопли непереносимой боли. — Они накаливают ножик на огне, записывай время, Уитрингтон!

— Приблизительно половина двенадцатого.

— Проверьте по всем часам. Это должно длиться минут десять.

Собачьему визгу, казалось, не будет конца. Потом визг оборвался, перейдя в какое-то «фр-фр», ослабевавшее, угасающее, сменяющееся молчанием.

— Отлично, — подвел итог доктор Берд. — Который час, Уитрингтон?

— Все совпадает. Без четверти полночь.

Новая бесконечная пауза, а после паузы зверь, видимо, задремавший, думавший, что страдание улеглось, снова заголосил, будто ему перепиливали хвост.

— Сколько, Уитрингтон?

— Час как раз прошел, последние песчинки.

— На часах уже было двенадцать, — произнес третий голос.

— По-моему, достаточно. Теперь, господа, — сказал доктор Берд, — надо надеяться, они вытащат ножик из печки, потому что бедный Хэклит уже не может терпеть. Воду с солью, Хаулс, и ветошку. Ну-ну, Хэклит, тебе ведь уже легче... Спи, спи, видишь, я с тобой посижу, видишь, все уже кончилось... Хаулс, снотворного в плошку...

— Вот, доктор.

— Пей, Хэклит. Успокойся, попей водички... — Снова робкое стенание, потом тишина.

— Замечательно, господа, — произнес доктор Берд. — Если бы этот распроклятый корабль так не трясся и не прыгал каждую минуту, можно было бы сказать, что мы провели полезный вечер. Завтра утром, Хаулс, как обычно, соль на рану. Подведем итоги, господа. В момент наибольшего страдания у нас была приблизительно полночь, а из Лондона нам подавали знак, что у них двенадцать дня. Значит, мы на антимеридиане Лондона, точнее, на сто восьмидесятой долготе от Канарских островов. Если Соломоновы острова расположены, как подсказывает легенда, на антимеридиане Железного ост-

рова и если мы на нужной широте, значит, двигаясь на запад при хорошем попутном ветре, мы должны причалить к Сан-Кристобалю, или как нам заблагорассудится перекрестить этот злосчастный островок. Мы нашли то, за чем испанцы гоняются десятилетиями, а кроме того, получили в руки секрет Исходной Точки, Punto Fijo. Пива, Кэвендиш, надо поднять бокал за Его Королевское Величество, да благоволит к нему вечно Премилосердый Господь.

— Боже, храни короля, — отозвались единым духом три глотки, и надо заметить, что эти четыре человека, несомненно, являли собой пример истинной высоты духа и преданности монарху в дни, когда он, если еще и не прощался с головою, в любом случае почти что распростился с королевской властью.

Роберт усиленно соображал. Еще утром он обратил внимание, что этот пес, когда его гладят, умолкает, а если к нему случайно прикасаются в болевой точке, заходится воем. Хватало немногого, при ветре и качке корабля, чтобы вызывать в исстрадавшемся существе разные ощущения. Может, мучители и веровали, будто к ним доходят послания издалека, тогда как пес то терзался, то утихомиривался в зависимости от силы волн и наклона судна. Кроме того, если и впрямь существовало то, что Сен-Савен именовал смутными концептами, могло статься, что доктор Берд движениями рук подчинял собаку своим невыявленным побуждениям. Не сам ли он обмолвился, что причиной ошибки Колумба было неосознанное желание оказаться как можно ближе к Азии? Значит, судьба всего мира ныне зависит от способа, которым полупомешанные испытатели интерпретируют вой истязуемой собаки? По бурчанию псиного брюха эти безумцы делают вывод, что они удаляются либо приближаются к местам, усиленно разыскиваемым испанскими, французскими, голландскими и португальскими безумцами? И его затянули в эту авантюру именно ради того, чтобы он добыл для Мазарини или для молокососа Кольбера рецепт, как населить все корабли океанского флота Франции недорезанными псами?

Ученые тем временем ушли. Роберт вылез из щели и приостановился при свете фитилька напротив посапывающего животного и погладил его по загривку. Роберт видел в этой бедолаге собаке все страдание мира, бешеного вымысла недоумков. Медленное его взросление, от памятных бесед в Казале и вплоть до этой минуты, оформлялось в законченную мысль. О, если бы он остался отшельником на незаселенном острове, как советовал мальтиец! Если бы последовал его совету и подпалил «Амариллиду», если бы оборвал свой бег уйдя на третий остров, к дикаркам с кожей цвета сиенской глины, или на четвертый, где он мог бы стать бардом для местных племен. Если бы он отыскал Эскондиду, убежище от всех наемных убийц безжалостного мира!

Не знал он тогда, что судьбой уготован для него пятый Остров, вполне возможно, его Остатний.

«Амариллида», казалось, была не в себе, и хватаясь за что попало, он дотащился до каюты. Все недомогания отступали пред лицом настоящей морской болезни. Еще несколько минут — налетела буря. О гибели «Амариллиды» я уже рассказывал отдельно. Роберт с честью справился с заданием выжить. Он выжил один, он сохранил великий секрет доктора Берда. Но некому было передать выведанный секрет. Да и вполне вероятно, что секрет этот не стоил ничего.

Не следовало ли ему признать, что, вышедший из нездорового мира, он обрел истинное здоровье? Корабль предоставил ему высочайшее из благ единоличничество; он обрел Госпожу, которую никто у него не властен был отобрать...

Но Остров не принадлежал ему и оставался далеким. «Дафна» не принадлежала ему, и другой претендовал на владычество ею. Может, и затем, чтобы развести на ней опыты не менее брутальные, нежели опыты доктора Берда.

(Окончание следует)

АННА КАМЕНЬСКАЯ

Стихи

Перевод с польского и вступление НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

Чеслав Милош вспоминает, как в 1941 году в оккупированной Варшаве к нему, уже признанному тридцатилетнему мэтру, явились две молоденькие начинающие поэтессы из Люблина. Это были Анна Каменьская и Юлия Хартвиг[1]. Обе они до войны учились в гимназии в Люблине. А родилась Анна Каменьская в старинном городке Красныстав близ Люблина. В годы оккупации тайно обучала польских детей польскому языку в деревнях Люблинщины. Одновременно продолжала заочно учиться сама, ездила сдавать экзамены в подпольном Варшавском университете. В первые послевоенные годы изучала классическую филологию в Люблинском Католическом университете. В 1948 году Анна Каменьская вышла замуж за поэта Яна Спевака. Его родители, его родные и близкие погибли в годы оккупации. Вскоре Спевак и Каменьская перебрались в Варшаву. Каменьская стала работать в журнале «Весь» («Деревня»). Ей это было по душе, с детства она любила народное поэтическое и декоративное творчество, что легко заметить уже в ее первых сборниках.

...Ярмарочные сердечки с надписью «Люблю!».
Крашеные лошадки, дешевые колыбельки —
для бедных тряпичных кукол.
Сердце сжимается каждый раз, как я вас увижу...

В доме Каменьской и Спевака, когда я приходила к ним в гости, со всех полок смотрели деревянные фигуры Христа, святых и чертей работы деревенских резчиков из разных концов Польши.

Чурбачок наш,
иже еси из дерева и грусти... —

обращается Каменьская к одному из домашних святых.

Познакомилась я с Анной Каменьской в 1961 году; это был второй мой — после многих лет отсутствия — приезд в Варшаву, где я родилась. В 1963-м вышел томик моих стихов в переводах варшавских поэтов, участвовала в нем и Каменьская. А я начала переводить польскую поэзию. Летом 1969-го был вечер польской литературы в Большом зале Дома литераторов в Москве, Каменьская сидела рядом с Ивашкевичем, я читала переводы из них обоих, и особенно горячо московская публика приняла стихотворение Анны Каменьской «Молитва к Андрею Рублеву, святому иконописцу» («Святой Андрей, макавший в золото кисти!..»).

Каменьская любила русскую поэзию. «Русь Велимира, Анны и Марины» — так видится ей Россия в одном из ее стихотворений. Она составила и перевела большой том русских народных песен. За такой же том болгарских народных песен, переведенных ею вместе с Яном Спеваком, болгарский ПЕН-клуб присудил им премию, а позже болгары наградили Каменьскую орденом Кирилла и Мефодия. В 1972 году, к 50-летию со дня смерти Хлебникова, Каменьская издала в Польше огромный том его стихов, дополнив переводы Яна Спевака своими.

Смерть Яна Спевака в 1967 году стала для Каменьской потрясением. Многие ее стихи и целые книги стихов посвящены его памяти. Спасения она искала в религии. «Я искала умершего, а нашла Бога», — записала она в дневнике. Она переводит псалмы, пишет вариации на темы псалмов, ее стихотворение «Из глубины» — вариация на тему псалма 129 («Из глубины взываю к Тебе, Господи...»).

В Польше после смерти Каменьской вышли две монографии о ней. Ее стихи изданы отдельной книгой в Англии. В лондонском журнале «Poetry review» (1995, № 3) Чеслав Милош пишет: «...Сейчас, после ее смерти, Каменьская присутствует в поэтических антологиях прежде всего как религиозный поэт. <...> Хотя Каменьская и воспитывалась в католичестве, она вернулась к религии через Ветхий Завет, что можно объяснить ее биографией. Многие годы

---

[1]Стихи Ю. Хартвиг см.: «ИЛ», 1993, № 9.

© Н. Астафьева. Перевод, вступление, 1999

она жила в счастливом браке с Яном Спеваком, поэтом еврейского происхождения. Его мир Ветхого Завета стал ее миром, особенно после главной катастрофы ее жизни — его преждевременной смерти. Она изучила древнееврейский язык, читала и перелагала библейские тексты, Книгу Иова, Псалтирь и писала полные отчаяния стихи об одиночестве и утрате. Ее христианство, осознанная ею связь Нового и Ветхого Заветов делают ее голос особым среди голосов католически ориентированных писателей. <...> Она оставила впечатляющие свидетельства религиозной мысли, противостоящей несчастью. Я более всего ценю ее стихотворения-молитвы».

В последний раз я видела Анну Каменьскую осенью 1979 года. Последнюю открытку от Анны мы получили в марте 1986 года. В мае варшавяне хоронили ее. Но стих ее, как она и просила в стихотворении-молитве, «стоит прозрачный как стекло». В ясной поэзии Каменьской ее личность не заслоняет читателю мир и Бога.

Тринадцатилетняя

Я оставила ее там
в деревянном костеле
на полу под вознесшейся фигурой
ее бедные колени вросли в землю
твердые колени тринадцатилетней
ее слезы текут ручьем к вратам рая
Будет оттепель говорят святые фигуры
боятся что у них начнется насморк
Я тем временем выхожу замуж
рожаю детей
умираю и воскресаю
перебираю ненужные вещи
хороню близких
Лишь теперь вспоминаю бедняжку
ее прямые соломенные волосы
ее челку над изумленными бровями
ее костистые колени
простые чулки
ее пустые руки
ее украшеньице из жести
Может быть она уже святая
ведь так терпеливо
все еще прижимает рукой
сердечко полное несбывшейся нежности

Ненужное

Таскаю с детства весь этот багаж:
отцовскую скрипку в черном футляре,
деревянную тарелку со словами
«К нашему хлебу-соли гостей бы нам поболе»,
дорогу,
по которой движется тень коня и телеги,
заплесневелую стену,
складную кроватку,
вазу с двумя голубка́ми,
предметы,
которые долговечнее жизни,
чучело глухаря

на трухлявом буфете,
ах, и еще всю эту пирамиду
дверей и лестниц.
Нелегко
таскать с собою столько хлама.
Но знаю, что до конца
ни от чего не избавлюсь.
Пока не придет моя мудрая мать
из ниоткуда в никуда
и не скажет:
— Выброс все это, дочурка.
Все это ни к чему.

*Первая ночь**

Медлила снимавшая одежды
над головою руки задержала
будто бы хотела отодвинуть
сыновей рожденье смерть его
и свое вдовство
смерть и конец света

Ожидающему же казалось
что за этот миг утекут реки
лес уйдет осыплется песок
птицы улетят и вновь вернутся

Все свершится что должно свершиться
миг конец и миг начало
непонятная женская радость
непонятная мужская грусть

Фотография его матери

Мать мужа моего
идет по улице в весеннем солнце
она чье тело известь съела
она которая дала мне все

Идет и ни о чем не знает
идет и голова ее чуть-чуть трясется

На улицу которой нет
из подворотни которой нет
на солнце которого нет
выглядывает еврейский мальчик
которого нет

Она же все идет
моя давно убитая свекровь

Руки ее которые съела известь
руки ее полны изумленных даров

*© by Anna Kamieńska. Warszawa, 1981

*В больнице**

Возле старой бабки
умирающей в коридоре
не стоит никто

Всматриваясь в потолок
она уже столько дней
в воздухе пишет рукой

Не кричит не плачет
не ломает рук
а дежурных ангелов слишком мало

Смерть бывает вежливой и тихой
будто кто уступает место
в переполненном трамвае

Мать и я

Скоро уж буду ровесницей моей матери
может быть даже дорасту до нее в страдании
тогда наконец мы сможем наговориться вдосталь
как равные и я не буду
задавать ей глупые вопросы
не потому что поумнела
а потому что нет ответов
не будем ссориться и спорить
ни о Боге ни о Польше
подлинное согласье
это всегда молчанье

Деревья

Пришли ко мне ночью с Люблинщины нашей
пришла липа из дядиного сада
береза которую я обнимала когда-то
пришел дуб побил меня желудями
пришлепали старые ивы
стали надо мною склонились
узнавали не узнавали
спрашивали шумом Исчезаешь
Исчезаю да исчезаю
как Господь Бог наказал нам

Из глубины

Из глубины взываем из нутра
из глубины вожделений колыбелей могил
из глубины мертворождений
из чрева матерей
из годины смерти

---

*© by Anna Kamieńska. Warszawa, 1981

из ям тюремных
из бездны под стопами повешенных
из глубины расстреливаемых легких
из глубины морей
отравленных стронцием и кораблекрушеньями
из глубины о Господи из голода крови нашей
из глубины срываемых ногтей
из ночи перед казнью
из глубины планеты
городов арсеналов
из глубины о Господи
из глубины взбунтовавшегося послушанья
из тиши крика заткнутого кляпом

Молитва которая наверно будет услышана

Боже дай мне страдать много
а потом дай умереть

Позволь идти сквозь тишину
пусть не останется по мне даже страх

Сделай чтобы наш мир продолжался
пусть море целует берег

Пусть трава будет и дальше зеленой
чтобы могла укрыться в ней лягушка

и кто-то мог бы окунуть в нее лицо
и выплакать свою любовь

Дай чтобы день взошел столь ясный
как если б не было уже страданья

А стих мой пусть стоит прозрачный как стекло
о которое бьется заблудившаяся пчела

Анна Каменьская (справа) и Наталья Астафьева. Варшава, 1961 год

СОЛ БЕЛЛОУ

На память обо мне

РАССКАЗ

Перевод с английского Л. БЕСПАЛОВОЙ

Моим детям и внукам

Когда на тебя обрушивается много всего, больше, чем ты в силах вынести, ты, может статься, предпочтешь делать вид, будто ничего особенного не происходит и твоя жизнь как катилась, так и катится по проторенной дороге. Но в один прекрасный день обнаруживается: то, что ты принимал за проторенную дорогу, ровную, гладкую, без ям и рытвин, на самом деле трясина, топь. Мое первое знакомство с подспудной работой безбурных дней восходит к февралю 1933-го. Точная дата тебе мало что скажет. Тем не менее хотелось бы думать, что тебе, моему единственному ребенку, будет интересно узнать, как эта подспудная работа сказалась на мне. В раннем детстве тебя занимала семейная история. Не надо объяснять, почему я не мог рассказать малышу то, что расскажу сейчас. С детьми не говорят о смертях и топях, во всяком случае в нынешние времена. В моем детстве мои родители ничтоже сумняшеся говорили о смерти, об умирающих. Вот о чем они почти никогда не упоминали, так это о вопросах пола. У нас все наоборот.

Моя мать умерла, когда я был подростком. Я тебе не раз говорил об этом. Но вот о чем я умолчал: я знал, что она умирает, и не позволял себе думать об этом — вот тебе и проторенная дорога.

Стоял, как я уже упомянул, присовокупив, что точная дата тебе ничего не скажет, февраль. Должен признаться, я намеренно запамятовал ее.

Зимний Чикаго, скованный серым льдом, низко нависшее небо, скверные дороги.

В старших классах средней школы я учился ни шатко ни валко, не пользовался никакой популярностью, никак не выделялся. Если чем и обращал на себя внимание, так только прыжками в высоту. Ни о каком спортивном мастерстве в моем случае говорить не приходится: в последний момент какая-то пружина или судорога — кто знает? — подкидывала меня вверх, и я перелетал через планку. Но только тогда меня и замечала высыпавшая во двор школа.

Учиться я не хотел, а читать любил. О своей семейной жизни я помалкивал. По правде сказать, не хотел говорить о маме. Сверх того, я просто не сумел бы рассказать о своих увлечениях — до того они были диковинные в своей необычности.

День начался, как всякий школьный день в зимнем Чикаго, уныло и обыденно. Температура на несколько градусов ниже нуля, окна в морозных растительных узорах, сметенный в кучи снег, шероховатый от песка лед, квартал за кварталом улиц, схваченных железным обручем неба. Завтрак — овсянка, поджаренный хлеб, чай. Как водится опаздывая, я задержался, чтобы заглянуть к маме — она болела. Наклонился над ней, сказал: «Это Луи, я в школу». Она кивнула. Веки у нее были совсем темные, гораздо темнее лица. Я выскочил из комнаты, на плече — связка стянутых ремнем книг.

© Saul Bellow, 1990
© Л. Беспалова. Перевод, 1999

Когда я приблизился к бульвару рядом с парком, из дверей дома выскочили двое мужичонок с ружьями, нацелили их на небо, крутанулись и пульнули в парящих у крыши голубей. Несколько птиц рухнули на землю, мужичонки подобрали обмякшие тушки и скрылись в дверях, смуглые субъекты в пузырящихся рубашках. Охотники кризисной поры и их городская дичь. Только что на скорости пятнадцать километров в час мимо проползла полицейская машина. Мужичонки переждали, пока она проедет.

Никакого касательства ко мне они не имели. Я упоминаю о них только потому, что так было. Я обогнул пятна крови, пересек бульвар и вошел в парк.

Справа, за оголившимися кустами сирени, снежный наст был порушен. Вечерами в непроглядной тьме мы со Стефани там обнимались, ласкались, я запускал руки под ее енотовую шубку, под свитер, под юбку, мы целовались без удержу — подростки они и есть подростки. Ее енотовая шапка с хвостом сползала на затылок. Она распахивала отдающую мускусом шубу, я прижимался к ней поплотнее.

На подходе к школе мне пришлось набавить шагу, чтобы проскочить до последнего звонка. Дома меня строго предупредили: никаких неприятностей с учителями, никаких вызовов к директору — не то сейчас время. Так что правил я не нарушал, хотя уроками манкировал. При том что все деньги, какие мне удавалось раздобыть, тратил в книжном магазине Хаммерсмарка. Я прочел «Манхэттенскую переправу»[1], «Огромную камеру»[2], «Портрет художника»[3]. Был членом Cercle Français[4] и Дискуссионного клуба старшеклассников. Сегодня в клубе предполагали обсудить, правильно ли поступил фон Гинденбург, поручив Гитлеру формирование нового правительства. Но теперь я не мог больше посещать заседания клуба: после школы я работал. На этом настоял отец.

После уроков по дороге на работу я зашел домой перехватить кусок хлеба с висконсинским сыром и посмотреть, не проснулась ли мама. Перед смертью ей давали сильные снотворные и с ней почти не удавалось поговорить. У ее изголовья стояла высокая квадратной формы бутылка с прозрачно-красным нембуталом. Цвет его не менялся — казалось, он никогда не замутится. Мама уже не могла сесть, чтобы ей помыли голову, и волосы ее были коротко острижены. От этого казалось, что черты ее лица заострились, губы стянулись. Дыхание у нее было хриплое, сухое, затрудненное. Шторы приподняли до половины. По их низу шли обшитые белой бахромой фестоны. Лед на улицах был грязно-серого цвета. У деревьев высились сугробы. Стволы мертвенно чернели. Ограждавшая их от зимы шершавая, точно крокодилий панцирь, кора собирала на себе всю копоть.

Мама, даже когда не спала, говорила с трудом — она задыхалась. Иногда она объяснялась жестами. Дома не было никого, кроме сиделки. Отец ушел по делам, сестра была на службе, братья занимались своими шахер-махерами. Старший, Альберт, работал у юриста в «Петле»[5]. Брат Лен достал мне работу на пригородных поездах Северо-Западной железной дороги, и какое-то время я торговал там вразнос шоколадками и вечерними газетами. Потом мама положила этому конец, так как я возвращался домой уже затемно, и я нашел другую работу. Сейчас я доставлял цветы клиентам цветочного магазина на Норт авеню — развозил на трамваях венки и букеты по всему городу. Беренс, владелец магазина, платил мне пятьдесят центов за половину дня; вместе с чаевыми мой заработок доходил до доллара. У меня еще оставалось время приготовить тригонометрию, а уже за полночь, после свидания со Стефани, почитать. Когда все засыпали и дом затихал, я устраивался на кухне — под окнами мела поземка, скребла по бетону, лязгала о дверцу котла лопата дворника. Читал запрещенные книги — политические брошюры, «Пруфрока»[6] и «Моберли»[7]; их передавали из рук в руки мои одноклассники. Штудировал и книги настолько темного смысла, что их даже обсудить было не с кем.

---

[1] «Манхэттенская переправа» — роман Джона Дос Пассоса (1896—1970). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] «Огромная камера» — основанный на автобиографическом материале роман Эдуарда Э. Каммингса (1894—1962).

[3] «Портрет художника в юности» — роман Джеймса Джойса (1882—1941).

[4] Французского кружка *(франц.)*.

[5] «Петля» — деловой, торговый и культурный центр Чикаго.

[6] «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» — поэма Томаса С. Элиота (1888—1965).

[7] «Хью Селвин Моберли» — поэма Эзры Паунда (1885—1972).

Я читал в трамваях. Читал вместо того, чтобы смотреть по сторонам. Впрочем, смотреть было не на что — все то же самое и опять то же самое. Витрины, гаражи, склады, одноэтажные кирпичные домишки, жмущиеся друг к другу.

Город был разбит на клетки — на каждые полтора километра по восемь кварталов, по каждой четвертой улице ходит трамвай. Дни были короткие, фонари тусклые, и ближе к вечеру источником света становились снежные наносы. Деньги на билет я засовывал в перчатку, монеты смешивались с катышками шерсти от подкладки. Сегодня мне предстояло доставить лилии в один из северных районов. Лилии были обернуты плотной бумагой, сколотой булавками. Беренс, бледный, с узким лицом, в пенсне, объяснял, в чем состоит мое поручение. Среди буйства красок он выделялся своей бесцветностью — уж не этой ли ценой купил он право принадлежать к роду человеческому? Беренс был скуп на слова:

— При таком движении на дорогу в один конец уйдет час, так что на сегодня у тебя одно поручение. Эти клиенты значатся в моих книгах, и все равно пусть распишутся на счете.

Не могу объяснить, почему для меня было таким облегчением уйти из магазина — подальше от влажного запаха разогретой земли, пышных мхов, колючих кактусов, стеклянных ящиков со льдом, где хранились орхидеи, гардении и розы, неизменные спутники болезни. Я предпочитал кирпичную скукотищу улиц, плиты тротуаров, железные перила. Натянув поглубже на лоб, на уши конькобежную шапочку, я вынес нескладный сверток на Роуби-стрит. Наконец, преодолев подъем, подъехал трамвай, и я отыскал свободное место на длинной скамье рядом с дверью. Пассажиры не расстегивали пальто. Продрогшие, настороженные, притихшие, подавленные. У меня было что почитать — останки книги без переплета, которой не давали распасться обрывки ниток и чешуйки клея. Эти пятьдесят-шестьдесят страниц я носил в кармане овчинного полушубка. Управляться с книгой одной свободной рукой было трудно. Читать же на линии Бродвей — Кларк и вовсе невозможно: приходилось загораживать лилии и от тех, кто висел на поручнях, и от тех, кто проталкивался к выходу.

Я сошел на Эйнзли-стрит, подняв над головой сверток, по форме напоминающий разбухшего воздушного змея. У дома, куда я вез цветы, был обнесенный железной оградой двор. Самый что ни на есть обычный подъезд: просевший посредине пол, кафельные ромбы плиток, въевшаяся в щели грязь, стена с рядами латунных почтовых ящиков, снабженных наушниками и микрофонами. Я нажал на кнопку — ответа не последовало; вместо этого замок зажужжал, заскрежетал, залязгал, и из холодного преддверия я ступил в затхлую теплынь вестибюля. На втором этаже одна из двух дверей, ведущих на площадку, была распахнута — у стены громоздились кучи калош, бот, резиновых сапог. Меня тут же окружила толпа людей со стаканами. Хотя до темноты оставался еще добрый час, горели все лампы. На стульях, на диванах были навалены пальто. Виски в ту пору, ясное дело, покупали исключительно у бутлегеров. Высоко вздымая букет над головой, я разрезал толпу скорбящих. Я был лицом чуть ли не официальным. Из уст в уста передавали: «Пропустите парня. Валяй, браток, проходи!»

В длинном коридоре тоже теснился народ, зато в столовой не было ни души. Здесь лежала в гробу покойница. Над ней на обмотанной скотчем перекрученной жиле провода, вылезавшей из потрескавшейся штукатурки, висела хрустальная люстра. Я, к своему собственному удивлению, стал смотреть в гроб.

Она представала перед тобой такая, как она есть, — без прикрас похоронщика: девчушка постарше Стефани, но не такая пухленькая, светлая, с прямыми, разложенными по мертвым плечам волосами. Былой энергии нет и следа — тяга, рухнувшая без подпорок, не столько покоящаяся на сером прямоугольнике, сколько утонувшая в нем. На щеке девчушки я увидел, как мне показалось, вмятины от пальцев. Была она привлекательной или нет, не имело значения.

Грузная женщина в черном (по всей очевидности, мать), толкнув вращающуюся дверь, вышла из кухни, увидела, что я склонился над покойницей. Она сделала мне знак сжатой в кулак рукой — мол, не задерживайся; не иначе как рассердилась, подумал я. Когда я проходил мимо нее, она прижала кулаки к груди. Велела положить цветы в раковину, вытащила булавку, зашуршала бумагой. Толстые руки, оплывшие щиколотки, пу-

чок на затылке, остренький красный нос. Беренс всегда укреплял стебли лилий тонкими зелеными палочками. Поэтому стебли никогда не ломались.

На сушилке стояло блюдо, на нем запеченный окорок, вокруг — ломти хлеба, банка французской горчицы и деревянный шпатель, чтобы ее намазывать. Я глядел, глядел во все глаза.

С женщиной я вел себя так скромно и вежливо, как только умел. Я смотрел в пол, не желая отягощать ее своим состраданием. Но что ей за дело до моей предупредительности; при чем тут я — всего лишь посыльный, слуга? А если ей безразлично, как я себя веду, для кого, спрашивается, я стараюсь? Ей всего-то и нужно — расписаться на счете и отправить меня восвояси. Она взяла кошелек, прижала его к груди тем же движением, каким прижимала кулаки.

— Сколько я должна Беренсу? — спросила она.

— Он сказал, вы можете расписаться на счете.

Она, однако, не желала пользоваться чужой добротой.

— Нет, — сказала она. — Не хочу, чтобы на мне висел долг.

Дала мне бумажку в пять долларов, прибавила пятьдесят центов на чай, и не ей, а мне пришлось расписаться на счете, кое-как накорябав свою фамилию на краю желобчатой эмалированной раковины. Я сложил бумажку в несколько раз, нашарил под полушубком кармашек для часов — брать деньги в присутствии ее покойной дочери мне было неловко. Не я был причиной ее суровости, и тем не менее ее лицо отчего-то пугало меня. Точно так же она смотрела на стены, на дверь. Но как бы там ни было, эта смерть меня не касалась: я был здесь человек сторонний.

По пути к выходу я, словно надеясь еще что-то прочесть на неприкрашенном лице девушки, снова заглянул в гроб. А потом уж, на лестнице, вытащил книжные листки из кармана полушубка и в вестибюле стал разыскивать прочитанный накануне вечером абзац. Ага, вот он:

Законы природы не распространяются на телесную оболочку человека. Отдаваясь попечению природы, человек обращается в прах. Совершеннее человека нет ничего на земле. Покуда жизнь нас не покинет, видимый мир служит нам оградой, затем ему надлежит полностью уничтожить нас. Откуда в таком случае, из какого мира, телесная оболочка человека?

Если ты что-то съел, а потом умер, пища, поддерживавшая в тебе жизнь, после смерти лишь ускорит твое разложение.

Это означает, что природа не рождает жизнь, а лишь дает ей приют.

В те дни я читал подобные книги во множестве. Но та, которую я прочел вчера вечером, затронула меня сильнее остальных. Тебе, моему единственному ребенку, даже слишком хорошо известна моя неизменная то ли поглощенность, то ли одержимость потусторонним. Я, бывало, донимал тебя разговорами о духе или душе, а также о континууме духа и природы. Ты слишком хорошо воспитан, благопристойно рационалистичен и относился к подобным понятиям не без предубеждения. Я мог бы присовокупить слова знаменитого ученого: то, что очевидно, не нуждается в подтверждениях. Но я не намерен продолжать эту тему. И тем не менее в истории, которую я хочу тебе рассказать, был бы пробел, если бы я не упомянул об этой сыгравшей такую роль книге; да и в конце концов, это рассказ, а не поток доказательств.

Как бы там ни было, я засунул листки в карман полушубка; что делать дальше, я не знал. Четыре часа, поручений больше нет, идти домой у меня не хватало духу. И, увязая в снегу, я побрел к Аргайл-стрит, где у моего зятя был зубоврачебный кабинет, в надежде поехать домой вместе с ним. Я заранее обдумал, как объясню, почему заявился к нему на работу: «Отвозил цветы в Норт-сайд[1], видел мертвую девушку в гробу, понял, что твой кабинет поблизости, ну и зашел». Почему я счел необходимым дать отчет в совершенно невинных поступках, если они и впрямь были невинными? Возможно, потому, что я вечно умышлял что-то недозволенное. Потому, что меня вечно подозревали во всех грехах. Потому, что я был врун, каких мало, — однако самокопанье, некогда так увлекавшее, стало меня тяготить.

---

[1] Престижный район Чикаго.

Кабинет моего зятя — «Филип Хаддис, Д.О.[1]» — помещался на втором этаже без лифта. Из трех эркеров, кругливших угол дома, открывался вид на улицу от начала до самого конца и на озеро на востоке, где плавали зазубренные льдины. Дверь кабинета была открыта, и, миновав крохотную, с глухими (без окон) стенами приемную и не увидев Филипа возле громоздкого, откинутого назад зубоврачебного кресла, я решил, что он не иначе как в лаборатории и скоро вернется. Филип был мастер своего дела — он чуть не все работы выполнял сам, что давало большую экономию.

Рослым Филипа не назовешь, но он был крупный, кряжистый. Рукава белого халата едва не лопались на его голых мощных предплечьях. Сильные руки оказались как нельзя более кстати. К нему часто переправляли пациентов рвать зубы.

Если у Филипа не было срочных дел, он обычно устраивался в зубоврачебном кресле, между паучьей ногой бормашины, газовой горелкой и зеленой стеклянной плевательницей, где бежала по кругу струйка воды, и изучал «Рейсинг форм». В воздухе неизменно витал густой запах сигар. Посреди кабинета стояли часы под стеклянным колпаком. В их основании вращались четыре золоченые гирьки. Подарок моей матери. Вид из среднего окна разрезала надвое цепь, навряд ли тоньше той, что некогда остановила Британский флот на Гудзоне. Цепь держала вывеску аптекаря — ступку и пестик, обрамленные электрическими лампочками. Дневной свет отступил. В полдень он заливал улицы, к четырем — оттек. С одной стороны снежные сугробы все больше синели, с другой их подогревал свет витрин.

Лаборатория размещалась в чулане. Ленивый Филип мочился в раковину. До уборной в дальнем конце дома путь был неблизкий, а коридор — две голые стены, оштукатуренный туннель, по которому бежала ковровая дорожка, отороченная по бокам полосками меди, — никак его не привлекал, Филип не любил туда ходить.

В лаборатории тоже никого не оказалось. Возможно, Филип пошел выпить кофе у стойки, в аптеке внизу. Не исключалось также, что он коротал время с Марчеком, врачом, который занимал смежный с ним кабинет. Дверь между кабинетами никогда не закрывалась, и я не раз сиживал во вращающемся кресле Марчека, штудируя цветные иллюстрации в книге по гинекологии и пополняя свой запас латинских терминов.

За испещренной звездочками стеклянной дверью кабинета Марчека не горел свет, и я решил, что кабинет пуст, но, войдя, увидел на смотровом столе голую женщину. Она не спала — по всей видимости, отдыхала. Заметив меня, она шелохнулась, затем неспешно, даже не повернувшись, потянула к себе одежду, сваленную грудой на конторке доктора Марчека. Извлекла из кучи комбинацию, бросила на живот — именно бросила, а не положила. Она что, не в себе, одурманена? Нет, просто не желала торопиться, в ее жестах была волнующая вялость. От ее соблазнительных запястий шли провода к медицинскому аппарату на колесиках.

Что бы мне попятиться... впрочем, с этим я уже опоздал. Кроме того, женщина, судя по всему, никак на меня не реагировала. Она не накинула комбинацию на грудь, ляжки и те не сдвинула. Хохолок волос на лобке распался, пахнуло чем-то солоноватым, едким, сокровенным, приторным. Запахи эти незамедлительно подействовали на меня. Я страшно возбудился. Лоб женщины лоснился, в глазах сквозила усталость. Я, как мне казалось, догадался, чем она занималась, но комната тонула в полумраке, и я решил не доводить свою мысль до конца. Сомнение или неопределенность, как мне представлялось, куда предпочтительнее.

Я вспомнил, что Филип в своей небрежной, флегматической манере упомянул об «изысканиях», которые проводились в смежном кабинете. Доктор Марчек изучал реакции партнеров в процессе совокупления.

— Он зазывает людей с улицы, присоединяет их к аппарату — делает вид, что вычерчивает диаграммы. Развлекается таким образом; насчет науки это он заливает.

Значит, голая женщина была объектом научного исследования.

Я готовился рассказать Филипу о молодой покойнице с Эйнзли-стрит, но гроб, кухня, окорок, цветы уплыли далеко-далеко — они были теперь ничуть не ближе льдин на озере и его убийственно холодных вод.

---

[1] Доктор одонтологии.

— Ты откуда явился?— сказала женщина.

— Из зубоврачебного кабинета за стеной.

— Врач вот-вот должен был меня отпустить, я хочу высвободиться. Может, ты сообразишь, как отсоединить провода.

Если Марчек в запроходной комнате, он, услышав наш разговор, не войдет сюда. Женщина приподняла руки, чтобы я мог отстегнуть ремни, груди ее качнулись, я нагнулся к ней, ее тело от пояса и выше издавало запах, напоминавший запах шоколадной коробки, когда в ней остались одни гофрированные коричневые бумажки, — тот же отзвук сладкого аромата, смешанный с едким картонным душком. Перед моими глазами, как я ни старался отогнать это видение, всплыла изуродованная ножом онколога грудь моей матери. Исполосовавшие ее узластые швы. Вызвал я в памяти и смеженные ресницы и поцелуйное личико Стефани — все шло в ход, только бы устоять перед чарами голой женщины. Отстегивая ремни, я подумал, что не так высвобождаю ее, как прикрепляю себя. Мы были одни в комнате, где все сгущался сумрак, и мне до смерти хотелось, чтобы она засунула руку под мой полушубок и сама расстегнула мне пояс.

Но когда я высвободил ее руки, она стерла с них гель и принялась одеваться. Начала она с лифчика, укладывала груди в чашки то так, то сяк, а заведя руки за спину, чтобы застегнуть крючки, пригнулась, словно проходила под низко свисающей веткой. Каждую клетку моего тела, точно пчелу, все сильнее и сильнее пьянил сексуальный мед. (Надеюсь, эта сцена внесет некоторые изменения в образ деда Луи, старикана, который кем только не предстает в воспоминаниях, но уж никак не роем разохотившихся пчел.)

Тем не менее насчет поведения той женщины я уже и тогда не обманывался. Она вела себя довольно откровенно, даже несколько пережимала. Я видел ее в профиль, и, хотя она опустила голову, было заметно, что она улыбается. Как выражались в тридцатые: она брала меня в оборот. Почуяла, что я сдамся без боя. Она застегивала пуговку за пуговкой с нарочитой медлительностью, а на ее блузке было по меньшей мере двадцать пуговок, при том что ниже пояса она оставалась голой. Хотя мы с ней, школяр и проститутка, были не бог весть кто, нам предстояло играть на инструментах — дай бог всякому. И если мы двинемся дальше, что бы ни случилось здесь, не выйдет за пределы этой комнаты. Все останется между нами, и никто никогда об этом не узнает. Впрочем, не исключено, что Марчек, этот мнимый экспериментатор, в соседней комнате и вот-вот нагрянет. Старый семейный врач, он, вероятно, и растерян и недоволен. Мало того, с минуты на минуту мог вернуться Филип, мой зять.

Соскользнув с кожаного стола, она схватилась за щиколотку и сказала, что растянула связку. Подняв ногу на кресло и тихо чертыхаясь, стала тереть щиколотку; ее подернувшиеся влагой глаза бегали по сторонам. Потом натянула юбку, пристегнула чулки к поясу, сунула ноги в лодочки и, опираясь на подлокотники и прихрамывая, обошла кресло.

— Будь так добр, достань мою шубу. Накинь ее мне на плечи — и все.

У нее тоже была енотовая шуба. Что бы ей носить какой-нибудь другой мех, посетовал я, снимая шубу с вешалки. Правда, у Стефани шуба была поновее и раза в два потяжелее. У этой мездра пересохла, шерсть повытерлась. Женщина уже направлялась к двери; когда я накинул шубу ей на плечи, она пригнулась. У Марчека был отдельный выход в коридор.

На лестничной площадке она спросила, не помогу ли я ей спуститься. Я сказал, что помогу — о чем речь, но сначала мне нужно заглянуть еще раз к зятю: вдруг он вернулся. Завязывая шерстяной шарф под подбородком, она улыбнулась, сощурила глаза и стала похожа на китаянку.

Не показаться Филипу было бы ошибкой. Я рассчитывал, что он уже возвращается — идет по узкому коридору к себе своей грузной, неспешной, с развальцем походкой. Ты, разумеется, не помнишь твоего дядю Филипа. В колледже он играл в футбол, его бугристые, литые предплечья выдавали бывшего полузащитника. (В наши дни на Солджер-Филд[1] он смотрелся бы шибздиком; в те годы, однако, считалось, что ему впору быть чуть ли не цирковым силачом.)

Но посреди пустынного коридора лишь бежала ковровая дорожка, и некому было

[1] Большой стадион в Чикаго.

прийти мне на помощь. Я направился к кабинету Филипа. Сиди у него в кресле пациент и заглядывай Филип ему в рот, я бы вернулся на путь истинный — мог бы, не обнаружив, что сробел, отказать этой женщине. Имелся и другой выход: сказать, что я не могу проводить ее, так как Филип рассчитывает вернуться вместе со мной в Норт-вест-сайд. Опустив голову, чтобы не видеть часов с их беззвучно, равномерно вращающимися гирьками, я обдумывал этот вымысел. Потом вырвал листок из блокнота Филипа, черкнул: «Луи, мимоходом». И положил его на сиденье кресла.

Женщина продела руки в рукава своего молодежно-студенческого енота и пристроила укутанный мехом зад на перилах. Она поворачивала зеркальце пудреницы то так, то сяк, но, увидев меня, защелкнула пудреницу и бросила ее в сумочку.

— Нога не прошла?

— Нет, еще и ниже пояса вступило.

Мы стали спускаться — медленно, становясь обеими ногами на каждую ступеньку. Я все гадал: если я ее поцелую, как она к этому отнесется? Скорее всего, поднимет на смех. Мы ведь уже не в четырех стенах, где можно позволить себе все что угодно. Мы на улице без конца и без края. Я понятия не имел, как далеко лежит наш путь, как далеко мне удастся зайти. Хотя, по ее утверждению, плохо чувствовала себя она, худо было мне. Она попросила меня поддерживать ее под крестец, и тут-то мне и открылось, какие невероятные выкрутасы она умеет выделывать бедрами. На вечеринке я однажды слышал, как немолодая женщина сказала другой: «Я знаю, как их распалить». Эта фраза мне все объяснила.

Чтобы распалить семнадцатилетнего юнца, особого искусства не требовалось, можно было даже не просить меня поддерживать ее под крестец — я и без того ощутил бы, как ловко, как зазывно она вихляет бедрами. Ведь я уже видел ее на смотровом столе Марчека, ощутил ее всю, когда она налегла на меня, прильнула ко мне своим женским естеством. Мало того, она до тонкости знала, что́ у меня на уме. Она была предметом, непрестанно занимающим мои мысли, а часто ли случается мысли встретить предмет, ее занимающий в подобных обстоятельствах — и вдобавок чтобы предмет сознавал это? Ей были ведомы мои чаяния. Она сама была этими чаяниями во плоти. Я не стал бы утверждать, что она шлюха, проститутка. Она вполне могла оказаться обычной девушкой из приличной семьи, не без шлюховатости, которая куролесит, забавляется, выкидывает сексуальные кунштюки смеха ради — в ту пору люди нередко вели себя так.

— Куда мы направляемся?

— Если тебе некогда, я доберусь сама, — сказала она. — Мне идти-то всего до Уинона-стрит, по ту сторону Шеридан-роуд.

— Нет, нет, я вас провожу.

Указав на листки, торчащие из моего кармана, она спросила, учусь ли я еще в школе. Когда мы проходили мимо освещенной витрины фруктового магазина, в которой мой сверстник вываливал апельсины из ящиков, я заметил, что, несмотря на кожу цвета густых сливок, глаза у нее азиатского разреза, черные.

— Тебе, должно быть, лет семнадцать,— сказала она.

— Угадали.

В эту снежную погоду на ней были лодочки, и она не ставила ногу как попало, а выбирала, куда ступить.

— Ты кем хочешь стать, ты уже остановился на какой-нибудь профессии?

Профессия — вот уж что меня не интересовало. Ни в коей мере. Люди с профессиями, бухгалтеры, инженеры, стояли в очередях за супом. В мире, охваченном кризисом, от профессии не было никакого проку. А раз так, можно и посягнуть на нечто из ряда вон выходящее. Не будь я возбужден так, что меня даже поташнивало, я мог бы сказать, что разъезжаю по городу на трамваях не ради того, чтобы зашибить доллар-другой или там помочь семье, а ради того, чтобы постигнуть суть этого унылого, обнищавшего, безобразного, бескрайнего, разлагающегося города. Теперь — в ту пору такие мысли не приходили мне в голову — я понимаю, что у меня была одна цель: постигнуть, в чем его предназначение. В нем чувствовалась невероятная силища. Но она была — потенциально — и во мне. Тогда я решительно не желал верить, что люди здесь занимаются тем, чем они, как им кажется, занимаются. За видимой жизнью улиц таилась подлинная жизнь, за

каждым лицом — подлинное лицо, за каждым голосом, каждым произнесенным словом — подлинная интонация и истинный смысл. Разумеется, я не собирался говорить ни о чем подобном. В ту пору я еще не дозрел до этого. При всем при том я был юнец с идеалами. «Фу-ты ну-ты», называл меня мой ехидный, критически настроенный братец Альберт. В юности, если ставить перед собой высокие цели, не миновать такого рода насмешек.

Но сейчас меня тянула за собой роскошная охочая девица. Я понятия не имел ни куда меня ведут, ни как далеко завлекут, ни чем огорошат, ни чем это для меня обернется.

— Значит, зубной врач — твой брат?

— Зять, он муж моей сестры. Они живут с нами. Спрашиваете, что он за человек? Отличный парень. По пятницам он обычно закрывает кабинет и отправляется на скачки. Берет меня с собой на бокс. И еще играет в покер в комнате за аптекой...

— Небось он не расхаживает с книжками в кармане.

— Ваша правда. Он говорит: «Что толку? Столько упущено, что уже не нагнать, не наверстать. Тут и тысячи лет не хватит, так чего надрываться?» Сестра хочет, чтобы он открыл кабинет в «Петле», но для этого ему пришлось бы поднапрячься. Он предпочитает плыть по течению. Жить как живется, не хочет выкладываться.

— Что ты читаешь, о чем твоя книжка?

Я не намеревался ничего с ней обсуждать. Был на это просто не способен. На уме у меня было совсем другое.

Но предположим, я сумел бы что-то объяснить ей. От вопросов, задаваемых не из праздного любопытства, уклоняться нельзя: «Я что хочу сказать, это видимый мир, мисс. Мы живем в нем, дышим его воздухом, питаемся его материей. Однако, когда мы умираем, материя возвращается к материи, и мы исчезаем с лица земли. Так вот, к какому миру мы принадлежим — к этому, материальному, или к другому, которому материя подвластна?»

Желающих обсуждать такого рода темы почти не находилось. У Стефани — и у той недоставало терпения. «Ты умираешь, и всё тут. Мертвец он мертвец и есть» — так говорила она. Стефани любила развлекаться. Когда я не мог сводить ее в «Ориентал», она ходила в театр с другими ребятами. Приносила оттуда сомнительные водевильные шуточки. «Ориентал», как я понимаю, принадлежал национальному синдикату развлекательных заведений. Там выступали Джимми Сейво, Лу Хольц и Софи Такер[1]. Для Стефани я порой бывал слишком глубокомыслен. Когда она изображала, как Джимми Сейво поет «Река, не затопляй мой порог», сжимая коленки руками, я, обманывая ее ожидания, не хватался за бока.

У тебя могло сложиться впечатление, что книгу, вернее, пачечку листков в моем кармане, я принимал чуть ли не за талисман из волшебной сказки, способный отворить ворота замка или перенести на вершину горы. Тем не менее, когда женщина спросила, что это за книга, я не сумел ответить ей — такой разброд царил у меня в голове. Не забудь, что я все еще держал, как она велела, руку на ее крестце и был вконец измочален раззадоривающим вихлянием ее бедер. Я на опыте открывал, что имела в виду та дама на вечеринке, сказавшая: «Я знаю, как их распалить». Словом, я был в не состоянии говорить ни об Эго и Воле, ни о тайнах крови. Да, я верил, что каждому без исключения человеку досталась своя доля высшей мудрости. Что же еще может объединять нас, как не эта сила, кроющаяся за будничными соображениями? Но о том, чтобы связно беседовать на такую тему, сейчас не могло быть и речи.

— Ты что, не можешь ответить?— сказала она.

— Я купил ее за пять центов на развале.

— Так вот на что ты тратишь деньги?

Она, как я понял, намекала, что на девчонок я их не трачу.

— А твой зубной врач — славный увалень, — продолжала она. — Чему, спрашивается, он может тебя научить?

Я попытался мысленно обозреть наши разговоры. О чем говорил Фил Хаддис? Он говорил, что у члена на взводе нет совести. В эту минуту больше ничего не приходило

---

[1] Джимми Сейво — один из самых известных эстрадных актеров, играл также в театре и в кино; Лу Хольц — водевильный актер; Софи Такер — комедийная актриса.

мне в голову. Филипа развлекали разговоры со мной. Он держался по-приятельски. Проявлял понимание, в то время как от моего брата Альберта, твоего покойного дяди, от того пощады не жди. Если бы Альберт мне доверял, он мог бы меня кое-чему научить. В ту пору Альберт посещал вечернюю юридическую школу и служил у Роуленда, конгрессмена-рэкетира. У Роуленда он был порученцем — Роуленд нанял его не для того, чтобы толковать законы, а для того, чтобы собирать деньги у тех, кто у него на откупе. Филип подозревал, что Альберт и себя не забывает: уж очень он франтил. Носил котелок (их тогда называли набалдашниками), пальто верблюжьей шерсти и узконосые ботинки — в ту пору в таких ходили все гангстеры. Меня Альберт третировал. Говорил: «Ты ни хрена не понимаешь. И никогда не поймешь».

Мы приближались к Уинона-стрит; когда мы дойдем до ее дома, она меня отошлет — на что я ей? Я увижу, как блеснет стекло, посмотрю, как она открывает дверь, — и только. Она уже нашаривала в сумочке ключи. Я снял руку с ее копчика, готовясь буркнуть «пока-пока», но тут она кивнула, пригласив меня, вопреки моим ожиданиям, войти. Я, как мне кажется, питал надежду (подмоченную похотью надежду), что она оставит меня на улице. Я прошел следом за ней через еще один также выложенный кафелем вестибюль вовнутрь. Раскаленные батареи нещадно нагревали лестничную клетку, стеклянный фонарь тремя этажами выше подрагивал, обои отклеивались, заворачиваясь и вспучиваясь. Я затаил дыхание. Боялся, что раскаленный воздух обожжет мне легкие.

Когда-то это был дом типа люкс — его построили для банкиров, брокеров и преуспевающих специалистов. Теперь его заселили перекати-поле. В просторной комнате с высоченными окнами шла игра в кости. В следующей комнате люди пили, валялись на диванах. Она провела меня через комнату, где прежде помещался бар, от которого остались кое-какие приспособления. Я проследовал за ней через кухню — да я бы пошел за ней куда угодно, даже не спросив, куда меня ведут. В кухне, судя по всему, не стряпали — не видно было ни кастрюль, ни мисок. Линолеум протерся, коричневые волокна основы стояли дыбом, как волосы. Она провела меня в коридор поуже, параллельный главному.

— Я живу в комнате для горничных,— сказала она. — Она выходит на задворки, зато при ней есть ванная.

Наконец мы у нее — в почти пустой комнате. Так вот в каких условиях работают проститутки, если только она проститутка: голый пол, узкая койка, стул у окна, скособоченный гардероб у стены. Я остановился под лампочкой, она отступила — осмотреть меня, что ли, ей вздумалось. Затем приобняла меня со спины, легонько коснулась моей щеки губами — поцелуй не так много давал в настоящем, как сулил в будущем. То ли ее пудра, то ли помада распространяла запах неспелых бананов. Никогда еще мое сердце так не колотилось.

Она сказала:

— Что, если я ненадолго уйду в ванную, а ты пока разденься и ложись в постель. Ты, похоже, приучен к порядку — сложи свои вещички на стуле. Не на пол же их бросать.

Дрожмя дрожа (сдается, во всем доме это была единственная холодная комната), я стал раздеваться, начав с покоробленных зимней непогодой ботинок. Полушубок я повесил на спинку стула. Запихнул носки в ботинки и поджал ноги — пол был давно не метен. Снял с себя все — не иначе как в надежде, что так ни рубашка, ни исподнее не будут иметь касательства к тому, что там со мной ни произойди, и вся вина падет на мою плоть. Без нее тут уж никак не обойтись. Залезая под одеяло, я подумал: наверное, такие же койки стоят в исправительных заведениях. На подушке не было наволочки, моя голова лежала на наперник. За окном я не видел ничего, кроме проводов на столбах, напоминающих нотные линейки, только провисшие, и стеклянных изоляторов, напоминающих россыпь нотных значков. О деньгах она и не заикнулась. Ясное дело, я ей приглянулся. Я не верил своему счастью — счастью с привкусом беды. Меня не насторожила тюремная койка, где не уместиться двоим. Вдобавок я боялся спечься раньше времени, если она задержится в ванной слишком долго. И какими такими женскими делами она там занимается — раздевается, моется, душится, меняет белье?

Она рывком открыла дверь. Ждала — только и всего. Она не сняла ни енотовой шубы, ни даже перчаток. Не глянув в мою сторону, стремительно, едва ли не бегом, кинулась к окну, открыла его. Рама поднялась, в комнату ворвался ветер, я привскочил, но остано-

вить ее не успел. Она схватила мои вещи со стула и швырнула в окно. Они упали на задворки. Я возопил: «Что вы делаете?» Она так и не повернула головы. Обматывая на ходу шею шарфом, убежала, не закрыв за собой дверь. Я слышал, как барабанят по коридору ее лодочки.

Я не мог пуститься за ней вдогонку — как я мог? — и появиться на люди нагишом. Она на это и рассчитывала. Когда мы вошли, она, должно быть, подала условный знак своему сообщнику, и он ждал под окном. Когда же я подскочил к окну, моих вещей уже и след пропал. Я увидел, как человек с узлом под мышкой торопливо юркнул в проход между двумя гаражами. Я мог бы подхватить ботинки — их она не взяла — и выпрыгнуть в окно: комната была на первом этаже, но сразу я бы его не догнал и, голый, закоченевший, вскоре выскочил бы на Шеридан-роуд.

Однажды я видел, как по улице брел пьянчуга в одном нательном белье с разбитой в кровь головой — его обчистили и избили; он шатался из стороны в сторону и истошно вопил. А у меня даже рубахи и трусов не имелось. Я был совсем голый — так же как она в кабинете доктора, — у меня стибрили все, включая пять долларов за цветы. И овчинный полушубок, который мама купила мне в прошлом году. Плюс книгу, листки книги без названия неведомого автора. Не исключено, что это была самая серьезная потеря.

Теперь мне предстояло самостоятельно поразмыслить о том, к какому миру я на самом деле принадлежу — к этому или к другому.

Я опустил окно, затем закрыл дверь. Комната выглядела нежилой, но если все же — чем черт не шутит — в ней кто-то живет, что, как он ворвется и изметелит меня? Хорошо еще, что на двери засов. Я задвинул его и обошел комнату — не найдется ли чем прикрыться. В скособочившемся гардеробе ничего, кроме проволочных вешалок, в ванной только полотенце для рук. Я сорвал с койки покрывало: если сделать в нем прорезь для головы, оно могло бы сойти за пончо, но уж слишком оно тонкое — от такой холодины не спасет. Придвинув к гардеробу стул, я встал на него и за резным выступом обнаружил женское платье и стеганую ночную кофтенку. А в бумажном пакете — коричневый вязаный берет. Пришлось напялить это тряпье. Что еще мне оставалось?

Сейчас, по моим подсчетам, было около пяти часов. Филип работал не по расписанию. Он не торчал в кабинете в надежде, что вдруг объявится какой-нибудь бедолага, у которого разболелся зуб. Приняв последнего назначенного пациента, он запирал кабинет и уходил. И далеко не всегда держал путь домой: его не очень-то туда тянуло. Если я хочу его застать, надо припустить. Я вышел — ботинки, платье, берет, кофтенка. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания. В комнаты набилось еще больше народу (Филип назвал бы этих людей перекати-поле), вполне вероятно, что парень, подхвативший мою одежду, уже вернулся и сейчас среди них. Подъезд натопили так, что трудно было дышать, от обоев попахивало паленым — казалось, они вот-вот загорятся. На улице на меня налетел ветер прямиком с Северного полюса — платье и сатиновая кофтенка от него нимало не защищали. Впрочем, я мчал во весь дух и даже не успел почувствовать холод.

Филип скажет: «Кто эта шлюшка? Где она тебя подцепила?» Невозмутимого, неизменно добродушного Филипа я забавлял. Анна вечно тыкала ему в глаза своими честолюбивыми братцами: они занимаются шахер-махерами, они читают книги. Неудивительно, что Филип обрадовался бы. Я предвидел, что он скажет: «Ты ее поимел? Ну что ж, зато не подцепил трипака». Сейчас я зависел от Филипа, потому что у меня не было ничего — даже семи центов на трамвай. При всем при том я не сомневался, что он не станет читать мораль, а постарается одеть меня — выпросит свитер у знакомых, живущих по соседству, или отведет в лавку Армии спасения на Бродвее, если она еще не закрылась. И все это — неспешно, тяжеловесно, размеренно. Его даже танцы не могли расшевелить — отплясывая фокстрот с Анной, щека к щеке, он не подчинялся музыке, а навязывал ей свой темп. Углы его губ растягивала бесстрастная ухмылка. Велиарова мохнатка — такое название я ей дал. Филип был в моем восприятии толстым, и притом сильным, сильным, и притом покладистым, вкрадчивым, и притом довольно язвительным. Собираясь тебя поддеть, он присасывал угол рта — и тут-то и оборачивался Велиаровой мохнаткой. Назвать его так вслух я и помыслить не мог.

Я пронесся мимо витрин фруктовой лавки, кулинарии, портновской мастерской.

На помощь Филипа я мог рассчитывать. Отец мой, в отличие от Филипа, был человеком нетерпимым, взрывчатым. Более субтильный, чем его сыновья, красивый, с мускулами, точно высеченными из белого мрамора (так, во всяком случае, мне казалось), безапелляционный. Появись я ему на глаза в таком виде, он бы рассвирепел. Меня и правда ничто не остановило: ни смертельная болезнь мамы, ни скованная морозом земля, ни близость похорон, ни разверстая могила, ни кулек с песком из земли обетованной, который сыплют на саван. Заявись я домой в этом замызганном платье, старик — а он и так держится лишь чудом: столько на него навалилось — обрушит на меня свой слепой ветхозаветный гнев. Эти приступы ярости я воспринимал не как жестокость, а как исконное, дарованное ему навек право. Даже Альберт — а он уже был юристом, работал в «Петле», — и тот терпел стариковские колотушки, он клокотал от злобы, глаза у него бешено выкатывались из орбит, и тем не менее он их сносил. Никто из нас не считал отца жестоким. Зарвался — получай свое.

В кабинете Филипа свет не горел. Когда я взлетел по лестнице, дверь с непрозрачным звездным стеклом оказалась заперта. Стекло в морозных узорах тогда было редкостью. В уборных и прочих подобного рода местах в окна вставляли замутненные звездочками стекла. Марчек — сегодня его сочли бы вуайером — тоже в сердцах ушел. Я сорвал его эксперимент. Я подергал двери, одну, другую в надежде — вдруг мне повезет и я проведу ночь на обитом кожей смотровом столе, где еще недавно возлегала обнаженная красавица. Вдобавок из кабинета я мог позвонить. Нельзя сказать, чтобы у меня не было друзей, но таких, которые могли бы мне помочь, среди них не имелось. Да я и не сумел бы объяснить им, в какую передрягу попал. Они решили бы, что я представляюсь, разыгрываю их. «Это Луи. Тут одна шлюха стащила мою одежду, и я застрял в Норт-сайде без гроша в кармане. На мне женское платье. Ключей от квартиры нет. Добраться домой не на что».

Я добежал до аптеки — посмотреть, не там ли Филип. Он иногда играл пять-шесть партий в покер в комнате за аптекой — пытал счастье перед тем, как сесть в трамвай. Я знал Кийяра, аптекаря, в лицо. Он меня не помнил — да и с какой стати ему меня помнить? Кийяр сказал:

— Чем могу служить, барышня?

Неужели он и впрямь принял меня за девчонку, побродяжку или цыганку из тех, что раскидывают таборы перед магазинами, пристают к прохожим, предлагая погадать? Они сейчас разбрелись по всему городу. Но даже цыганка не обрядилась бы в такую погоду вместо пальто в стеганую ночную кофтенку из синего сатина.

— Скажите, не у вас ли доктор Фил Хаддис?

— Зачем вам доктор Хаддис — у вас зуб болит или что?

— Мне необходимо его увидеть.

Аптекарь был низенький крепыш, его круглая как шар лысая голова производила впечатление болезненно незащищенной. Благодаря этому, подумал я, он способен учуять малейшие признаки смятения. Вместе с тем глаза Кийяра за стеклами очков хитро поблескивали, и, судя по наружности, если ему что втемяшится, его нипочем не переубедить. Но вот странность — ротик у него был крошечный, губки ребячьи. Он провел на этой улице — сколько-сколько? Сорок лет? За сорок лет можно такого навидаться, что тебя уже ничего не удивит.

— Вы записались на прием к доктору Хаддису? Вы у него лечитесь?

Он знал, что у меня дело частного свойства. И я не лечусь у Филипа.

— Нет. Но раз уж я здесь, доктор Хаддис наверняка захочет меня увидеть. Могу я поговорить с ним минутку?

— Его здесь нет.

Кийяр удалился за решетчатую перегородку рецептурного отдела. Необходимо во что бы то ни стало удержать его. Куда мне кинуться, если он уйдет? И я сказал:

— Это очень важно, мистер Кийяр.

Он ждал, чтобы я раскрыл карты. Я не хотел ставить Филипа в неловкое положение, дав повод для сплетен. Кийяр молчал. Должно быть, ждал, что́ я скажу дальше. Раскрою карты. Он, надо думать, гордился тем, что из него лишнего слова не вытянешь — могила. Чтобы пронять его, я сказал:

— Я попал в передрягу. Я оставил записку доктору Хаддису, но по возвращении разминулся с ним.

И тут же понял, что дал маху. Аптекарей вечно осаждали просители. Пилюли, снадобья, блеск огней, реклама лекарств притягивали чокнутых бродяг и попрошаек. И каждый из них говорил, что с ним приключилась беда.

— Вы можете обратиться в участок на Фостер авеню.

— В полицию, что ли?

Я уже думал об этом. Я, разумеется, мог бы рассказать полицейским, в какую переделку попал, и они задержали бы меня до тех пор, пока не проверят мой рассказ и кто-нибудь не явится забрать меня. Скорее всего, это будет Альберт. Тот-то он порадуется. Скажет: «Ну ты и блудливый щенок». Будет подлизываться к полицейским, смешить их.

— Мне до Фостер авеню не дойти — я замерзну. — Так я ответил Кийяру.

— А полицейская машина на что?

— Что ж, раз Фила Хаддиса в аптеке нет, может, он где-нибудь по соседству. Он, как правило, не сразу идет домой.

— Иногда он ходит на бокс в заведение Джонни Кулона. Но матчи так рано не начинаются. Попытайте счастья в забегаловке дальше по улице, на Кенмор. Она в полуподвале, вход с торца. На дверях парень по кличке Лось.

Он не предложил мне ни цента из кассы. Скажи я ему, что со мной стряслась беда и что Филип — муж моей сестры, не исключено, он и дал бы мне денег на трамвай. Но я не открылся ему, а раз так — расхлебывай свои неприятности сам.

На выходе я обхватил себя руками, толкнул плечом дверь. С таким же успехом я мог бы выйти и нагишом. Ветер хлестанул меня по ногам, и я припустил изо всех сил. К счастью, бежать было недалеко. Посреди квартала торчал железный обрезок трубы с лампочкой на конце. Он бросился мне в глаза, едва я пересек улицу. Отыскать незаконные заведения, где торговали спиртным, было проще простого: на это и рассчитывали. По бетонным ступенькам — сколько их было: четыре, пять? — я спустился к двери. Окошечко открыли прежде, чем я постучал, — вместо глаз привратника в нем показались зубы.

— Вы Лось?

— Угу. А ты кто?

— Я от Кийяра.

— Входи.

Ощущение было такое, словно я проваливаюсь в просторный, теплый, выложенный плиткой погреб. Смотреть тут было не на что — почти не на что. Какое-то подобие бара, немногочисленные полки, краны, несколько столиков, позаимствованных из кафе-мороженого, стулья с проволочными спинками. Если выглянуть из полуподвального оконца, глаза оказались бы вровень с землей. Здесь оконце было замазано варом. Впрочем, тут смотреть было бы и вовсе не на что: двор, деревянное крыльцо, бельевая веревка, провода, задворки с грудами золы.

— Откуда путь держишь, сеструха?— сказал Лось.

Впрочем, кто здесь был Лось? — никто. Бармен — а он-то всем и заправлял, — подозвал меня и спросил:

— В чем дело, голуба? Тебя послали что-то передать?

— Не совсем так.

— Вот оно что. До того приспичило выпить, что ты прямиком из постели, даже не одевшись, мотанула к нам?

— Нет, сэр. Я ищу одного человека... Фила Хаддиса здесь нет? Зубного врача?

— У нас всего один посетитель. Это не он?

Это был не он. Сердце мое упало ниже некуда.

— А он не пьянчуга, тот, кого ты ищешь?

— Нет.

Пьянчуга восседал на высоком стуле, свесив ноги-палки, уронив руки, приклеившись щекой к стойке бара. Бутылки, стаканы, пивная бочка. За спиной бармена красовалась панель, отодранная от стены какой-то квартиры. В нее было вделано высокое зеркало — положенный на бок овал. С трубы свисали закрученные штопором ленты серпантина.

— Вы знаете этого зубного врача?

— Может, знаю. А может, и нет,— сказал бармен.

Это был неопрятного вида верзила с длинным лицом — чем-то он походил на кенгуру. Длинным лицом в сочетании с брюхом — вот чем. Он сказал:

— К нам в это время мало кто ходит. Обеденный час, сам понимаешь, мы ведь что — квартальная пивнушка.

Это был всего-навсего погреб; так же как и бармен был всего-навсего грек, томящийся скукой облом. Так же как и я сам, Луи, был всего-навсего голый юнец в женском платье. Если поименовать вещи по-простому, от них практически ничего не останется. Бармен — теперь все зависело от него — вытянул голые руки, уперся ими о стойку. В погребе пахло дрожжами с примесью спиртного. Он сказал:

— Ты живешь по соседству?

— Нет, до нас отсюда час езды на трамвае.

— Точнее.

— В районе Гумбольдт-парка.

— В таком случае ты не иначе как украинец, швед или еврей.

— Еврей.

— Да уж кто-кто, а я Чикаго знаю. И ты в таком виде не из дому сюда явился. Да ты за десять минут превратился бы в ледышку. Такая одежка в самый раз для спальни, для зимы она не годится. Потом, ты и фигурой на дамочку не похож. Бедер никаких. И что ты там руками прикрываешь, не буфера ведь? То-то же. С чем пришел, ты не из этих, из мафродитов? Я тебе так скажу — и в депрессии не все худо. Не будь ее, нам бы нипочем не узнать, какие чудны́е дела тут творятся. Но вот что ты барышня и что твое сокровище при тебе — этому я ни в жизнь не поверю.

— Тут вы попали в точку, но дело не в этом, а в том, что у меня нет ни гроша — трамвайный билет купить не на что.

— Кто тебя облапошил — баба?

— Я разделся у нее в комнате, а она хвать — и выбросила мои вещички из окна.

— Нагишом за ней не побежишь — вот почему она велела тебе раздеться... Будь я на твоем месте, я б ее сграбастал и повалил. А ты небось даже не поимел ее.

«Даже не...» повторил я про себя. И почему я не опрокинул ее на кровать прямо в пальто, едва мы вошли в комнату, не задрал ей юбку, как сделал бы он? Потому что ему это на роду написано. А мне — нет. Мне это не дано.

— Значит, вот оно как. Тебя мастаки облапошили, причем она работала не одна. Она тебя заманила. По тебе сразу видно, что тебя надуть ничего не стоит. Еврейчикам не положено путаться с этими мерзавками профурами. Но когда вы вырываетесь из дому, вам не хуже других хочется погулять вволю. Вот так-то. И где ты выкопал это платье в таких здоровущих розах? Видать, потоптался-потоптался там, торчалка торчит — тут впору что угодно на себя нацепить. Она хоть ничего из себя?

Ее груди, когда она лежала на столе, не потеряли формы. Не обвисли. Сдвинутые ляжки круглились навстречу друг другу. Черные примявшиеся волосы. Да, красотка, ничего не скажешь.

Как и аптекаря, бармена забавлял юнец, попавший в переплет, в замызганном платьишке, в ночной кофтенке то ли из искусственного шелка, то ли сатина. Мое счастье, что торговля в эту пору шла не бойко. Будь в баре посетители, бармен не стал бы тратить на меня столько времени.

— Словом, ты спутался со шлюхой, и она тебя обдурила.

По правде говоря, я не жалел себя. Я уже признал: этого следовало ожидать — бог знает что возомнивший о себе школяр, воспаряющий бог знает в какие выси и оттого считающий, что быть правоверным евреем ниже его достоинства, и метящий в избранники судьбы. Дома, в семье, — допотопные порядки, за стенами дома — жизнь как она есть. Жизнь как она есть взяла свое. При первом же столкновении с ней я выставил себя на посмешище. Женщина сыграла со мной шутку, выбросив мои одежки из окна. Аптекарь с его болезненно незащищенной головой отнесся ко мне с убийственной иронией. А теперь еще и бармен, прежде чем даст — и еще даст ли? — семь центов на трамвай, решил сделать себе потеху из моих бедствий. А после всего этого мне предстояло еще

битый час терпеть позор в трамвае. Моя мама — а мне, может быть, и не суждено больше поговорить с ней — часто повторяла, что у меня по переносице пролегает морщина гордеца, она прямо-таки видит эту дурацкую складку.

Предугадать, чем обернется ее смерть, я не мог.

Бармен, поскольку я от него зависел, куражился. И Лось (Лосёк, как называл его грек) оставил свой пост у двери — ему тоже хотелось позабавиться. Углы губ грека приподнялись точь-в-точь как у кенгуру, затем он почесал в поросшем черным колючим волосом затылке. Говорили, что греки пьют стаканами оливковое масло, чтобы волосы росли гуще.

— Ну-ка, повтори еще разок, что ты тут толковал про зубного врача.

— Я пришел за ним, но он уже уехал домой.

К этому времени Филип, должно быть, уже сидел в трамвае, ходившем по линии Бродвей — Кларк, читал пичевский «Ивнинг Американ» — крепко скроенный, с по-детски оттопыренными губами просматривал результаты бегов. Анна одевала его, как положено специалисту, но у него все причиндалы — рубашка, галстук, пуговицы — жили своей жизнью. Его жирная лапища распирала купленные ему Анной узкие туфли. Мягкую шляпу он надевал как следует. А за всем прочим он следить не нанимался.

После работы Анна готовила обед, и, когда Филип явится, отец накинется на него с расспросами: «Где Луи?»

— Цветы разносит,— скажут ему.

Однако с наступлением темноты старика одолевала тревога за детей, и, если они запаздывали, он не ложился, а ходил, вернее, семенил взад-вперед по длинной анфиладе комнат. Как ни старайся незаметно проскользнуть домой, он налетал на тебя, хватал за шиворот. Невысокий, ладный, стройный, джентльмен, хотя и грубоватый, но довольно обходительный, он много чего повидал на своем веку, жил в Одессе, еще дольше в Санкт-Петербурге — вот только уж очень вспыльчивый. Сущая мелочь могла вывести его из себя. Если он увидит меня в женском платье, он умом тронется. Тронулся же я, когда она показала мне свою мохнатку со всеми ее розоватыми складочками, когда подняла руку и попросила отсоединить провода, когда я коснулся ее кожи и меня обдало ее запахом.

— Что у тебя за семья, что делает твой отец?— спросил бармен.

— Поставляет дрова пекарям. Их привозят в товарных вагонах из северного Мичигана. И еще из Бирнамвуда, штат Висконсин. У отца склад неподалеку от Лейк-стрит, к востоку от Холстеда.

Я нарочно нанизывал деталь на деталь. Нельзя было допустить, чтобы меня заподозрили в сочинительстве.

— Я знаю эти места. У вас там хватает и проституток, и публичных домов. Как ты думаешь, можно рассказать твоему старику про то, что с тобой стряслось, как тебя подцепила канашка и стибрила твою одежку?

От его вопроса лицо у меня стянулось, уши заложило. Подвал куда-то отодвинулся, стал совсем маленьким, каким-то игрушечным, но мне было не до игр.

— Как твой старик — крутенек?

— Не то слово, — сказал я.

— Поколачивает деток? На этот раз тебе взбучки не избежать. Что у тебя под платьем, трусы хоть на тебе есть?

Я мотнул головой.

— Ходишь с голым задом? Теперь будешь знать, каково бабам приходится.

Кожа могутных мускулистых рук грека была нездорового цвета. Если он за тебя примется, дай бог унести ноги. Мафия только таких и нанимала. Там теперь верховодили парни Капоне. Греку справиться с любым посетителем было не сложнее, чем с целлулоидным голышом. Он напоминал одного из тех кенгуру-боксеров в кино — мог перемахнуть через стойку прямо с места. Как бы там ни было, ему нравилось валять дурака. Углы его большого рта загибались кверху — такие расплывающиеся от счастья рожи изображали на карикатурах.

— Что ты делал в Норт-сайде?

— Разносил цветы.

— Зашибаешь деньгу после школы, а на уме одно — как бы перепихнуться. Тебе

много чего еще надо усвоить, приятель. Ну да ладно, хорошенького понемножку. А теперь, Лосёк, возьми-ка фонарь да посмотри, гляди и откопаешь за баром свитер или еще что для этого недотепы. Только навряд ли — старик дворник как пить дать оттуда все вытащил. Если там угнездились мыши, повытряси их говешки. Все легче будет добраться домой.

Я проследовал за Лосем — в дальней части подвала было жарко натоплено. Фонарь Лося выхватывал из темноты корыта, на которых громоздились ручные прессы для отжимания белья, деревянные лари с амбарными замками.

— Поройся вон в тех картонных коробках. Там, я думаю, по большей части тряпье. Опрокинь их, удобнее будет искать.

Я вывалил на пол тряпье из двух коробок. Лось светил, водя фонарем туда-сюда над кучами тряпья.

— Я же говорил, тут особо не разживешься.

— Вот шерстяная рубаха,— сказал я.

Мне не терпелось выбраться оттуда. Меня мутило от запаха нагревшейся мешковины. За исключением рубашки все эти вещи мне были ни к чему. Пуловер или брюки — вот что мне было бы нужно. Мы возвратились в бар. Преодолевая омерзение (семья моя отличалась брезгливостью и превыше всего ставила чистоту), я натягивал рубаху, и тут бармен предложил:

— Знаешь что я тебе скажу: проводи-ка ты этого пьянчугу, ему самое время идти домой, верно я говорю, Лосёк? Он у нас что ни день надюзгивается. Проследишь, чтобы он добрался до дому, — огребешь полдоллара.

— Хорошо, — сказал я. — Вот только далеко ли он живет? Если далеко, мне не дойти — на полпути замерзну.

— Да нет, недалеко. На Уинона-стрит к западу от Шеридан, рукой подать. Я тебе объясню, как туда добраться. Он служит в муниципалитете. Определенной работы у него нет, исполняет поручения одного типа из избирательного комитета. Он алкаш, растит двух девчушек. Когда не напивается вусмерть, стряпает для них. Сдается мне, они о нем заботятся больше, чем он о них.

— Перво-наперво,— сказал бармен, — я приберу его деньги. Не хочу, чтобы моего дружка обчистили. Может, у тебя такого и в мыслях нет, но мне положено заботиться о посетителях.

Щетиннорылый Лось вывернул карманы пьянчуги: бумажник, ключи, мятые сигареты, красный, омерзительно грязный на вид платок, спички, деньги — бумажки и мелочь. Все это он выложил на стойку.

Когда я оглядываюсь на события минувших дней, меня отягощает мое восприятие, которое придает им завершенность, а может, и искажает их, смешивая в одну кучу то, что нельзя забыть, с тем, о чем не стоило бы и упоминать. И вот перед моими глазами встает бармен, его огромная ручища сгребает деньги так, словно он их выиграл, взял банк в покер. Потом у меня мелькает мысль: если бы этот здоровила-кенгуру взвалил пьянчугу на спину, он доставил бы его домой быстрее, чем я дотащу его до угла. На самом же деле бармен сказал только:

— Джим, я подыскал тебе хорошего провожатого.

Лось поводил пьянчугу взад-вперед — хотел удостовериться, что тот может передвигаться. При этом заплывшие глаза пьянчуги приоткрылись и тут же закрылись.

— Макерн,— инструктировал меня Лось,— юго-западный угол Уинона и Шеридан, второй дом по южной стороне, второй этаж.

— Деньги получишь, когда вернешься, — сказал бармен.

Мороз стоял уже такой, что снег под ногами похрустывал, как станиоль. Не исключено, что от холода Макерн протрезвел, но шевелить ногами быстрее не стал. Так как я должен был его поддерживать, я позаимствовал у него перчатки. Он мог сунуть руки в карманы — на нем было пальто. Я попытался укрыться от ветра за его спиной. Куда там. Передвигаться самостоятельно он не мог. Приходилось его тащить. Вместо вожделенной женщины мне выпало обнимать алкаша. И такой, сам понимаешь, позор, в то время когда мама больше не могла осиливать смерть. Примерно в эту пору к нам спускались соседи сверху, приходили родственники, набивались в кухню, в столовую — дежурить у

смертного одра. Вот где мне надлежало быть, а не у черта на куличках, в Норт-сайде. Когда я заработаю на трамвай, я все равно буду в часе езды от дома, в трамвае, останавливающемся по два раза на километр.

Я волочил Макерна на себе вплоть до самого его дома. Подперев дверь спиной, за руки втащил его в темноватый вестибюль.

Девочки поджидали его и тут же спустились вниз. Они придержали дверь на лестницу, а я внес их папашу наверх, применив прием, который используют пожарники, и сгрузил на кровать. Похоже, детям это было не внове. Они раздели его, оставив на нем одни подштанники, и, не говоря ни слова, встали по обе стороны комнаты. Для них все это было в порядке вещей. Они воспринимали немыслимые дикости спокойно, что, в общем и целом, характерно для детей. Я прикрыл Макерна зимним пальто.

Я не испытывал к нему жалости — обстоятельства не располагали к этому. И пожалуй, я могу объяснить почему: он уж точно далеко не раз напивался и еще не раз, а много-много раз напьется до беспамятства, прежде чем помрет. Пьянство было явлением обыденным, привычным, а раз так, его не осуждали, и пьяницы полагали, что их не осудят и выручат — на это и рассчитывали. Вот если твои злоключения были необыденного, непривычного свойства — тут уж рассчитывать было не на что. Касательно пьянства существовала некая конвенция, положения которой разработали по преимуществу сами пьяницы. В основу ее легло не требовавшее доказательств утверждение о пагубности сознания. А пуще всего, по-видимому, его низших, убогих форм. Плоть и кровь жалки, слабы и не могут противостоять людской жестокости. А сейчас мой потомок услышит, как дед Луи, забросив историю, которую обещал рассказать, вещает — от себя не уйдешь — о высших формах сознания. Ты потребуешь, чтобы он держал слово, и ты в своем праве.

Тут старшая девочка обратилась ко мне:

— Нам позвонили и сказали, что папу приведет домой один парень и что, если папа не сможет приготовить ужин, вы нам пособите.

— Да. Еще что?..

— Только вы не парень... вы в платье.

— Похоже на то, правда твоя. Но ты не беспокойся, я пройду с вами на кухню.

— Так вы барышня?

— То есть... а по-твоему как? Ладно, барышня так барышня.

— Вы можете поужинать с нами.

— Раз так, проводите меня на кухню.

Я прошел вслед за ними на кухню тесным от нагромождения барахла — ящиков с консервами, крекерами, коробками сардин и бутылками шипучки — коридором. Проходя мимо ванной, я юркнул туда — отлить по-быстрому. На двери не имелось ни крючка, ни засова; лампочка на потолке не горела — шнур выключателя был оборван. Крохотный ночничок включался в розетку в плинтусе. Благодарение богу, здесь царил полумрак. Я поднял сиденье, одновременно задрав юбку, и только-только приступил к делу, как услышал за спиной шаги. Глянул через плечо, увидел, что это младшая девочка, и, отвернувшись (чего только со мной сегодня не приключалось), сказал:

— Не входи сюда.

Но она протиснулась между мной и ванной, примостилась на ее краю. Губы ее растянула ухмылка. У нее прорезался второй зуб. Сегодня женский пол словно сговорился подвергать меня сексуальным надругательствам, даже у малявок — и у тех был распутный вид. Я прервался, отпустил подол и сказал:

— Что тебя рассмешило?

— Вы не барышня, иначе бы вы сели.

Девчушка дала мне понять: ей известно, на что она смотрит.

Она прикрыла пальцами рот, я повернулся и прошел в кухню.

На кухне девчушка постарше обеими руками поднимала черную чугунную сковороду. На промокшей бумаге лежали свиные отбивные, рядом стояла закрытая банка с жиром. С газовой плитой — она поблескивала от застарелого жира — я умел управляться. Прикасаться к свинине я брезговал, и отбивные бросил на плюющуюся жиром сковороду, подцепив их вилкой. От вида свинины меня затошнило. Я подумал: «Ну и влип же

я, ох и влип». Пьянчуга на кровати, таинственный сумрак уборной, вольфрамовая спиралька над газовой плитой, брызги жира, обжигающие руки.

Старшая девочка сказала:

— Тут и вам хватит. Папа не будет ужинать.

— Нет, нет, меня в расчет не берите. Мне не хочется есть,— сказал я.

Все, чем меня стращали в детстве, взметнулось, подкатило к горлу, живот схватило.

Дети сели за стол с эмалированной прямоугольной столешницей. Тарелки и стаканы, вощеный пакет с нарезанным белым хлебом, бутылка с молоком, брусок масла, жирный чад, затуманивший комнату. Девочки резали мясо, над ними стлался дым. Я принес им с плиты соль и перец. За едой они не разговаривали. Я выполнил свои обязательства — больше меня здесь ничто не удерживало. Я сказал:

— Мне пора.

Поглядел на Макерна — он сбросил пальто, стянул подштанники. Лицо, точно обваренное кипятком, короткий нос шильцем, кадык, ходивший вверх-вниз, — только он и свидетельствовал, что Макерн жив, — свернутая набок шея, черная поросль волос на животе, цилиндрик между ног, с конца которого, заворачиваясь, свисала крайняя плоть, лоснящиеся белые голени, плачевного вида ноги. На ночном столике у кровати стопочка центов. Я взял деньги на трамвай, но спрятать их было некуда. Открыл стенной шкаф в коридоре, пошарил — не найдется ли там пальто, пара брюк. Я мог забрать что угодно — Филип завтра же отнес бы все в бар, греку. Сдернул с вешалки пальто с поясом, брюки. Вот уже третий раз я надеваю чужое платье — о полосках, клетках или прочих тонкостях сейчас не время упоминать. В отчаянии я кинулся прочь, на лестничной площадке натянул брюки, заправил в них платье, скатываясь по ступенькам, влез в пальто, завязал потуже пояс и пересыпал монетки, всю пригоршню, в карман.

И все же я снова сходил на те задворки, под ее окно — посмотреть, не горит ли в нем свет, а еще поискать мои листки. Вполне вероятно, что вор или сутенер их бросил, а может, они выпали, когда он подхватил полушубок. Света в окне не было. На земле я ничего не нашел. Можешь счесть это маниакальной идеей, ненормальной зависимостью от слова, от печатного листа. Однако не забывай, что ни спасителей, ни духовных вождей, ни исповедников, ни утешителей, ни просветителей, ни конфидентов на улице не было, — на кого я мог опереться? Знания приходилось обретать там, где удавалось найти. В центре, под куполом библиотеки, мозаичными буквами был выведен завет Милтона, трогательный, хотя, возможно, и тщетный, возможно, слишком вызывающий:

ХОРОШАЯ КНИГА — БЕСЦЕННА, В НЕЙ ЖИЗНЕННАЯ МОЩЬ ВЕЛИКОГО ДУХА[1].

Таковы неприкрашенные факты, и не поведать про них никак нельзя. Мы — и этого нельзя забывать — в Новом Свете, вдобавок в одном из его непостижимейших городов. Мне следовало бы не мешкая сесть на трамвай. Вместо этого я рыскал по задворкам — искал книжные листки, наверняка уже унесенные ветром.

Я вернулся на Бродвей — широкая дорога была и впрямь очень широкой,— потоптался на безопасном пятачке в ожидании трамвая. И вот он подъехал — громыхающий, красный, покачивающийся на колесах, образчик технологии железного века, с тростниковыми скамьями на двоих, окантованными медными полосками. Час пик давно миновал. Влекомый к дому, я расположился у окна, и проблески мысли, точно трассирующие пули, прорезали далекую тьму. Ни дать ни взять Лондон военной поры. Что я расскажу домашним? Да ничего не расскажу. И никогда не рассказывал. Они и так считали, что я вру. При том что слово «честь» было для меня не пустым звуком, врал я очень и очень часто. Можно ли жить без вранья? Соврать легче, чем объясниться. Мой отец исходил из своих представлений о жизни, я — из своих. Найти точки соприкосновения между ними не удавалось. Мне предстояло отдать пять долларов Беренсу. Впрочем, я знал, где мама прячет свои накопления. Так как я рылся в книгах, я обнаружил деньги в ее mahzor'e, молитвеннике, предназначенном для Осенних Праздников, для дней покаяния. До сих пор я не прикасался к ее сбережениям. До этой своей последней болезни она надеялась на-

[1] *Джон Милтон.* Ареопагитика, или Речь о свободе слова (1644) — политический памфлет, обращенный к парламенту и защищающий свободу слова.

копить на поездку в Европу — повидаться с матерью и сестрой. После ее смерти я передам отцу все деньги, за исключением десяти долларов: пять предназначались владельцу цветочного магазина, остальные — на покупку фонхюгелевской[1] «Жизни вечной» и «Мира как воли и представления».

Гости и родственники, стекавшиеся к нам после обеда, уже отправятся восвояси, когда я доберусь до дома. Отец будет сторожить меня. С наступлением темноты черный ход обычно запирали. Щеколду на кухонной двери, как правило, не задвигали. Я мог перелезть через деревянную переборку, отделявшую лестницу от прихожей. Нередко я так и делал. Если упереться ногой в дверную ручку, можно подтянуться и по-тихому перемахнуть в прихожую. А там заглянуть в кухню и, если отец уже покинул свой сторожевой пост, прошмыгнуть туда. Спальня, которую я делил с братьями, прилегала к кухне. Завтра я мог бы позаимствовать старое пальто моего брата Лена. Я знал, в каком шкафу оно висит. Если же отец меня застукает, он уж точно надает мне тумаков и в плечи, и в голову, и в лицо. Но если мама умерла, он не станет меня бить.

Вот тогда-то размеренная, уютная, навевающая дрему, проторенная дорога и обернулась трясиной, топью, на дне которой сгущалась тьма. А объяснение этому могли дать разве что неизвестно кем сочиненные листки в кармане моего пропавшего полушубка. Говорят, будто подлинное понимание вселенной у нас в крови. Будто скелет человека не что иное, как тайный знак. Будто в первые дни после смерти нам видится все, что мы успели узнать на земле, будто космос алчет нашего земного опыта — без него ему не обновиться.

Не думаю, чтобы эти листки, не утрать я их, произвели бы на меня неизгладимое впечатление или изменили бы мою жизнь.

Свое то ли повествование, то ли свидетельство я пишу, откликаясь на непостижимый разумом зов, пробившийся ко мне из самих недр земных.

Предал мать! Эти слова, скорее всего, будут мало что, а то и вовсе ничего не значить для тебя, моего единственного ребенка.

Мне ли не знать, как важно избегать пафоса в наши низменные, хитросплетенные времена.

В трамвае, на пути к дому, я собирался с силами, но от моих предуготовлений не было проку — они тут же обрушивались, как песочные домики. Я сошел на Норт авеню; на свое отражение в витринах я старался не глядеть. Когда человек умирает, спешат занавесить зеркала. Не берусь истолковать, с чем связан этот ханжеский предрассудок. С тем, что в зеркале отражается душа усопшего, или этот обычай противодействует суетности живых?

Я стремглав помчался домой, прокрался задворками, стараясь не шуметь, поднялся по лестнице черного хода, ухватился за переборку, подтянулся, уперся ногой в белую фаянсовую ручку, по-тихому перемахнул в нашу прихожую. Я продумал, что́ надо предпринять, чтобы не нарваться на отца, но ничего не предпринял. За кухонным столом сидели люди. Я прошел прямиком на кухню. Отец встал, ринулся ко мне. Кулак он занес загодя. Я стащил вязаный берет, и, когда он стукнул меня по голове, душа моя преисполнилась благодарностью. Если бы мама уже умерла, он не дубасил бы, а обнял меня.

Ну а теперь их всех уже взяла смерть, да и я подготовился к ней. Большого состояния я не нажил, это и побудило меня написать воспоминания, как бы в придачу к тому, что ты от меня унаследуешь.

■

[1] Фридрих фон Хюгель (1852—1925) — английский теолог и писатель.

ГОНСАЛО ТОРРЕНТЕ БАЛЬЕСТЕР

Дон Хуан

РОМАН

Перевод с испанского Н. БОГОМОЛОВОЙ

4 Не знаю, сколько времени я провел так, сидя верхом на перилах балкона, перекинув одну ногу наружу. Ежели верить часам — немного; ежели судить по тому, какой духовный опыт я за это время обрел, — вечность. Подобные переживания, как известно, неимоверно остры и по насыщенности превышают скудные человеческие возможности. Чтобы истолковать их, мы используем пространственные категории. Есть некая вечность, обладающая длиной, шириной, высотой; но должна существовать и другая, ее сумели познать лишь мистики, — это бесконечное продолжение некоей точки, продолжение в глубину, при том что она остается точкой — не широкой, не длинной, но — безмерной. Именно такой точке уподобилась моя душа, душа — завороженная зарей, осиянная ее светом. Я отрешился от всего и готов был ступить на заповедную дорогу высшего восторга, экстаза, но тут кто-то позвал меня:

— Дон Хуан!

Это была не Мариана. Бедняжка лежала притихшая и, боясь шелохнуться, вслушивалась в свое внутреннее счастье. И не Лепорелло — тот дрых без задних ног в каком-нибудь углу. И уж разумеется не Командор, неведомо куда подевавшийся. Я узнал этот голос: в детстве, всего лишь произнося мое имя, он рассеивал все сомнения и печали, будь то страх перед злым колдуном или смертным грехом. То был голос моего отца, властный и суровый.

— Дон Хуан!

Голос доносился издалека, но постепенно предо мной стала возникать до мелочей знакомая фигура. Подтянутая, уже слегка согбенная, но по-прежнему внушительная. Отец шел по предрассветным небесам, как раньше ходил по каменным плитам нашего дома, — уверенно, почти величественно. По мере того как он приближался, лучи зари, словно пригашенные, отступали назад, окружающий мир снова терял четкость очертаний, и в воздухе возникла сумеречная сфера, в чьих зыбких границах виделось мне множество лиц.

— Дон Хуан...

Он уже стоял рядом. Он не улыбался. Он протягивал мне руку. И в ответ я протянул ему свою.

— Следуй за мной.

— Я умер?

— Нет.

— Но...

— Следуй за мной.

Он повелевал, как и прежде, и подчинял себе не мою волю, а все мое существо. И я пошел, куда он велел. Вернее сказать, шел за ним не совсем я, потому что, подчиняясь чужому велению, я успел оглянуться назад и увидал свое тело все так же сидящим на перилах балкона. Мое существо лишилось плоти — я сделался, как и мой отец, сквозистой тенью. И по небесной тропе следом за призраком отца шел мой призрак — туда, где ожидал нас сонм теней.

Я узнал их сразу и испытал душевный трепет. Это были они, Тенорио. Зрелище внушительное. И место, где они теперь находились и ожидали меня, наверняка было их особым раем, хотя, может статься, было оно и частью преисподней. Здесь собрались все —

Окончание. Начало см. в № 1, 1999.

© Н. Богомолова. Перевод, 1999

от первого в роду галисийского крестьянина, который однажды ночью убил аббата из монастыря Сан-Бенито и украл у него коня, а потом служил королю на войне как кабальеро и с которым король поверстался землями и почестями. Он и теперь был похож на беглого каторжника; стоял опершись на копье и настороженно поглядывал на меня большими голубыми глазами, а рот его кривился ухмылкой — то ли от любопытства, то ли от презрения. Его гигантская фигура царила над беспокойной толпой, рядом застыли те, что родились за семь веков и являли собой результат тщательного отбора. Они стояли полукругом, следуя порядку поколений. Тут были воины, несколько монахов и три-четыре доктора права. Среди военных самым видным казался адмирал дон Хуфре. Как гласила молва, был он убит на капитанском мостике своей галеры, и грудь его до сей поры пронзало копье. Увидал я и множество женщин: красивых и уродливых, старых дев и замужних, вдов и монахинь. Были среди родичей моих и те, что умерли детьми, но их маленькие фигурки отличались той же суровостью и надменной важностью. Теперь мне смешно вспоминать их всех, как смешно вспоминать и свое тогдашнее волнение. Вздумай Господь ниспослать мне такую милость и окружи сонмом ангелов небесных, я не был бы так горд, как тогда, ведь сердцем ценил я предков своих выше ангелов. В том нет моей вины. Так мне внушали с младенчества. И гнев предков был страшнее гнева Божьего. Бог только и может, что отправить грешников в преисподнюю, а вот гнев умерших Тенорио грозит бесчестием.

При сем любопытно было вот что. Все они походили на самого первого, на того разбойника, чья кровь в нас текла. Но сходные черты, передаваясь из поколения в поколение, смягчались, облагораживались; лица удлинялись, кисти рук утончались, и фигуры становились изящными, даже хрупкими. У нашего общего прапрадеда была большая голова, лицо с обрубленным подбородком, нависшие над глазами брови; но те из его потомков, кто был ближе ко мне по времени, имели высокие умные лбы, тонкой дугой выгнутые брови, изысканной лепки сильные подбородки.

Я увидал себя стоящим среди них, и облик мой представился мне обобщением всех различий и сходств. Я венчал собой эволюцию, процесс совершенствования. Будь у меня дети, с них начался бы упадок. Я же был вершиной и, осознав это, почувствовал уверенность в себе, но броня не была столь крепкой, чтобы защитить от ожидавших меня испытаний.

Отец занял место в центре собрания.

— Позвольте представить вам Дон Хуана, моего сына.

Я отвесил поклон, чуть ниже, чем следовало отдать королю, но чуть выше, чем склонился бы я перед Богом. И каждый из предков в знак приветствия поднял вверх правую руку. Что-то внутри у меня трепетало, но назвать свое чувство я пока не мог: да, люди эти были непогрешимыми судьями надо мной, но я в какой-то мере стоял выше их, ведь они пришли в сей мир, дабы смог появиться на свет я. Так что я должен признавать их власть, но не роняя собственного достоинства. Поведи я себя как робкий и смущенный юнец, они облили бы меня презрением.

Я поворотился к отцу:

— Так что это, сеньор? Суд надо мной или мой первый выход в свет?

Отец ничего не ответил. Он отпустил мою руку, отступил назад и занял место рядом с дамой, которая глядела на меня с нежностью и, должно быть, была моей матерью. Увидав ее, я поклонился ей особо и улыбнулся. Она была красива, и от облика ее шло дивное очарование. Матушка моя не принадлежала к клану Тенорио, потому в характере ее не главенствовали гордость, спесь и решительность. Но лишь много позже я понял, что она была из числа редких женщин, аристократизм которых выливается в пренебрежение любыми условностями света и которые из всего дарованного человеку выбирают духовность.

Один из тех, кто принадлежал к судейскому званию, шагнул из полукруга и встал рядом со мной. Вид имел он весьма суровый. Но в нем угадывались также великая хитрость и некая ироничность. Он держал себя очень важно, хотя улыбка нарушала торжественный лад. Судя по этой улыбке, я мог бы найти с ним общий язык, но не без труда. Должно быть, человек этот презирал равным образом и грубость и чванство; правда, с первого мгновения я заподозрил, что он презирает и меня.

— Ну, мальчик, как? Провел веселую ночку? В первый раз, разумеется. И ты, как любой и всякий, после первой гулянки смущен душой. Не стоит того. Мы призвали тебя сюда, чтобы помочь разобраться в себе.

Меня начинали бесить его снисходительный тон и лисья улыбка.

— Неужто здесь так принято? И всякий Тенорио, впервые согрешивший, является на суд умерших?

— Нет и нет! Мы еще никогда не собирались по такому поводу.

— Значит, подобная честь оказана только мне?

— Да нет же! Как личность — ты еще один Тенорио, равный прочим. Мы видим в тебе последнее колено в роду, не более. До особости же твоей, или индивидуальности, нам дела нет.

— Тогда...

— Мы призвали тебя и вправду из-за твоего греха, но согрешил ты не столько против Бога, сколько против нас.

Я не мог уразуметь, куда он клонит. И не находился с ответом. Только чтобы не промолчать, то есть не уронить достоинства, я указал на отца.

— Вот дон Педро Тенорио, благодаря которому могу я считать себя полноправным членом столь великолепного собрания. Отец научил меня подчинять жизнь свою двум законам: закону Господнему и закону нашего клана. Так вот, в родовом кодексе чести не содержится правила, запрещающего мне провести ночь с продажной женщиной. По крайней мере, мне оно неведомо. Ежели все эти сеньоры поклянутся, что никогда этим не грешили, я им поверю, хоть и с трудом. А покуда...

Среди собравшихся послышался смех — сдержанный, но дружный, а старший из предков, хохоча во всю глотку, даже принялся бить себя кулаками в грудь.

— Так их, парень, так! Осадил-таки! Взгляни хоть на меня, я лет двадцать знался лишь с обозными шлюхами! А чего бы без них делали воины?

Адвокат перестал улыбаться и, повернувшись к предку, поклонился.

— Благодарю вас, сеньор, за столь необходимое и уместное разъяснение. — Потом он решительно шагнул ко мне и грозно ткнул в меня перстом. — Не о том наша забота, что ты переспал с продажной женщиной. Беда в другом: все мы поступали так по своей воле. А вот ты... — Тут грозный палец его чуть не попал мне в нос. — А ты позволил себя провести, пошел на поводу у Командора де Ульоа. Сделался игрушкой в руках негодяя, как несмышленыш, над коим всякому дозволено посмеяться. Покуда ты был с Марианой, он потешался над тобой, посчитав за легкую добычу.

Меня словно стегнули хлыстом. Кровь закипела во мне, и краска бросилась в лицо.

— Но зачем? — спросил я в волнении.

— Для Командора де Ульоа ты — богатый цыпленок, и он намерен ощипать тебя.

Мне пришло в голову, что какой-либо драматический эффект мог бы восстановить равновесие, нарушенное выдвинутым против меня обвинением. Я схватил руку адвоката и отвел от своего лица.

— Вот тоже новость! Чтобы сообщить мне о намерениях дона Гонсало, не стоило поднимать из могил столько покойников. Кажется, здесь перегнули палку.

— Да ты, полагаю, все еще не сознаешь всей глубины оскорбления. Ведь семейство Ульоа нам не чета, они были простыми войсковыми арбалетчиками, когда мы уже стали кабальерос. Если бы речь шла о ровне (хоть можно спорить, есть ли на свете равные нам), можно было бы прийти к соглашению. Но с таким, как какой-то Ульоа, выход один — смерть. Ты должен убить дона Гонсало.

— Убить?

— Да. И разумеется, в честном поединке. Но если он окажется более ловким, погибнешь ты. Скажу, что при таком раскладе тебя здесь не встретят рукоплесканиями, но и не осудят. Главный вопрос будет решен.

— Я понял вас.

— Разумеется, — продолжил он, — наше требование не насилует твою волю. Да! Мы уважаем свободную волю каждого. Но если ты откажешься убить Командора, если отвергнешь наши претензии, тебе не будет места среди нас. — Он протянул руку и ука-

зал на стоявших полукругом предков. — Знай ты каждого в роду по порядку и по имени, ты убедился бы, что кое-кого здесь не хватает. К счастью, таких мало. Они нарушили наш закон. Одни теперь в преисподней, другие — на небесах; но здесь, среди нас, их нет. Мы не приняли их. Тенорио дозволено погубить душу, но никогда — поступиться уважением предков. Наше уважение к тебе, наше общее уважение — вот что теперь поставлено на карту.

— А разве, — задал я вопрос, — столь жестокий обычай не канул в Лету? По мне, так люди нынче стали проще, и подобные недоразумения разрешаются пощечинами.

Доктор права опустил руку.

— Для начала и пощечина сгодится. Но после — убей Командора. Собственно, детали поединка нам неинтересны, лишь бы Командор был наказан смертью. Ты можешь без лишних слов согласиться. Можешь ответить отказом, имея на то свои резоны. Нам некуда спешить, уверен, эти дамы и кабальерос выслушают тебя охотно. Мы осведомлены о твоем бойком уме и остром языке.

— Благодарю.

Он отступил и слился с темными рядами родичей. Я остался стоять один и на миг почувствовал беспомощность. На ближних лицах читался интерес, но ни капли сочувствия и тем паче любви. Мне вдруг подумалось, что Тенорио никогда никого не любили, что сила рода зиждилась на неумении любить. Даже отец не бросил мне ни одного ласкового взгляда. Семейный клан напоминал полк, состоявший только из капитанов, и вот они все собрались, чтобы вершить суд над самым молодым за нарушение устава.

А я любил их, я любовно сопереживал их величию и их порокам. Теперь же понял, что любовь сделалась помехой, любовь питала во мне нерешительность и слабоволие. И я постарался изгнать из сердца все чувства, кроме чувства долга. Что мне и удалось. Я тотчас ощутил великое облегчение. Без любви все выходило проще.

Я снова отвесил им поклон.

— Прежде всего я желаю заверить вас, что убью Командора. Да, скорее всего, я убью его. Хотя есть у меня на сей счет кое-какие соображения, и я хотел бы их до вас довести. — Я помолчал, отыскивая взглядом место, где стояли служители церкви. — Я обращаюсь в первую голову к вам, святые отцы, ибо речь пойдет о Боге, а вы — посредники между Ним и людьми.

Доктор права перебил меня:

— Пустое. Мы живем не по Божьему закону, а по закону крови. Это мирской закон.

— Но разве мы не христиане? Я, по крайней мере, чту себя христианином. И никогда не мог помыслить, что настанет час, когда Божий закон и мой собственный сшибутся... Убив Командора, я согрешу. Смертоубийство — грех.

Один из епископов согласно кивнул, но ответил мне адвокат:

— Грех искупается раскаянием.

— Стало быть, покушаясь на жизнь врага, должен я уповать на очищение раскаянием?

— Именно так. Бог много что запрещает, а мы подчас не можем не нарушать его заповедей. Но знаем: раскаяние все искупит. Господь простит нас.

— Когда так, то мне будет дозволено раскаяться и в том, что я не убил Командора, и вы простите меня?

— Нет, мы не прощаем. Прощение... — он заколебался, потом продолжил с улыбкой, — это привилегия Господа, нам оно заказано. Мы неумолимы, ибо мы — люди.

— Но и моя воля непреложна. А посему я не могу посягать на убийство, полагая после раскаяться. К чему лицемерить? Да и какому глупцу придет в голову садиться играть в карты с Богом, пряча козырного туза в рукаве? Богу ведома правда моего сердца. И теперь я слышу его слова: «Если ты убьешь Командора, ты отступишься от меня».

— А что ж ты не услыхал слова Его, когда нынче ночью имел дело со шлюхой? Ведь известно: «Не прелюбодействуй».

— Тогда Господь промолчал, я его, во всяком случае, не слышал. Я вообще ничего не видел и не слышал, кровь закипела во мне, ослепила... Но в другой раз рассудку своему я помрачиться не позволю.

Невольно я произнес эти слова с особым драматизмом, и они должны были произвести на собрание большое впечатление, однако не произвели, и, кажется, никто не уловил их патетики.

— Но мы не столь требовательны. Мы вовсе не запрещаем тебе поддаваться эмоциям, терять голову... Тут нет ничего плохого, а порой выходит и некая польза. Подумай сам: если бы этой ночью ты не поддался эмоциям, мы не обошлись бы с тобой столь благодушно. Эмоции — смягчающее обстоятельство. Ты был так поглощен своими чувствами, что не заметил, как тебя обвели вокруг пальца.

— Только это?

— Насколько нам известно... А нам известно все.

— Вам известно то, что касается вас. Но не то, что тревожит меня. Для меня все, что произошло нынче ночью, связано воедино. Стоит дернуть за одну ниточку, остальное потянется следом. Итак, Командор де Ульоа посмеялся надо мной, но унижение, которое испытываю я в одиночестве, явно лишь для единственного Свидетеля моего одиночества. И вот я не могу не спросить себя: «Зачем надобно Господу мое унижение? Я хранил добродетель, моя плоть хранила чистоту. По чести говоря, я и думать не думал ни о непорочности собственного тела, ни даже о самом своем теле. Оно служит мне двадцать три года, и я не знал от него ни бед, ни радостей. Его точно и не было — будто я в карете по гладкой дорожке катил прямехонько в рай. Но выходит, с телом нельзя не считаться, как и повелел нам Господь. — Он-то тело непременно принимал в расчет. Господу нужно было, чтобы я свое тело познал, и он прибегнул к помощи дона Гонсало. Он словно крикнул мне: «Эй, парень, вот оно, твое тело, ведь я дал его тебе для чего-то!»

Я замолк. Оглянулся вокруг. Слова мои были встречены громким смехом. Адвокат снова вышел вперед и обнял меня.

— Браво, мальчик! Ты великий софист! Почему бы тебе не стать адвокатом? Ты бы достиг успеха, уверяю тебя.

Но я в гневе оттолкнул его.

— Так вы называете софистикой то, что терзает мою душу?

— Да, софистикой, ведь ты построил свое рассуждение на чрезмерном углублении в суть проблемы. И соединил две вещи несовместимые. А потом придал гипотезе статус истины. Но вышло отлично. Это доказывает, что ты умен и к тому же говоришь так пылко, так убедительно! А теперь сделай следующий шаг: произведи разбор собственного рассуждения и опровергни свои же умозаключения. И ты вздохнешь свободно.

— Я не могу так поступить.

— Отчего же?

— Оттого что у меня имеется та самая честь, за кою вы ратуете. И честь моя требует, чтобы я убил Командора, который насмеялся надо мной, и чтобы я отступился от Господа — потому что Он с небес дозволил эту насмешку. Но есть и иной путь: пасть ниц, молить у Бога прощения, признать Его волю и, значит, самому простить Командора. И остаток жизни посвятить покаянию, искуплению вины.

Адвокат снова рассмеялся, но уже натужно, и в глазах его больше не плясали веселые искорки, в них засквозило уважение.

— Давай взглянем на дело иначе: разве не под силу тебе отыскать аргументы, кои позволят отделить одно от другого — убить дона Гонсало, а после примириться с Богом?

— Да, но сам я таких аргументов не принял бы.

— Лишь бы Он их принял — и довольно.

— Ты предлагаешь мне спрятать туза в рукав?

Адвокат в отчаянии заломил руки.

— Упрямец!

— Нет, я всего лишь верен себе. Нынче ночью я вижу все на удивление ясно и начинаю поступать согласно своей натуре. — Я запнулся. — Я сейчас скажу не слишком пристойную вещь. Могу ли я просить дам удалиться?

Но тут сеньоры принялись перешептываться, о чем-то совещаясь, и одна из них, аббатиса, сделала несколько робких шагов вперед и заговорила от имени всех дам. Сеньора аббатиса имела изящное сложение и была на диво хороша собой. Ей весьма шел ток,

но мне неудержимо захотелось взглянуть на ее волосы, которые наверняка были светлыми.

— Мы не желаем удаляться. Нам важно знать все, что говорит Дон Хуан. К тому же мы на его стороне.

Она задержала на мне взгляд больших голубых глаз, потом ласково потрепала за подбородок пальцами, сотканными из воздуха. И поспешно отступила назад. Я вздрогнул от нежного прикосновения аббатисы, как сперва вздрогнул от ее взгляда. Я на миг смешался, но быстро взял себя в руки.

— Коль скоро дамы позволяют... — Но я снова смутился. — Может, согласится удалиться хотя бы моя матушка? Мне затруднительно продолжать в ее присутствии.

Никто мне не ответил, но я увидал, как тень матушки начала таять, послав мне воздушный поцелуй.

— Если бы этой ночью вы пожелали заглянуть в мои мысли, вы бы заметили, как мой едва ли не религиозный восторг, желание отыскать Бога в теле Марианы, сменился разочарованием, ибо в наслаждении человек одинок, сам по себе. И вот я хочу вас спросить: отчего Бог не сотворил все иначе? Отчего сделал Он плоть прекрасной и вожделенной, а после изрек, что плоть греховна? Я обращаю вопрос свой Господу. А теперь дерзну сказать, что Он поступил неверно.

Мне показалось, что родичей сильно напугали мои кощунственные речи. Даже адвокат перестал улыбаться.

— Оставим это, — проговорил он недовольно. — Мир таков, каков он есть, и у Бога были свои резоны, когда он сотворил его именно таким... Мы призвали тебя ради дел мирских. То, что связано с вечностью, дело Господа.

— Но нет ничего мирского, коли существует Бог. Если я дышу, то дышу пред Богом. И если соединяюсь с женщиной, то соединение это запечатлено на вековечных скрижалях. Только во имя Бога могу я восстать против несовершенства земной жизни. Но ежели Бог не одобрит бунта моего, дерзну подняться и против Бога. А дерзнув, пойду своим путем не таясь, раскрыв все карты. Нет, это не по мне: предстать пред очи Его и, увертываясь и лукавя, ответствовать на укоры Его: «Господи, не ведал я, что поступаю противно воли Твоей! Господи, гнев ослепил меня, страсть помрачила рассудок мой! Господи, не сумел раб Твой постигнуть законы творения и оступился!» Нет, я честен и храбр — таким вы меня научили быть. Я отвечу на укоренье Божие: «Я поступил так, как захотелось мне, по воле своей, ибо не согласен с Тобой».

Я повернулся спиной к родоначальнику: судя по гримасам, из моих слов он не понял ни бельмеса. Я двинулся в мрачную глубину и, уже стоя на границе, оглянулся на толпу призраков.

— Теперь вы все знаете. Ежели я убью Командора, я оттолкну длань, кою Вседержитель протягивает мне каждодневно, и буду жить во грехе.

Адвокат рванулся было мне вдогонку.

— Пусть будет так. Но не вали вину на нас. Мы не желаем ничего менять: нам довольно считать себя сливками этого мира — лучшими из лучших. А ты волен, волен признать либо отвергнуть наш завет, волен отыскать свои основания, кои помогут тебе оправдаться за совершенное убийство. Но если во имя нашего закона ты порешил замахнуться на такое... пеняй на себя. Ответ держать тебе одному. И осмелюсь дать тебе совет.

— К чему?

— Научись жить покойно.

— А если я не хочу? Лучшие из вас покоя не знали. И душа моя зрела в преклонении перед ними, я ждал момента, когда смогу пойти по их стопам. Но нынешние войны меня не влекут, вот и решил я придумать собственную и ей посвятить себя целиком. Если можешь ты дать мне военный совет...

— Значит, толковать нам больше не о чем?

Я кивнул в ответ. Адвокат выглядел растерянным и даже казался теперь ниже ростом.

— Тогда... — он протянул мне руку. — До встречи.

Он отступил назад. Я снова остался в одиночестве. Но тут вперед быстро выбежали

дамы и окружили меня. Уродливые и красивые, старые девы и замужние, вдовы и монахини.

— Бедный мальчик!

— Тебе будет трудно обрести счастье!

— Как заметно, что рос он без матери!

Одни ласково гладили меня, другие обнимали. А некоторые даже целовали. Но мало-помалу они начали таять, словно растворялись во всепобеждающем утреннем свете.

Я обнаружил свое тело все в той же позе и все там же: я спал, прислонив голову к стене, одна нога так и свисала в пустоту. Я вернулся в свое тело, ощутил, какое оно теплое, как впитывает жар золотого солнца, — и вздрогнул от наслаждения и страха. Я вспоминал то, что со мной только что приключилось, как вспоминают сон.

Я спустился вниз. Разбудил Лепорелло.

— Мы уезжаем.

— Пора бы, хозяин. У меня все кости ломит. На скамье не очень-то поспишь.

Я зашел в комнату. Мариана спала и улыбалась во сне. Я присел на кровать и погладил ее по голове. Она приоткрыла глаза. А увидав меня, распахнула их во всю ширь. И прижалась ко мне.

— Ты уже уезжаешь? — спросила она с болью.

— Мы уезжаем.

— Ты вернешься?

— Зачем?

— Я хочу, чтобы ты вернулся. Я хочу, чтобы ты никогда не покидал меня.

— К чему оставаться или возвращаться? Ты едешь со мной.

— В твой дом?

— В мой дом.

— Да ведь я проститутка!

— Ты едешь со мной.

Я поцеловал ее глаза, сияющие от изумления и радости.

— Поторопись. Одевайся. Я жду тебя у крыльца.

Лепорелло сидел перед стаканом агуардиенте. Я сел рядом и велел принести мне того же.

— Со мной случилась престранная вещь, — сказал я ему. — Доводилось ли тебе слышать, чтоб человеку открылся во сне смысл жизни его?

— Сны, сеньор, всегда тем самым и славились, хоть в них много сокровенного. До сих пор никто не уразумеет, кем они посылаются — Богом или дьяволом.

— А ты-то как полагаешь?

— Я о том никогда не раздумывал, да и ни к чему мне это, я и снов-то почти не вижу.

— Мой сон был причудливым, но понятным. Настолько понятным, что помог мне разобраться в самом себе. Во сне я рассуждал так, как наяву не дерзнул бы помыслить, и с уст моих срывались ужасные слова.

— Да ведь, сеньор, всем известно: за сны свои мы вины не несем. Еще чего... А сеньор не желает рассказать мне сей сон, может, я чего и присоветую?

— Нет. Рассказать я его расскажу, но не тебе.

— Что ж. На то есть люди вам под стать. Командор...

— Люди, что слывут мне ровней, понять меня не сумеют, а Командор тем паче... И думается, с этими людьми дорожка меня скоро разведет. Я останусь один, только с тобой.

— Отчего ж так, сеньор?

— Есть грешники, от которых люди шарахаются хуже, чем от прокаженных.

— Ежели сеньор согрешил — поскорей бы покаяться!

— Я не согрешил, *я — грех*.

Тут Лепорелло метнул на меня быстрый взгляд, и взгляда его я не понял.

— Я не принуждаю тебя и впредь оставаться у меня на службе. Если боишься...

Лепорелло обнял меня.

— Хозяин! Разве могу я вас покинуть?

Тут появилась Мариана. Она дрожала от утренней прохлады. Я завернул ее в свой плащ, и мы сели в коляску. Когда мы въезжали в Севилью, я приказал Лепорелло:

— Отвези ее к нам, но так, чтоб никто не видал, и пускай ложится спать. А ты немедля отыщи моего торговца платьем, еще до вечера он должен доставить нам лучшие женские наряды, самые модные.

5. Утро было жарким и ясным, люди двигались неторопливо, стараясь держаться в тени. Я подошел к кафедральному собору. В патио, усаженном апельсиновыми деревьями, нищие и бродяги, собравшись кружком, слушали россказни солдата-калеки. Но, увидав меня, тотчас повскакивали с мест и стали клянчить подаяние. Я швырнул им горсть эскудо. Уже у врат я заметил, какая там разгорелась потасовка из-за моих монет. Мне это не понравилось, и я раскаялся, что не разделил деньги меж ними сам.

Я вошел в собор. Священник служил мессу. Пред алтарем мерцало множество свечей. Я постоял, глядя на язычки зыбкого пламени, и взор мой наслаждался их сиянием. Вдруг я приметил, что какие-то две женщины, сперва только повернувшие в мою сторону головы, теперь поднялись и направились ко мне. Я прислонился к колонне и притворился, будто поглощен мессой; женщины же встали напротив и завороженно глядели на меня. Мне пришлось — сколь можно вежливо — поинтересоваться, чего это они на меня уставились. Они, не ответив, перекрестились и убежали. Одна из них была средних лет, но еще красивая, другая — юная и прелестная. Они скрылись в глубине церкви. Сотворенное ими крестное знамение привело меня в замешательство. Что они увидали во мне или что угадали?

Я не мог бы с точностью объяснить, зачем вошел в храм. Что-то говорило мне: нынешние приключения мои должны были завести меня сюда, но с какой целью — понять я не мог. Я отыскал укромный угол и присел. Мимо прошествовал священник в полном облачении, перед ним — служка с колокольчиком, следом — процессия женщин в черном. Я поспешно отступил в тень. Служка с колокольчиком был уже далеко, и меня снова окружала тишина, полная какими-то шорохами. Только тогда я смог безраздельно отдаться своим мыслям.

Я стал перебирать картины сна, припомнил собственные речи да и разговор с Лепорелло. Это можно было посчитать случайными эпизодами, но теперь я должен был здраво и хладнокровно все обдумать и принять решение. Я вспомнил Мариану — как же иначе? — но лишь в качестве отправной точки или первого звена в цепочке событий. Я не чувствовал плотского восторга, но в то же время сердца моего не коснулась даже тень раскаяния. Бог знал, чего я хочу, и помогал мне. Моя воля и мой разум могли действовать беспристрастно. Я возблагодарил Господа.

Но именно с этого мига в душе моей завязалась борьба. Мне подумалось, что, отрекаясь от Бога, я попадал в тенета дьявола, и такой исход внушал мне тревогу. Я никогда не испытывал к Сатане ни малейшей симпатии. Он слишком подл и грязен. И более всего меня отвращает его двоедушие. Что тут говорить: дьявола никак не назовешь кабальеро — вопреки высокородности. Так вот, в тот момент я явственно ощущал, как он кружит поблизости, стараясь искусить меня. Он не желал, чтобы я остался один на один с моими волей и судьбой. И действовал ловко: уж в чем в чем, а в хитрости ему не откажешь. Он открыл мне глаза на красоту Темных Сил, на заманчивость Бездумного Счастья, и незримый вихрь тотчас подхватил меня и унес так же далеко от себя самого, как и минувшей ночью. Сердцевина ночи по-своему светоносна, но свет ее не похож на наш, он пронзает ночной мрак и выявляет неведомую сущность вещей. Рассудок мой помрачился, и воля дрогнула, но лишь на миг. Стоило только черной пелене начать полниться счастливыми стонами, ожиданием нескончаемых оргазмов, как я сделал над собой усилие и не позволил земле уплыть из-под ног, не дал чувствам оторваться от реальности. Я сражался отважно. И над головой моей пели виолончели. Но тут рядом прошмыгнули две сплетницы-богомолки — я тотчас постарался ухватиться за действительность, почерпнуть из нее силы. Женщины на чем свет стоит костерили архидиакона, и их брань, их визгливые голоса сумели сделать больше, нежели пение виолончелей, хотя старухи были страшнее черта.

Я знал, что теперь меня покинули и Божья милость, и дьявольские искушения. Но

сердцем понимал: долго так продолжаться не может, ни Бог, ни дьявол навсегда от меня не отступятся, станут заманивать в ловушку, как им и положено. Я воспользовался случаем, чтобы поплакаться Господу: дескать, не было у меня иного — третьего — пути к свободе. «Кто не со Мною, тот против Меня», — изрек Всевышний. Так отчего же непременно с дьяволом? Разве нельзя быть, скажем, с людьми? И тут я осекся, ибо положил себе не лукавить. Ведь редкостное ощущение свободы, которое я только что испытал, мало кому из людей даровалось, но я-то не сумел воспользоваться им. Сердцу моему недостало зрелости для выбора. Словом, я допускал, что могу убить дона Гонсало, а после душа моя откликнется на первый же призыв Господа. По здравом размышлении мои претензии к Богу выглядели спорными, даже я сам мог бы оспорить их и разрушить. Но как только я подступал к сему пункту, нутро мое закипало обидой на дона Гонсало за оскорбление и унижение, которым я подвергся. А если дон Гонсало принесет извинения? Тот, кто обратился ко мне от лица предков, забыл оговорить такую возможность, сам же я склонился бы к милосердию.

И я тотчас решил, что мой долг — дать старику шанс раскаяться. Нефы опустели, запах ладана волнами плыл по храму, и в темноте свечи сеяли свой дрожащий свет. Я быстро вышел из церкви и кинулся к дому дона Гонсало. К концу пути я весь взмок от несносной жары и, прежде чем постучать в дверь, чуть постоял в тени, стараясь отдышаться и поостыть.

Дверь мне отворила молодая служанка. Поставив руку козырьком, она глядела на меня, точно потеряла дар речи от изумления. Просто стояла и смотрела, пока я не сказал:

— Я желал бы видеть Командора.

Так и не промолвив ни слова, она распахнула дверь. Я вошел в переднюю. Служанка все так же неотвязно глядела мне прямо в глаза, и во взоре ее я обнаружил то же восхищение, что чуть раньше, в соборе, проскользнуло в глазах двух женщин.

— Не известите ли вы дона Гонсало...

— Да, да. Сейчас.

— ...что его желает видеть Дон Хуан Тенорио.

— Дон Хуан Тенорио! — повторила она таким голосом, словно произносила волшебное заклинание «Сезам, откройся!», а не мое имя, в котором тоже крылась своя музыка, но совсем иная.

— Обождите. Там. В патио.

Я оказался в патио. От солнца спасали куски материи, натянутые поверху. Дворик был большой, усаженный цветами и с фонтаном посредине. Меня пленил звук льющейся воды, я полюбовался цветами и даже, не удержавшись, нежно прикоснулся к какой-то на диво красивой розе. Но тут я заметил, что служанка так и стояла в передней и смотрела на меня во все глаза. Я резко взмахнул руками и вскрикнул, словно вспугивал кур, и только тогда она бросилась прочь. И почти тотчас же до меня донеслись приглушенные голоса, осторожные шаги, кто-то быстро перебегал с места на место, кто-то с большой осторожностью приоткрывал ставни, иными словами, я понял, что за мной наблюдают.

Вскоре явился Командор. Сперва я услыхал, как он топоча спускается по лестнице, потом в конце галереи выросла его огромная фигура. Господи, что за пугало! Видно, он только что проснулся. Тяжелые космы закрывали половину лица. На нем были мягкие туфли, алый бархатный халат, правда весьма потертый, из-под него торчали голые ноги. Но шпагу он меж тем нацепить успел.

Командор поднял было руки и даже быстро замахал ими, словно ветряная мельница крыльями, но, сообразив, что я не думаю кидаться ему навстречу, руки опустил и шагнул ко мне с встревоженным видом. Он будто сразу стал ниже ростом, плечи его опали, а спина сгорбилась. Теперь он походил на сдутый бурдюк — весь обмяк, и плоть висела на костях, как паруса на корабле в пору мертвого штиля. Дон Гонсало явно чего-то испугался. Брось я ему в тот миг «Негодяй!», он пал бы к моим ногам и разыграл бы сцену бурного раскаяния. Но, слава богу, такое не пришло мне в голову. Я улыбнулся ему, чуть наклонив голову — но не ниже, чем велят приличия, — и поздоровался. Только тогда он вздохнул с облегчением и обнял меня.

— Ах, как ты напугал меня, мальчик мой! Я уж подумал, не стряслась ли какая беда! — пролаял он.

— Нимало.

Командор подтолкнул меня к стулу.

— А я целую ночь глаз не сомкнул — все думал о тебе. Вчера-то, узнав, что ты спознался с той девицей, я решил: «Ну, это надолго», и велел твоему кучеру отвезти меня домой. Но стоило мне остаться одному, как я засомневался: разумно ли было покидать тебя? — Он положил руку мне на плечо. — Слава богу, мальчик, слава богу! Вижу, ты жив и здоров. — Он понизил голос. — Ну и как? Ты меня понимаешь. Кажется, ты с этой девчонкой...

— Да.

— Ну и как? Как? Тебе понравилось?

Я отвел глаза и опустил голову. Я обдумывал ответ. Но старик принял это за стыдливость или смущение.

— Чего уж тут стесняться. Ты не совершил никакого преступления. Напротив, стал мужчиной. И скоро убедишься в этом. Сам себя не узнаешь, уверенности в тебе поприбавится... А ведь у тебя все еще впереди!

— Но вы-то эту дорожку до конца прошли...

Он вздохнул.

— Ах, сынок! Опыт-то есть, да вот мало осталось пороха в пороховницах. Юность давно миновала. Но все ж... — Он снова понизил голос и наклонился к моему уху: — Я еще держусь. Девушки девушками, но и кроме них есть кое-что на этом свете. Скажу по секрету: люблю провести времечко в компании знатных сеньоров — подале от любопытных глаз. Тут главное, понятно, осторожность, ведь все мы люди почтенные, и ежели в Севилье прознают про наши забавы, скандала не миновать! Но мы действуем с оглядкой: из дома выходим поужинавши, будто наше братство устраивает ночные молитвы, и у верного человека, где имеется просторное подземелье, закипает такое! Женщины, карты, вино... И будь уверен! Мы зовем не шлюх каких, а дам благородных, тех, что живут в нужде и нашими милостями перебиваются. Вот бы и тебе заглянуть туда нынче ночью... За кого другого я бы не поручился, а за тебя...

Я молчал. Он взглянул на меня.

— Что с тобой, мальчик?

— Я думаю, что, не повстречайся я с вами, мог бы сделаться святым.

— Ух! Все эти сказки про святость — для недоумков. Возьми тех же священников: проповедуют одно, да делают другое. И кое-кто из них заглядывает на наши пирушки, тайком, само собой. А послушал бы ты, как насмехаются они над набожными людьми!

Тут появился слуга, дон Гонсало оборотился к нему, и вопрос его походил на пушечный залп:

— Ну что тебе?

— Сеньора дуэнья просит вас на минутку подняться в верхние покои.

— Ладно! — прорычал он, а когда слуга скрылся, бросил: — Подожди немного. Пойду погляжу, что ей надо, а заодно и оденусь.

Он удалился огромными шагами. Я смотрел ему вслед и думал: «Ты приговорен к смерти». Прошло немного времени. Я поднялся и снова стал любоваться цветами. Но вдруг услыхал, как за спиной моей приоткрылось окно и кто-то позвал меня.

Я приблизился. И с трудом разглядел женскую фигуру, укрывшуюся за решетчатой ставней.

— Эй, Дон Хуан, послушайте!

Я отвесил незнакомке поклон.

— Не тратьте время на церемонии. Нынче ночью, в десять, к вам явится дуэнья. Следуйте за ней и не задавайте вопросов.

Окно мягко захлопнулось. Не знаю, заметила ли она мою улыбку.

6. Я сопроводил Командора до церкви, и, прощаясь, мы условились, что в один из вечеров он возьмет меня с собою и что я дам ему знать, как только надумаю принять приглашение.

— Но потихоньку, понятно? Чтоб не прознали слуги или приятели. Такие вещи делаются украдкой. Главное, сынок, репутация, ведь люди глупы, а безупречная репутация — это, в первую голову, почитание обычаев, соблюдение приличий. Станешь вести себя как подобает мужчине — тебя обольют помоями. Но кто, как баба, всякий день ходит к мессе да молится, да соблюдает пост, а остаток времени проводит в раздумьях и покаянии, того превозносят до небес. Вот и надо быть похитрее, надо ловчить и жить напоказ. По светлу — в церковь, затемно — поразвлечься.

— Но, Командор, разве в том, что вы мне предлагаете, нет греха?

— Ба! — прогромыхал он. — Для грехов-то имеется у нас в душе отличнейшая кладовая, каждый год в Святой четверг мы ее очищаем от хлама, да только потом она заново наполняется.

— А если нагрянет смерть?

— Священник все уладит; а не окажись поблизости священника, молвим «Господи!» — и полный порядок.

Я немного побродил по Севилье и ближе к полудню отправился домой. Я велел позвать Мариану. Она явилась и была весела, но глядела по сторонам, да и на меня тоже, с легким испугом.

Я спросил:

— Ты умеешь танцевать?

— А как же!

— Почему же «а как же»?

— Да ведь в нашем ремесле без этого нельзя...

— Не смей впредь поминать свое ремесло, забудь о нем: такова моя воля — ты больше не шлюха. Что тебе нужно для танца?

— Музыка и кастаньеты.

Лепорелло отправился на поиски музыкантов и кастаньет. Стол был накрыт, на нем явились мясные закуски и сладости. Я отказался от мяса — из уважения к посту — и попросил принести овощей. Я наслаждался едой, пил вино и смотрел, как танцует Мариана. Она делала это на старинный манер, все искусство ее сосредоточилось в движениях головы, рук и ног, а само тело оставалось почти недвижным. Кастаньеты звучали глухо, она безоглядно отдавалась ритму гитары. Танец ее был сама сдержанность — медленный, безупречно целомудренный, и длился довольно времени, чтобы я успел покончить с овощами и фруктами. Когда дело дошло до сладостей, гитарист словно переродился, тело Марианы оживилось, и она запела — голосом чуть резким и хрипловатым, но красивым:

Арена Севильи, оле,
Да Золотая башня,
Где севильянки, оле,
хороводы водят.

Мне больше нравился первый танец, подумал я, там движения были благороднее, хоть и беднее. Теперь же вихрем завивались юбки, мелькали голые ноги, и зрелище это заставило меня обратиться мыслями к женскому телу, которое готово было, казалось, сыграть уже совсем не ту роль, что минувшей ночью.

— Девчонка похожа на спелую вишенку, — шепнул Лепорелло, не сдержавшись.

Я велел ему умолкнуть. Мариана стучала каблучками, летала туда-сюда, кружилась и непрестанно поглядывала на меня. Кастаньеты звучали призывно, и сигнал их повторялся с каждым разом все настойчивей. Как-то незаметно, против моего желания, кровь моя заиграла; я больше не думал о женском теле и сокрытой в нем тайне, моя правая нога начала слегка пританцовывать. Мариана, словно пламя, горела все ярче, и жаром обдавало всех, кто находился рядом: ее бешеные юбки заполнили собой всю залу. Лица присутствующих переменились, ноги сами пришли в движение, потом и кисти рук, руки, тела, будто у всех у нас, здесь собравшихся, была одна душа, одна воля. Тут один из слуг, не стерпев, пустился в пляс. Он щелкнул пальцами и встал лицом к лицу с Марианой. Гитарист играл неистово, он обнимал инструмент, как обнимают женщину, и казалось, вот-вот примется осыпать гитару поцелуями. Скоро в комнате остался только ликующий и вольный ритм, ритм и пламя, жаркий огонь, кастаньеты и перебор гитарных струн... И

души наши кинулись в этот огонь... Пока не лопнула с жалобным стоном первая струна. Волшебство тотчас рассеялось, и все будто окаменели.

— Словно ангел пролетел, — заметил я.

И ровно в этот миг явился слуга с известием, что меня желает видеть дон Мигель Маньяра. Я пошел туда, где ожидал меня гость.

Посреди залы, в профиль к свету, скудно пробивавшемуся сквозь жалюзи, стоял некий господин. Увидав меня, он подался вперед и простер ко мне руки — будто олицетворяя собой напоминание о смерти.

Я поклонился и указал ему на кресло.

— Добрый день, сеньор.

Он воздел руки к небесам.

— Сын мой!

Голос его срывался, жест был театральным, и вообще он переигрывал.

— Что-то стряслось?

— Сын мой! Тело батюшки твоего еще трепещет, по крайней мере, пожирающие его черви доподлинно трепещут, а ты встречаешь меня музыкой?

Я пожал плечами и объяснил:

— Я немного послушал гитару, дабы оживить трапезу.

Он взглянул на меня с испугом, приблизился и опустил руку мне на плечо.

— Несчастный! И ты — тот святой, каковым считал тебя дон Педро, ты — надежда Церкви, гордость благочестивых севильцев? Это проклятая Саламанка сделала тебя добычей нечистого! Лучше уж было остаться тебе неграмотным! — Он снова схватил меня за плечи. — Пришла пора вспомнить о душе твоей.

— Мы можем порассуждать и на сей предмет.

— Порассуждать? Что это значит? Может, ты желаешь вслух покаяться в грехах, осознав наконец, что смерть рано или поздно завладеет плотью твоей — изничтожит, сгноит ее, обратит в прах и даже хуже того?

— Нет, мы могли бы просто потолковать о делах моей души, а коли угодно — и вашей. Вы начинаете — я отвечаю, словно вы пришли что-то купить, и мы никак не сойдемся в цене.

Дон Мигель перекрестился и попятился назад. Он смотрел на меня оторопело и даже со страхом.

— И ты можешь говорить о своей душе, как цыган об ослике?

— Я могу говорить о своей душе так, словно участвую в ученом диспуте, а это не то же самое. Но сделайте милость, присядьте.

Я подтолкнул его к стулу и сам сел рядом. В полумраке глаза дона Мигеля казались мне усталыми и тусклыми. Весь пыл благочестия сосредоточился у него теперь в кистях рук — длинных, темных, похожих на искореженные железные крюки. Он положил свою ладонь на мою, и я вздрогнул, как от прикосновения скелета.

— Я назвал тебя «сын мой», но это неверно. Ты — это я сам, и в сей краткий миг промелькнула предо мной вся моя молодость, проведенная расточительно и беспутно. Не знаю, не Господь ли послал тебя, дабы умерить мою гордыню. Тогда готов я пасть на колени и лобызать твои руки. Ты послан мне, чтобы воскресить мои воспоминания. Я — грешник, я оскорбил Всевышнего и поскупился на покаяние.

Он и впрямь упал на колени и хотел было поцеловать мне руки. Я с трудом удержал его, потом ласково погладил по седым волосам.

— Успокойтесь. Я знать не знаю, каковы были ваши прегрешения, но не думаю, что могут они сравниться с моими.

— Я полагаю своим долгом направить тебя на верный путь.

— А я не противлюсь этому.

— Будучи юнцом, я жил бездумно и как одержимый гнался за плотскими наслаждениями, тешил свое тщеславие, покуда в одну из ночей, когда я вернулся с очередной пирушки, Господь не сжалился надо мной и не явил мне картину моего погребения. С тех пор всякий поступок я обращаю во спасение свое. И, видя человека, погрязшего в пороке, непременно рассказываю ему в назидание эту историю.

— Но мне от нее проку мало. У меня все иначе: я не порочен и не тщеславен. Да и смерть понимаю по-своему.

— Но смерть, как ни взгляни, всегда одна! Конец всему, час ужаса, час страха! Тело теряет все человеческое, нет больше лица — есть череп. Смерть холодна, — он запнулся, — черна, — он снова замолк. — И Господь, — он поднялся, — потому что вот он, Господь, — он указал в темный угол, — во всеоружии гнева своего. И горе тому, кто не несет раскаяния на ладони своей! И будет тому сказано: «Прочь, проклятый, тебе — вечный огонь, геенна огненная».

Тут рука его поспешно опустилась и теперь столь же грозно указывала на плиты, покрывавшие пол.

— Я не боюсь смерти.

— Как можешь ты говорить такое?

— Потому что так оно и есть.

— Даже Христос боялся ее!

— Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь свою в назидание, а я глух к назиданиям, — я поднялся. — Все дело в воспитании, в обучении. Я, сеньор мой, дворянин. Мне с младых ногтей внушали, что нельзя ничего бояться и что худшее из худшего для кабальеро — это выказать себя трусом. А еще мне твердили, что мы, люди благородной крови, получаем жизнь, чтобы растрачивать ее по потребностям своим — не кичась этим, но и никому не давая отчета. Вот лучший из усвоенных мною уроков. Да, я помышляю о смерти, но она меня не пугает. Видно, я не таков, как другие...

— А ежели живешь ты во грехе?

— Недавно я сделался воплощением греха и не успел еще с этим обвыкнуться. Я шагнул в неведомые земли, и, как знать, может статься, в смертный час страх посетит меня. Пока же у меня нет для вас ответа.

— Мне говорили, что ты сластолюбив, но не тщеславен.

— Нет, я не сластолюбец. И пожалуй, никогда им не стану — мне отвратительно любое ослепление, а любовное самозабвение, как я убедился, сродни опьянению вином, которое мне тоже не по душе.

— Но отчего ж вчера... — дон Мигель заколебался. Потом доверительно шепнул: — Я все знаю.

— Пересуды челяди?

Он опять помедлил, и его замешательство навело меня на след предателя.

— Я сам назову вам имя: Командор де Ульоа.

У дона Мигеля словно груз упал с плеч. Он подвинулся ближе ко мне и зашептал:

— Нынче мы вместе вышли после капитула ордена Калатравы. Дон Гонсало был озабочен: «Меня тревожит Дон Хуан Тенорио! Не дале как вчера мы проезжали мимо «Эританьи», и вдруг он как о деле привычном завел речь о веселых забавах и порешил там остаться и остался — с девками, в крепком подпитии, — словом, надругался над памятью отца... Это в пост-то... А я уж подумывал о нем как о женихе для моей дочери Эльвиры!»

— Для его дочери Эльвиры? У Командора есть дочь?

Дон Мигель Маньяра, этот духовидец и человеколюбец, перестал интересовать меня в тот самый миг, как упомянул имя Эльвиры де Ульоа. Он попытался было продолжить свои нравоучения, но мысли мои уже витали в ином месте. Я быстренько отделался от него, пожертвовав изрядную сумму на бедных, и спор о моей судьбе был отложен до лучшего случая.

7. Судя по всему, визит ко мне дона Мигеля нельзя было назвать случайным... Вот уже несколько часов как вокруг меня происходили вещи сверхъестественные, и я не мог не увидеть в его посещении, да и в чем угодно другом, особого смысла. Но все вставало на свои места, стоило усмотреть здесь отражение небесного промысла, Господней воли: тогда Командор де Ульоа опять был не более чем орудием, дав повод дону Мигелю явиться ко мне и сыграть роль посланца Провидения. Да, этот сморщенный старик стал ни много ни мало как Господним вестником. Вот обрадовался бы он — и примирился бы с собой, — если бы догадался о том!

Но мысли мои недолго задержались на Маньяре. Он имел неосторожность упомянуть об Эльвире, и известие о ее существовании встревожило меня, подхлестнуло мое воображение и заставило предположить, что она-то и была дамой, которая говорила со мной, укрывшись за ставней, и назначила свидание на десять часов нынешней ночью. Маньяра явился посланцем неба, но к концу визита оборотился еще и вестником лукавого, ведь в моем нечаянном интересе к Эльвире не было ни капли благочестия.

Я уже не сомневался. Первая заминка в пылких речах дона Мигеля и стала, по моему разумению, вешкой: тут в дело вмешался дьявол; вторая заминка ознаменовала дьяволову победу — может, победу ничтожную, грех был простительным, почти и не грех вовсе, но все же победу. Существование Эльвиры все осложняло. Теперь мои отношения с Командором не могли увенчаться только ссорой, поединком и его гибелью.

Мысли мои побежали еще дальше. После того как я согрешил и испытал чувство свободы (нынешним утром в соборе), Бог и дьявол начали охоту на меня. Пока меж ними случилась лишь первая стычка — не жестокая и не драматичная, нечто вроде уведомления о намерениях, был подан знак, что они рядом, не забыли обо мне, что свобода моя — дело нешуточное. Я почувствовал гордость: значит, на небесах меня принимали в расчет. О том, что дьявол никогда не забывал обо мне, я был уверен и прежде.

Я призвал Лепорелло и велел ему покрутиться по Севилье — добыть сведения о семействе дона Гонсало, о самом Командоре и о том, какая слава идет о нем по городу. Едва слуга скрылся из виду, как мне доложили, что прибыл торговец платьем — осевший в Севилье француз, который лучше любого другого разбирался в европейских модных новинках. У него был высокий голос и женские манеры. Он сообщил мне, что его услугами пользовались содержанки многих важных господ и что все оставались довольны — как его скромностью, так и умением. С ним явилась служанка, по его приказу она раскрыла сундук и принялась вытаскивать товар. Я осматривал всякую вещь, расспрашивал о достоинствах, кое-что даже щупал.

Служанка отобрала все необходимое для полного приданого. Потом позвали Мариану, сняли с нее мерки — где-то принялись ушивать, где-то прибавлять, и через пару часов нижнее белье было готово. Верхнее платье выбирал я сам — под цвет ее лица и волос. Затем торговец удалился, оставив служанку. Мариану раздели, одели, причесали, подрумянили, а я, сидя в углу, за всем наблюдал, но не с чувственным удовольствием, а с любопытством. Порой я спрашивал название какого-нибудь предмета или бросал замечание о том, шла вещь Мариане или нет.

— У девушки удивительное тело, — заметила служанка. — Слишком худое и подвижное. А мужчинам обычно по вкусу полненькие и спокойные.

Мариана покорно делала то, что мы ей велели: ходила туда-сюда, стояла, наклонялась, хотя присутствие служанки ее и смущало.

— Будь мы одни, — шепнула она мне, — я и ходила бы поосанистей. — А когда служанка ушла, спросила: — Для кого ж все это добро?

— Для тебя.

— Но зачем?

— Женщина, достойная стать хозяйкой этого дома, должна носить платье, достойное как этого дома, так и ее самой.

Мариана склонила голову мне на плечо, спрятав лицо.

— Но я недостойна...

8. Ровно в десять я вышел на улицу и встал у дверей так, чтобы было видно — я один. Лепорелло получил указание следовать за мной тайком, ни на миг не теряя из виду. Наконец, чуть припоздав, явилась дуэнья: она шла семенящей и неровной походкой, держась поближе к стенам домов. Лицо ее закрывала вуаль, но по походке я легко угадал в ней старуху.

— Дон Хуан?

— К вашим услугам.

— Следуйте за мной и ни о чем не спрашивайте.

Мы тронулись в путь. По освещенным луной улицам разливался аромат цветов, из-

за темных ставен слышались вздохи. Я никогда не думал, что в Севилье любят так расточительно, вкладывая в любовь столько пыла. По дороге нам не встретилось ни одного закутка, откуда не раздавались бы шепот и стоны наслаждения. Мы миновали какие-то улицы и площади и попали в глухой тупик: как я понял, туда одним боком выходил дом дона Гонсало. Дуэнья остановилась у зарешеченного окна, бросила: «Сюда!» — и метнулась в темноту. Я успел обернуться и в конце улицы различил фигуру Лепорелло: он стоял, широко расставив ноги, уперев руки в боки, готовый заступить на караул.

— Дон Хуан!

Голос доносился из-за цветов. Я приблизился. Я не знал, как подобает держать себя. Но вспомнил, как поступали герои виденных мною комедий, и поднес руку к шляпе, хотя, скорей всего, в ночной темноте приветствие мое не было замечено.

— Дон Хуан! Подойдите ближе.

Лоб мой коснулся цветов, а потом и оконной решетки. И тут я ощутил на щеке жар сдерживаемого дыхания.

— Еще ближе. Не бойтесь.

— Бояться? Чего?

— А вдруг я убью вас.

— Зачем?

Она засмеялась.

— Вы правы. Зачем? Вот нелепость — звать вас, чтобы убить, а ведь вы так нужны мне.

— Кто вы?

— Всему свое время. Прежде хочу предупредить, что быть здесь для вас опасно. Командор не оставляет дом без надзора. В любой миг вас могут обнаружить и отколотить.

— Это вас он так ревностно стережет?

— Нет. Свою дочь.

Мне почудилось, что нежный, едва слышный голос наполнился печалью; но лишь на миг, и она снова заговорила:

— Вы можете, ежели желаете, удалиться.

— Для того вы меня и звали?

Я почувствовал, как ее легкие руки крепко вцепились в мои.

— Нет, Дон Хуан. Я позвала вас...

— Эй, хозяин! Берегитесь!

Лепорелло мчался по улице, а за ним неслись две тени. С другой стороны спешили еще двое. Дама быстро проговорила:

— Вот и они. Бегите направо, там дверь, продержитесь, пока я вам не отопру.

Я услыхал ее быстро удаляющиеся шаги. Лепорелло уже стоял рядом со мной.

— Мы попали в ловушку.

— Вытаскивай шпагу и защищайся. Обо мне не беспокойся.

Я отыскал дверь и прижался к ней спиной. В тиши переулка зазвенели удары шпаг: готов поклясться, что даже искры полетели. Мимо меня метнулись два человека — на Лепорелло напали сзади. Я бросился было ему на подмогу, но тут дверь беззвучно отворилась, кто-то схватил меня за плащ и затянул внутрь. Потом дверь снова захлопнулась. Я оказался в полной темноте, наверно, то была прихожая, рядом слышалось женское дыхание.

— Они убьют моего слугу.

— Но не убьют вас.

— Я бросил Лепорелло в беде.

— Может, у него достанет сноровки...

Среди звона шпаг мы различили крик. Все затихло. Но лишь на миг, потом послышались стоны раненого, топот убегающих ног, и кто-то завопил: «За ним! Не дайте ему уйти!» Женщина взяла меня за руку.

— Не тревожьтесь, Дон Хуан. Ваш слуга...

— Вы уверены, что он сумел убежать?

— Наверняка. Следуйте за мной.

Я подчинился. Двери, коридоры, темные комнаты, патио, где я побывал нынче ут-

ром, ароматы, пение фонтана. Мы шли довольно долго. Порой свет, проникавший сквозь окна без ставен, позволял мне разглядеть белые стены, мрачные тени шкафов, пятна картин. Женщина была моего роста и уверенно двигалась в темноте. Она отпустила мою руку и отодвинула затвор на какой-то двери.

— Погодите.

Я слышал, как она прошла туда-сюда по комнате, потом зажгла свечу. Она стояла в углу, ко мне спиной, и свет вычерчивал ее силуэт. На ней было изящное платье свободного покроя, волосы падали на плечи, словно она только что поднялась с постели. Она взяла канделябр, повернулась и двинулась ко мне, а когда оказалась достаточно близко, подняла свечу и осветила свое лицо. Ей было лет тридцать — тридцать пять, она была красива. Я окинул взглядом ее фигуру, но платье скрывало все, кроме выступавших вперед полукружий груди.

— Я донья Соль, жена дона Гонсало.

— Но... вы так молоды!

— Я вторая его жена.

— Все равно... Командор — старая развалина!

Она горько улыбнулась и поставила канделябр на стол.

— Если бы только это... — Теперь она говорила в полный голос, не таясь, и даже с долей театральности. Потом положила руки мне на плечи и заглянула в глаза. Взор ее пылал, губы дрожали. — Что вы думаете обо мне?

— Мне трудно судить, я вас не знаю.

— Взгляните на меня получше, дон Хуан. Нравлюсь я вам?

— Это да.

— Заметно ли, как я несчастна?

— Вы кажетесь слегка печальной.

— Нет, нет. Я несчастна. Горе разрушило мою красоту. Когда меня выдали за Командора...

Я и раньше слышал в доме какой-то шум, но тут он раздался так близко, что донья Соль замолкла на полуслове.

— Мой муж! За ним сходили. Но не бойтесь. Если он обнаружит вас в спальне жены, ему это будет безразлично.

— Зато мне — довольно неприятно, — пошутил я. — Доселе мы считались друзьями.

— Я избавлю вас от встречи с ним.

Она подтолкнула меня к маленькой дверце, отперла ее, и я оказался в узкой комнате, заставленной шкафами. Над дверцей имелось стеклянное окошко, и я, изловчившись, добрался до него, чтобы наблюдать за происходящим. В дверь спальни колотили, голос дона Гонсало громыхал:

— Эй! Скорей открывайте! Чтоб вам всем сгореть!

Донья Соль неспешно взяла свечу и отворила дверь. Дон Гонсало вихрем ворвался внутрь. За ним следовала юная девушка в накинутой поверх рубашки шали. Донья Соль повернулась к мужу, так что девушка оказалась в тени.

— В дом пробрался мужчина!

— И вы ищете его здесь?

— Я буду искать его хоть на дне преисподней! И убью наглеца!

В правой руке он держал огромную шпагу, в левой — пистолет. Донья Соль хранила невозмутимость.

— Велите принести огня и обыщите все.

— Тут? К чему? — Он повернулся к донье Соль и окинул ее презрительным взглядом. — На тебя-то уж никто не позарится.

— Тогда зачем вы меня разбудили?

— Чтобы ты присмотрела за дочкой, пока я стану обыскивать дом. — При упоминании Эльвиры голос его дрогнул и глаза заметались, отыскивая ее во мраке. — Ты здесь?

Дочь шагнула вперед и оказалась на свету. Она была миловидной, стройной и грациозной. По спине ее рассыпались темные волосы с золотистым отливом. Небрежно накинутая шаль оставляла открытыми пухлые, красиво очерченные руки.

Дон Гонсало протянул чудовищную лапу с зажатым в ней пистолетом, обнял дочь за плечи и пылко притянул к себе. Она подчинилась, но как-то вяло. Дон Гонсало спрятал пистолет, и пальцы его нежно погладили обнаженные плечи Эльвиры.

— Честь дочери... — начал дон Гонсало, все крепче прижимая к себе девушку.

— Оставьте ее на меня и ступайте, а то незваный гость успеет улизнуть.

— Я разрублю негодяю башку надвое! — взревел дон Гонсало и выпустил Эльвиру, но прежде еще раз погладил. — Я покажу, покажу этим севильским юнцам, что такое...

Донья Соль захлопнула дверь, оборвав вопли мужа. Девушка прижалась к стене.

— Я так хочу спать, — промолвила она певучим голосом.

— Сдается мне, сеньорита, что вы не слишком обеспокоены случившимся.

— Как и ты сама. Я не привыкла к такого рода покушениям, потому и не знаю — радоваться мне иль слезы лить.

— Но неужели тебе не боязно: в доме прячется какой-то мужчина, может статься, ему нужна ты?

— А чего мне бояться, если никогда ни один мужчина не искал меня? Да и случись такое, я, верно, не испугалась бы. Надо думать, мужчины не так дурны, как судит отец, а есть среди них и красавцы. Вот и пускай бы один из них оказался рядом со мной, остался навсегда. — В тоне ее засквозила игривость, а по губам пробежала улыбка досады и горечи. Она скинула шаль и взяла в руки веер. — Жарко! Почему ты не откроешь окно?

— А если кто с улицы увидит тебя раздетой?

— Но я просила открыть только окно, а не ставни. К тому же...

На ней была рубашка из такой тонкой ткани, что сквозь нее просвечивало тело. Донья Соль отнесла подальше свечу и распахнула окно. Эльвира подошла к окну, подняла руку над головой и продела пальцы в решетчатый узор ставни.

— Эльвира!

— Что?

— Если вернется твой отец...

— Пускай. Какой грех в том, что я хочу глотнуть воздуха?

— В том греха нет.

— А в мечтах о муже, который оберегал бы дом от незваных гостей?

— И в этом нет греха. Но вслух о таких вещах не говорят.

— Какая разница, говорю я иль нет, ежели они не выходят у меня из головы? Только о том и думаю, и прямо бешенство одолевает, ведь мне уже скоро двадцать, и я знаю, что красива. — Она резко повернулась. — Не желаю больше сидеть взаперти, как велит отец. Ну где я бываю? Лишь в церкви — закрыв лицо, под надзором! Но мне известно, что есть иная жизнь, как, скажем, у моих служанок, которые проводят ночи в объятиях возлюбленных. Да, известно, я сама видала и мечтаю о том же. Пускай и меня обнимет мужчина, сделает счастливой. Если отец об этом не думает, я сговорюсь с каким-нибудь конюхом и, как простая служанка, отворю ему ночью дверь своей спальни.

Говоря так, она приблизилась к свету, и донья Соль телом загородила огонек, так что фигура Эльвиры опять потонула во мраке. Эльвира замерла.

— Ты позволишь мне провести ночь тут, с тобой?

У доньи Соль невольно вырвалось:

— Почему? Зачем?

— Затем, что тут дышится свободно, а в золоченой клетке, где сплю я, нет воздуха. Вот было б у меня такое же окошко с цветами, я глядела бы на улицу, на проходящих юношей.

— Эльвира!

Они стояли совсем рядом. Донья Соль протянула к ней руки, обняла и усадила в кресло, задвинутое в самый угол. Я больше не видел ее — рамка окна открывала мне только ноги ниже колен. Донья Соль опустилась рядом с ней на корточки и о чем-то зашептала.

Я стал находить свое положение пренеприятным. Кроме того, меня мучила загадка: я не мог уразуметь, отчего так приниженно держала себя донья Соль с мужем и Эльвирой и отчего с таким пренебрежением обращались они с ней. Я кое-как спустился вниз и замер в ожидании. Прошло немало времени. До меня доносился шелест тихой беседы

и шум, с каким дон Гонсало обыскивал дом: крики, хлопанье дверей, проклятия. Меня клонило в сон. И сон таки едва не сморил меня, но тут воротился дон Гонсало. Он кричал, что мужчина сбежал, но завтра утром все служанки предстанут пред судьей, и он дознается, хоть под пытками, кто и кому отворил дверь. Потом он повернулся к дочери.

— Нынче я стану спать у твоей двери, и в спальню к тебе можно будет войти только через мой труп.

— Я могла бы побыть с доньей Соль, — прошептала Эльвира.

— Упаси Господь! Донье Соль надо позаботиться о себе самой. А ты пойдешь со мной, ведь я твой отец и должен оберегать твою честь. Да! Дочери — забота отцов! Нет в мире любви крепче отцовской.

Шаги, хлопанье дверей, звон запоров. Мало-помалу дом затих. Только тогда донья Соль выпустила меня.

— Вы разглядели ее?

— До меня доносился только голос. Было плохо видно...

— Она очень красива...

Опять та же грусть прозвучала в голосе доньи Соль, и я напрягал память, вспоминая, где прежде слышал нечто подобное, пока в ушах моих не прозвучали первые слова, произнесенные Марианой, ее полное драматизма приветствие «Дон Хуан!». У доньи Соль тоже был голос исполнительницы канте хондо.

— Вы, верно, успели заметить, как я ненавижу их. — Она прижалась спиной к стене и смотрела на меня. — Всех здесь. Ненавижу молча, как рабыня, не смея ни словом, ни жестом выдать свои чувства. Ненависть живет в груди моей и гложет меня. А я прислуживаю мужу и его дочери с улыбкой на устах.

— Почему же?

— Иначе дон Гонсало убьет меня. — Она опустила голову, потупила глаза. — Убьет сам или чужими руками. Ему легко будет сделать это. Достаточно донести на меня в инквизицию. — Она быстро подняла голову и посмотрела на меня решительно, дерзко. — Я иудейка. Вы не заметили, что в моих покоях нет распятия? Я не верю ни в Деву Марию, ни в Иисуса Христа.

Я отвесил ей почтительный поклон.

— Я лишен расовых предрассудков и никогда не был фанатиком. Но... как же дон Гонсало?..

В глазах ее засветилась благодарность, она улыбнулась.

— Я расскажу вам историю о подлом коварстве и кое-что еще. Теперь мне тридцать пять, а замуж за него выдали в восемнадцать. Я была невинной девушкой с завидным приданым, отец же мой жил в постоянном страхе, потому что инквизиция давно зарилась на его богатства. Командор посулил ему защиту. Брак заключили тайно, дон Гонсало привел мнимого священника, тот сперва окрестил меня, а после обвенчал нас. Я жила в доме отца, и Командор являлся каждую ночь. Инквизиторы словно забыли о нашей семье. И так продолжалось до той поры, пока Командор не пустил на ветер мои деньги. Тогда отца заточили в темницу, где он и умер, вот только наследства, как надеялся супруг, я не получила — всем завладели инквизиторы. Судьи вышвырнули меня из отцовского дома, и Командору пришлось забрать жену к себе. Для всех, в том числе для Эльвиры, я что-то вроде дуэньи. Теперь он презирает меня, а раньше... — Она покраснела и закрыла лицо рукавом. — Я была невинной девушкой, и этот выродок... — Слова ее звучали надрывно, губы дрожали. — Ему нравились молоденькие девушки, и как только я стала повзрослей, он выкинул меня из своей постели. А дочь его меж тем подрастала. Он просто надышаться на нее не мог. Мне он ни разу не купил платья — я донашиваю те, что брошены Эльвирой. Не знаю, откуда берутся деньги, но он одевает ее в самые дорогие и красивые наряды. Вдруг нежданно-негаданно являются швеи и принимаются шить из шелка да бархата. Делают примерки, Командор же выносит суждения, что хорошо, что плохо. А когда платье готово, Эльвира надевает его, чтобы порадовать отца, прохаживается под его восторженным взглядом. Для Командора это главная утеха.

Она снова заплакала. Я раздумывал, для чего она рассказывала мне такие подробности, и одновременно рассматривал ее. Во второй раз в жизни женщина оказалась так

близко от меня; нетрудно было угадать, чем закончится дело, и все же, как и с Марианой, меня вело не столько желание, сколько любопытство. Я жадно смотрел на нее и слушал, словно стремясь проникнуть в тайну, мерцающую под уклончивыми словами. Но то, что открылось мне, я тогда назвать не сумел бы, а может, оно и не имело названия, принадлежа только ей. Но так я рассуждаю нынче, когда познал столько женщин и научился видеть и ценить особенность каждой. Тогда я сравнивал донью Соль с Марианой — не более того, отметив отличительное: движения рук, дрожащую хриплость голоса, голубую жилку, трепетавшую на шее.

— Нынче утром Командор зашел ко мне. Вернее, ворвался не постучав, раздвинул занавеси, отворил окна. «Вставай, иудейская сука!» — крикнул он мне. Я трепеща подчинилась. Когда я оказалась посреди комнаты, там, рядом со столом, он запустил руку в вырез моей рубахи и разодрал ее сверху донизу. Я хотела спрятаться, скрыть наготу. «Подожди!» Он оглядывал меня, кружа вокруг: «Ты еще красива, еще можешь завлечь неопытного мальчишку!» Он опять принялся поворачивать меня туда-сюда, ощупывать, щипать. «Немного увяла, правду сказать, но ежели ты не забыла моих уроков, в постели сгодишься, будешь даже получше прочих. Да постарайся! Другая-то могла бы меня и надуть, но ты у меня на хорошем крючке». Он грубо толкнул меня обратно в постель и продолжал: «На самом деле, ты не жена мне, а наложница, о чем я тебе твердил не раз. Стоит мне пойти к викарию и признаться... Так что супружество наше ненастоящее, и, значит, честь твоя или бесчестье меня не задевают. К тому же тебя никто не знает... как супругу Командора де Ульоа. Почему в Севилье за мной укрепилась слава ревнивца? Я позаботился об этом, дабы иметь повод никому тебя не показывать, дабы никто не дознался, что в доме моем живет такая мерзавка. Я держу тебя при себе только из жалости. И ежели ты до сих пор не попала на костер...» — Она на несколько секунд замолчала. Слез уже не было. — «Неопытный мальчишка» — это вы, — сказала она и снова замолчала.

У меня, должно быть, сделалось совсем уж глупое выражение лица, глупое и изумленное, потому что она не сдержала улыбки.

— Он объяснил, что мне назначена роль приманки. Он поселит меня совсем в другом доме, отдельно, даст вышколенных служанок. «Мне нужны деньги, а твой проклятый отец убрался на тот свет, оставив меня с носом. Мне нужны дублоны на балдахин для статуи Девы Уповающей. Будет только справедливо, если ты добудешь мне их. А если все сделаешь как надо, я даже поделюсь с тобой». Я успела прийти в себя и слушала его поношения спокойно. Только спросила, какой вы из себя. «Красивый и честный малый! Вот увидишь, так что тебе повезло». — «И он на самом деле очень богат?» — «Богаче нет в Севилье!» — «И знатен?» — «Из гóтов, как и я сам!» — «Но, может, тогда надежнее и достойнее женить его на Эльвире?» Он двинулся на меня, бешено вращая глазами. «Что?» — «Женить его на Эльвире. Ведь и она...» Он схватил меня за руку, опять выволок из постели, встряхнул что было сил. «Иудейская сука! Как тебе только взбрело в голову, что Эльвиру можно выдать замуж! Тело моей дочери никогда не послужит на потребу ни одному мужчине! В этом доме уже есть одна потаскуха!» Он рвал и метал. Готов был убить меня. «Выдать замуж Эльвиру! В жизни она не увидит другого мужчины, кроме меня! А перед смертью заточу ее в монастырь. Чтобы дочь моя стала ублажать похоть дон Хуана!» С этими словами он быстро убрался.

— Здесь что-то не так, — перебил я ее. — Как бы ни любил он свою дочь, это слишком. Так не ведут себя и самые ревнивые мужья!

— А вскоре появились вы. — В глазах доньи Соль загорелись веселые огоньки, и с лица стерлись следы печали. Она неожиданно рассмеялась: — Ну и переполох вы устроили среди служанок! Та, что отворила дверь, прибежала словно околдованная и велела остальным поскорее пойти взглянуть на вас. И все до одной будто одурели, потом принялись перешептываться, называть вас красавчиком, говорить, что готовы хоть теперь же поладить с вами... Я тоже полюбопытствовала...

Я сел на край постели, лицом к ней. Донья Соль, сложив руки вместе, замолкла. Потом колени ее подогнулись и она упала к моим ногам.

— Дон Хуан! Вы человек или дьявол?

Мне стало смешно, и одновременно я почувствовал к ней безмерную нежность. Я погладил ее по щеке.

— Сохрани меня Господь! Я даже бесами не одержим, по крайней мере, надеюсь, что это так. А дьявол не внушает мне ни малейшей симпатии.

— Тогда почему же?.. — Она запнулась, обняла мои ноги и стала смотреть на меня в полном изумлении. Но в глазах ее горел странный свет. — Почему с того мига, как я увидала вас, я возжелала, чтобы Бога на свете не было и я могла принадлежать только вам? Почему весь день я ожидала вас, как ожидают Мессию? И почему теперь, рядом с вами, я чувствую себя так, словно попала в рай? Вы для меня — предвозвестие, сделанное Аврааму! Вы — моя жизнь, мое счастье и победа!

Ее руки стали поспешно расстегивать платье, и мгновение спустя она предстала предо мной нагая.

9. Я запретил себе ожидать чего-то особенного, укротил воображение; но осмотрительность не помогла мне избежать в финале разочарования, и я снова почувствовал, как погружаюсь в вечность, встаю лицом к лицу с Богом. Все случилось так же, как с Марианой, только было богаче оттенками, ярче. Главное отличие состояло в том, что я не испытал желания вытолкать донью Соль из постели тумаками, может, оттого что уже начал свыкаться с любовными разочарованиями, может, оттого что понимал: за доньей Соль не было никакой вины, как не было ее и за Марианой — или любой другой женщиной, окажись она на их месте. Я вел себя почтительно и ни разу не улыбнулся, выслушивая слова чуть ли не религиозного восторга и видя, что донья Соль воспылала ко мне явно мистической любовью. Она же то возносилась к самым вершинам этой любви, коей я не мог разделить, то погружалась в неведомую пучину, словно ныряльщик ко дну моря; но добывала она там не жемчужины, она приносила оттуда улыбку счастья. Сначала мне было любопытно проверить, как, несмотря на все различия, две женщины вели себя столь сходным образом — разными были лишь слова, которые помогали им выразить чувства. У доньи Соль они походили на молитву, в остальном состояние доньи Соль, по крайней мере внешне, вполне можно было уподобить блаженной отрешенности Марианы. И все же я сумел избегнуть главной ошибки: мне удалось раз и навсегда убедить себя, что в таких случаях все женщины испытывают одно и то же, поэтому я перестал интересоваться их ощущениями, чтобы заняться их чувствами. Поступи я иначе, жизнь моя, видимо, и сложилась бы по-другому; ведь донья Соль, сама того не ведая, несла на губах своих то блаженство, кое дьявол сулил мне во время первого искушения. Но я открыл нечто, напрямую связанное с предыдущими событиями, более важными, отчего забыл о чувственных радостях и разом возвратился к мыслям о Господе. Мне открылось, что донья Соль не преувеличивала — я на самом деле заменил ей Бога, и она искренне возжелала, чтобы Бога не существовало, тогда она будет принадлежать целиком только мне. Словом, я таил в себе нечто, позволявшее мне соперничать с Господом, во мне — или, верней сказать, через меня — действовали силы, до сей поры сокрытые, и для женщин они были неотразимы и заставляли их мечтать о соединении со мной на веки вечные, видя в подобном соединении высшее блаженство, природа коего, по здравом размышлении, потрясла меня. Признаюсь, что, придя к такому выводу, я испытал ужас и на некоторое время, не могу сказать, на какое именно, потерял способность двигаться дальше и чуть не бросился бежать прочь от этого ложа, сотрясаемый раскаянием; я даже соскользнул с постели на черно-белые плиты, пал на колени, моля Бога простить мою дерзость. Но тут на память мне пришел смех предков, ехидный голос адвоката, который спрашивал: «Ну что, юноша, не вы ли возомнили, будто в силах бросить вызов Всевышнему? Не вы ли похвалялись, будто способны положить жизнь свою на то, чтобы исчерпать грех до последних пределов? Ну же, бегите поскорей к Командору, поклонитесь ему в ножки, молите о прощении, а остаток жизни советую вам провести в картезианском монастыре, коль на большее вы не годитесь!» Я вскочил с пола, преисполненный гордой решимости, руки мои снова потянулись к донье Соль, и я вознес ее к вершинам такого блаженства, какое только может вообразить человеческий разум, и сам я вознесся превыше всех людей. И настал миг, когда она безоглядно погрузилась в себя, когда через каждую ее пору

наружу рвались стоны наслаждения. И тут душа моя послала адвокатишке последний вызов: «Вы еще увидите, на что я способен!»

И все же чувство вины не покидало меня; наоборот, оно росло в душе моей, заполняло ее собой, и я вступил в сражение с ним, призвав на помощь самые изощренные доводы, и одержал-таки победу. Но главным было иное: я почувствовал удовлетворение, увидав в раскаянии знак того, что Господь не отвернулся от меня, что он принял вызов и пытался воздействовать на меня самыми тонкими, самыми божественными из своих методов. Если Величием моего Соперника можно было бы измерить мою собственную значимость — с учетом разделяющего нас расстояния, потому что я никогда не был настолько глуп, чтобы равнять себя с Богом, и никогда не забывал, что победа будет за ним, — мои предки могли бы гордиться мной.

Донья Соль задремала. Я подошел к окну и вдохнул аромат цветов. Весенние волны врывались в комнату, тело мое набухало ими и тоже чувствовало себя весной. Я увидал Лепорелло, который стоял у стены, надвинув шляпу на глаза, словно спал. Рассветные лучи возвращали его одежде цвета. Я тихо окликнул слугу. Он поднял голову и подбежал к оконной решетке.

— Вы здесь?

— Думаю, что скоро выберусь отсюда, хоть нельзя сказать наверняка... Жди меня у площади, на углу.

Он неспешно пошел прочь. А я еще несколько минут постоял у окна, впитывая рассветную свежесть и наполняя ею свои вены. Потом вернулся в полумрак комнаты. Аромат цветов смешивался с ароматом, исходившим от тела доньи Соль, и смесь эта рождала тревожный и будоражащий запах, что-то вроде запаха ладана.

Донья Соль села в постели, скрестив руки и опустив голову на грудь. Я сел рядом и взял ее руки в свои. Она взглянула на меня с нежностью и отстранилась.

— Не трогай меня больше, жизнь моя.

Я собрался было обнять ее, но она выскользнула из моих рук.

— Что случилось?

Она вцепилась в мои плечи и изо всех сил удерживала меня на расстоянии.

— Не знаю, сумеешь ли ты понять...

Я попытался польстить ей своим ответом:

— Почему же нет, если мы — одно.

Она улыбнулась.

— Нет, Хуан. Мы составляли одно целое, по крайней мере, я была частью тебя и чувствовала, что ты стал частью моего тела и моей души. Но чары уже разрушились...

— В нашей власти вызывать их снова и снова.

Она покачала головой.

— Нет. Мне такое больше не удастся. То, что случилось нынче ночью, случается только однажды, и довольно. Кроме того... — Она отпустила мои плечи, руки ее безвольно упали. — Я больше не хочу этого и никогда не захочу. Я много чего успела испытать в жизни, и наслаждения мне опостылели! Когда я впервые увидала тебя, мне показалось, что ты дашь мне иное, тогда я еще не знала, что именно, но что-то прекраснее наслаждения, может, даже любовь...

Она вскочила с постели и принялась одеваться. По мере того как она одевалась, к ней словно возвращалась стыдливость, она торопилась прикрыть наготу.

— Как передать тебе, Хуан, что открылось мне там, наверху, в мире, куда ты увлек меня и куда я так мечтала попасть... — она запнулась и недоверчиво взглянула на меня. — Ты не будешь смеяться?

Я поймал ее руку, повисшую в воздухе, и поцеловал. Она сжала мою.

— Спасибо, Хуан... Я боялась... Все так невероятно и разом так просто! Ты привел меня к любви, помог испытать ее... И разве странно, что в твоих объятиях я нашла Бога? Знаешь, я хотела сделать своим Богом тебя, мечтала забыть моего собственного, а ты вернул меня к Нему... Почему ты так смотришь, Хуан! Благодаря тебе я почувствовала, насколько полно принадлежу Ему, даже в детстве, когда вера во мне была крепче, я не испытывала такого. И поэтому я еще больше люблю тебя.

Видно, в глазах моих отразилась оторопь: я ждал от доньи Соль самых невероятных признаний, самых безумных слов, но никак не этого. Она говорила пылко, будто в экстазе, не ведая, как сильно ранит мою гордость, не ведая, что от нее я узнаю: Господь оставил меня в дураках.

— Теперь я знаю, что ничего плохого в сем мире не совершу и готова на любую жертву. Да, Хуан, даже умереть на костре, лишь бы Бог простил моего мужа. И такой день, верю, наступит. А до тех пор останусь рабой дона Гонсало и его дочери. Я все сделаю ради нее...

Она вдруг замолкла и схватила меня за руку.

— Ты должен жениться на Эльвире! Избавь ее от отца, Хуан! Укради, коли надо! Я дам тебе ключ! Напиши ей письмо, подкарауль в церкви, пусть она на тебя посмотрит! Она тотчас влюбится — и в твоих объятиях станет нежной и доброй! Не говори «нет», Хуан!

Ее взгляд умолял, ее голос подстегивал. Я же в ответ не мог выдавить из себя даже улыбку.

10. Мы добрались до дома с первыми лучами солнца. Я был взбешен, но вместе с тем наиболее трезвая часть моего рассудка требовала, чтобы я как следует обдумал ситуацию и попробовал разобраться в ней. «Ясно одно, Хуан, кое-что ты упустил из виду, ибо Бог — это любовь, и если донья Соль нашла в тебе любовь, значит, ты невольно помог ей прийти к Богу. Ты замахнулся слишком высоко. Лучше оставаться в тени; пускай Его предугадывают, точно не распознав, ты ли есть Бог, на которого они уповают. Тогда ты не станешь препровождать их прямехонько в Его руки, нет, они окажутся в твоей власти. Но это, разумеется, если они веруют. А вот тем, кто веры лишен, было бы недурно открыть тайну Вечного и его прелести, дабы потом мог ты сказать Господу: «Вот тебе дар мой, но рожден он для Тебя из греха». Было бы недурно, недурно... Идея показалась мне безупречной, и тут я подумал: а почему бы не испробовать ее на Эльвире? Донья Соль пообещала мне ключ, указала время, когда та каждодневно отправлялась к мессе. У меня оставалась пара часов.

Лепорелло помог мне разуться и принес с кухни кое-какие закуски, потому что оба мы были голодны. Потом он спросил, не желаю ли я вздремнуть. Я ответил, что нет, что хотел бы только прилечь, прямо так, не раздеваясь, и что вскорости нам предстоит снова выйти из дома. Затем он принес бумагу и перо, и я принялся сочинять любовное послание. Письмо вышло длинное, пошлое, витиеватое, я перечел его и, негодуя на себя, разорвал. Дожить до двадцати лет и не научиться начеркать юной даме несколько пылких слов! Мне пришло в голову порыться в отцовских книгах, может, кто-то из поэтов даст мне урок любовного красноречия... Но отец мой всю жизнь читал только эпико-героические сочинения и богословские трактаты. Я обозлился еше пуще, и гнев погнал меня в патио. Дворик в эти часы был прохладен, пуст и тенист. Меж розами и апельсиновыми деревьями бил фонтан, ласточки пили воду. Черный упитанный кот, притаившись в углу, изготовился к прыжку, прыгнул, но толстое брюхо помешало ему достичь цели. Я счел это упреждением себе: велеречивая эпистола обречена на провал. Но как вместить в пять-шесть слов все, что желал я сказать Эльвире? Я сел на скамью рядом с розовыми кустами, глубоко вдохнул аромат цветов и крепко задумался. Дело было спешным и не терпело кружения вокруг да около. Не годился тут и слишком высокий стиль — я помышлял о телесном союзе, но не духовном. Я опять потребовал бумагу и перо и сочинил новое послание, получилось чуть менее двух квартилий. Тоже не слишком коротко, но куда как решительней. Я начал исправлять то тут, то там, вымарал пустые словеса, ужал вступление, и после часа трудов от письма осталось лишь следующее: «Это я сегодня ночью проник в твой дом и стоял так близко от тебя, что пистолет твоего отца был направлен мне прямо в сердце. Я то, о чем мечтает тело твое. Я вернусь». Внизу я поставил свои имя и фамилию. Письмо, как легко обнаружить, содержало только одно утверждение — ложное, но эффектное, да и главная фраза на деле принадлежала не мне — слишком она походила на первые слова Марианы: «Я то, о чем вы мечтаете». Ежели словам этим на-

учил ее Командор, в чем я ни минуты не сомневался, ибо безграмотной девице в жизни самой не додуматься до столь театрального зачина, то я возвращал мяч, но теперь уж с камнем внутри, иначе говоря, я отразил удар оружием противника, но сперва как следует наточил его.

Часы на Хиральде[1] пробили восемь раз. Я поднялся в свою комнату, сменил платье на более легкое и нарядное, а потом, спрятав письмо в карман, направился к церкви, где Эльвира имела обыкновение слушать утреннюю мессу. Лепорелло плелся сзади. До места мы добрались загодя, так что у нас было время побродить и посмотреть, кто входил в храм и кто оттуда выходил.

Эльвира явилась ровно в девять, с двумя дуэньями по бокам и двумя слугами за спиной. Я заметил их издали, и у меня хватило времени встать в дверях и там дожидаться ее — одна из нищенок охотно уступила мне свое место и даже подмигнула, разгадав мой коварный замысел: «Коли надобно тайком передать записочку, положитесь на меня». Как только Эльвира приблизилась, я метнул на нее дерзкий взгляд. Она споткнулась, я послал ей улыбку. Она подняла вуаль и открыла лицо, я взглядом поблагодарил ее. Заметив, как она затрепетала, я показал ей свою руку с зажатым в ней посланием. Эльвира замешкалась и вздохнула. Я жестом пояснил, что она вольна принять письмо иль отвергнуть. Проходя мимо, она уронила молитвенник. Один из слуг кинулся за ним, но я успел наступить на книгу. Слуга свирепо выпятил грудь. Я тоже принял воинственную позу. Мы обменялись грозными взглядами, но, видно, он все же одумался и сделал шаг назад, я смог нагнуться и поднять книгу. Эльвира громко промолвила: «Отец убьет вас». Я ответил: «В этом нет нужды, дочь уже сразила меня наповал». Она спрятала письмо в перчатку и торопливо вошла в церковь.

Эльвира села в один из первых рядов. Я наблюдал за ней, укрывшись за колонной: она уткнулась в молитвенник и не поднимала головы, но я разглядел, как дрожали ее губы. Лепорелло стоял рядом со мной и самозабвенно следил за полетом мухи, ему не было дела до моих забот.

— Когда она станет уходить, я поспешу за ней, а ты проверь, не выкинула ли она письмо.

Проповедь длилась долго, Эльвира сидела неподвижно и, кажется, ничего вокруг не замечала, так что, если бы не дуэнья, не подошла бы и под благословение. Когда же она собралась покинуть храм, я двинулся вперед, чтобы увидать, как она выходит, и чтобы снова предстать перед ней. Четыре пары пылающих гневом глаз охотно испепелили бы меня, но в глазах Эльвиры я заметил ожидание. Своим же взглядом я желал внушить ей лишь одно: «Ты будешь моей».

Было еще рано. Синее небо Севильи пересекала стая голубей. Яркое солнце и белизна стен делали тени более темными, почти черными. До меня донесся аромат жасмина, но рядом со мной расположились нищие, распространяя свой неистребимый запах. Тут из храма вышел Лепорелло и, зажав нос одной рукой, другой протянул мне что-то. На ладони моей оказалась кучка бумажных обрывков. Я взглянул на них и швырнул по ветру.

— Следуй за мной.

— Домой?

— Да. У нас есть дело.

Я заперся в мрачной зале с покрытым сверкающей плиткой полом, снял камзол, расстегнул ворот рубашки и закатал рукава. Становилось чертовски жарко, и мозг работал вяло, словно желая отдохнуть, выключиться и отдать тело во власть одних лишь ощущений. Я велел принести чего-нибудь холодного, и мне подали ледяной воды с анисовкой, которая помогла мне взбодриться. В голове начало проясняться, но тело давила усталость. Я прилег на диван, чтобы рассудок мой поработал покойно, но тотчас заснул. А когда проснулся, уже миновал полдень. Вокруг на цыпочках кружил Лепорелло. Услыхав, что я шевельнулся, он подскочил ко мне.

— Вот, принесли пакет.

---

[1] Хиральда — башня собора в Севилье; построена маврами в 1196 г.

Я разорвал обертку. Внутри лежали ключ и какие-то бумаги. Донья Соль прислала мне план дома, на нем был обозначен путь к спальне Эльвиры, имелась и приписка: «Эльвира поведала мне, что в церкви увидала мужчину, краше которого нет на свете. Это был ты? Благодарю! Я сказала, что тот мужчина, наверно, предназначен ей судьбой, и глаза ее вспыхнули надеждой. Не обмани меня! Полагаю, все легко уладится и можно будет отыскать сговорчивого священника, который вас обвенчает. Как бы мне хотелось при том присутствовать! Ты позволишь? Клянусь: увидав тебя счастливым, я обрету силы для своей жертвы. Напиши ей, Хуан, нынче же напиши, пусть твой слуга в час молитвы доставит письмо к моему окну, я сама положу его Эльвире на подушку. Объясни ей, что в церкви был ты».

Ах, простодушная донья Соль! Теперь я знаю, что все женщины спят и видят, как бы поспособствовать чужой любви, обожают устраивать тайные свидания и помогать двум любящим любить друг друга еще сильней; но тогда-то мне почудилось, что супруга дона Гонсало проявляла чрезмерное великодушие и что она очень уж поспешно двигалась вперед по дороге, ведущей к святости. Я поклялся в душе не разочаровывать ее, а так как письмо подстегнуло мое воображение, я тотчас набросал несколько строк для Эльвиры: «Как это письмо добралось до тебя, так я доберусь в одну из ближайших ночей до губ твоих. Я дам тебе свободу. Дон Хуан». Я вручил письмо Лепорелло и снабдил его указаниями.

— Это для той, вчерашней, хозяин?

— Стоит ли о ней вспоминать? Нет, для другой, но из того же дома.

— Так быстро проходит любовь?

— Трудно ответить в общем и целом. Та любовь умерла, едва родившись, скорей всего, и завтрашняя дольше не протянет, хоть тут я рискую...

И тотчас в мозгу моем сверкнул луч, я осекся. «*Я рисковал, мне угрожала женитьба*». Ведь мое доброе сердце не позволит мне покинуть соблазненную Эльвиру, мои моральные устои приведут меня к алтарю, даже если сердце мое остынет. «*Брак был одним из условий игры, в которую я готов был ввязаться, и правила игры следовало либо целиком принять, либо с ходу отвергнуть, без оговорок и уверток*». До сей поры справедливость была на моей стороне, но если я соблазню и брошу Эльвиру, у Командора появятся веские основания считать меня виноватым, он будет вправе назвать меня подлецом и плюнуть мне в лицо.

И все же что-то подсказывало мне: игра не была чистой, и я, поддаваясь ей, своей волей шел в ловушку, притворяясь слепым. Иначе говоря, мы либо принимаем условности, либо глядим правде в глаза и подрываем установленный порядок. Это я понял еще в Саламанке, когда плоть моя пребывала в невинности, а дух еще не дерзнул возмутиться против Всевышнего. Уже тогда мне нравилось докапываться до основ общепринятых истин и убеждаться, что истины эти лишены внутреннего стержня и зиждутся на фундаменте из нелепых правил, голословных утверждений. «Грешно совращать девицу, — говорил нам профессор, — ибо это будет действием, совершенным против воли ее отца». — «А если у нее нет отца? — спрашивал я. — Или отец сам ее к тому понуждает?» Профессор начинал выстраивать цепь силлогизмов. «Но отчего же мы почитаем за грех, если свободная женщина волею своей соединяется со свободным мужчиной?» — продолжал я допытываться. И к вящему гневу педанта делал вывод: «Самоочевидно: коль скоро Бог прямо наложил на это запрет, то потому, что акт сей по сути своей — акт религиозный...» На что преподаватель отвечал мне: «Сеньор Тенорио, у вас еретический склад ума — уже только в силу любви к противоречиям». А я отвечал: «Это лишь прием, сеньор, не более того, я прибегаю к нему из учтивости: задаю вам труднейшие вопросы, дабы вы их разрешили и тем явили нам тонкость своего ума». Но профессору так и не удалось внятно втолковать мне, почему мужчина обязан жениться на девушке, которую соблазнил, и не должен жениться на проститутке, чье тело купил.

И вот теперь, размышляя о своих нравственных обязательствах перед девицей, я приходил к выводу, что жениться на ней и убить ее отца — вещи, логически трудно совместимые, словом, вещи, которые без грубой натяжки немыслимо поставить в один ряд. Нет, нет! Убийство здесь прозвучит фальшивой нотой, царапаньем по стеклу, станет неловким

мазком на картине. Смерть добавит к комедийной интриге неуместный трагический оттенок. Верней было бы позвать Командора и сказать ему: «Вы — глупец и пугало гороховое, я решил украсть вашу дочь, а после жениться на ней, просить у вас ее руки и заключить с ней брак подобающим образом. Теперь, когда дело сделано, поступайте как знаете. Я привел ее в свой дом и обращаюсь, как должно обращаться с сеньорой, и уверяю вас: брак наш вполне законен...» и так далее. Командор учинит скандал, станет угрожать судебным разбирательством и бог весть чем еще, а в конце концов попросит денег. Я ему их, наверно, дам. Но мои высокочтимые предки там у себя, в особо им отведенной части загробного мира, отвернутся от меня. И адвокат засмеется своим ехидным смехом — снисходительно, словно знал обо всем заранее. «И чтобы закончить вот этим, ты строил из себя трагического героя? Ради этого, милый племянничек, ты произносил пылкие речи, бросал вызов Богу? Ведь ты обращался к небесам в надежде быть услышанным. Во всяком случае, меня ты встревожил. А оказывается, то были не более чем словесные хлопушки! Все успокоилось свадьбой. Дон Гонсало добился своего — заграбастал твои денежки, и как раз так, как замыслил, приманив тебя женским телом. А то, что это тело его дочери, а не доньи Соль, ничего не меняет». И адвокат был бы прав. Крыть мне было бы нечем.

— Лепорелло, скажи-ка, в каких случаях соблазнитель избавлен от обязанности жениться на соблазненной им девице?

— Нет таких случаев, коли он кабальеро. Разве что...

— Разве что?

— Разве что он уже женат, хозяин. Но тут и греха будет поболе, потому как он еще и прелюбодействует.

— А ты полагаешь, что плотский грех бесчестит прелюбодея?

— Во всякой порядочной земле, хозяин, обесчещенным считают супруга. Иль отца, когда речь идет о незамужней девице.

— И, по-твоему, это справедливо?

— Тут судить не берусь. Так заведено испокон веку.

— Завел-то это небось дьявол.

Лепорелло дернулся и взглянул на меня сердито.

— Чего уж валить на дьявола все подряд? Человек-то и сам не промах по части дурных дел и без дьявола управляется.

Я, расхохотавшись, схватил его за руку.

— Разве этому учит тебя богословие?

— Знать не знаю, учит оно этому иль не учит, но тут я и свое рассужденье имею. Избавься мир от дьявола, лучше в мире не будет.

Я подвел его к окну, откуда задувал свежий ветерок.

— Никогда не повторяй такое на людях. Это ересь. Хотя...

— Что?

— Хотя сам я замышляю согрешить на свой манер, то есть дьявол тут будет ни при чем, даже против его воли. Я — сам и ради себя самого, но от моего греха людям вреда не будет. Получится что-то вроде ученого диспута, спора между Господом и мною. И другим до того дела нет.

— Так ведь вы на помыслах не остановитесь... Начнете богохульствовать вслух, вас детки могут услышать.

— А разве такой путь заказан: творить добро, замешенное на кощунстве?

— Очень уж дело хитрое, как мне сдается.

— Да разве невозможное? Скажем, вот я теперь...

— Что, хозяин?

Я схватил его за плечи и взглянул ему в глаза.

— Что ты обо мне подумаешь, если я женюсь на Мариане?

В его зрачках на миг вспыхнул странный огонек.

— Я только слуга, сеньор. Не мне судить того, кто мне платит.

— Я уверен: Мариане я бы сделал добро. Но ведь на самом деле я совершил бы кощунство, ибо брак сей послужит мне лишь средством: тогда совесть моя не вынудит меня жениться на девице, которую я вскорости намерен соблазнить.

— Ту, что была в церкви? — Лепорелло задумался. — И мне дозволено сказать свое слово?

— Разумеется.

Он поднес к губам сложенные в щепотку пальцы.

— Девочка всем на зависть!

— Больше тебе нечего сказать?

Он улыбался.

— Ведь я не Тенорио, хозяин. Мы люди простые, и чести у нас нет, потому что нет денег, нам нет нужды заглаживать грехи. Слюбиться можно с кем угодно, а потом уж — старайся выкрутиться. Совесть у нас не такая деликатная, как у господ. Подлыми мы родились, вот и ведем себя по тем деньгам, что в кармане имеем. Да от нас многого никто и не требует. Так что я бы на вашем месте голову себе не ломал и всякими сложностями не забивал, да в рассуждениях не исхитрялся, а шел бы прямиком к цели. Но я-то, хозяин, не Тенорио.

— Нет, ты не Тенорио, но ты — циник. Так?

— Самую малость, хозяин, в меру необходимости. Только в меру необходимости.

— Короче, ты советуешь мне идти прямо к цели? Правильно я тебя понял?

— Нет, где уж мне вам советы давать! Я смотрю со своей колокольни, у вас — свои резоны. Я только и сказал, как бы сам поступил на вашем месте, в этом и вся разница. А как поступить вам, то мне не по уму.

— Да я и сам, поверь, во многом не могу разобраться. По крайней мере, вот уж дня два, как в голове у меня разброд и нет никакого порядка. Раньше все было проще: все стояло по местам, и не надо было думать. Теперь другое дело.

— Да отчего ж так, сеньор? — лукаво ухмыльнулся он и даже подмигнул. — Оттого что успели переспать с парой бабенок? Такое случается с каждым в нужный срок, и в душе поднимается переполох... Но потом все становится на свои места.

— Да я-то не желаю, чтобы оно туда становилось. Мне больше по вкусу переполох...

— Ну, коли так...

11. Я принял решение. Было около шести вечера. Я отправился в дом к некоему нотариусу и велел составить дарственную запись, по которой Мариане переходило все мое состояние, все мое имущество — в качестве свадебного дара, чтоб в мое отсутствие она могла распоряжаться им как владелица и сеньора. Нотариус позволил себе выразить сомнения: не чрезмерна ли общая стоимость дарения, и уведомил меня, что, как правило, мужья не отписывают супругам всего, чем владеют. Я сослался на какие-то причины, которые если и не убедили его, то заставили примолкнуть. Справив нужные бумаги, я вернулся домой. И тотчас написал Командору, приглашая его к себе на десять вечера. Затем пошел к Мариане, которую не видел весь тот день. Она была у себя, стояла на коленях перед Распятием и, судя по всему, молилась. Услыхав мои шаги, она оглянулась, поспешно поднялась и побежала мне навстречу: на груди ее был приколот букетик тубероз.

— Чем ты занималась?

— Молилась. Раньше мне на это недоставало времени.

— Тебе нравится молиться?

— Конечно. С сегодняшнего дня. Ведь раньше...

— Забудь это «раньше», забудь себя прежнюю, теперь ты — другая.

Я взглянул на ее новый наряд, на красиво уложенные волосы. Запах тубероз горячил мне кровь и словно подталкивал к Мариане, но я уже дал себе слово не понуждать ее больше грешить.

— Да, кажусь-то я другой...

— Ты и есть другая, а станешь и вовсе непохожей на себя прежнюю. Я решил жениться на тебе, Мариана!

Она печально улыбнулась и положила голову мне на грудь.

— Не смейтесь надо мной, сеньор.

Я взял ее за плечи и, чуть отстранив от себя, посмотрел ей в глаза.

— Мы скоро обвенчаемся, Мариана, нынче же ночью. Здесь, в моем доме. Я прикинусь умирающим, чтобы священник мог выполнить все, что положено, укоротив обряд.

— Значит, обманом?

— Да, но это обман дозволительный. Только так и можно обвенчаться, когда время не терпит.

Мариана опустила голову.

— Я грешница.

— Но я ведь не собираюсь умирать немедленно, ты еще успеешь исповедаться.

Она обняла меня, обливаясь слезами.

— Для чего вам это, сеньор?

— Ты того стоишь.

— Не могу уразуметь. Я — продажная женщина. Благородным господам на таких жениться не пристало. Что скажут люди?

— Люди поймут, что душа у тебя чистая и что сердце твое способно на самую великую любовь.

Она улыбнулась.

— Это да. Я готова умереть за вас.

Я поцеловал ее.

— Вот уж в чем нет нужды. Хватит того, что ты окажешь мне честь выйдя за меня замуж.

Она расхохоталась.

— Честь? Я — вам?

Из глаз ее исчезла печаль, исчез страх. Они сверкали новым, счастливым светом.

— А теперь подготовься как следует. Мне нужно отлучиться. Но я скоро вернусь. На сей раз и вправду скоро.

Уже успели спуститься мягкие и золотистые сумерки, пропитанные дразнящими ароматами. Я направился к адвокату, который занимался делами моего отца. Он удивился, увидав меня, провел в кабинет и предложил чего-нибудь выпить. Я объяснил ему цель своего визита.

— В ближайшие дни я убью одного человека. Да не удивляйтесь так, не пугайтесь! Я не убийца и сделаю это не ради куража, я человек чести и должен кровью смыть оскорбление. Ведь это так называется? Кровью смыть оскорбление — на дуэли. Но есть у меня опасения, что судьи не сочтут дуэль законным способом отправить подлеца в ад. Они похлопочут о том, чтобы наложить руку на мое добро, и я бы не слишком о том горевал, если б речь шла только о моем богатстве, но вчера я все передал во владение женщине, на которой сегодня же ночью намерен жениться...

Адвокат вытаращил глаза и изобразил на лице испуг и изумление.

— ...на которой сегодня же ночью намерен жениться. И мне нужно устроить так, чтобы никто не посмел коснуться ни этой женщины, ни ее имения. — Я положил на стол кошель, полный дукатов. — Взгляните, хватит ли тут на оплату ваших трудов? Да напишите расписку, где будет указана сумма вознаграждения и за какую услугу оно вам вручено.

Дрожащей рукой адвокат отыскал бумагу и перо.

— А вы, Дон Хуан? Что станется с вами? Вам грозит тюрьма?

— Я уеду, только и всего. Может, найду убежище. Пока не решил.

Он написал расписку и протянул ее мне.

— Извольте получить. Но зачем?..

— Вы ловкий и опытный адвокат. Вы должны убедить судей, что из состояния моей супруги лично мне не принадлежит ни сентимо, что все, чем владеет она, принадлежало ей до вступления в брак, как то и следует из бумаги, подписанной сегодня. И потому она не должна отвечать материально за мои деяния. Вот ваша задача. — Я поднялся. — Вы могли бы поручиться, что все решится должным образом?

Он тоже поднялся.

— Я лучший адвокат в Севилье. — Он проводил меня до передней. И по дороге еще раз попытался образумить, заставить все хорошенько взвесить.

Я вернулся домой. Лепорелло был уже там. Командор принял мое приглашение.

— А теперь узнай, где живет приходской священник и в котором часу он укладывается спать.

12. В половине десятого я еще был полон сомнений. Меня без видимой причины преследовал страх, непрошеный, как чих: не выбрал ли я заведомо ложный путь, не впутываюсь ли в скверное приключение, из коего не найдется достойного выхода? Я вспоминал недавние события, и теперь многое показалось мне нереальным, словно речь шла о фарсе и действие развивалось в специально подготовленных для меня декорациях, в театре, где актеры знали и свою роль, и мою, а мне в комедии досталась роль простака. И я уже был готов пойти на попятный. Внутренние голоса называли меня дураком и нащупали послать все к черту, воспользоваться визитом Командора, просить у него руки его дочери и жениться на ней, как велит Господь. Подобные образы преследовали меня так неотвязно, что я задался вопросом, не Бог ли мне их посылает — в последней, полной любви попытке охранить меня. Я был польщен таким вниманием, такой приязнью Создателя. Но я задался и другим вопросом — уже из привычки к диалектическому анализу: а не дьявол ли мне их внушал? И это меня спасло, ибо я тотчас сообразил, что Бог никогда не посоветовал бы мне жениться на Эльвире, ведь она была отнюдь не той женщиной, которая может направить мужчину на благую стезю. Дьяволово коварство привело меня в бешенство — подлое искушение добродетелью, соблазн вроде бы христианской жизнью, хотя в нее вкрапливалось великое множество ничтожных на первый взгляд мелочей, из тех, что как раз и способны завести всякого в преисподнюю, правда безрадостно, бесславно. Теперь я пришел к убеждению, что грешники, подобные мне, приносят лукавому только лишние хлопоты, ведь ему приходится с нами много возиться, мы вечно преподносим ему неожиданности, в любой момент можем поворотить все с ног на голову и ринуться в объятия Господа; потому-то дьявол всегда и отдавал предпочтение людям посредственным с их блеклыми грехами, тем, кто полагают себя вполне хорошими и не сомневаются, что попадут в рай, а оттого всю жизнь мучают окружающих своей несносной добродетелью. Но в тот миг, в миг колебаний, я еще до этого не додумался. Нет, сомнения мои были иного рода: мне казалось, что достойней принести покаяние, чем жениться на Эльвире. Может, так хоть ей удастся спасти душу, а ежели она станет моей супругой, мы оба неотвратно погубим себя.

Вот о чем размышлял я, ожидая Командора, в этот жаркий, непостижимый, пропитанный ароматами вечер, когда прикосновение ветерка к щеке напоминает женскую ласку. Какой поразительный отклик нашла во мне севильская ночь! Как остро, всем существом своим принимал я ее! Как успокаивала она меня, ублажала, какую будила жажду жизни! Да, я всегда сражался со своим чувственным телом, как святые боролись со своими. Тело мое влекло меня к супружеству, и, скорей всего, из-за него я бы попал в чистилище, ведь чистилище уготовано Богом для посредственностей.

Командор влетел вихрем.

— С тобой что-то случилось?

Мы находились в патио. Клок лунного света падал на выбеленную стену, сзади темнели острые верхушки кипарисов, много ниже — апельсиновые деревья, еще ниже — цветы.

— Меня напугало твое письмо, — промолвил он.

— Право, нет повода для тревоги. Я послал за вами, потому что почитаю вас своим другом, и в решающий час, к каковому я теперь подступаю, не могу обойтись без вас. Я намерен жениться.

Он окаменел. В тот миг лицо его как никогда показалось мне сделанным из папье-маше и раскрашенным грубыми мазками — как у большеголовых карнавальных великанов.

— Что? — голос его дрогнул.

— Я намерен жениться — ровно через полчаса, и прошу вас быть при сем свидетелем.

Рука дона Гонсало нащупала спинку стула и стиснула ее. Другой рукой он отер пот со лба.

— Ты собираешься жениться, — громыхнул он. — Но на ком? Ведь ты никого не знаешь в Севилье.

— Я собираюсь жениться на Мариане.

Дон Гонсало сел. Он наморщил лоб, потом густые брови его поползли вверх.

— Я такой не знаю.

— Знаете. Это та потаскуха, что прошлой ночью в «Эританье»...

— Потас...

Он вдруг расхохотался, расхохотался оглушающим, громоподобным смехом, долгим, как шум речного потока. И все его тело тоже смеялось — огромное брюхо, здоровенные ручищи. Он смеялся, словно был землей, раздираемой землетрясением, и казалось, он сам вот-вот распадется на куски от смеха. И мне страшно захотелось наброситься на него и дубасить, дубасить, разбить в кровь нос, а потом сунуть Командора в фонтан и посмотреть на него такого — жалкого и мокрого.

— Над чем вы так смеетесь, Командор? — спросил я самым вкрадчивым голосом.

Дон Гонсало начал приходить в себя. Еще дрожали его второй подбородок и загривок, но слова уже звучали отчетливо.

— В порядке ли у тебя голова? Ты не перегрелся на солнышке и мозги у тебя не расплавились? Солнце-то в Севилье, говорят, такое...

— Я в самом здравом уме.

— Тогда я тебя не понимаю. Вчера в моем доме ты выглядел юношей вполне разумным и никто бы не вывел из твоих слов, что ты вздумаешь совершить такую глупость. Мало того, ведь мы договорились в одну из ближайших ночей...

— Отложим разговор на эту тему. Да, еще пару дней тому назад я не помышлял о женитьбе, но вышло вот что: ко мне явился дон Мигель Маньяра, человек святой, как вам известно.

— И дон Мигель надоумил тебя жениться на этой?..

— Дон Мигель ее не знает. Дон Мигель не знает и того, что я потерял невинность в объятиях Марианы. Дону Мигелю сообщили, что я пустился во все тяжкие, и он пришел наставить меня на путь истинный. И преуспел. Знали бы вы, как красноречиво он говорит, как ярко живописует муки адовы! А руки, его руки? Они такие ползучие, так шевелятся... Словно дьявольские крючья, готовые впиться в тело грешника!

Командор постепенно успокаивался, теперь он смотрел на меня с хитрой улыбкой.

— Его слова дошли до моего сердца, поймете ли вы меня? — продолжал я. — Меня вдруг обуял ужас. И с тех пор я обдумываю, как бы мне искупить грех перед Господом нашим.

— Но, мальчик мой, довольно покаяться — и все в порядке. Хороши бы мы были, вздумай жениться всякий раз, как...

— Нет, одного покаяния мало. Я исповедался, но, кроме того, открыл душу Господу, воззвал к нему смиренно, молил дать сил, чтобы избрать стезю добродетели и больше не сворачивать с нее. И тогда Господь сказал мне прямо и ясно...

— Господь? Ты сам слыхал? — Выражение его лица было красноречивей слов: уж кто-кто, а он в чудеса не верил.

— Слыхал, как и должно слышать подобные вещи: словно в душе моей зародилась некая мысль — мысль, которая иным путем никогда не явилась бы ко мне. Мысль была вполне логичной и согласной с тем, к чему я и сам, своим умом, мог бы прийти, не будь мой рассудок помрачен. Ведь всякий, кто находится в здравом уме, поймет, Командор...

Он откинулся назад, к спинке стула, и взглянул на меня с любопытством.

— Всякий? Ну-ка, продолжай!

Он потирал руки.

— Давайте взглянем на проблему как на силлогизм. Предположим, некий распутный мужчина соблазняет невинную девицу. Разве он не обязан, как того требуют мораль и обычаи, жениться на ней?

Командор обхватил свое пузо руками, словно стараясь помешать раскатам хохота снова посыпаться из этого мешка.

— Да, кабальеро так и обязан поступить.

— Пойдем дальше, Командор. Предположим, что у вас есть дочь и я ее соблазнил. Разве вы не потребовали бы от меня?..

Лицо его помрачнело, глаза запылали гневом. Он отнял руки от брюха и поднес кулаки мне к лицу.

— Нет, такого мы предполагать не станем, никогда, потому что мою дочь...

— А вам не приходит в голову, что батюшка мой, упокой Господь его душу, мог бы сказать обо мне то же самое?

— Будь твой батюшка на моем месте, он бы тебе задал трепку. Такому благородному человеку, как он, получить в невестки потаскуху! Да он в гробу перевернется от негодования!

— Напротив, думаю, мой отец порадовался бы такому решению. Он уже переступил порог Истины, он знает, как говорил мне Маньяра, что всякий раз, когда соединяются мужчина и женщина, сердце Господне либо огорчается, либо ликует — в зависимости от того, согрешают они или нет. Мой батюшка уже познал, что соединение мужчины и женщины запечатлевается навеки. Значит, ему известно, что, когда я сошелся минувшей ночью с Марианой, мы словно повенчались. И, вступив с ней в брак, я лишь подкреплю уже свершившееся.

Глаза Командора сузились, сделались похожими на точки.

— И таким образом ты восстановишь утерянную честь, так? Честь, утерянную в объятиях гулящей девки?

— Именно так.

— И на голове твоей вырастут рога, огромные, как церковные башни, самые разные — как у быка, как у оленя, у газели, даже как у улитки, на любой вкус. Все рога мира на голове дон Хуана Тенорио, потомка самого знатного рода в Севилье... если не считать моего.

— Вы позволяете себе рассуждать слишком фривольно, Командор. А вы веруете в Бога?

Он одним прыжком вскочил на ноги.

— Как ты смеешь сомневаться?

— Да ведь вы рассуждаете не по-христиански. Что нам за дело до прошлой жизни Марианы, коли все грехи ее смыты покаянием?

— А что оно, покаяние это, смоет и память об ее теле у тех, кто ею попользовался? Ну-ка, сколько севильских молодцов, увидав тебя с Марианой, укажут на нее пальцем со словами: «А вот с этой я имел дело?»

— Зачем мне думать об этих несчастных? Пусть они сами позаботятся о своих душах. Главное, что Мариана силой покаяния очистилась, и теперь она для меня словно святой образ. Что касается ее чести... ей довольно будет чести, которой я с нею поделюсь. Ведь у меня чести столько, что хватит, чтобы облагородить целый полк шлюх.

Он молча поглядел на меня, потом пожал плечами и поднялся.

— Ладно. Хозяин — барин. Но учти, в Севилье с тобой здороваться перестанут. И на меня тут не рассчитывай.

— А как же забавы, о которых вы вчера толковали?

Он уже успел повернуться ко мне спиной. И двинулся было к выходу. Но тут остановился и медленно оглянулся.

— Что ты хочешь сказать?

— Да вы же сами рассказывали мне о веселых ночах, о пирушках... Я бы хотел на них побывать, само собой, когда там не будет женщин, потому что я не собираюсь обманывать свою супругу, но вот карты и прочее... Тут греха нет, как я понимаю.

— Нет, милый мой, нет греха, раз уж не грех жениться на шлюхе! Только смотрят на это косо. Но ты готов совершить неслыханную глупость! И из твоих объяснений я понял, что разубеждать тебя проку мало. На том и покончим. Что касается пирушек...

Я перебил его.

— Только не нынче, понятно. Не гоже бросать жену в первую брачную ночь. А вот завтра...

— Так скоро?

— А почему бы и нет? Я надеюсь заиметь не менее дюжины детей, и, хоть я богат, денег мне понадобится много. Вот я и думаю: легко заработать их игрой.

— Это точно! Конечно! Ты человек везучий и, сдается мне, станешь выигрывать. А если когда и проиграешь, назавтра наверстаешь упущенное. Игра закаляет характер. Но тебе-то будет проще. Ты так богат! С такими деньжищами можно проигрывать хоть год подряд. — Голос его сделался сладким, на устах снова заиграла хитрая улыбка. Он опустил руку мне на плечо. — Только послушайся моего совета, никому не болтай о своей женитьбе и уж тем более помалкивай о том, кого взял в жены. У людей много предрассудков... Держи это в секрете, хотя бы до поры до времени, ладно? А потом выход отыщется...

— Не могу выразить, как я вам благодарен!

Мы договорились встретиться завтра вечером, в половине одиннадцатого. Я проводил его до порога, потому что не сумел уговорить стать свидетелем на венчании: поступиться принципами он не мог. Я смотрел, как он удалялся, по-хозяйски, широкими шагами, словно улица принадлежала ему одному. И смех его будил ласточек под крышами.

— Господи, ведь я без всякого удовольствия отправлю его на тот свет, такие типы вызывают омерзение где угодно. Молю Тебя, дай ему время раскаяться в содеянных непотребствах.

Потом я сказал Лепорелло:

— Сейчас я лягу в постель. Пусть принесут одеяла и бульон погорячей. Когда увидишь, что с меня начал течь пот, словно я в агонии, беги за священником да поскорей зови сюда — мол, надо обвенчать одну пару in articulo mortis[1].

13. Я вышел из покоев на рассвете. Мне хотелось глотнуть свежего ветра, нужно было прикоснуться к воде. Еще темный двор благоухал, и в гуще кипарисов пел соловей. Я разделся и погрузил тело в водоем. Вода была холодной, и я почувствовал, как холод очищает меня, смывает поцелуи и ласки. Мне почудилось, будто вода возвращает моей плоти свойственную ей цельность, то, что было ее принадлежностью и что нынче ночью она утратила. Но восстановив эту цельность, я словно что-то у себя самого и украл.

Мариана уже спала на огромном ложе, где я когда-то родился. Меня же любовь лишила сна.

— Сдается мне, что сеньору нужна простыня.

— Ты был здесь, Лепорелло?

— Да уж ясно, не спал, как мне и положено.

Я с трудом различал его лицо, но готов был поклясться, что он смеется. Он помог мне вытереться досуха. Потом собрал с земли мои вещи и обождал, пока я оденусь.

— А еще я приготовил сеньору кое-чего горяченького. И старого вина. В таких случаях нет ничего лучше.

— Да разве ты когда-нибудь уже служил у новобрачного?

— Нет, никогда, сеньор.

— Откуда же такие познания?

— Смекалка!

Он удалился и вернулся с подносом, на котором стояли закуски. Я пригласил его разделить со мной трапезу и налил ему вина.

— Выпей. За меня.

— За ваше счастье?

— Нет. За меня.

— Ну, тогда за вас, сеньор!

Он выпил, кашлянул и хлопнул бокал оземь.

— Есть на земле одно место, где принято делать именно так. На счастье.

— На твоей родине?

— Нет, в одном месте на земле.

---

[1] На смертном одре (*лат.*).

Я тоже выпил.

— За твое здоровье, Лепорелло.

— Благодарю покорно, сеньор, — он протянул руку и удержал меня. — Только свой бокал не бейте. Я того не стою, к тому же с моей судьбой все ясно, в ней нет секретов. Я хочу сказать... — Он на миг замолчал и взглянул на меня. — Смею думать, что отныне мы станем ложиться спать в божеское время. Помнит ли сеньор, что мы провели три ночи без сна. Что скажут почтенные граждане Севильи, узнай они об этом?

— А тебе так важно мнение почтенных людей?

— Я думаю о сеньоре. Что до меня... признаюсь, я не прочь заваливаться пораньше. Но, коль надо полуночничать, извольте. Таковы «издержки службы».

— Что ж, Лепорелло, может, мы еще не раз станем полуночничать. Пожалуй, и на весь остаток жизни нам придется пожертвовать ночным покоем. Хотя пока не знаю.

— Но... а как же сеньора? Ведь она-то вышла замуж, чтоб почивать с супругом, как мне сдается. Так уж заведено.

— Да. Ей бы того хотелось.

— А вам?

Я встал, Лепорелло отступил назад. Я шагнул к нему и схватил за плечи.

— Никак ты выпытываешь у меня кое-что?

Он улыбнулся.

— Уж очень я любопытен, сеньор, к тому же не лишне будет узнать, какая жизнь меня ждет. И опять же: очень уж я привязан к сеньору, да и вы не раз мне доверялись, вот я и подумал, может, и теперь... Я уж сколько часов ломаю голову. Женитьба... Клянусь, сеньор, не под силу мне это понять.

— Я и сам в замешательстве. Верно, на меня нашло легкое ослепление, нынче ночью я плутал по дорогам мира, в котором нет пользы ни от глаз, ни от рассудка. Но пока я счастлив.

— Да что вы говорите, сеньор! Да неужто! — В том, как были произнесены эти слова звучала бесконечная насмешка. — Счастливы взаправду?

— А это нетрудно. Довольно перестать требовать от жизни больше, чем она может дать. И тогда открываешь у многих вещей новое лицо, они делаются богаче оттенками, и с ними вроде бы легче примириться. Знаешь, что бывает, когда подносишь руку совсем близко к глазам: руку видеть перестаешь, зато можно разглядеть рисунок на коже.

— И в нем — судьбу. Я имею в виду линии ладони.

— А я имею в виду вещь очень простую — союз с женщиной. Стоит перестать ждать невозможного и отказаться от мечты слиться с ней в одно существо, стоит удовольствоваться немудреным наслаждением, кое готова даровать нам плоть, как ты поймешь, что сей союз прекрасен.

— Двое — одна плоть.

— Да вот это как раз и неверно! Две плоти — и всё тут! Так будет всегда, вечно, во всяком случае в земной жизни. Зато жизнь твоя перестает быть только твоей, она принадлежит двоим.

— До известной степени...

— Да, именно что степень эта известна, не забывай. И я недавно испытал это. Ночью я заглянул в будущее, коему никогда не суждено стать моим будущим. Мы вдвоем вычерчивали его облик. Да только вот линии были придуманы не нами. С небес нам указывал их перст Божий.

— Снова Бог, сеньор? И чего вы никак от него не отвяжетесь, примерялись бы лучше к земле. Вам бы здесь и положить себе предел.

— Господь всю ночь вел со мной спор и не раз одерживал верх. Кто бы мог подумать, что Мариана — его приманка, способ лишить меня свободы. Останься я на всю жизнь с этой женщиной, стал бы святым. Рядом с ней невозможно быть дурным. От нее исходит добро, милосердие, она заражает ими.

Сердце мое все еще томилось любовью, испытанной нынче ночью, через Мариану я любил весь мир и всякое живое существо. Любил даже дона Гонсало де Ульоа. И купание не до конца остудило мой пыл.

— Послушай. Тут Господь не ставит пределов. Он позволяет любить все что ни пожелаешь, упиваться любовью, не делая различия меж созданиями благородными и подлыми. Все тебе видится хорошим, и дурное не возмущает, а лишь вызывает улыбку. Даже на дьявола ты смотришь с симпатией, сочувствуя его несчастной судьбе!

Лепорелло словно испугался чего-то.

— Дьявола оставьте в покое. Он здесь ни при чем.

— Нынешней ночью — нет, а вот вчера он искушал меня. И соблазнял вещами куда менее занятными, да и постыдно заурядными.

— Ну, у Бога воображение-то побогаче будет. При разделе свойств и качеств он выбрал себе те, что попривлекательней.

— Но Он использует схожие приемы. Бог тоже искушает.

— Видать, это приносит хорошие плоды.

— И сегодня ночью плоды были как никогда прекрасны!

— Словом, Он добился своего? Будем считать, что отныне вы ступили на путь святости?

Мне стало забавно. Я вознес руки, будто застыл в экстазе пред воображаемым алтарем.

— Святой Хуан Тенорио. Неплохо звучит, а? Святой Хуан Тенорио — покровитель рогоносцев, как сказал бы Командор. И святая Мариана кающаяся. — И тут на меня точно накатило, я потерял узду. Схватив Лепорелло за руку, я впился в него взглядом. — Пойми, все это возможно. Надо только слушаться Мариану, внемля ее словам и озарениям. Но знаешь, что от меня потребуется?

— Нет, сеньор, не могу знать. Я полагал, что вам предлагали все, ничего не требуя взамен.

— Мне придется отречься от себя самого.

— И только-то!

— Где-то это было написано, но я только теперь уловил истинный смысл тех слов: «Кто ищет себе погибели, тот и будет спасен!» Не припоминаешь? Но я-то не желаю терять себя, только-только себя обретя. Вчера я пребывал в согласии с собой и готов был принять любую кару за право быть верным себе. Отчего же теперь меня гложут сомнения?

— Видать, хозяин, вам открыли ту сторону вашей души, с которой вы не считались, и она небось не так уж плоха, вот вы и растерялись.

— Нет, не плоха. И если прельщает меня, то тем, что есть в ней неукротимость, геройство. Отречься — от имени, от богатства, от мира, от свободы. Покориться, смириться. Растворить свое «я» в действенной любви, жить только для других... Что скажут Тенорио, если в один прекрасный день среди них воссядет святой? Полагаешь, посмеют отвернуться от такого?

Лепорелло взглянул на меня точно на безумного.

— Не понимаю я вас, сеньор. При чем тут ваши Тенорио?

— Да ведь я — род Тенорио.

— Так это они велели вам жениться на такой девице?

— Да, отчасти... Ведь они велят мне беречь честь, а честь моя пострадала, когда я утратил невинность в объятиях продажной женщины. И вот я сделал ее только своей, наделил ее собственной честью, очистил ее, а значит, очистился сам.

Лепорелло улыбнулся.

— Как забавно вы все толкуете. Сдается мне, ваши Тенорио не приняли бы таких рассуждений.

— Я их принимаю — и довольно.

— Так на чем же мы остановимся? Следуете вы собственному закону или закону рода Тенорио?

— Я пытаюсь примирить их меж собой.

— А ежели изберете вы путь святости? Тоже надеетесь примирить свой закон с законом Христовым?

Я встал прямо перед ним и торжественно произнес:

— Последовать за Христом — значит отречься от своего закона.

— И вы решились?

— Пока нет.

— А почему бы вам не бросить монетку, не поиграть в орла и решку? Ведь кинь Буриданов осел монетку, не помер бы с голоду. — Он поспешно вынул из кармана серебряный реал. — Вот. Орел — грех. Решка, то есть крест, — святость. Идет?

— Идет. Орел — ад. Крест...

Лепорелло, протестуя, поднял руку.

— Нет, хозяин, нет. Хоть монету бросайте, хоть свою волю заявляйте, ни Бога, ни дьявола этим не проймешь. На кон ставится только ваша жизнь, земная жизнь, а не спасение души. С нею порешат уж после вашей смерти. Коли сказал Господь: «Сей человек для меня!», тут греши не греши — все едино. Он уж изловчится послать вам раскаяние в смертный час.

Он, Лепорелло, говорил довольно странным тоном — будто слова эти ему не принадлежали и он произносил их против воли. Я почуял в них ересь. Но, подумав о том, что Бог, возможно, выбрал меня для Себя и, что бы я ни наделал, меня ждет вечное спасение, я ощутил, как душа моя встрепенулась от гордости. Я с размаху сбросил на землю поднос со всем, что на нем оставалось.

— Кидаем монету! Пускай Бог скажет свое слово, а уж после скажу свое я!

Лепорелло поглядел на меня не без сомнения. Потом подбросил монетку, и взгляды наши устремились следом за ней. Она улетела так высоко, что сверкнула в первых солнечных лучах на фоне синего неба. Реал упал на плиты патио, подскочил, звякнул и покатился до кромки клумбы с гвоздиками.

Лепорелло указывал мне, куда упала монета.

— Орел или решка?

Он наклонился, быстро выпрямился, словно в разочаровании.

— Ребром, сеньор.

Я не пал на колени, хотя такое желание у меня возникло. Нет, я только склонил голову, посылая привет небесам.

— Бог — настоящий кабальеро.

Лепорелло протягивал мне монету.

— Вот она. Сберегите как амулет. Она принесет вам удачу.

— Удача будет мне куда как кстати. Ведь я получил доказательство собственной свободы, а раз Бог лишил меня благоволения, с сего мига я избираю грех. Господь все предвидел, но все же хотел дать мне шанс. Итак, я убью Командора и соблазню Эльвиру. Потом...

Лепорелло поднял руку и опустил мне на плечо.

— Пусть сеньор простит мне фамильярность. Но не следует ли поиметь в виду, что между святостью и той греховной жизнью, на которую вы решились, есть и нечто среднее? Нынче грешим — назавтра каемся, и так до самого конца. Человек получит прощение либо будет проклят — смотря по тому, в какой момент настигнет его смерть. По сути то же самое, но поменьше мороки. И человечнее.

— Да. Человечнее — и подлее. Отречься от Бога, чтобы грешить не таясь, либо рядить грех в одежды добродетели. Должно быть, Богу отвратительны грешники. Но я-то дерзну грешить в открытую, поклоняться греху, не забывая, что́ именно поставлено на кон. Знаю, поражение мое неминуемо, и принимаю его; но до той поры стану грешить с достоинством воина-победителя. Я восстановлю честь грешников в глазах Господа, стану первым из достойных Его. И в конце концов Он вынужден будет наградить меня улыбкой.

Солнце начинало заполнять все пространство патио. Нашедший приют в кроне кипариса соловей умолк. В сверкающем утреннем свете звучала лишь песнь фонтана.

14. В пять часов пополудни Лепорелло отправился похлопотать насчет лошадей и подготовить все к тому, чтобы мы могли выехать из Севильи глубокой ночью или же на рассвете: он сговорился со стражником, заступавшим нынче на пост у одних из городских ворот, и тот пообщал за два дуката тайком выпустить нас из города. Что касается верховых коней, то Лепорелло добыл самых быстрых и красивых.

За время его отсутствия я написал письмо к Эльвире — последнее. Всего в несколь-

ко слов: «Сегодня ночью, когда часы пробьют двенадцать. Дон Хуан». Лепорелло взялся доставить его по назначению. Я спросил его, как ему удается улаживать такие дела. «Да уж всегда найдется, сеньор, служанка, падкая на ласки или на денежки».

— Лучше, когда и на то и на другое. Надежней. Если посчитаешь нужным, назначь свидание на тот же час. Чтоб сноровку не терять.

Потом я долго беседовал со своим управляющим: пытался вникнуть в состояние дел, распорядился об отсылке денег в два-три места, через которые думал проехать, и приказал ему во всем слушаться Мариану. Он спросил, долгой ли будет моя отлучка.

— Сие от меня не зависит.

— Всегда, отправляясь в путь, сеньор, мы вверяем судьбу свою в руки Божии.

— В моем случае это особенно верно.

Мариана открыла для себя радость не только в молитве, но и в шитье. Целый день она провела с иголкой в руках. Я заглянул к ней, когда уже начало темнеть. Она сидела у зарешеченного окна и пела какую-то песенку. В волосы она воткнула ветку жасмина, шею украсила изумрудами, доставшимися мне от матери.

Я сел рядом; она улыбнулась мне, продолжая шить и напевать. Я долго смотрел на нее. Она порой вздыхала. Потом я достал бумаги и вручил их Мариане.

— Вот здесь говорится, что ты являешься полной хозяйкой всего моего состояния, а вот в этой бумаге — что ты имеешь право поступать по своей воле в отсутствие супруга. Храни их как зеницу ока.

Услышав мои слова, они погрустнела.

— Ты уезжаешь?

— Мне надо решить одно мужское дело. Это займет какое-то время.

— Я могу отправиться с тобой.

— Я охотно взял бы тебя, но дело это не терпит присутствия женщин. Ты все равно обо всем узнаешь завтра, лучше скажу тебе сам: ночью мне придется убить некоего человека.

Она вскрикнула, с испугом взглянула на меня и бросилась мне на грудь. Она рыдала и просила меня отказаться от задуманного.

— Этот человек жестоко меня оскорбил.

— Но разве ты не можешь его простить? Ты должен, должен, Хуан! Господь велит нам прощать!

— А если бы оскорбление касалось тебя?

— Я прощаю его!

— У тебя великодушное сердце, но я, если не убью его, не смогу смотреть в глаза людям.

— Ну и что? Зато ты не опустишь глаз перед Господом.

— Мне предстоит жить среди людей.

— Разве можно жить, когда тебя преследуют муки совести?

— Пока преследовать меня будут альгвасилы, это наверное. Поэтому мне надобно скрыться.

— Я умру без тебя!

— Я всегда буду рядом. Каждую ночь стану кружить вокруг твоего сердца, и ты почувствуешь это, клянусь. И однажды мои руки разбудят тебя.

Она продолжала обнимать и целовать меня. Мне было горько расставаться с ней. Но я понимал, что ее отчаяние сильнее моего и что ни слезы, ни ласки, ни слова не могли до конца выразить его. Сам не знаю, зачем я увлек ее к постели, и тут мне открылось: два существа могут соединиться, не стремясь к наслаждению, когда им дано вместе пережить нечто, чего словами не передашь.

Мы поужинали вдвоем, в молчании. Потом она проводила меня до порога. Я выслушал ее последние наставления, и когда мы прощались, она не проронила ни слезы. Уже спустилась ночь, на улице было совсем темно.

— Ступай и молись за меня.

Я еще раз поцеловал ее и закрыл за собой дверь. Лепорелло дожидался неподалеку. Я прислушался — и до меня донесся плач Марианы.

— Если Господь и сотворил что-то хорошее, люди это сумели испортить, — сказал я Лепорелло.

— Что я и не устаю повторять, сеньор.

— Ты хочешь сказать — я украл твою мысль?

— Да нет. Я только подумал, что тут наши взгляды сходятся. Мы, люди, способны сгноить даже соль.

— Но умеем и очистить ее, не забывай. Если однажды Господь спросит у меня, сделал ли я что-нибудь хорошее в жизни, я смогу указать ему на эту благородную душу, на чистую и прозрачную душу Марианы.

Мы дошли до тайного игорного дома, где меня уже поджидал Командор.

— Следуй за нами, когда мы отсюда выйдем. Заметишь, что мы куда-нибудь заходим, стой снаружи. А сообразивши, что дело сделано, беги за лошадьми и жди меня с ними перед домом Командора.

Дон Гонсало сидел в плохо освещенном углу залы и попивал холодное вино. Он протянул мне навстречу руки с наигранной и нелепой радостью, потом усадил рядом и велел принести вина и мне.

— В таких случаях полезно немного выпить. Но не теряя головы, а чтобы воспарить духом и не бояться риска. А деньги при тебе?

Я позвенел дукатами в кошеле.

— Золото! Ты взял золото?

— Золото показалось мне уместней серебра. Каков металл, таков и человек.

— Ну-ка, дай мне его потрогать. — Он высыпал содержимое кошеля на стол, и руки его перебирали и ласкали дукаты, словно то было женское тело. Теперь он больше ничего кругом не видел. — И у тебя осталось еще много таких монет?

— Целый сундук.

— Хватит, чтобы купить всю Испанию! И чего тебе вздумалось жениться? С такими деньжищами ты не знал бы отказа от самых красивых женщин Севильи! В нынешние времена все продается и все покупается, так зачем жениться тому, кто может баб покупать? Супружество, оно для бедных.

— Что за печаль, раз я смогу и впредь вести холостяцкую жизнь?

Я хотел было собрать монеты, но он попросил позволения самому сложить их. Он складывал дукаты в кошель по одному, прежде как следует ощупав каждый, словно желал пальцами проверить, вычеканен ли там портрет короля. Он насчитал сто дукатов, завязал кошель и протянул мне.

— А теперь — действуй с умом, да не теряйся, когда не повезет. С новичками судьба капризна, надо ловить момент, выжидать, пока она разомлеет от неги. Никаких особых хитростей тут нет. Но уж если в эту ночь не повезет — не ерепенься, а спокойненько жди завтрашней. Сто дукатов-то можно спустить за пару часов.

Мы вышли. Мимо прошмыгнул Лепорелло и что-то украдкой вложил мне в ладонь. Я сжал кулак и почувствовал, что это была монета, наверно, тот самый серебряный реал — на нем мы утром испытали судьбу. Я забыл его.

Дон Гонсало вел меня по незнакомым улицам, которых уже коснулся лунный свет, пока мы не очутились у богатого с виду дома. Командор постучал в дверь негромко и каким-то особым манером, словно сообщая пароль. Нам открыли. Человек со свечой в руке осветил лицо Командора, а потом и мое... Мы спустились в подвальное помещение и после ряда предосторожностей оказались в зале с низкими сводами и на первый взгляд темноватой. Свет падал вертикально на столы и освещал зеленое сукно, нервные руки, передвигающие карты и деньги. С моего места это напоминало сборище призраков. Но в глубине залы имелось некое возвышение, вроде небольшого помоста, там было светлее, и там, за особым столом, сидел важного вида человек, очень богато одетый, и казалось, что он управляет сборищем — для чего ему хватало легкой улыбки и еле заметных движений рук. Дон Гонсало подошел к нему. Они говорили обо мне, дон Гонсало кивнул в мою сторону. Важный кабальеро заскользил меж столами и игроками и кинулся ко мне. На губах его играла сладчайшая улыбка.

Он протянул ко мне руки:

— Дон Хуан Тенорио! Вот кого я рад видеть в своем доме! Только вас недоставало в этой славной компании. Все, кого вы тут видите, принадлежат к лучшим семьям Севильи: будущие гранды Испании, самые титулованные особы в Кастилии. Сегодня черед молодых. По средам и пятницам мы их сюда не допускаем, чтобы их отцы тоже могли немного поразвлечься.

— И мой отец был вашим клиентом по средам и пятницам?

— Ваш отец — нет. Он был человеком строгих правил, как мне известно, старомодных взглядов. Но сегодня все переменилось, и люди в годах свыкаются с новшествами. Надо только соблюдать приличия... — Он забрал мою шляпу. — Если шпага вам мешает...

— Она не более чем для красоты.

— Многие оставляют шпаги при входе. Тогда, случись какая ссора, дело решается кулаками, а шпаги могли бы привести к нежелательным последствиям.

— Я никогда не ввязываюсь в ссоры. Зачем? Я человек покладистый. — Тут к нам приблизился и Командор. Они принялись давать мне наставления: чтобы я не торопился вступать в игру, чтобы сперва походил да понаблюдал, как играют другие...

— Большой науки тут не требуется, зато нужно хладнокровие. Поосмотрись пока, а коли желаешь выпить, дай знак. Заведение угощает за свой счет.

Игра шла за четырьмя-пятью столами, играли в карты и в кости. Многие просто глазели. Я скользнул к свободному месту и, не садясь, спросил:

— А я могу попросить карты?

Банкомет глянул на меня с усмешкой, игроки заулыбались, ротозеи громко расхохотались.

— Разумеется! Деньги при вас?

— Конечно.

Он принялся тасовать колоду. Я чувствовал, что за мной наблюдают, меня изучают, меня презирают. Я прикрыл карту рукой, в руке были зажаты деньги — моя ставка.

— Сколько вы ставите?

Я показал им дукат.

— Целиком?

— Что тут такого?

В глазах банкомета сверкнул алчный огонек. Остальные не отводили от монеты взгляда, словно больше ни на что в мире уже смотреть не могли, смотрели похотливей, чем смотрят на женщин.

— Взгляните на свою карту и объявляйте!

— А если я не стану на нее глядеть?

— Можете играть вслепую.

— Я играю вслепую.

— Это все равно что бросать деньги на ветер.

— Мне нравится бросать их.

Банкомет уже не смеялся. Он вытащил шестерку. Сгреб три хороших ставки и заплатил одну незначительную.

— Ну-ка, какая карта у вас?

— Откройте ее сами.

Он протянул дрожащую клешню, помедлил. Взглянул на меня.

— Открывайте же. Или я сделал что-то не так?

— Нет. Все так.

Он перевернул карту. Это была семерка. Я ощутил озноб.

— Я выиграл. Правда?

— Да, выиграли, — прохрипел он в ответ.

Он отсчитал столько серебряных монет, сколько соответствовало одному дукату.

— А золота у вас не имеется?

— Нет. Но какая разница?

— Тогда оставьте это себе. Я ненавижу серебро.

Банкомет, игроки и ротозеи проводили меня взглядами. Кто-то заметил:

— Он из тех, что вернулись из Перу.

Я сел в стороне и велел проходящему мимо слуге подать мне вина. Я строил из себя человека рассеянного, но сам внимательно следил за передвижениями в зале. Один из зрителей поспешил к Командору и к человеку в богатом платье и начал им что-то рассказывать, размахивая руками и поглядывая в мою сторону. Командор вроде бы успокаивал его. Человек в дорогом платье слушал с отсутствующим видом. Но после того как соглядатай отошел, он что-то сказал Командору, и дон Гонсало двинулся ко мне.

— Что, мальчик мой? Скучаешь?

— Нет, выжидаю, пока прибудут серьезные люди. У этих юнцов маловато денег, чтоб играть со мной.

Он похлопал меня по левому плечу.

— Ах уж эта нынешняя молодежь!.. В мои времена мы были осмотрительней.

Я снова остался один. Машинально сунул руку в карман, и пальцы мои нащупали там монету. Я вытащил ее и увидел, что это был серебряный реал Лепорелло. Я тотчас вспомнил его давешний совет: хранить его как талисман. Может, это и вправду талисман? На всякий случай мне следовало избавиться от него — хотя бы на время, пока не разрешится дело с Командором. Я сунул его в щель стола, и мне почудилось, что с плеч моих упал тяжкий груз, груз судьбы, которая мне, по чести говоря, не принадлежала.

Вскорости круг гостей полностью обновился. Двое слуг составили несколько столов вместе. Все стянулись к ним. Командор швырнул кошель с деньгами и произнес:

— Держу банк!

И сел. Ему принесли карты. Каждый доставал деньги и выкладывал перед собой кучкой. Я выбрал место напротив Командора и вытащил свои дукаты. Когда игроки увидали их, услыхали звон, воцарилось гробовое молчание — как в минуту опасности. Все глядели то на деньги, то на меня. Кто-то тихонько спросил:

— Откуда этот птенец?

— Тебе следует разменять несколько монет, — посоветовал мне Командор. — Не все же твои ставки будут по дукату.

И он пододвинул ко мне кучу денег. Мы совершили обмен. Мое золото выделялось своим блеском среди тусклого и грязного металла, составлявшего банк. Дон Гонсало отодвинул мои дукаты в сторону, словно это были белокурые и изнеженные барские дети, которых следовало оберегать от своры уличных мальчишек.

Командор раздал карты. Мне досталась пятерка. Я сделал скромную ставку. Потом попросил еще одну карту, и мне пришел конь. Другие делали ставки покрупнее. Командор проиграл какую-то мелочь и забрал по-крупному. Передавая мне выигрыш, он улыбнулся.

Я украсил дукатом первый же выпавший мне валет. Были и другие валеты и высокие ставки. Некий тип с бледным лицом, скользкий, с волчьими зубами, показал семь с половиной. В банке — семь. Мой дукат отправился к зубастому типу. Я внимательно следил за Командором и углядел, как он вытаскивал карту из-за пазухи, прямо из-под креста. Я небрежно бросил на стол еще один дукат.

Так мы и продолжали, в полном молчании. Я снимал маленькие ставки и проигрывал крупные, как в общем-то и все остальные игроки, за исключением зубастого типа, перед которым уже выросла башенка из моих дукатов. Их было десять, сложенных очень ровно.

Разодетый сеньор стоял за его спиной, но достаточно близко от меня. Он видел и мои карты, и карты волка. Я приметил, что они с Командором обмениваются взглядами и подмигивают друг другу, и сообразил, что тот, кто выиграл мои дукаты, играл от заведения, а богато одетый сеньор выполнял роль сигнальщика. Но до остальных игроков ему дела не было, их манила куча моих дукатов.

Я спросил:

— А могу ли я быть банкометом?

Я услыхал смешки, увидал, как собравшиеся переглядывались и подталкивали друг друга локтями. Но Командор ответил мне очень серьезно:

— Конечно, мальчик мой, но только это, полагаю, опасно. Без нужного навыка можно и проиграть.

— А разве теперь я не проигрываю?

Командор передал мне колоду.

— Вот, возьми. Охота пуще неволи.

— Но вы отдали мне не все!

Он взглянул на меня с изумлением.

— А ты никак желаешь получить и мои деньги?

— Нет. Мне, надеюсь, хватит своих. Но те карты, что вы держите в рукаве, под столом и за пазухой, — разве их вы мне отдавать не намерены?

Я сказал это с самым невинным видом. Рука моя указывала на командорский крест. Слова мои прозвучали громом среди ясного неба. Все повернулись к Командору, и кто-то выкрикнул:

— Объяснитесь, дон Гонсало!

Дон Гонсало откинулся назад, потом вскочил, опрокинув стул, и схватился за шпагу.

— Что ты несешь, мальчик мой? Ты обвиняешь меня в мошенничестве?

Он смотрел так, словно пламя, полыхавшее в его взоре, должно было испепелить меня.

— Дон Хуан Тенорио шутит, — произнес разряженный сеньор, и руки его мягко легли на мои плечи. — Он немедленно извинится, я уверен. В противном случае, что подумают эти господа?

Игроки поднялись со своих мест и стали требовать, чтобы Командор снял камзол и остался в одной рубашке. Тип с волчьими зубами собирал выигрыш и намеревался улизнуть. Откуда-то из темноты ко мне уже спешили два крепких молодца. Дон Гонсало продолжал осыпать меня бранью. Я смекнул, что не пройдет и пары минут, как со мной расправятся, и что пора действовать. Руки разодетого сеньора на моих плечах делались все тяжелее, словно он хотел удержать меня на месте. Молодцы уже стояли возле него. Я метнулся под стол и приподнял его плечами: мои дукаты покатились на пол, перемешавшись с серебром Командора. Следом за деньгами вниз полетели канделябры. Началась суматоха, слышались крики и проклятия. Все устремились в погоню за деньгами и ползали по полу, стараясь ухватить побольше. Разодетый сеньор вопил: «Держи его!», и молодцы кинулись к двери, чтобы преградить мне путь к отступлению. Я сумел выбраться из свалки, подхватил с пола канделябр и зажег свечу. Когда гости начали подниматься на ноги, набрав полные горсти моих дукатов, я уже успел перебежать в ту часть залы, где был устроен помост, со шпагой в одной руке и канделябром, поднятым над головой, — в другой.

— Командор — мошенник, — крикнул я. — Я хочу получить назад свои сто дукатов.

Разряженный кабальеро с улыбкой ступил вперед.

— Сеньор Тенорио, я готов простить вам ваши наглые выходки, учитывая вашу неопытность и свойственную вашим младым летам глупость. Возьмите вашу шляпу и ступайте вон.

— Я хочу получить назад свои сто дукатов. А эти господа должны потребовать свое. Всех нас обманули, кроме вон того — с длинными зубами.

Разодетый господин сделался серьезным.

— Не глупите, Дон Хуан, и убирайтесь, ежели не хотите, чтобы я приказал слугам вытолкать вас вон тумаками.

— Прежде я должен сразиться с Командором.

Ответ дона Гонсало прогремел под сводами, перекрывая собой прочий шум. Голос его был громозвучней самых буйных раскатов его недавнего хохота и столь же оглушающим и нечеловеческим.

— Мне сражаться с тобой? Шпага моя может скреститься только со шпагой настоящего кабальеро, а не жалкого рогоносца! А вы, сеньоры, знайте: Дон Хуан Тенорио вчера женился на потаскухе. И у него хватило наглости просить меня быть при том свидетелем!

— Послушайте меня, Командор! — Не знаю, как мне это удалось, но голос мой прозвучал резко и повелительно. — Послушайте, что я скажу. Не вам поминать здесь рогоносцев, ведь и вы — из их славной армии. Женщина, которую вы держите взаперти

у себя дома, та иудейка, с которой вы тайно обвенчаны, позапрошлую ночь провела со мною. А что касается вашей дочери...

Он издал истошный вопль и прыжком выскочил на середину комнаты, держа шпагу в руке.

— Ни слова о моей дочери, не то...

— ...что касается вашей дочери, в которую вы, как выяснилось, влюблены, то я собираюсь проникнуть к ней в спальню нынче же ночью, после того как убью вас. И ключик уже у меня.

Он рычал и размахивал во все стороны шпагой. Его лицо, подобное маске, перекосилось, голос то становился визгливым, то завывал. Дон Гонсало повторял «Моя дочь!» во всех трагических регистрах.

— Я проколю тебя насквозь, как бурдюк с вином!

Я поставил канделябр и спрыгнул с помоста на пол.

— Советую вам, Командор, снять камзол. В нем вам будет неловко.

— Чтобы прикончить тебя, мне нет нужды...

Когда я приблизился, он переменил тактику — хохотал, делал обманные движения, ловко подпрыгивал на своих огромных ногах. Я рядом с ним казался мальчиком с пальчик, который крутится в ногах у великана.

Разряженный господин, высоко подняв руки, встал между нами.

— Прежде надо попытаться найти путь примирения. Командор был оскорблен дважды, и справедливость на его стороне. Но все мы знаем, что никто в Севилье не владеет шпагой лучше его. Он убьет вас, Дон Хуан, и будет жаль, если вы умрете таким молодым, хотя, несомненно, вы заслужили того, чтобы вам устроили хотя бы хорошенькую взбучку. Но я все же предлагаю вам: извинитесь перед Командором и оставьте ему те самые сто дукатов в счет материальной компенсации. Я уговорю Командора простить вас, и вы сможете убраться целым и невредимым. Но само собой, ноги вашей здесь больше никогда не будет.

— Сто дукатов! Кому могло прийти в голову, что я продам свою честь за столь нищенскую сумму? Мне нужна кровь, только кровь!

— Давайте сойдемся на двухстах, Командор. Дон Хуан Тенорио подпишет нам бумагу, и мы положимся на его подпись.

Он повернулся ко мне.

— Вы согласны на двести?

— Нет.

Тогда он медленно приблизился ко мне и, смерив презрительным взглядом, спросил:

— Так чего же вы хотите, неразумный юнец?

— С вашего позволения, сразиться и с вами, когда я прикончу Командора.

Он пожал плечами. Потом повернулся к присутствующим.

— Вы будете свидетелями: я пытался уладить дело миром. Я умываю руки и за гибель его не отвечаю.

Командор продолжал скакать и вертеться, размахивая шпагой над моей головой и крича мне:

— Берегись! Смерть рогоносцам!

Нам освободили просторную площадку. У двери, схватившись за шпаги, встали все те же молодцы. Я обратился к хозяину дома:

— Я имею право потребовать, чтобы выход был свободен.

Он улыбнулся в ответ:

— Как вам угодно! Вы все равно минуете этот порог только ногами вперед...

— Давай, давай, мальчишка! Хватит разговоров!

— Снимите камзол, мой вам совет.

Мы скрестили шпаги. Дон Гонсало ураганом шел в атаку, и сначала я держал оборону. Но вскоре убедился, что он был ловок и силен, но хитрости ему недоставало. Сперва он попытался поразить меня в шею — я ускользнул от удара. Потом он нацелился мне в грудь — и попал в пустоту, под руку. Наконец, он наметил для удара мой живот — я подпрыгнул, и шпага ткнула в пространство между моими ногами. Тут силы дона Гонса-

ло начали таять, и в глазах его забрезжило изумление. Он продолжал вопить и изрыгать угрозы, но голос его срывался, и он перешел в оборону, хотя я еще не начал атаковать.

Собравшиеся затаив дыхание следили за схваткой и хором выражали разочарование, когда удар не попадал в цель. Я успел бросить взгляд на зрителей, и ко мне подкатило ощущение опасности. Один из храбрецов прятал за обшлагом рукава кинжал. Разряженный кабальеро достал кружевной платок, и его украшенная изумрудами рука поигрывала этим платком. «Когда он взмахнет им, меня убьют», — подумалось мне. Это может случиться в любой миг, а ведь грудь у меня ничем не прикрыта.

Я сильным ударом выбил шпагу из рук дона Гонсало, и она отлетела к двери. Все взгляды устремились за ней. Я же левой рукой схватил табурет. Дон Гонсало упал на колени. Он утратил всю свою важность и тоненьким, стонущим голосом, похожим на выходящий из пузыря воздух, молил:

— Он убьет меня! На помощь! Ко мне! Он убьет меня!

Разряженный господин махнул платком, и в воздухе мелькнул кинжал, направленный мне в сердце. Но преградой ему стало сиденье табурета, лезвие вознилось туда и застряло, мелко задрожав. Я рванул кинжал, глянул на него и быстро метнул в горло убийцы. Раздался крик, похожий на предсмертный хрип, и тело рухнуло. Дон Гонсало продолжал что-то жалобно выкрикивать, но уже совсем невнятно.

Разряженный господин поднял руку.

— Довольно, Дон Хуан! Забирайте свои дукаты, и покончим на этом.

— Нет уж, сперва я разделаюсь с Командором.

Я сильным толчком свалил Командора на землю и грубо поставил ногу ему на грудь, прямо на крест Калатравы, хотя, клянусь, безо всякого кощунственного умысла.

— Берите-ка снова шпагу, да глотните чего-нибудь прежде. В преисподней нет лимонада.

Разряженный сеньор собрался было приблизиться к нам. Он поднял обе руки над головой.

— Ну довольно, довольно же. Вы уж убили одного человека и унизили дона Гонсало. И мы теперь знаем, что вы отменно владеете шпагой. Неужто вам этого мало?

— Я должен убить его, — произнес я по слогам. — Он мне мерзок.

— Но вы понимаете, Дон Хуан, что о случившемся будет извещено правосудие?

— Пусть. Я буду уже далеко.

Он растерянно опустил руки.

— Что вы за человек, Дон Хуан?

— Я? Что угодно, но только не глупый юнец, не хвастливый форсун, за которого вы меня тут принимали.

Разряженный кабальеро улыбнулся и поклонился.

— Тысяча извинений, но меня дурно проинформировали.

— Вот за эту ошибку вам и придется скрестить со мной шпагу, когда я разделаюсь с доном Гонсало.

Он опять улыбнулся, но на сей раз в его улыбке мелькнуло что-то неожиданное, искра торжества. И глядел он в этот миг куда-то мимо меня, только вот задержал взгляд на мгновение дольше положенного. Я насторожился, обернулся и обнаружил, что Командор уже исчезает за дверью.

— Оставайтесь с моими дукатами! — крикнул я и бросился следом за ним.

Дон Гонсало успел оторваться от меня. Когда ему отворяли уличную дверь, я только добрался до передней, за собой я слышал голоса и топот ног. Привратник хотел было преградить мне путь, но я отшвырнул его к стенке. Я выскочил на темную, уже совсем пустую улицу. Посмотрел в одну сторону, в другую.

— Направо, хозяин, скорей.

Тень Лепорелло чернела на фоне выбеленной стены.

— Позаботься о лошадях!

Я побежал. Обогнул угол и увидал дона Гонсало, который со всех ног мчался уже в самом конце улицы. Я крикнул: «Эй, вот он я!», и крик мой парализовал Командора. Когда я догнал его, он стоял, вжавшись в проем какой-то двери и молил о прощении. Я заставил

его вытащить шпагу и снова принять бой. Мне было нелегко убивать его — внезапно сердце мое преисполнилось жалости, и я сражался не столько с доном Гонсало, сколько с собственными чувствами. Кажется, моя шпага попала под четвертое ребро слева. Он застонал, зашатался, дернулся и замер на земле, словно огромная поверженная статуя.

Его друзья уже показались в начале улицы. В руках у них были зажженные факелы, они взывали к правосудию.

15. Путь к дому покойного сперва был для меня горьким. Душу мою нежданно начали одолевать уныние, укоры совести и даже сомнение в том, правильно ли я поступил. Своей собственной рукой всего за несколько минут я лишил жизни двух людей, отправил в ад, не дав времени покаяться.

Это не входило в мои планы. Но я понял и другое: хотя такой шаг, как убийство, был в моей программе лишь вынужденной мерой — расправа с Командором была не частью моих замыслов, а скорее условием их осуществления, отправной точкой, — убийство порой может оказаться неизбежным, как случилось с тем бандитом, и в подобных обстоятельствах у меня не было иного выхода, как скрепя сердце взвалить на себя последствия — и юридические и нравственные. Вывод несколько меня успокоил. Позднее я на собственном опыте убедился: ничто не успокаивает придирчивую совесть лучше, нежели решение взять на себя целиком всю ответственность за свои деяния, пускай и невольные. Как обогащается, какие утонченные ощущения испытывает душа в такие мгновения!

Я заблудился на улицах Севильи. Беленые стены и белый свет луны делали город похожим на кладбище, и сам я напоминал тень, скитающуюся меж могил. Так я и шел, сам не зная куда, пока на Хиральде не пробило полночь. Это помогло мне сориентироваться. От собора было легко дойти до дома Командора. Там, на углу маленькой площади, я увидал тени лошадей.

Я направился к той самой двери, через которую меня совсем недавно впускала донья Соль. Ключ повернулся легко, и дверь отворилась. Впереди чуть высвечивался внутренний дворик. Я немного помедлил. Мало-помалу тишина стала полниться какими-то далекими, приглушенными звуками. Я снял башмаки и, взяв их в руки, сделал пару шагов до первой колонны. Вокруг все дышало ароматом, сильным цветочным ароматом, ароматом весны, который преследовал меня в Севилье, и горячил мне кровь, и заставлял снова и снова, против воли, вопреки доводам рассудка, ожидать чего-то несбыточного от собственного тела. Я перевел дыхание. По телу пробежала легкая дрожь, и на краткий миг я почувствовал слабость в ногах. Боже, какой острой болью отзывалась моя кожа на пение фонтана!

Мне надо было подняться по лестнице, пройти верхнюю галерею, попасть в коридор, посчитать двери... Я высунулся в патио, поднял взор и глянул на окна. Кажется, в одном из них я разглядел освещенную луной девичью фигуру. Не вышла ли Эльвира мне навстречу? Я не смел надеяться на такую любезность, вернее, на такое безрассудство, нет и нет, я был готов скорее к легкому сопротивлению, к пылким проявлениям страха, стыдливости и целомудрия. И все же я не ошибся. В конце верхней галереи, на самом углу, стояла, подняв лицо к серебристым лунным лучам, темноволосая женщина.

Я застыл, прижавшись к колонне. Но словно некая неумолимая сила срывала меня с места, влекла за собой, словно вокруг пояса меня обмотали веревкой и оттуда, сверху, Эльвира тянула за другой конец. Я делал шаг за шагом в полной тишине: патио, лестница, пятна лунного света, пятна тьмы. Я боялся, что стук моего отчаянного сердца разбудит птиц.

Я добрался до галереи. Скрипнули деревянные половицы. Из-под ног моих выскочил мышонок и шмыгнул в свою норку. Мне нужно было дойти до угла и свернуть. Я остановился и постоял, прижавшись к стене. Заглянул за угол. Последние сомнения исчезли: Эльвира ждала меня, обмываемая потоками лунного света. Я обулся и двинулся вперед. Эльвира шевельнулась, отстранилась от окна. Мне казалось, что от шагов моих грохочет и содрогается весь дом. Эльвира тоже устремилась ко мне. Мы стояли совсем близко друг от друга, мы смотрели друг на друга. Я протянул руки, и она упала в мои объятия.

— Как река бежит к морю, так я спешил к тебе.

Фраза вышла совсем уж литературной. Но любовь не может обойтись без литературы. Скажи я что-то другое, наверно, все и закончилось бы иначе, но именно в сорвавшихся с моих уст словах выразилась истинная суть и этого мига, и предшествующих: «Как река бежит к морю», то есть не по своей воле, а по принуждению. Эльвира в моих объятиях печально вздыхала, не зная, то ли ей спрятать лицо у меня на груди, то ли протянуть мне губы. Но я больше не помышлял ни о ее устах, ни о трепещущем теле, ни о сердце, которое билось рядом с моим. Во мне занозой засела мысль о веревке, которой я обвязан, о силе, влекущей в море речной поток, и о силе, властно влекущей за собой меня. Не моя воля управляла моими шагами, моими руками, обнимавшими Эльвиру, нет, все подчинялось жизненной силе, силе крови, тому, что заставляло цветы источать ароматы, не испрашивая на то их согласия. Я был пленником, зажатым в объятиях куда более сильных, нежели мои собственные. Я вдруг осознал, что и Эльвира ждала меня не по своей воле, а лишь подчинялась велению крови. Но меня не слишком волновало, что толкнуло Эльвиру выйти мне навстречу и ждать, купаясь в лунном свете, и что заставило наши сердца биться как одно сердце. Меня пронзила мысль, что я опять попал в западню, и сердце мое взбунтовалось.

Я резко отстранил от себя Эльвиру.

— Но река не может остановить свое течение и повернуть вспять... а я — могу.

Она смотрела на меня, ничего не понимая. Но что-то такое в моем взгляде, в выражении моего лица она уловила, потому что вдруг закрыла ладошкой рот, и в глазах ее блеснул испуг.

— Хуан!

Опять — канте хондо, опять имя мое прозвучало терпко и глухо. Я засмеялся.

— Ты хочешь уйти?

— Может, я когда-нибудь вернусь. А пока — прощай!

— Хуан!!!

Она хотела кинуться вслед за мной, но я уже был далеко. Я шел, не опасаясь, что шум разбудит обитателей дома. Я миновал галерею и начал спускаться по лестнице, когда услыхал голос Эльвиры. Она кричала, высунувшись в окно:

— На помощь! В доме мужчина! Мужчина! Он хочет надругаться надо мной! На помощь! Отец!

Перепрыгивая через ступеньки, я добежал до патио. Наверху захлопали двери. Я выбрался на улицу и поспешил к маленькой площади, где ждали лошади.

— Все, сеньор?

Лепорелло выскочил из темноты и поддержал стремя.

— Пора в путь.

— Вы так быстро уладили дело с Эльвирой? — не отставал он.

— Образно выражаясь, да.

Он посмеялся над моими словами. Мне нравилось видеть, как в его наглых глазах плясали хитрые огоньки.

— Это что ж, хозяин, вы как-то по-новомодному стали забавляться с девицами?

Я не успел ответить: в конце одной из улиц, ведущих на площадь, засветились огни, послышались крики. Лепорелло повернул голову.

— Лучше бы нам не мешкать.

— Погоди.

Мы, не спешиваясь, спрятались за угол. На площадь вышли люди с факелами, на носилках несли покойника.

— Никак Командор?

— Пойди-ка послушай, о чем там толкуют.

Процессия двигалась медленно и торжественно, словно это уже были похороны. Слышались заупокойные молитвы. Издали я мог разглядеть огромное лицо дона Гонсало, оно бледным пятном выделялось в неровном свете факелов. Его телу придали должную позу, руки сложили на груди, сверху поместили шпагу. Перо от положенной сбоку шляпы мело уличный булыжник. Они пересекли площадь и остановились перед ворота-

ми с внушительными колоннами, украшенными самым нелепым образом. Послышались удары дверного молотка. В окнах засветились огни. Одно из окон отворилось. Те, что стояли внизу, прокричали, что доставили тело дона Гонсало. Вопли и рыдания. Женский голос начал взывать к правосудию. Дверь распахнулась — факелы, носилки с покойником двинулись внутрь. Над приглушенными голосами, сдавленными охами и ахами, поношениями и угрозами летало мое имя, меня называли убийцей.

Лепорелло вернулся в большом волнении.

— Лучше будет, хозяин, поспешить. Не ровен час вас тут увидят.

— Что ты слыхал?

— Уж как только вас не обзывают! Самое доброе — дьяволом.

— Видишь, как все устроено в мире! Как творятся мнимые репутации!

— Уж не знаю, что там было на самом деле, но винят вас еще и в надругании над Эльвирой.

— Ложь!

— А вы попробуйте докажите правду-то!

— Но ведь она сама может разуверить их...

Мы уже отъехали от маленькой площади, на безлюдных улицах гулко раздавался цокот копыт.

— Эльвира говорить ничего не станет, ни что над ней надругались, ни что нет. Ей ни к чему опровергать сей слух, ведь для женщины, хозяин, неприятней всего слыть девственницей. Потому-то они никогда не простят мужчину, который пойдет на попятный и задаст стрекача. У женщин тайна их не в чести, они спешат от нее избавиться.

— Я не пошел на попятный.

— Это вы так полагаете и отыскиваете себе оправдание, но на самом-то деле вы испугались, как и многие другие, как пугается всякий мужчина, явно иль нет, столкнувшись с девственницей. Видно, сотворяя мир, Господь позабавился вволю. Ведь все, что Бог поместил на земле и на небесах, полезно и необходимо — кроме вот этого самого. Он наделил этим женщин и самок высших видов животных как лишней добавкой, своего рода предметом роскоши. А нам, мужчинам, велел: «Ну-ка, отыщите сему разумное объяснение, раз вы всему обожаете находить объяснения!» А мы его не находим, и нас берет страх. Вы никогда не задумывались, сколько всякого разного проистекает из этой пресловутой женской невинности? Если они теряют ее до замужества, отцы их беснуются так, словно в лицо им швырнули всю грязь вселенной. Они готовы погибнуть или убить обидчика и видят в этом свой священный долг. Что же касается мужей, то о них много чего могла бы порассказать толпа замурованных в стены женщин, которые смертью заплатили за утраченную до свадьбы чистоту. Есть мужчины, которые озабочены этим больше, чем своими деньгами, и гораздо больше, чем спасением души.

Мы доехали до городской стены. Ворота находились прямо у реки, и я прислушивался к шуму воды, пока Лепорелло толковал со стражниками. Фонарь качался на ветру. Звякнули монеты, скрипнули петли на воротах.

— Пора, хозяин!

Мы покинули Севилью и двинулись берегом реки.

— Лепорелло, ты веришь, что в женщинах сокрыта некая тайна?

— Уж не знаю, верю я там во что или не верю, но стараюсь голову себе этим не забивать. Хотя и поговаривают, будто девственниц укрывают крылья архангелов.

— Наверно, нынче ночью архангел и уберег Эльвиру, а я принял его сияние за лунный свет и не обратил на него должного внимания.

— Но ведь архангел-то своего добился.

— По чистой случайности. Причина, которая заставила меня покинуть Эльвиру, не имеет ничего общего ни с женщинами, ни с их тайной.

— Стало быть, была и причина? — спросил Лепорелло, расхохотавшись во всю глотку. — А я уж, грешным делом, порешил, что и вы струхнули.

— Я благодарен тебе за твое толкование, ты и вправду прояснил мне некоторые вещи. А ты не находишь странным, что в минувших событиях женщины играли слишком важную роль? Мариана, донья Соль, теперь Эльвира...

— Я нахожу, что их сошлось слишком уж много за такое короткое время, но, видать, судьба решила разом восполнить то, что вы потеряли, до сих пор держась от женского племени на приличном расстоянии.

— А я полагаю все иначе. Господь, чтобы поспособствовать мне, решил указать, где наилегче всего могу я явить свое несогласие с Ним. Вот я узнал, что женщины находят блаженство в моих объятиях. И пожалуй, они чрезмерно счастливы со мной — словно попадают в рай. Но даруя им неземное счастье, я отнимаю у Бога то, что только Он может даровать.

— Презабавная теология у вас выходит, сеньор, прямо головоломка. Только я позволю себе опять задать вам давешний вопрос. Отчего бы вам не оставить Бога в покое? Вы вроде как только о Нем и думаете, поболе, чем монашенка-кармелитка...

— И мы с монашенкой правы.

— А по мне, так теперь нам полезней было бы решить, куда дальше двигаться.

— Мне все едино: куда бы ни вела эта дорога, я непременно повстречаю на ней женщин.

— Никак вошли во вкус?

— Нет, все сложнее. Я избрал их орудием в моем споре со Всевышним.

— Ну, орудие-то куда какое приманчивое... И уж раз они на вас клюют...

Мы поднялись по откосу. Сверху были видны огни на городской стене и фонари на судах, стоявших на якоре у берега.

— Так мы попадем в Кадис, сеньор...

Я не ответил ему. Пылкое дыхание весны, запах земли, речная сырость, стрекотание сверчков в поле, чистый свет луны заставили меня содрогнуться. Пожалуй, под влиянием всего этого я действовал в последние дни. Но теперь я положил своей обязанностью то, что весна давала мне в наслаждение. Я чувствовал себя в силах управлять своей плотью, подчинять ее себе подобно аскету. Я должен был укротить ее, как норовистого коня, потому что плоть и должна будет впредь служить мне, как служит конь всаднику на скачках — нельзя отпускать поводья, нельзя дать слабину, иначе потеряешь свободу, угодишь в любовную ловушку, в сети весны, расставленные руками какой-нибудь красотки.

Я сделал над собой усилие — и тотчас запах земли, речная сырость, луна, полевые ароматы и стрекотание сверчков перестали смущать меня.

— Кадис, говоришь? Ладно. Мы едем в Кадис. Там мы сядем на корабль.

Глава V

1. — И куда они направились?

— В Италию, разумеется.

Лепорелло зашел ко мне после обеда в тот самый день, когда я собирался возвращаться в Мадрид вместе с другом, на его машине. Он появился внезапно и приказал мне — или едва не приказал — разбирать чемоданы, потому что именно на тот вечер была назначена премьера одной драмы, на которую я, по его словам, непременно должен попасть.

— Она называется, — добавил он, не глядя на меня, — «Пока молчат небеса», хотя следовало бы назвать ее «Конец Дон Хуана».

Я плюхнулся на софу. Лепорелло носовым платком вытирал пыль с рояля. Голову его венчала слегка сдвинутая назад шляпа с широкими полями, из кармана торчали серые перчатки. От услужливой покладистости, какую он проявил в последнюю нашу встречу, не осталось и следа; он гордо выпячивал грудь и если удостаивал меня взглядом, то смотрел свысока и насмешливо. Лепорелло вел себя по отношению ко мне как победитель, дарующий жертве прощение и протягивающий ей ломоть хлеба.

— Ведь, смею думать, вам любопытно узнать, чем кончилась эта история.

— Какая история?

— Та, что вы написали за эти дни. — Он повернулся ко мне, стряхивая пыль с платка прямо на мои брюки. — По правде сказать, мне хотелось бы прочитать ее.

— А разве вам она не известна?

— Поверьте, вспоминать всегда приятно.

— Это нелепая история.

— А зачем же вы ее написали?

— Не знаю.

— А вот я знаю. Вы писали, потому что не могли иначе, потому что некая высшая сила заставила вас это сделать. Но, пожалуй, вам ведь и в голову не придет похвалиться, будто вы сами ее придумали. В ней нет ничего вашего, вы это отлично понимаете. Даже слова не ваши.

Он подвинул ко мне свой стул, сел, налил себе виски.

— Рукопись — ваша, спору нет. И вы можете напечатать ее, но не под своим именем. Ведь вас поднимут на смех.

— Я писатель.

— Да нет, всего-навсего журналист, не забывайте. Разве вы когда-нибудь сочинили хоть жалкий рассказец? Вы лишены воображения...

— А вдруг оно пробудилось... Ведь все, что случилось со мной, настолько необычно...

— Прекрасно! — Он протянул мне стакан. — Раз так, продолжайте свою историю и придумайте для нее сносный финал. Как кончил Дон Хуан Тенорио? Почему до сих пор бродит по миру? — Он не стал ждать ответа. Встал, подошел к письменному столу и схватил стопку листов. Когда он возвращался назад, по смуглой щеке его скатилась слеза. — Простите мое волнение, но ведь это и моя история тоже.

— История беса, согласившегося сыграть роль комедийного слуги. Удобный и известный прием — иначе пьеса свелась бы к монологам главного героя, что театру противопоказано.

— Пусть так. Но признайте: если верить тексту, мне не откажешь в изрядном уме — я личность весьма примечательная. Мой хозяин всегда проявлял в этом смысле большой такт и никогда не забывал, что мы вместе учились в Саламанке.

Он откинул голову назад и отер слезы тыльной стороной ладони.

— Вы позволите мне прочесть рукопись?

— Здесь вы у себя дома.

— Знаете, мне это просто необходимо. А вы, надеюсь, не без удовольствия послушаете.

— Так вы собираетесь читать вслух?

— Не волнуйтесь. Я превосходный чтец, а уж стихи-то как декламирую! Когда на хозяина накатывает печаль, я читаю ему Гонгору... Гонгора возвращает его в годы молодости. Мой хозяин в двадцать лет слыл пылким поклонником авангардной поэзии.

Он выпил и приступил к чтению. Первые страницы Лепорелло читал сидя. Но скоро встал и начал расхаживать по комнате. Он читал артистично, менял голос в диалогах, воспроизводил жесты и движения, как они были описаны в тексте, или придумывал их, когда текст подробностями пренебрегал.

— Кто бы мог подумать, не правда ли?

Я поднял отяжелевшие веки.

— О чем вы?

— Что мой хозяин так начинал.

Лепорелло закончил чтение и с великой тщательностью складывал листы бумаги в стопку. Потом вытащил ручку и принялся проставлять номера страниц. Я свернул сигарету и закурил. Лепорелло, не произнеся ни слова, протянул в мою сторону руку, и я вложил в нее сигарету.

— Зажгите, сделайте милость.

Мы молча курили. Но и сигарета не помешала мне снова задремать.

— Прямо не знаю, что с вами делать, друг мой. В вас нет ни капли интеллектуального любопытства, да и обычного человеческого маловато. А уж если что-то и начинает вас занимать, то не трансцендентальные темы, а какие-то мелочи. У вас склад ума деревенской кумушки, единственное, что вас по-настоящему волнует, это вопрос: на самом

ли деле мой хозяин — Дон Хуан, а я — бес? И не посмеялись ли мы над вами. Да какое, друг мой, это имеет значение, когда события приняли такой оборот? Любая старуха из вашего родного городка не стерпела бы и кое о чем меня спросила. — Он положил стопку старательно сложенных листов на рояль и придавил их лампой. — Вот вы называете себя журналистом. Но разве даже самый лучший из ваших коллег не отдал бы все на свете за возможность взять интервью у моего хозяина? Да вы только представьте! Десять страниц в «Пари-матч» — текст и фотографии. А какие заголовки! Хотите сделать такой репортаж? С фотографиями я вам посодействую.

— Мне это неинтересно.

— Просто у вас все равно ничего не получилось бы... Мой хозяин не дает интервью. Он не чета всем этим киноактерам и принцессам, которые выходят замуж за колбасников. Но я-то, я-то мог бы кое о чем порассказать, даже рискуя получить потом взбучку. Ведь именно скрытность моего хозяина, это его упрямое нежелание говорить о себе самом породили массу кривотолков.

— Иначе говоря, вы желаете, чтобы интервью я взял у вас. Вы желаете попасть на разворот в «Пари-матч».

Он скорчил гримасу, которая при некоторой натяжке могла бы сойти за улыбку.

— Разумеется. Ну скажите, что больше всего нравится слугам? Конечно посудачить о хозяевах. Кое-чем я, правда, от них отличаюсь: я никогда не стану болтать о мелочах, о ничтожных пороках. Но тут, по чести говоря, моей заслуги нет: просто я никогда таковых за моим хозяином не замечал. Он велик. Он всегда брал только самые высокие ноты, скажем соль мажор.

Лепорелло поднял крышку рояля и несколько раз ударил по какой-то клавише. Хотя я не могу сказать с точностью, существует ли на рояле соль мажор и ее ли он нажимал.

— Скажем, публику больше всего должна заинтересовать любовная техника Дон Хуана. Особенно женщин. Но вот ведь незадача: именно тут поэты и ошибались. Надо заметить, что в этом смысле он вовсе не похож на испанца. Он никогда не старается ускорить дело, и нет ничего более ему противного, чем наспех, кое-как состряпанная работа — в духе Лопе де Вега. Мой хозяин тщательно примеривается — и всегда попадает в цель. Вы же сами видели: это человек медлительный, уравновешенный. Как вам известно, на осаду Сони он потратил два долгих месяца... Хотя это вовсе не значит, что он с каждой возился по стольку, правда, некоторые отнимали времени и поболе. Но дело-то, собственно, не в затраченном времени. Одна из ошибок Тирсо заключалась вот в этой фразе: «Такой даешь мне долгий срок!», но ошибка неизбежна, потому что Тирсо хотел сделать из легенды о моем хозяине назидательную историю, и нужно было подвести дело к финальному раскаянию. Но Дон Хуан никогда не помышлял о раскаянии, в том числе потому, что раскаивался каждодневно и вынужден был каждодневно бороться с раскаянием...

— Вы начали говорить о технике...

Глаза его радостно заблестели.

— Ах да! Техника! Вам нравится бой быков?

— Да, но при чем здесь бой быков?

— А вы знаете в нем толк?

— Надеюсь.

— Приемы Дон Хуана сродни искусству великого тореро. А великий тореро, гениальный тореро — это вовсе не тот, кто изобретает всякие ребяческие фокусы, не тот, кто ведет бой долго или, напротив, умеет закончить его мгновенно. Дело не в строгости стиля и не в том, любит он или нет украшательства. Великим можно считать лишь тореро, который понимает особенность, неповторимость каждого быка, необходимость подбирать к каждому уникальный подход. Подход не может быть случайным, но только таким, какого требует этот вот бык. Бык — не слепая и безымянная сила, это тоже своего рода индивидуальность, как и всякий человек. Поэтому у каждого быка есть свое имя. Великий тореро, едва взглянув на быка, уже знает, как надо встретить его, как дразнить плащом, сколько раз уколоть и с какой силой, сколько бандерилий и каких понадобится, сколько взмахов мулетой и мулетой какого образца. Иными словами, для великого тореро не

существует общей техники, которую можно применять ко всем животным без разбора, у него есть точная техника, рассчитанная на единственного быка. Если такая техника найдена и ею умело воспользуются, бой будет доведен до конца, бык покорится, опустит загривок и будет убит одним ударом.

— Так Дон Хуан и поступал со своими телками.

— Вот именно. Для моего хозяина не существует понятия «женщина вообще», но только конкретная женщина, отличная от прочих, неповторимая. Когда он докапывается до ее индивидуальных свойств, даже если они упрятаны глубоко-глубоко, тогда он и одерживает выдающуюся победу, и тут ни один другой профессиональный соблазнитель, ни один Казанова ему не соперник. Какая у него интуиция, друг мой! Сколько раз мы встречали на пути какую-нибудь женщину, на которую ни один мужчина и не взглянул бы — ни один, кроме Дон Хуана! Я говорил ему: «Хозяин, нам тут интересу нет». «Подождика несколько дней», — отвечал он мне. И мало-помалу начинала спадать кожура заурядности, и наконец раскрывалась сверкающая, как бриллиант, душа. Само собой, одной интуиции тут мало. Невзрачность, какой маскируются некоторые женщины, бывает непроницаема даже для взгляда моего хозяина. Но на подмогу ему всегда приходило сильнейшее оружие — его собственная неотразимость, его любовные чары. Женщины подпадали под эти чары и ослабляли оборону, открывая лазейку, через которую к ним можно было подобраться.

— Но позвольте, вы мне толкуете о вещах тривиальнейших.

— А вы что хотите? Чтобы женщины перестали быть женщинами? Все индивидуальное произрастает из общего, или, как вы верно заметили, из тривиального, из типического. Все поцелуи одинаковы, разными их делает человек, который целует. А как ловко умеет хозяин заставить раскрыться все особенное! Как ловко, но — до определенного момента...

Лепорелло прервался. Я протянул ему сигарету и зажег спичку, потом пододвинул стакан, почти пустой...

— Знаете, я помню наизусть некие латинские гекзаметры, но повторять теперь не стану. Что толку? Все равно вы ничего не поймете. Только не пытайтесь пустить мне пыль в глаза, уверяя, будто знаете латынь. Те крохи, что вам вдолбили в школе, вы благополучно успели позабыть. А жаль. Стихи замечательные и, пожалуй, лучше Овидиевых. Вы хоть помните, кто такой был Овидий?

— Ступайте к черту! Вы что, будете устраивать мне экзамен по литературе?

— Успокойтесь, успокойтесь! Будто забыть латынь — невесть какой позор! Но мне жаль, по-настоящему жаль. Стихи-то из тех, что не должны кануть в Лету. А ведь знаем их только мы двое — хозяин и я. Жаль, что я не могу их вам прочесть. Это как музыка небесная...

Он закрыл глаза и замер, словно в экстазе. Сигарета выпала из его пальцев, и ковер в этом месте начал дымиться. Мне пришлось поспешно подобрать сигарету и плеснуть воды на дымящуюся дырочку. Запахло паленым. Лепорелло ничего не заметил. Вдруг он заговорил снова:

— Если я сравнил их с музыкой небесной, то сделал это со знанием дела. Я ее, музыку ту, слыхал и, как она звучит, знаю. Это было много-много веков назад! С тех пор пролетела прорва времени! Но иногда музыка опять звучит в моих ушах, и тогда меня изводит тоска, ностальгия. С вами, с большинством людей происходит нечто подобное, стоит вам вспомнить музыку своей юности. Вы вот идете на концерт и притворяетесь, что понимаете Прокофьева или Онеггера, а на самом-то деле вам из всей музыки нравятся только аргентинские танго, услышанные в семнадцать лет. Правда, я тут в лучшем положении, музыка моих воспоминаний выше качеством.

Он замурлыкал и даже начал танцевать — закружился по комнате в странном танце. В какой-то миг мне почудилось, что ноги его не касаются пола.

— Простите, забыл, как там дальше... — И тотчас добавил: — Если вам удастся спасти свою душу, вы тоже станете танцевать так, как я только что. Моего совершенства вам, разумеется, никогда не достичь, но нечто отдаленно похожее... Вы не можете себе представить... Танцем управляют серафимы. Они, если можно так выразиться, его творцы. Они никогда не позволят себе повторить какое-либо движение дважды, нет, они готовы

бесконечно создавать новые комбинации. Херувимы же, без которых дело тоже, натурально, не обходится, обладают потрясающей интуицией, они мгновенно угадывают замысел серафимов и безупречно воплощают его. Следом идут власти, престолы и прочие ангельские чины. Они танцуют в лад, повторяя одни и те же движения. Разница между их танцем и танцем живых существ заключается в том, что они не имитируют, а рождают. Больше всего это похоже на морские волны. Какая картина, друг мой! Мириады духов, совершенств в своем роде, танцуют в едином ритме, творя в небесных сферах нескончаемые переходы и переливы, — вечно неповторимый танец! Лучшие фильмы голливудских киношников не назовешь даже карикатурой на это. Помните азиатские танцы Эстер Уильямс? Дикая безвкусица... Но весь секрет заключается в том, что музыка-то идет от Господа... — Он вновь погрузился в ностальгическое молчание. Потом тряхнул головой. — В поэзии сохраняется эхо той музыки. Поэты, как и серафимы, жаждут творить собственные жесты и движения. Хозяина моего привлекло содержание поэмы, а меня пленила ее форма. Жаль, что вы не можете этого услышать! Впрочем, толку от этого все равно было бы чуть. Ведь вас, как и моего хозяина, интересует тема. Да, черт возьми! Содержание тоже важно. Поэма приоткрывает завесу над тем, что́ произошло в некий памятный момент, в тот самый день, когда началась История. — Он украдкой стрельнул в меня глазом. — Я имею в виду, разумеется, грехопадение Адама и Евы. Поэма повествует именно о нем. Я вам ее перескажу. — Он поднял крышку рояля и стал что-то наигрывать. Пальцы его касались лишь клавиш с низким звуком. — Проникнитесь этой музыкой, хотя бы ее ритмом, и попытайтесь сопрячь с ним мои бедные, тусклые слова...

Он встал, прислонился спиной к роялю, повернулся к льющемуся из окна свету, медленно поднял руку. Это напоминало позу латиноамериканских декламаторов, когда они начинали: «Радость моря!..»

В бескрайних сумерках Рая дождь в тот осенний вечер прекратился. Пальмы свободно расправили свои веера, а туберозы стряхнули дождевые капли на глянцевую траву.

Адам заснул в своем кварцевом гроте, и Господу пришлось несколько раз окликнуть его, прежде чем тот пробудился.

— Иду, Господи! — ответил он, протирая глаза и появляясь у входа в пещеру.

Господь в тот вечер облачился в костюм радуги, и Адам в очередной раз был поставлен в тупик.

— Добрый вечер, Господи! — произнес он, склонив голову, и Всевышний улыбнулся ему.

— Ну что, поспал, а?

— Да. Сегодня сиеста была особенно долгой. Ведь мне нечем заняться!

Господь приблизился и опустил ему на плечо прозрачную руку.

— Ты скучаешь?

— Нет, — ответил Адам. — Скучать-то я не скучаю. Но мне хотелось бы чем-нибудь заняться. Мне хорошо, только когда Ты рядом, но ведь я понимаю, что у Тебя есть заботы и поважнее.

— Теперь уже нет. Все, что нужно, уже сотворено.

— И небеса тоже?

— А ну взгляни! — сказал Господь, и взор Адама метнулся по вечерним облакам и утонул в бесконечном — там, где простирались последние галактики.

— Красиво. Но Тебе будет трудно всякий день запускать эту махину.

— Все запущено на веки веков. До конца времен.

— А! —Взгляд Адама задерживался на созвездиях, провожал след падающих звезд, плутал по мерцающим тропкам Млечного Пути. — Красиво! — повторил он. — И как это Тебе пришло в голову сотворить такое! Я бы сделал все попроще и поменьше, не таким величественным и, наверно, не таким изысканным, поскромнее. У Тебя-то, конечно, воображение побогаче моего.

— Видишь ли...

— И все это для чего-то нужно? Вот, скажем, фрукты на деревьях и вода в реке нужны, чтобы я ел и пил, а цветы и насекомые...

Господь проследил за взглядом Адама и заметил легкую усмешку у того на губах.

— Ну, пользы-то в прямом смысле слова от этого немного, но мне это кажется занятным и остроумным. Кроме того...

Адам поднял лицо и вопросительно взглянул на него.

— Все, что имеется во Вселенной, — продолжал объяснять Господь, — любит меня, каждая вещь на свой манер. Что гусеницы, что солнца, что трава, что птицы. Все это огромное целое движимо любовью ко мне. Любовью живы звери, растут растения в полях, и даже кристаллы в твоем гроте по-своему любят меня. Понимаешь ли ты это?

Адам признался, что не совсем.

— Они любят меня, почти как ты, — добавил Господь. — Только любовь свою не умеют выразить словами, и, ежели хочешь знать больше, она еще не изречена. Именно поэтому в мире есть ты. До сих пор ты скучал, ничего не делая, но теперь Космос заполнен, и ты должен объять все и донести до меня любовь каждого творения.

Адам склонил голову:

— Не понимаю Тебя, Господи.

— Ты отправишься в путь, обойдешь все небеса — до последней звездочки; проверишь все поля — пока не доберешься до самых невидных травинок; поговоришь со всеми тварями небесными, морскими и земными; станешь вопрошать злато, и алмаз, и всякий камень в недрах земных. И каждую вещь ты спросишь, любит ли она Господа, и, получив ответ, передашь его мне.

— Многие труды, Господи!

— Да нет, надо только делать все с умом...

— И в это время я не увижу Тебя?

— Да, но сам ты этого не заметишь.

Адам согласно кивнул и на другое утро отправился в путь. По часам его разумения он потратил на это дело целые века, по времяисчислению Господа — краткий миг.

И опять наступил в Раю вечер, только вот дождя на землю не упало.

Адам возвращался усталый и чуть печальный. Он рухнул на берег реки и долго пил воду. Потом лежал, устремив глаза к небесам, ибо сердце его растревожилось. И было так, когда услыхал он глас Господа, призывавшего его:

— Куда ты подевался, Адам?

— Здесь я, Господи! — ответил человек и быстро вскочил на ноги.

Господь приближался неспешно, чтоб у Адама хватило времени отряхнуться и пригладить рукой волосы. И тот привел себя в порядок и шагнул навстречу Богу. Господь протянул ему руку, и, пожав ее, Адам почувствовал, как рассеивалась усталость плоти его и печаль сердца.

— Как счастлив я вновь увидеть Тебя, Господи! Как славно мне рядом с Тобой! — И он вдруг кинулся к Богу на грудь и приник головой к сердцу Его. — Я сильно смущен, и лучше будет, если сразу все Тебе поведаю.

Господь ласково погладил его по голове.

— Ты не слишком успешно странствовал по белу свету?

— Мир Твой прекрасен, и странствия мои были поучительны и занятны. Воистину, отсюда не понять, сколько Ты всего сотворил и как хорошо у Тебя это вышло. Но... Но как Тебе об этом сказать? — голос Адама дрогнул. — Когда я оказываюсь рядом с Тобой, вроде бы меж нами нет расстояния. Я зову Тебя, и Ты отзываешься, я смотрю на Тебя, и Ты мне улыбаешься. Не дерзну сказать, будто мы — одно целое, но мне порой чудится, что это и на самом деле так. Но вот... — Голос его погрустнел, и глубокая складка пересекла лоб.

Господь смотрел в сторону, чтобы скрыть ликование.

— Вещи в этом мире не понимают меня, а я не понимаю их. Звезды ли, лягушки ли, водопады ли, львы шль цветы гвоздики, когда я вопрошаю их, немеют, когда я говорю им о любви — взирают на меня с недоумением. Мы разные, и нет у нас общего языка... словно нас разделяет пропасть.

— И это опечалило тебя?

— Да, я не сумел выполнить Твоего поручения, к тому же мне так хотелось бы быть в согласии с теми вещами, что меня окружают, — и с близкими, и с далекими. До сей поры я жил среди них, не ведая, что сам не любил их и им был безразличен. Мне хватало, Господи, нашей с Тобою дружбы. Но они любят Тебя, и Ты их любишь, и мне больно оставаться в стороне от такой гармонии, больно, что я не могу принести Тебе...

Слезы мешали ему продолжать. Он рыдал на груди у Бога, и Господь опять улыбнулся Адаму, хотя тот, заливаясь слезами, ничего не заметил. И божественная улыбка явилась для Адама словно соком полевого мака: он тотчас заснул. Господь поднял его и отнес в кварцевый грот, который в этот час уж не сверкал на солнце. И Бог долго смотрел на Адама, иногда улыбаясь. Потом призвал Он ночь на спящее тело и приказал Вселенной хранить тишину. Услышав это, Вселенная содрогнулась, ибо никогда еще Господь не вмешивался в порядок смены света и тьмы. И все затихло, даже музыка звезд.

В ту ночь Господь трудился не покладая рук. Он сновал туда-сюда по райскому саду. Пальцы Его погружались в песок и проверяли, хорош ли, потом опускались в воду и проверяли, чиста ли. Он побывал на небесах и на дне морском, поглядел на цвет небосвода и кораллов, солнечных сияний и прозрачных морских вод. В сельве присматривался к самой нежной коже зверей, у берега созерцал трепет прилива. Он слушал голос раковин, шелест ночного ветра... Потом сел, подперев рукой щеку, и задумался.

Господь затворился в Адамовой пещере до рассвета. И, выйдя оттуда, направился к реке, потому что руки Его были выпачканы глиной. Потом призвал Он ангелов и велел им петь — да поторжественней! — Гимн вселенской любви. Ангелы так и сделали. Они пели в вышине, а все вещи сотворенного мира хором подпевали им. Господь же уселся перед пещерой Адама, закрыв вход туда спиной. Все, от ангелов до муравьев, сгорая от любопытства, мечтали узнать, в чем дело. Но Господь взглядом приказывал им угомониться и обождать. Какая-то черепаха хотела было проскользнуть в пещеру, но Он щелчком отогнал ее подальше. «Боже, я там живу!» — вопила черепаха. И Бог сказал, что в наказание за любопытство суждено ей отныне всю зиму спать. К тому же с тех самых пор лишилась черепаха голоса.

Адам пробудился с восходом солнца и, услышав торжественные песнопения, поинтересовался, не праздник ли у них нынче... Он окончательно проснулся и увидал, что рядом на полу спит, повернувшись на левый бок, Ева. Он изумился и сперва, испугавшись, даже отбежал в глубь пещеры; но потом разглядел, что Ева лежала неподвижно, взгляд его скользнул по изгибам ее смуглых бедер, по ногам. И Адам решил, что нечто столь прекрасное не может таить в себе опасности. Он осмелился прикоснуться к ней, погладил пятку, которая оказалась к нему ближе всего, и Ева шевельнулась. Адам еле сдержал радостный вопль. Повернувшись, Ева открыла свое лицо, и Адам признался себе, что никогда не видал ничего привлекательнее.

— Надо бы рассказать обо всем Богу, — подумал он, — пусть придет и тоже взглянет...

Он бросился к выходу и наткнулся на широкую спину Бога. Божья длань вовремя поддержала его, не дав упасть.

— Куда ты спешишь, Адам?

— За тобой, Господи! Иди скорей ко мне в пещеру и посмотри!..

— В твою пещеру? И что же там такое, в твоей пещере?

— Там... там появилось кое-что новенькое. Похожее на меня! Но не во всем... Ты должен обязательно взглянуть. Она такая красивая! — И он указал в синее небо. — Знаешь, как эти звезды, которые Ты разместил так далеко и чтобы увидеть которые, нужно пересечь все небо.

— А! — сказал Господь равнодушно. — Так ты говоришь о Еве. Это единственное, что мне оставалось сделать. Вот нынче ночью я и потрудился. Она — для тебя.

— Для меня?

— Да, чтобы ты не скучал один.

— И... я могу потрогать ее?

— Конечно. И чем раньше, тем лучше...

Но Адам уже побежал обратно в пещеру, не дождавшись наставлений Господа, и встал на колени рядом с Евой. Рука его робко гладила длинные темные волосы и раздвигала их. Когда открылись груди Евы, Адам остолбенел от изумления и по-дурацки вылупил глаза. Ева потянулась, открыла глаза, увидала Адама, улыбнулась ему и сказала: «Иди ко мне!» Адам, трепеща, придвинулся поближе и взял руку, протянутую Евой. «Ну иди же!» — повторила она. Адам опять испугался. Он оттолкнул ее, попятился и выбежал из пещеры.

— Господи, она проснулась!

— И что?

— Говорит, чтобы я шел к ней.

— А ты?

— Я, Господи... Я... робею. Она ведь не такая, как Ты или я... она...

Господь схватил его за ухо.

— Поди сюда, дурень.

И что-то зашептал ему на ухо. Адам гримасничал — то изумляясь, то радуясь, то ужасаясь.

— Хорошо, Господи. Я сделаю, как Ты велишь.

Тогда Всевышний чуть отвел плечо и позволил солнечным лучам проникнуть в пещеру. Полуоткрытые губы Евы ожидали Адама, и тот последовал советам Господа.

Снаружи на всем просторе Вселенной продолжала звучать музыка, и Господь, сочинивший ее к данному случаю, поднял правую руку и дал знак всем замолчать — пока уже без Божьего повеления вдруг все творения со всех концов всех миров не испустили общий крик ликования, и крик этот гремел громче, чем раскаты грома, и содрогнулись от него звездные оси, и музыкой залились самые дремучие уголки. Господь же сложил руки на груди и опустил голову.

— Ладно!..

Он ждал. Звери, разделившись на пары, искали укромные уголки. Музыка гасла. Покой возвращался в Мироздание, но покой иного рода — он стал совершенней, прочней, словно все созданное Господом, а создал он бесчисленное множество всяких вещей, до сих пор было временным, и только в сей миг вручил им Бог право на вечность.

Тут вышел из пещеры Адам и вывел за руку Еву. Он шел чуть впереди, будто она следовала за ним против воли. Ева смущалась и пыталась укутать тело волосами.

— Ну же, не бойся, Господь добрый.

Бог поднялся им навстречу. Он был статный и очень высокий — как кедр. Адам обнял Еву за плечи и крепко прижал к себе.

— Господи, теперь и я готов...

Ева все никак не могла побороть смущение и норовила спрятаться за его спину. Адам посуровел.

— Ну хватит же, я так всю речь позабуду.

— Ева, стой спокойно. Адам прав.

Они составляли славную пару, к тому же сразу было видно, что Адам — хороший человек и любит Еву. Ведь он сразу спросил у Бога:

— Правда, красивая?

Господь кивнул.

— Так что ты собирался мне сказать?

— Ах да. Я хотел сказать, что теперь могу передать Тебе послание от всех вещей на свете, потому что почувствовал в сердце своем токи любви, которые направляются от них к Тебе, а также любовь, источаемую Тобой и разлившуюся по всему Мирозданию. В душе моей звучит эхо жизни, и я доношу его до Тебя словно молитву всего сотворенного Тобой. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты перекинул над бездной этот мостик... — он указал на Еву, — и за то, что сотворил нас такими. Я чувствую в груди моей толчки ее крови, а она — моей, будто мы — одно... — Адам повернулся к Еве и зашептал: — Ну же, скажи и ты что-нибудь. Пускай Он тебя услышит.

— Я боюсь.

— Да скажи хоть «спасибо».

Тогда Ева оторвалась от Адама, приблизилась к Господу и, встав на колени, сказала:

— Спасибо.

Господь погладил ее по голове. А так как Адам явно торопился вновь остаться с Евой наедине, Бог объявил, что хочет пойти прогуляться.

Все и дальше могло бы идти так же прекрасно — потому что было прекрасно задумано и исполнено. И какое-то время, которое, правда, днями не измерить, все и шло замечательно. Мироздание действовало, словно хорошо отлаженный механизм, не требуя подгонки и запасных частей. Жизнь текла волнами в упорядоченном ритме, и Ева впитывала эти волны самим нутром своим и препровождала Богу через Адамово сердце. Приливы и отливы любви делали их счастливыми. Они без слов понимали друг друга, иначе говоря, их связывали совершенные узы. Если на плечо Евы садилась оса, спящий Адам чувствовал на коже своей легкий зуд.

Вот только Сатана остался не у дел: он нашел прибежище в самом дремучем уголке Мироздания и оттуда созерцал Вселенную, трепещущую от любви, дышащую любовью, — так степные племена с высоких гор взирают на ставшие недоступными им плодородные земли. Но было одно отличие: красные крылья Сатаны объяли Космос и удерживали в своей власти, словно Сатана собирался сжать его тесным кольцом и самовластно царить в нем.

Сатана имел неприятнейшую манеру все, что происходит вокруг, принимать за личную обиду. А так как Бог не обращал на него внимания, он отыгрывался на своем воинстве. И в тот самый миг, когда соединились Адам и Ева, когда сок жизни, ставшей отныне любовью, хлынул к их смущенным сердцам, Сатана повернулся к миру спиной и стал держать речь перед особо доверенными лицами.

— Что ж, Другой придумал отличную штуку.

Все засмеялись. Но в темных глазах Сатаны зажегся маленький огонек. Вот уже несколько дней — или веков, кто тут разберет! — он искал одиночества и имел встревоженный вид, выходил же из своей обители только ночами. Хранители границ видели, что он позволял себе небывалое — проникать в самые дальние дали, растворяясь в свете Вселенной. Сатана отправлялся прямехонько в Рай, входил в пещеру Адама и наблюдал за происходившим там с жадным любопытством наукоиспытателя, при том что никто его присутствия не замечал, ибо любовь сделала Вселенную излишне доверчивой. Сатана бродил повсюду, присматривался к жизни и ее проявлениям, слушал Адама и Еву и делал выводы. А в один прекрасный день он собрал своих подданных.

— Надеюсь, что Другой допустил-таки ошибку. Он сотворил Адама и Еву такими же свободными, как и мы.

Воинство Сатаны громко захохотало.

— Разве такое возможно? Разве мало Ему было одного горького урока?

— Насколько я мог понять, Он решил еще раз рискнуть, повторить тот же опыт. Коли мне случится осуществить задуманное, Адам и Ева тоже окажутся перед выбором. И уж тут воля моя и хитрость заставят их выбрать нас.

Он опять отправился во Вселенную и юркнул в кожу какой-то змеи, сброшенную ею на опушке леса. Потом словно случайно вышел навстречу Еве и сделал ей комплимент. Ева вздрогнула и остановилась.

— Я и вправду красива?

— Еще бы! И глаза твои сияют счастьем.

— Это правда. Я счастлива. Адам такой хороший, а Господь...

Змея обвилась вокруг серебристого ствола ольхи.

— Господь тоже хороший, знаю-знаю. Только вот ведет Он себя с вами не слишком-то честно.

— Как ты можешь такое говорить? — Ева казалась возмущенной и даже нахмурила брови. — «Нет никого лучше Бога» — так каждый день твердит мне Адам. Разве не Он открыл нам секрет Мироздания? Разве не сделал нас мерилом любви и движения? По правде говоря, я не знаю, что это значит, но так говорит Адам... Адам знает гораздо больше моего. Он — сама мудрость.

— Да, только Адам-то твой простофиля. И знает он то, что Бог ему знать позволяет, а на то, что Бог от него таит, Адам глаза закрывает. — Змея растянулась, и язык ее мягко коснулся Евиной щеки. — У Господа есть одна тайна, — шепнула она. — Вам, детям света, тайна сия неведома, а нам, тварям подземным, давно открыта. Нам-то Господь является совсем в ином обличье. Мы созерцаем Его, когда Он спускается в недра земные — проведать схороненные там сокровища, серебряные да золотые жилы. И тут-то уж Господь неулыбчив. Тут-то Он дает волю своим тревогам, и говорит громогласно, словно никто Его там не может услышать. Да вот мы-то, подземные твари, слышим Его, потому что слова Господа подхватываются металлами и доходят до наших нор. Так и проведали мы тайну Господа.

— Открой же, открой ее мне! — взмолилась Ева, не подумав о том, чего просит.

— Нет, ты проговоришься мужу.

— Что ты! Как раз наоборот, ничего я так не желаю, как иметь от него какую-нибудь тайну — что надо от него утаить! Тогда мне будет проще им вертеть, а то он такой гордый и суровый. А уж если бы я знала тайну самого Господа!.. Тут я бы носто задрала...

Змея притворилась, что колеблется.

— Надо подумать, надо подумать...

И заскользила прочь по ветвям. Ева кинулась было вдогонку, громко звала змею и всполошила сверчков и скорпионов, прервав их послеобеденный сон, так что они спросонья и невпопад запели свои песни.

Назавтра в тот же час Ева была на прежнем месте. Она украсила шею веточками кораллов, а уши — изумрудами. Ева слегка сердилась на Адама, который полагал лучшим украшением цветы. «Ты так говоришь по одной причине — тебе не хочется добывать для меня кораллы и изумруды, а цветы тебе нравятся, потому что они всегда под рукой. Вот я и думаю: разве я не заслуживаю, чтобы муж мой ради меня постарался?»

Змея появилась очень скоро. Она сказала: «Какая ты красивая, Ева!», и извиваясь поползла дальше по тропке. Но Ева, конечно же, ее окликнула. Она принесла молока какого-то растения в тыквенной плошке и пригласила змею разделить с ней завтрак. Сначала они кое о чем поболтали — о том, как идут дела у Евы с Адамом, и Ева принялась рассказывать, рассказывать, пока речь не дошла до интимных подробностей. А так как она вознамерилась вытянуть из змеи секрет Бога, то нарочно разоткровенничалась.

— Прекраснее всего то, что я чувствую и свое наслаждение и Адамово, а он, по его словам, мое. Будто мы — не два отдельных тела, а одно-единственное.

— Ах, и у меня с моим змием то же самое.

— Ну да?

— Точно. И все, кого я ни спрашивала, говорят то же, словно сговорившись. Так и должно быть. — Тут змея опять коснулась языком Евиной щеки и прошептала ей на ухо: — Но могло быть и лучше.

— Правда?

— Куда как лучше, если бы Господь не украл у нас часть наслаждения.

— Что ты говоришь!

Змея сделала вид, что готова прикусить себе язык.

— Ой, прости! Я ведь ничего не хотела тебе говорить. И проговорилась! Коснулась-таки секрета Господа.

Ева поднесла ей тыковку и дала напиться. Потом спросила, нравятся ли змее ее кораллы и изумруды, и, если нравятся, она готова подарить их ей.

— Я ничего не скажу Адаму, — бросила она, приглаживая волосы. — Тайна останется между нами.

— Все очень просто. Как я уже сказала, Он крадет у нас часть наслаждения. И делает это, потому что не может иначе. Он подпитывается нашей любовью, как ты — картошкой, а я — орехами. И не будь у Него любви...

— Не будь у Него любви... Что тогда?

— Не знаю. Наверно, Ему пришлось бы умолять нас...

— Чтобы Господь молил нас о чем-то?

Змея заговорила решительней.

— Да, именно умолять. А тогда посмотрим, дадим мы Ему что-то иль нет...

— А нам-то от того какой прок?

И тут Сатана чуть не совершил роковую ошибку. Он сказал было: «Власть», но вовремя поправился:

— Большее наслаждение. Неизмеримое наслаждение, как то, что получает Бог. Достаточно вам с Адамом отказаться отдавать Ему ту любовь, что исходит от нас, достаточно вам замкнуться в себе и радоваться собственному наслаждению, забыв о других, и мы, женщины, станем много краше. Ведь мы хорошеем именно от наслаждения. Разве ты не заметила, что, если твой мачо утомлен и быстро засыпает, на другое утро ты не так счастлива?

— Адам до сих пор никогда себя не ронял...

— Ах, погоди судить... Мужчины, когда устают, предпочитают спать. Но принадлежи наслаждение только нам, женщинам, мужчины не чувствовали бы усталости, ведь если нам оно дарит красоту, им оно дает силу.

Вдруг Ева заторопилась. Она вспомнила, что ее ждет Адам, и подарила змее тыковку с остатками молока.

В ту ночь Ева загородила вход в пещеру кучей сухих веток.

— Зачем ты это делаешь?

— Мне пришло в голову, что так мы будем совсем одни.

— Одни? О чем это ты?

— Одни — ты и я. И луна не станет нас освещать, и...

Адам уселся на пол.

— Ты ведь знаешь, что в этот час все Мироздание отдает себя любви, а мы здесь впитываем этот чудесный поток и дарим его Господу... Раньше я знал, что значит быть одному. Теперь одиночество невозможно, а кроме того — достойно порицания с моральной точки зрения.

Ева состроила недовольную гримаску.

— Ты любишь меня не ради меня самой. Тебе важней дальний трепет какой-то звезды, чем кровь в моих венах. Ты соединяешься со мной из послушания, а не потому, что я тебе нравлюсь. Ты делаешь это будто по обязанности.

— Я делаю это, потому что Господь указал мне, что именно так я должен любить тебя, и потому что в моей любви к тебе сокрыта вся земная и небесная любовь.

— А мне нет дела ни до небес, ни до земли. Меня интересуешь только ты.

Адам нахмурился.

— Что ты мелешь! Чтоб я больше не слыхал подобного вздора!

В полумраке пещеры Ева принялась всхлипывать. Она отбежала в угол, легла, а когда Адам подошел и хотел приласкать ее, отказалась принять его ласки.

— Нет. Сегодня — нет.

— Но жена!

— Нет, Адам. У меня голова болит.

— Но что же завтра скажут?..

— Ах, тебе важно только это! Что скажет завтра твой Господь? Что скажут иволги-соседки, белки из ближнего леса и форель в пруду? А до меня тебе дела нет?

Ева совсем взбеленилась. Адам в отчаянии забился в дальний угол пещеры и оттуда слушал, как плачет Ева, и у него душа разрывалась на части. Он вышел из пещеры, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Иволги-соседки, белки из ближнего леса, форель из пруда подступили к нему с расспросами:

— Что-то случилось сегодня ночью, Адам?

— Ничего. У Евы немного болит голова.

Из ночной тьмы миллионы влюбленных глаз задавали ему тот же вопрос. Адаму стало стыдно, и он вернулся к Еве. Ева то притворялась спящей, то повторяла отказ.

— Только если...

— Что?

— Только если ты сделаешь это так, как я тебя попрошу. Забыв обо всех остальных и думая только о нас. Замкнув врата наших сердец для любви всего Мироздания, ведь нам до них нет никакого дела.

— Но это чудовищно, Ева! Так нельзя!

Во мраке пещеры тело Евы, напитанное ласками, трепетало от желания, и аромат его возбуждал Адама. А Ева, то уступая Адаму, то отказывая ему, говорила:

— Всего один раз! Всего на мгновение! Я хочу стать для тебя твоим божеством и твоим мирозданием, как ты для меня!..

— Только один раз? Обещаешь?

Ева улыбнулась в темноте. Она приоткрыла губы, потянулась к Адаму.

— Клянусь.

Адам, сгорая от нетерпения, обнял ее. И несколько мгновений спустя глубокий стон, жуткий стон исторгли все творения Господни — животные, растения и минералы, тела земные и небесные, водяные и воздушные, словно лопнули струны в сердце Вселенной. В сельве лев вдруг кинулся на мирно пасущуюся корову и пожрал ее; в воздухе кондор устремился за голубкой, и ее белые крылья потемнели от крови; в пучине морской в первый раз большая рыба проглотила малую. Самые дальние звезды начали блекнуть, и все живые существа почувствовали, что жизнь горька, и с ненавистью огляделись вокруг...

И родился яд на языке змеи и в жале насекомых. С неба ударила молния и расщепила надвое ствол дуба. И огонь полыхнул на лес, загорелись растения, и испепелились бедные маленькие зверьки. За границами Рая вздрогнула земля, разверзлись трещины в почве, а воздух осквернился зловонными газами.

Какая-то собака утопла в пруду, а от съеденного ореха заболел желудок у антропоида. Долгоносик потравил пшеницу, а червь проник в сердцевину яблока. Червь точильщик поселился в древесине... И так далее, и так далее.

А в темной пещере Ева обнимала Адама.

— Адам, что случилось с тобой? Я не чувствую тебя! Почему мое наслаждение остается в теле моем, Адам? Почему не доходит до меня твоя радость?

Адам плакал. И ему нестерпимо хотелось отколотить жену.

— Мы согрешили, Ева, согрешили против любви Мироздания, которая была Божией любовью.

Тут послышался властный голос, призывающий Адама по имени его. И Адам почувствовал, как все тело его задрожало. Он покинул Еву и скрылся в глубь пещеры. И тут же скорпион ужалил его в ступню.

А там, снаружи, в погрустневшем воздухе продолжал звучать голос Бога.

— Адам, Адам! Куда ты подевался?

3. Лепорелло довез меня на своей машине прямо до театрального подъезда и высадил у внушительного и очень буржуазного на вид здания, где красным мелом по черной доске было выведено имя театра и название представления. Чуть ниже к стене была прикреплена полосками клейкой ленты бумажка, которая извещала о ценах на билеты.

Лепорелло достал из кармана контрамарку и протянул мне.

— Извините, что оставляю вас, но у меня еще есть дела. Заходите в эту дверь, там будет патио, вам надо его пересечь. Потом увидите еще одну грифельную доску, наподобие вот этой. Вам туда. И не удивляйтесь скромности зала. Все, что нынче в театральном Париже действительно заслуживает внимания, показывается исключительно в такого рода помещениях, если не в худших.

Он попрощался со мной, приподняв шляпу и улыбнувшись, потом снова сел в машину. Я миновал подъезд, пересек патио и остановился перед второй грифельной доской. Там имелась небольшая дверца, рядом с которой стоял бесцветный тип с нарукавной повязкой.

Я предъявил ему билет. Он взял его, отрезал уголок и вернул мне.

Я попал в очередной коридор, довольно темный и нелепо петляющий. В конце его

я разглядел девушку в синем, тоже с нарукавной повязкой. Она спросила билет, проводила меня до места и получила чаевые. Я сел. Это был один из тех залов, где ставят Ионеско или Беккета. Среди публики почти не было женщин. Я скользнул взглядом по лицам зрителей, сидевших неподалеку от меня, и сперва нашел их вполне обычными. Но рассмотрев повнимательней, подумал, что они несколько старомодны: словно сошли с полотен люди, чьи портреты писали Рембрандт, Буше, Делакруа и Мане, и надели современные костюмы, в которых чувствовали себя неловко. Правда, мимолетное впечатление было очень скоро стерто очевидным фактом — все эти господа курили и читали «Франс-суар».

Девушка в синем входила и выходила. С каждым ее появлением в зале прибавлялся один, а порой и два новых зрителя. Зал, когда я туда попал, был заполнен наполовину, теперь свободных мест почти не оставалось. Свет показался мне не особенно ярким, но все равно пятна сырости на стенах легко отличались от остатков былых сюрреалистических декораций. На занавесе была нарисована маска трагедии, а из ее рта выскакивали персонажи классической комедии. И тут, видно, крылся какой-то фокус, потому что, взглянув снова, я увидал ту же маску, но изо рта у нее выходили герои на котурнах, они размахивали кинжалами, и одежды их были забрызганы кровью. В третий раз я обнаружил череп и пляшущие скелеты. Мне даже стало слегка не по себе. Такого рода приемчики заставляют человека ощущать себя провинциалом.

Я сверился с часами, до начала оставалось несколько минут. Свет в зале медленно гас и явственно менял оттенки. Казалось, зрителей обволакивает зеленоватое свечение, исходящее от них самих, вроде эманации. Я закурил и поднял взор к потолку, совершенно темному, но по которому время от времени проносились желтые вспышки — нестойкие, судорожные. Я подумал, что Лепорелло обязан был меня кое о чем предупредить, но тотчас мне пришла в голову другая мысль: он рассчитывал на неожиданность, это было шуткой в его духе. Вполне возможно, теперь он из какого-нибудь укромного уголка следит за моей растерянной физиономией и от души потешается.

Кто-то занял место рядом со мной. До меня долетел знакомый аромат духов. Я скосил глаза и увидал Соню. Она закуривала сигарету и не смотрела в мою сторону. Я поздоровался, она обернулась и, даже не улыбнувшись, спросила:

— И вы здесь?

— А разве вы этого не ожидали?

— Ожидала. Но не думала, что нас усадят рядышком.

— Вы сердитесь на меня?

— Нет. Но видеть вас снова не хотела.

Она выпустила облачко дыма и вдвинулась в кресло поглубже. Взор ее был устремлен вперед. Я чувствовал себя неловко и пересел бы, если бы в зале было хоть одно свободное место.

— У вас есть программка?

— Нет.

От сухого тона, каким она мне ответила, я еще сильней приуныл и больше не отваживался взглянуть на нее. Господин справа от меня читал газету. Я повернулся туда и смог узнать, как шли дела в Конго. Но тут раздались три ритуальных удара молотком. Свет в зале потух, а вместе с ним рассеялось и зеленоватое сияние вокруг зрителей.

Занавес поднялся. На сцене царила темнота. Несколько прожекторов устремили туда свои лучи: сперва они были слабыми, и цвет их непрестанно менялся. При красном свете сцена напоминала вход в преисподнюю. При зеленом — кладбище. При белом появились четыре стены большой залы, а также мебель в стиле барокко и большое зеркало в золоченой раме в центре задника. Послышались удары в дверь, которая располагалась с левой стороны. Из противоположной кулисы вышел слуга и пересек залу. Он был одет по французской моде XVII века.

— Это Лепорелло! — шепнул я Соне, не сдержавшись.

— Я уже поняла.

Лепорелло изображал спешку и повторял:

— Сейчас! Да потерпите же, черт побери! Сейчас, говорю! — Он открыл задвижку на окне и добавил: — Вот дьявол!

И вышел в левую кулису. Сцена осталась пустой, огни мерцали. Лепорелло возвратился, следом за ним шла Старуха, которая пыталась обнять его.

— Сынок мой любимый! Кровинушка моя! Ах, сынок-сынок, сынок ты мой! Как рада я увидать тебя! Ведь ты исчез из родной Севильи почитай на пятнадцать лет.

Лепорелло с трудом оторвал ее от себя.

— Ладно, ладно, старая, довольно. Чего вам надобно?

— Дай я тебя пощупаю, плут ты эдакий! Каким же красавцем ты заделался! На пользу тебе пошли чужие земли! Да еще с таким хозяином... Я по чистой случайности узнала о твоем возвращении. Проходила мимо, гляжу — балкон приоткрыт. Ну, думаю, кто же, если не хозяин, осмелится тут что-нибудь тронуть. Вот и решила поздороваться с вами. А на вид-то какой здоровяк, пропади ты пропадом! И упитанный! А где ж Дон Хуан будет?

— Нету его.

— Мне б и на него хоть одним глазком взглянуть! А уж переполох-то начался нынче утром, когда узналось, что он снова в Севилье! Замужние-то сеньоры в обморок попадали, девицы чувств лишились, мужья тревогу забили и разом кинулись укреплять запоры, так что все замки и задвижки в Севилье мигом из лавок разошлись.

Лепорелло застыл, уперев руки в боки, спиной к зрителям; розовый свет озарял его плечи, и на задник падала от него длинная пляшущая тень.

— Ну говорите, кто вы такая и что вам от нас надобно! Мы-то вас не звали, сколько я знаю.

Старуха сделала несколько мелких шажков вперед. Казалось, на лице ее слишком много грима, и лежит он грубыми слоями — такую технику в былые времена применяли некоторые живописцы. Так что лицо ее при ярком свете походило на маску.

— А я считаю себя званой повсюду, если чую, что могу сгодиться. И вам еще ох как понадоблюсь. Потому-то нынче поутру проскользнула я в некий знатный дом, где сохнет от любви девица... Ах, милый мой, вот уж ягодка, вот уж перепелочка!

— Довольно, здесь о девицах лучше не упоминать!

— Ой, коли услышит твой хозяин, как она мила да как тоскует, сразу захочет повидать ее.

— Ничего он не услышит! Он велел никого к себе не допускать.

— Подумаешь — велел!

— Дон Хуан прибыл инкогнито.

— Чего ты мелешь!

— А чего слышите.

— Вот так да! Значит, не повезло севильянкам! Ведь за твоим хозяином идет такая слава...

— Все наветы и клевета. Так что отправляйтесь-ка восвояси подобру-поздорову.

Он принялся подталкивать ее к двери. Старуха сопротивлялась, цеплялась за Лепорелло. Но борьба была ненастоящей, беззлобной.

— Да уймись ты, проклятый! Разве не знаешь, как надо обращаться с почтенными сеньорами? Ведь я, да будет тебе известно...

Старуха принялась изображать из себя даму. Потом ухватила свою клюку так, словно это была шпага, и начала ею размахивать.

Лепорелло приблизился к ней и что-то тихо шепнул на ухо.

Старуха подпрыгнула от изумления.

— Кто тебе такое наплел?

— А это уж мое дело.

— Напраслина! Про беззащитную женщину все можно сказать! Клянусь крестом святого Андреса...

— Оставьте в покое святых и послушайте меня. Вот серебряная монетка, она будет вашей, если вы сообщите кое-что о некоей даме... Я дал промашку и не успел разузнать что надо.

— О дамах я знаю все. Давай деньги...

— Когда хозяин мой покидал Севилью, он женился.

— Так ты о сеньоре толкуешь?

— Что с ней?

Старуха поднесла к виску указательный палец правой руки.

— Совсем сбрендила.

— Ее держат взаперти?

— Да нет. Она тихая. Правда, назад тому лет десять... Нет, лет двенадцать, такое было...

— Вот об этом я и хотел бы знать.

— Сесть-то мне позволишь аль как?

— Вот стулья, выбирайте.

Старуха усаживалась с великими церемониями и кривльяньями. Лепорелло стоял перед ней и покачивался туда-сюда на носках.

— Ну же, красавчик, налей мне лимонада. Я совсем выдохлась... Так вот. Той даме взбрело в голову объявить войну нам — кто занят моим ремеслом. И вздумалось ей ходить по веселым заведениям и спасать распутных девиц! Была она богата, и в доме у нее жилось куда как хорошо, ну девушки-то и шли за ней, так что настал такой день, когда в севильских публичных домах, тайных притонах и тавернах, да и в прочих славных местах не осталось женского полу, если не считать старых потаскух, которые уж и в Бога перестали веровать. А в этом доме устроилось что-то навроде монастыря. Только и делали они, что восхваляли Господа и творили милосердные дела! Врать не стану, но душ триста здесь разместилось. Все углы позанимали.

Лепорелло полусидел на углу стола и покачивал ногой в такт словам Старухи.

— Не так уж и много для Севильи.

— Я ж сказала, что врать не хочу. Но приспичь кому в ту пору, ни одной во всем городе не сыскал бы. Мало того, взяли они в привычку ходить вместе с сеньорой к городским воротам, и стоило показаться там деревенской девушке, недурной на вид, тотчас ее наставляли в вере и вели к себе. А ночами на улицах подбирали беспутных женщин. И выслеживали любовниц знатных господ и обращали их... Так что, парень, настали такие времена, что в Севилье и согрешить-то стало не с кем — хоть сам себя пользуй! А уж что говорить о молодых господах! Ох, не сладко им пришлось! За всякой юбкой ястребами кидались... В те дни даже мне работенка нашлась!

— Быть того не может, чтоб сводня когда без дела оставалась!

— Да я о другом. О том, чем девицы занимаются. И для нас настало бабье лето. Дальше — хуже! Какие скандалы пошли! Девушки из хороших семей беременели, и содомиты... Что тут говорить! Чего только не было: на благородные дома нападали, монахинь умыкали, насиловали... Юнцы да холостяки в стаи сбивались и выслеживали добычу... Так что пришлось вмешиваться церкви, и сеньору призвали в трибунал. В защиту свою она твердила о милосердии, о том, что вершит эти дела на свои деньги, что поступает по-христиански и следует святым заветам. А кончилось все вот чем: почтенные матроны, матери семейств сошлись и порешили идти к коррехидору... И в конце концов дом этот взяли штурмом, все здесь покрушили и вытащили раскаявшихся девиц, чтобы отправить на прежние места, где им быть и полагалось... Ох и повеселилась Севилья в ту ночку!

— А сеньору? Тоже куда-нибудь отправили?

— Сеньору тронуть не осмелились, потому что она пригрозила: муж ее убьет всякого, кто ее хоть пальцем коснется. О Дон Хуане-то уж шла молва...

Лепорелло спрыгнул со стола, поднял руку и рубанул сверху вниз:

— Мой хозяин сжег бы Севилью.

— Спаси нас Господь!

— А что сталось с сеньорой?

— Да все то же. Ходит в одеждах кающейся, помогает кому может и прослыла святой. Хочешь ее повидать? Живет она нынче в усадьбе мужа. Там по ее велению устроили склеп для Командора де Ульоа, сраженного Дон Хуаном. Днем бродит по Севилье и докучает людям, толкуя о любви к ближнему, а вечером возвращается туда.

Лепорелло подошел к левой кулисе. Открыл дверь.

— Благодарю за сведения.

— А деньги?

— У порога.

Старуха удалилась. Лепорелло тщательно запер дверь. На сцене сделалось чуть темнее. Справа вышел господин в темно-синем. Увидав его, я вздрогнул. И невольно сжал Сонину руку.

— Дон Хуан!

Она не шелохнулась. Она дышала прерывисто. Груди ее вздымались под блузкой, вверх — вниз, вверх — вниз.

Дон Хуан держал в руках связку писем. Лепорелло поклонился ему и остался стоять у двери.

— Лепорелло!

— Слушаю, сеньор!

— С кем ты разговаривал?

— Со старухой, торгующей добродетелью, она примчалась сюда на запах доброй репутации.

— Отнесешь эти письма.

— Теперь же?

— Немедленно. Нынче вечером я устраиваю ужин и бал-маскарад, здесь — приглашения.

Лепорелло взял конверты и начал читать.

— Сеньор коррехидор Севильи, сеньор главный судья, сеньор архиепископ... Все люди знатные...

— Есть и известные бесстыдники, но под масками их не узнают.

Дон Хуан говорил голосом глухим, высокомерным, решительным. Двигался он со спокойным изяществом и благородством, словно просчитывал каждый шаг.

— Вы полагаете, они придут?

— Дело их! Не придут, отворю двери нищей братии. Пошевеливайся!

— Иду, иду, сеньор!

— Идешь, но с места не трогаешься!

— Да я вот думаю... Тут послание для доньи Эльвиры де Ульоа. Разве она не умерла?

— С чего бы ей умереть?

Лепорелло вдруг во всю глотку расхохотался. Дон Хуан пересек сцену и схватил его за плечо. Свет снова переменился.

— Прошу прощения, сеньор. Я смеюсь оттого... ведь живы-то все, кроме Командора.

— Кто все?

— Все тогдашние. Тут побывала одна старуха, она рассказала о Мариане...

— О Мариане?

— Да. О той проститутке, на коей сеньор вдруг надумал жениться.

— Я все помню, забылось только имя. Значит, в Севилье ее зовут сеньорой!.. Что ж, я не только облагородил ее, но и сделал святой. Ведь тебе наверняка сообщили и о том.

— Да, сеньор.

— Неси же письма. И непременно называй Мариану сеньорой. — Дон Хуан остановился у двери. — Мариана! Как мог я забыть это имя!

Он вышел. За сценой слышались удары дверного молотка. Лепорелло, насвистывая, стал разбирать письма и читать адреса.

— Эх! Сеньор коррехидор Севильи, сеньор главный судья...

Читая имена адресатов, он подбрасывал письмо за письмом в воздух. Я никак не мог разгадать, как им удалось устроить все это на сцене: письма не падали, они задерживались в воздухе и начинали крутиться — все быстрее и быстрее — вокруг головы Лепорелло. Снаружи продолжали стучать. А Лепорелло с криком «Ступай и ты!» подбрасывал в воздух новое письмо. Когда последнее вылетело из его рук, письма завертелись совсем быстро, послышался свист, словно от пропеллера, и они белой стаей вылетели в окошко. Зрители разразились аплодисментами, а Лепорелло на сцене принялся раскланиваться. Его смуглое лицо лоснилось от удовольствия и от грима.

Снова появился Дон Хуан.

— Ты уже вернулся?

— Да, сеньор.

— И разнес письма?

— Все до единого.

— Ты разве не слышишь, что стучат?

— Слышу, сеньор.

— Так отчего не открываешь?

— Да это, видать, какой-то шутник: нынче ведь карнавальный вторник, все позволительно.

— Мой дом открыт для шутников.

— А если... правосудие? Не забывайте, сеньор, что королевский указ о помиловании мог не дойти до Севильи.

— Я не просил прощения у короля. А что касается правосудия... принеси мне денег и открывай.

— Охота вам искать приключений на свою голову! Ведь хорошего ждать не приходится! И когда сеньор остепенится?

Лепорелло двинулся к боковой кулисе и вышел. Свет на сцене снова изменился, и платье Дон Хуана теперь казалось фиолетовым. Лепорелло ввел новое действующее лицо. На вошедшем была маска и великолепная шляпа, на поясе — шпага. По округлости бедер можно было судить, что это женщина. Она застыла у двери. Безусловно, мужской костюм не придавал ей уверенности в себе, и двигалась она так, словно непрестанно раздумывала, какую позу лучше принять. Возможно, такое впечатление возникало и оттого, что костюм был актрисе узковат.

— Пусть удалится Лепорелло, — сказала она.

Дон Хуан повернулся к слуге.

— Ну, ты слыхал?

— Ладно, я ведь знаю, кто это, и догадываюсь, о чем пойдет речь...

Он взмахнул рукой, и шляпа, слетев с головы гостьи, как по волшебству, очутилась на вешалке. Публике фокус очень понравился. У актрисы были прекрасные темные волосы с серебристым отливом.

Дон Хуан поклонился.

— Вот мы и одни. Я слушаю вас. Или я должен хвататься за шпагу?

Она сделала несколько шагов вперед. И в движениях ее и в голосе сквозила неуверенность.

— Вы боитесь меня?

— Нет, бояться мне нечего, но ведь явились вы либо мстить, либо читать мне проповедь. Если это месть, тем хуже для вас. Ваша смерть лишь упрочит мою славу. Хотя, по чести говоря, слава эта мной не заслужена. Я — не убийца.

— А Командор?

— Он вынудил меня сделать это, и поделом ему.

— Вы циник.

— Отнюдь. Порочность моя не столь совершенна, чтобы ею чваниться.

Казалось, девушка вот-вот лишится чувств. Она безвольно опустила руки и произнесла чуть слышно:

— А Эльвира? Вы забыли ее?

— Это имя возглавляет некий секретный список, список моих, если угодно, поражений. Как можно забыть ее? Командор был мерзавцем, но в душе его дочери пели прекраснейшие птицы страсти. Я не мог, даже если б желал, совратить ее. Люди так и не поверили в это, меня считают виновником ее позора. Клянусь честью, я и пальцем ее не тронул!

Девушка печально подняла голову.

— Мне жаль вас. Вы лишь однажды в жизни струсили и, чтобы не признавать этого, решили назвать поражением то, что на деле было бегством. Почему вы покинули ее?

— В ту ночь разыгрывалась решающая партия. На кон была поставлена моя свобода. А у тебя, Эльвира...

Девушка отпрянула назад, но Дон Хуан схватил ее за руку. Она пыталась вырваться.

— ...у тебя все тот же волнующий голос... Нет, не снимай маски! Не снимай, если

минувшие годы разрушили твою красоту; но если ты еще можешь смело смотреться в зеркало, сними.

Девушка сняла маску и швырнула на пол. На ее лицо падал сверху резкий свет, и красивой она не была.

— Да, ты еще хороша, — продолжал Дон Хуан, — гораздо лучше, чем прежде. Лицо твое очень красит тень зрелости, овеянной печалью. А как идет тебе мужской костюм!

Тут Эльвира рухнула на стул и зарыдала. Дон Хуан наблюдал за ней. Потом протянул руку и погладил ее по голове. Она вздрогнула, все еще пытаясь сохранить достоинство, но снова обмякла и обняла Дон Хуана.

— Дон Хуан, еще не поздно!..

— Не поздно? Для чего?

— Спасти тебя. Ты дурной человек, обманщик, но у тебя щедрое сердце. Отврати его от греха. Стезя Господня покойна и прекрасна.

— И разумеется, ведет прямиком в твои объятия, не так ли? Там я и найду потерянный рай. Забавно! В душе любая женщина убеждена, что Бог — в ней. Хотя, кто знает, может, вы и правы. Меня, во всяком случае, Бог всегда поджидал, притаившись у вас под подолом. Но у нас с Господом есть некоторые расхождения...

Эльвира резко поднялась, приблизилась к Дон Хуану.

— А я? — спросила она гораздо более хриплым голосом, словно птицы страсти, свившие гнездо у нее внутри, теперь запели в ее горле. — Представь, что не прошло столько лет, что ты не убил моего отца или, допустим, я об этом не знаю. Забудь о моем немолодом лице и печальном голосе. Ты поднялся к моему окну, и губы мои трепещут надеждой. Взгляни на меня. Я несу тебе всю любовь, которую моя душа может дать, и все счастье, которое может дать моя плоть. И ты... еще не отверг меня.

Дон Хуан спокойно отступил.

— Это может показаться странным, — ответил он ледяным тоном, — но самые важные решения я обычно принимаю быстро.

Она снова заплакала, закрыв лицо руками. Голос ее дрожал.

— Трус! И трусом был всегда! Ты храбр только с продажными девками! А любовь пугает тебя, и ты бледнеешь, словно пред ликом смерти.

— Хуже, Эльвира, хуже. Смерть мне безразлична. Я несу ее внутри с того дня, когда вытащил шпагу из ножен и обратил против твоего отца. Она неотступно со мной, дремлет в моем сердце, и я знаю, что в любой миг она может увлечь меня за собой. Но любовь неведома мне. Я готов объяснить тебе...

— Мне? Я столько лет горю на медленном огне! Жду тебя каждую ночь на том же самом месте, забыв о чести, забыв обиду... Я соглашусь выслушать тебя только тогда, когда ты увезешь меня с собой иль останешься рядом навсегда. — Эльвира повисла у него на шее и заговорила, терзая ему губы поцелуями: — Пускай потом ты покинешь меня, никогда больше не вспомнишь, подари мне хотя бы воспоминание об истинной любви.

— Ах, так ты уже забыла и о Боге, и о грехе?

— В ту ночь я забыла обо всем, а сегодня чувствую то же, что и тогда.

— Но, девочка моя, надо помнить о них, помнить непрестанно. Я только и думаю о них... тоже с той самой ночи.

Дон Хуан говорил тоном учителя, отчитывающего ученицу. Эльвира резко оттолкнула его.

— Я ненавижу тебя!

— Вот это другой разговор. Так мы лучше поймем друг друга.

— Я подниму против тебя всю Севилью! Они поволокут тебя по мостовым!

— Но я не сделал им ничего плохого... и они боятся меня.

— Я своей рукой убью тебя!

Эльвира повернулась к двери. Дон Хуан снял с вешалки шляпу и протянул ей.

— Надень. Она тебе идет. А если хочешь маску... — Он нагнулся, чтобы поднять ее, и одновременно спросил: — А та иудейка, донья Соль, что сталось с ней?

Эльвира протянула руку за маской.

— Она умерла смертью, которую заслужила. На костре.

— Как тривиально!

Дверь за Эльвирой захлопнулась. С другой стороны вышел Лепорелло.

— Женщин понять невозможно.

— Не паясничай!

— Эта максима — часть моей личной философии. Женщины напоминают мне морские волны. Разве кто сумел дознаться до смысла их движения? Разве кто разгадал, почему так бескрайне море, почему в нем кроется столько тайн? Но мы все равно купаемся в море, а иногда садимся на корабль и пускаемся в плавание. С женщинами происходит то же самое: они бескрайни, загадочны и переменчивы. Невозможно дознаться, что происходит у них внутри и куда их двинет. Но до поры до времени они позволяют использовать себя для великолепнейших плаваний. Весь секрет состоит в том, чтобы не задавать им лишних вопросов.

— Ты, кажется, читаешь мне наставления?

Лепорелло засмеялся было, но потом порывисто прижал руки к груди.

— Просто я знаю в этом толк, хозяин.

— Но не больше моего.

— Chi lo sa?[1] До сих пор мы не мерялись нашими знаниями. Я все старался подлаживаться под сеньора и отвечать, как подобает смышленому слуге. Но нынче особый день, может, самый важный из всех... для нас обоих. Последствия того, что совершите вы, коснутся и меня. Посему...

Дон Хуан неспешно приблизился к нему.

— В твоих словах таится намек, или я просто плохо понял тебя?

— Скорее первое, хозяин. С чего бы вам меня не понять?

— Тогда говори прямо.

— Вот такой Дон Хуан мне по вкусу! — восторженно воскликнул Лепорелло. — Все карты непременно открыты, даже если предстоит игра с дьяволом. И я тоже открою свои. Ведь сегодня может много что случиться. Вернее сказать, сегодня может случиться все — до конца.

— Все до конца?

— Да, хозяин. Даже самое последнее. Вот я и должен подумать о своем будущем.

Дон Хуан со смехом похлопал его по спине.

— Я не забуду тебя в завещании... тебе будет оставлено достаточно... за твою верность.

— Сеньор не так меня понял. Я имел в виду вот что: если сеньор помрет, мне придется следовать за ним и в мир иной.

— Да разве я о том прошу? Смерть — дело приватное, а за гробом слуги не требуются. Хоть в преисподней, хоть на небесах — полный пансион.

— Сеньор не может судить, что бывает нужно, а что нет за гробом.

— А ты?

Лепорелло отступил на шаг.

— Сеньор желает, чтобы я открыл все свои карты?

— Разумеется.

— Тогда, надеюсь, вам достанет взглянуть мне в глаза.

Дон Хуан схватил Лепорелло за плечи и вонзился в него взглядом. Потом грубо отпихнул от себя.

— Во взгляде твоем — бездна, а на дне ее — сияние вечности. Ты ангел или бес?

— Бес, к вашим услугам. Ангел тоже должен быть где-то рядом, но за двадцать лет, что я провел при сеньоре, я так и не опознал его.

— Преисподняя оказала мне великую честь. Как звать тебя?

— К чему вам имя? А вот тело, которое мне так пригодилось, вы всегда называли Лепорелло.

— Зачем ты явился? И должен ли я признать, будто то, что считал своими поступка-

[1] Кто знает? (*итал.*)

ми, было всего лишь твоими кознями? И я ускользнул от Бога, чтобы запутаться в бесовских сетях?

— Не тревожьтесь, сеньор. Я лишнего себе никогда не позволял. Помогал вам порой, но в целом довольствовался ролью свидетеля. Таков был данный мне приказ. Преисподняя отнеслась к сеньору с большим почтением, хотя теперь не время обсуждать резоны. И я, находясь при вас, не смел покуситься на вашу свободу. Я сохранил бы инкогнито до конца, но в том-то и дело, что конец подступил вплотную. Нынче ночью сеньору без меня не достичь задуманного.

— Да ведь я сам еще не ведаю, что мной задумано. А ты разве уже угадал? Я мчался в Севилью, влекомый слепой надеждой, но теперь отчего-то надежду эту теряю.

— Так выйдем же ей навстречу. Разве не так мы не раз поступали?

— Выйти... Куда же?

— Важно не куда, а по какой дороге. Вот для этого — чтобы указать вам путь — я здесь и нахожусь.

Лепорелло очень быстро приблизился к большому зеркалу в золоченой раме и открыл его, словно окно. Внутри рамы зияла черная пустота. Где-то за сценой загрохотал гром. Дон Хуан попятился, потом вдруг остановился и гордо выпрямился...

— Это врата ада?

— Ад — лишь часть тайны, а это врата вообще в тайну. Если мы не шагнем туда, наше приключение может и не обрести благополучного конца. Но знайте: это и небесные врата тоже.

— Тогда они — для меня.

Дон Хуан приблизился к черному провалу. Раскаты грома повторились, на этот раз их сопровождали зеленоватые вспышки. Лепорелло протянул Дон Хуану руку.

— Вы и вправду желаете попасть на небеса?

— Я желаю перешагнуть этот порог. Вопреки всему! Вперед!

— Вы первый, сеньор.

— Хоть ты и бес, но ты мой слуга, и командую здесь я. Иначе вместе нам не быть. Ступай вперед!

Лепорелло кивнул в знак согласия.

— Воля ваша, сеньор.

Он шагнул в пустоту. Дон Хуан последовал за ним. Зеркало захлопнулось, и тотчас быстро упал занавес.

4. В зале по-прежнему царила темнота, и в воздухе — наверно, чтобы заполнить паузу — снова замелькали дурацкие огни. Я искоса взглянул на Соню. Она сидела опустив голову на грудь и скрестив руки. Я не отважился окликнуть ее, да и не мог бы сказать ничего путного, потому что в этот миг в голове у меня роились критические замечания по поводу того, что я только что увидал. Постановка показалась мне слишком примитивной. Череда сцен — в каждой по два персонажа; сцены, правда, умело связаны меж собой, но происходившее было не слишком понятно тем, кто не знал предыстории. Цирковые трюки Лепорелло выглядели наивными, а уж выдумка с зеркалом — и вовсе не оригинальной, что-то подобное встречалось у Кокто. Драма утратила для меня малейший эстетический интерес, хотя, признаюсь, меня волновали развитие сюжета и особенно развязка, но волновали так, как консьержку захватывает роман с продолжениями, от которого она не может оторваться.

Пауза оказалась короткой. Теперь сцена представляла собой сад, все тонуло в зелени, сзади тянулась цепочка кипарисов, а посредине возвышалась большая белая статуя. Именно статуя и была, вне всякого сомнения, на сцене главной. Поставили ее спиной к зрителям, и она напоминала мраморно-белое пламя, оттого что была какой-то перекрученной и нелепо изломанной: на перекошенном пьедестале высилась завернутая в плащ фигура, и было похоже, что над ней пронесся ураган. Изображенный в камне господин в одной руке держал шляпу, другой схватился за шпагу, вроде как собираясь вынуть ее из ножен. Тело его словно корчилось в судорогах: ноги были широко расставлены, колени полусогнуты — он собирался не то прыгнуть, не то кинуться бежать, — а венчала фигуру огромная голова с буйной гривой.

В задней части пьедестала, в той, что была видна зрителям, темнел квадрат двери — единственная четкая фигура в царстве перекореженных линий.

На сцене никого не было. За сценой заливалась скрипка. Сквозь зеленый свет пробился белый луч, сделав статую еще белее. Но уже через несколько мгновений луч погас, и сцена снова потонула в зеленоватой дымке. Сзади чернели кипарисы, и даже казалось, будто они мерно покачиваются. За ними, по поверхности голубой циклорамы, беспорядочно плыли белесые облака.

Сначала появился Лепорелло. Он, словно дозорный, тщательно осмотрел все вокруг. Потом повернулся к левой кулисе и позвал:

— Дон Хуан! Сюда!

Вышел Дон Хуан и огляделся по сторонам.

— Где-то здесь должен быть мой дом, не правда ли?

— Да, хозяин. Вон там, на вершине холма.

Дон Хуан, повернувшись к публике, вытянул руку и указал в глубь зала.

— А вон и Гвадалквивир.

— Как красиво, правда? Серебряная лента...

— Не говори пошлостей. Красоты реки не передать бесовской метафорой.

— Признаю: мое литературное образование не идет ни в какое сравнение с вашим. Мне просто хотелось каким-нибудь образом выразить, как красива река.

— О чем ты теперь и сказал.

— И этого довольно?

— Для меня — даже с избытком. Разве ты не знаешь, что слова мешают? Они были лишними и в тот вечер, когда именно здесь, на этом самом месте, все началось. Одно-единственное слово разрушило бы чары и вернуло меня в мир, но Бог и Мироздание промолчали. Тебе не кажется, что именно в тот миг родился Дон Хуан, и я своей же рукой убил бесконечное число возможных персонажей?

— Как раз тех, что не были Дон Хуаном. Ведь жить, сеньор, значит усеивать свой путь трупами. Порой труп оказывается и твоим собственным. Но чаще — это только карикатуры, хотя иногда и довольно близкие к оригиналу. Обычно в такой борьбе выживает сильнейший, и нет нужды оплакивать мертвых. Подумайте только: вы могли бы жениться на Эльвире, были бы теперь отцом семерых детишек и — кто знает? — сделались бы пугалом под стать свекру, хоть и малость поумней. Так что пусть мертвые хоронят своих мертвецов.

— А ежели я ошибся?

— Разве не вы говорили мне несколько дней назад, что небо лишило вас раскаяния? Разве что-то переменилось?

— Нет, небеса по-прежнему молчат, а сердце мое покойно. Сомнения рождаются рассудком. Ведь они должны присутствовать хотя бы ради соблюдения диалектического равновесия. И ты-то знаешь, что я никогда не исключал возможность собственной ошибки, не исключал, что наступит день, когда мне придется воскресить один из своих трупов, может, и труп святого. Сегодня я наконец узнаю это.

За сценой послышались причитания, потом появилась деревенская женщина с ребенком на руках.

— Умирает! Мой сыночек умирает! Спаси его! Сделай милость! Он умирает! — Она запуталась в плаще Дон Хуана и остановилась, глядя на него. — Ее нет?

— Кого ты ищешь? — спросил Лепорелло.

— Святую! Ведь умирает мой сыночек! Где же Мариана?

Лепорелло указал ей на дверь в пьедестале.

— Она живет там.

Женщина кинулась к решетке, огораживающей статую.

— Пресвятая Дева Мария! Спаси моего сыночка, Мариана, будь милостива! Спаси моего сыночка!

Дверь открылась. Показалась белая стена с грубым распятием, дрожащий огонек свечи. Свет заслонила фигура в монашеском одеянии. Женщина упала на колени.

— Мариана! Благословенная раба Божия! Наложи свои руки на моего сына, ведь он умирает!

Мариана приблизилась к решетке. Протянула руки к просительнице.

— Почему ты пришла ко мне? Только Господь посылает нам жизнь и смерть!

— Господь дал тебе особую силу! Не отнимай у меня моего сыночка!

— Давай вместе помолимся Богу. Дай мне ребенка.

Они принялись молиться. Потом Мариана вернула младенца матери.

— Возвращайся домой и жди милости Божией.

Женщина удалилась с радостными криками, а Мариана осталась стоять у решетки. Потом опустилась на колени и запела:

— Benedicite omnia Domini, Domini...

Лепорелло и Дон Хуан наблюдали сцену, стоя в стороне. Лепорелло повернулся к Мариане спиной.

— Я страдаю, хозяин. От власти и славы Другого, как вы можете догадаться, у меня переворачивается нутро... Хотите, я заговорю с ней?

— Нет. Я сам.

Мариана поднялась и направилась обратно в свою келью. Дон Хуан подбежал к решетке.

— Мариана!

Она замерла. Дон Хуан собрался было перепрыгнуть через загородку.

— Стой! Сюда нельзя! Мой муж убьет вас! Кто вы?

— Ты не узнаешь меня?

— Слишком темно.

Дон Хуан повернулся к Лепорелло.

— Ты слыхал?

— Да, хозяин! Я тоже кое-что умею... Вот...

Неожиданно луч лунного света упал на лицо Дон Хуана. Мариана подошла и взглянула на него.

— Простите, сеньор. Я не помню вас.

Лепорелло хихикнул в темноте.

— Можно погасить, хозяин?

Дон Хуан отступил. Мариана, опершись на решетку, спросила:

— Что привело вас сюда?

— Я хотел... — голос Дон Хуана дрожал, он снова приблизился к ней. — А мужа своего ты помнишь?

— Дон Хуана! Как же мне его не помнить! Сколько уж лет я молюсь за него! Час за часом, день за днем, год за годом. Он уехал давным-давно, но скоро вернется. Он мне так обещал, понятно? А он никогда не лгал. Однажды вечером он вернется.

— А лицо его ты помнишь?

— Лицо? Конечно! Как мне его не помнить! Он очень красив. У него такие глаза, словно они сверкают из глубины облака. На рассвете, когда уходит луна, я гляжу на небеса, и он — там.

— Я знаком с твоим мужем.

— Скоро ли он вернется? Скажите мне, умоляю! Я боюсь умереть, не дождавшись его. Я, наверно, уже состарилась.

— Думаю, он скоро вернется.

— И он счастлив вдали от меня?

— Нет, никогда он не был счастлив.

— Если случится вам увидать моего мужа, сеньор, передайте, что я люблю его.

— Нет, я его не увижу, но в Севилье есть один человек, который встретится с ним очень скоро. Я пришел от него. Он передал тебе поклон.

— От моего супруга? Что он говорит? Он заберет меня с собой?

— Наверно, но утверждать не берусь. Этот человек сегодня вечером приглашает на ужин всех друзей Дон Хуана и хочет, чтобы ты тоже была там.

— Мне стыдно, сеньор. У меня нет другого платья, кроме этого, и я босая.

— Он пришлет тебе самое красивое платье в Севилье.

— Нет, этому не бывать. Самым красивым было платье, которое подарил мне Дон Хуан, когда венчался со мной.

— Тогда он пришлет тебе то самое платье.

— Ах, какая радость! Я возблагодарю Господа... Хотите помолимся вместе?

— Нет. Твоя радость принадлежит только тебе. Мои слова помешают твоим долететь до небес. Ступай в свою келью и жди. Через час...

— До той поры я стану молиться. Храни вас Господь.

— Это то, что больше всего мне нужно.

Мариана убежала в келью и заперла за собой дверь. Лунный луч, сотворенный Лепорелло, погас. Дон Хуан все так же стоял у решетки. Лепорелло приблизился к нему...

— Да, сеньор, это тяжкий удар, но тому есть свое объяснение. Прошло столько лет, и годы оставили след на вашем лице. Нет, вы не постарели, но что-то изменилось, тут сомнений нет. Вы приведете ее на сегодняшний праздник?

— Будет естественно, если я встречу гостей вместе с супругой.

— Только поэтому?

— Нет, ведь она может еще и выступить свидетелем защиты с моей стороны.

— А вы уверены, что сегодня свершится суд над вами?

— Ты сам намекнул мне на это.

— И вы покоритесь?

— Я принимаю вещи такими, каковы они есть, если не в моих силах изменить их.

— Но вы явились в Севилью не для того, чтобы умирать.

— Я явился сюда, чтобы докричаться наконец до небес, и не нахожу ответа. Твоя волшебная дверь до сих пор ничего мне не дала. Попасть сюда можно было и через обычную. Пошли-ка домой.

— А вы не хотите прежде повидаться со старым другом?

— Друзья наводят на меня тоску.

— Но этот теперь так близко, что было бы невежливо не поздороваться с ним. Глядите.

Луч белого света упал на памятник, и в то же время статуя начала поворачиваться на своем пьедестале, словно глиняный кувшин под руками гончара. Дон Хуан сперва опешил от неожиданности, а потом принялся громко хохотать.

— Дон Гонсало! Славный дон Гонсало! Скульптор, изваявший эту статую, был гением! Ты хорошенько разглядел ее, Лепорелло?

— Гляжу, гляжу и не перестаю дивиться. Прямо живой Командор!

— Нет, это портрет его души! Такой она и была. Чванливая, перекошенная, пустая! Ничего, кроме позы и жестов! Добрый вечер, дружище!

— Хозяин, не шутите так! Он ведь может и ответить.

— Вот было бы отлично!.. Тогда я смогу отправить с ним послание в тот мир.

— А какое же послание вы хотели бы отправить туда, сеньор?

Дон Хуан на миг смешался.

— Знаешь, а ведь я и сам толком не знаю. Потому что те, кто сердцем вопрошает иной мир, довольствуются вопросом: существует ли Бог и вправду ли мы бессмертны? Но я таких сомнений никогда не имел.

— Тогда, хозяин, любой ваш вопрос окажется праздным.

— И все же я хотел бы задать вопрос Господу: почему в сердце моем нет любви к Нему? И ответ пригодился бы большинству людей, ведь они тоже не любят Его.

— Так на этот вопрос вы и сами в силах ответить.

— Как и на все прочие, Лепорелло, почти на все. Тайны Божии столь сокровенны, что мы, люди, не ведаем даже об их существовании, и они не могут тревожить нас. А на то, что Бог не таит для себя одного, мы мало-помалу и сами станем находить ответы.

— Итак, от Командора нам проку мало.

Дон Хуан на мгновение задумался.

— Как знать. На самом-то деле величие заданному Богу вопросу придает не суть вопроса, а факт вопрошания. Само по себе это кощунство, особенно если вопрошающее сердце не опечалено, когда человек вроде меня спрашивает по чистой прихоти.

— Вот вам и способ постучаться в небесные врата.

— Да. Но что я спрошу? Ведь одно дело дерзкая выходка — на нее я всегда готов, а

совсем другое — глупость, вот чего я страшусь. Я хотел бы выглядеть в лучшем свете — то есть задать уместный вопрос. Например, когда я умру?

— И вы полагаете, небеса ответят вам?

— А я на это и не надеюсь. Я же сказал тебе, что это пустая формальность. Нужно воспользоваться случаем.

— Так окликните Командора.

Дон Хуан повернулся к Лепорелло и схватил его за плечи.

— Ты насмехаешься надо мной?

— Разве я посмел бы, хозяин! Окликните Командора. Иль боитесь?

Дон Хуан долго не сводил с Лепорелло глаз, потом отошел от него с надменной усмешкой.

— А разве не надо произносить какие-то заклинания? Ты не должен очертить круги или призвать дьявола?

— Я призываю себя самого, этого вполне довольно.

— Ах да...

— Ну же, решайтесь...

Дон Хуан снял с головы шляпу и низко поклонился статуе.

— Приветствую вас, дон Гонсало!

Тут мрамор задрожал, и изнутри пробился грохочущий голос. Кипарисы у задней стены заволновались, а белесые облачка потемнели.

— Что за безумец отваживается... Что за нечестивец стучит во врата загробного мира?

— Дон Хуан Тенорио.

Статуя опять замерла. Будь это в ее власти, она бы в страхе отступила. Фигура отбросила шпагу и уронила шляпу, которая ударилась о землю с грохотом камнепада.

— Я — Дон Хуан. Вы помните меня? Сын дона Педро. Тот богач, которого вы намеревались обобрать.

— Тот, кто вероломно убил меня!

— Не будем преувеличивать, дон Гонсало. В руках у вас была шпага, как и нынче. И прошу вас, говорите потише. В вечерней тишине ваш голос кажется ослиным ревом.

— Я говорю так, как мне угодно! И коли сам Господь не запретил мне это, тебе и подавно не дано такого права! На небесах мой голос считается одним из лучших, и когда надо пропеть соло, бегут за мной.

— Не лгите, Командор, вы не на небесах.

— Как это не на небесах? А куда еще, по-твоему, может попасть дон Гонсало де Ульоа? На самые что ни на есть небеса, самые высокие, поближе к Богу, согласно моим достоинствам и моим титулам.

Дон Хуан отвесил новый поклон.

— Что ж, очень жаль. Я предполагал побеседовать с вами подольше. В преисподней у меня, скорей всего, есть друзья, и я хотел порасспросить вас о них. Но раз вы на небесах...

Он повернулся к Лепорелло и сказал с показным смирением:

— Мы зря потеряли время, Командор спас свою душу.

— А вы спросите его, почему он стоит там, наверху.

Дон Хуан снова обратился к статуе:

— Мой друг, а он большой специалист по загробным делам, велит мне спросить, как вас занесло туда, наверх.

— Это большая привилегия. На небесах мне позволяют время от времени отлучаться, чтобы я мог послушать хвалы, которые живые воздают моей памяти. Но для чего ты звал меня? Только чтобы сказать, какой у меня противный голос?

— Я пришел пригласить вас на ужин. Но если вы будете упорствовать и лгать, я откажусь от затеи.

— Я — сама честность! Небеса для меня — вот эта величественная статуя, которая так совершенно передает мой облик.

— Но числитесь вы по адскому ведомству.

— Правда твоя, хоть я там и на особом положении. Да и не совсем понятны резоны,

по каким они меня туда поместили. Случилась ошибка. Когда я собирался пройти райские врата, меня не пропустили, по их мнению, я надел чужую личину. Это я-то, который всегда оставался только самим собой.

— И хорошо вам там, наверху?

— Очень уж скучно. Тут нет никаких развлечений. К тому же ласточки пачкают мне нос, дети смеются над моей позой. А мрамор такой холодный! У меня острый ревматизм.

— А хотелось бы вам получить короткий отпуск?

— Хоть бы ноги размять чуть-чуть!..

— Тогда милости прошу нынче вечером в мой дом. Я устраиваю ужин для друзей, вы ведь были из их числа... Итак, я жду вас в десять. Но с одним условием. Вы спросите у небес, от моего лица, когда мне суждено умереть.

Командор вздрогнул.

— А так ли тебе это нужно? Ведь остаток жизни твоей будет омрачен. Жизнь можно вынести, если мы не знаем, когда умрем, тогда нам удается забыть, что мы смертны!

Понемногу статуя обрела прежний воинственный вид и застыла в неподвижности. Вдруг она промолвила:

— Мне будто чего-то не хватает.

Лепорелло ответил:

— Шляпы! Не волнуйтесь. Я вам ее брошу.

— Но разве при падении она не разбилась?

Лепорелло метнул шляпу по воздуху. Командор поймал ее на лету.

— Ага, теперь другое дело. Кабальеро без шляпы не совсем кабальеро.

Он окончательно застыл. Дон Хуан и Лепорелло громко смеялись. Занавес упал под раскаты их хохота.

5. А я был в бешенстве. Я обожал хороший театр и поэтому не мог смириться с этим дешевым кривляньем. Теперь мне больше всего хотелось подняться на подмостки и прокричать в зал, что нельзя же так издеваться над самой возвышенной сценой мирового театра. Я бы прочел им пятую картину из пьесы Соррильи, которую с первого раза запомнил наизусть, каждое слово, а то, что мы теперь смотрели, напоминало пародию на нее.

Я бы именно так и поступил, если бы не опасался Лепорелло. Да, я боялся его, боялся, что одна его случайная реплика, один жест могут сделать меня посмешищем в глазах публики. Вот почему, пока сцена пребывала во мраке, я спокойненько сидел в своем кресле. Я даже не отваживался взглянуть на Соню. Едва ли не забыл об ее соседстве.

На сцену вернулись декорации первого акта. Горели свечи. Где-то далеко башенные часы пробили девять, и тотчас пение скрипок разнеслось по залу. Сцену пересек незнакомый слуга, он отворил дверь. Один за другим вошли музыканты. Они были в масках и играли на ходу. Их было пятеро. Следом вошел шестой персонаж, тоже в маске. Он нес ноты и пюпитры. По сигналу первой скрипки маленький оркестр прекратил играть.

— Здесь ли живет Дон Хуан Тенорио? — спросил скрипач металлическим голосом и очень громко. — Мы музыканты.

— Да уж вижу. И незачем так кричать. Слух у меня хороший.

— А я глухой! Здесь ли живет Дон Хуан Тенорио?

— Да! — взвизгнул слуга.

— Так известите его, что явились музыканты.

— Он ожидал вас. Проходите и поужинайте, пока не собрались гости.

— Вы говорите, чтобы мы шли ужинать?

— Да, именно это я и сказал.

— А! Хорошо! — Он повернулся к своим товарищам. — Вы сами слыхали, ребята! Сначала — хорошенько подкрепиться, это главное. А искусство — потом. Инструменты оставьте вон там.

— Я побуду здесь и присмотрю за ними, — сказал тот, что принес пюпитры.

По голосу и округлости бедер легко было узнать Эльвиру. Музыканты гуськом двинулись во внутренние покои, слуга последовал за ними. Оставшись одна, Эльвира подбе-

жала сперва к одной кулисе, затем к другой, словно проверяя, нет ли кого поблизости. Потом, встав посреди сцены, спела свою арию, напоминавшую фадо.

— Зачем терзает меня Судьба? Который из демонов влечет мое сердце в дом моего врага? И теперь, когда я здесь, отчего так дрожат мои ноги, отчего скована страхом моя решимость? Я хочу отомстить, а душа моя млеет; я хочу умереть, но дух мой слишком слаб. Страсть моя соткана из противоречий, они разрывают мне душу. Люблю? Ненавижу? Люблю и ненавижу разом! Я хочу целовать его, искусать ему губы и поцелуями поймать его последний вздох. А потом умереть в его объятиях — сделать в смерти своим. Мы умрем вдвоем, и пусть нас похоронят вместе, чтобы прах наш смешался в один — в один слой грязи. О Господи! Из мутного ненастья греха моего молю тебя, помоги! Но как Ты поможешь мне, если задуманное мною — грех? Я взываю к Тебе — вот еще одно противоречие. Ведь мое истерзанное сердце должно взывать к силам преисподней. Сатана, помоги мне! Возьми мою душу и помоги отомстить! Но прежде устрой так, чтобы мы любили друг друга, пусть только раз...

Она застыла, воздев руки, как Менада, и свет на сцене слегка побагровел. Вдруг зеркало резко распахнулось, и в раме появилась статуя Командора. На белом мраморе играли красноватые отблески. Эльвира отступила на несколько шагов, поднесла руки к щекам и вскрикнула:

— Боже!

Командор шагнул на сцену. Зеркало медленно закрылось. Дон Гонсало с усилием сделал несколько шагов. Поднес руку козырьком к глазам и оглядел публику. Потом увидал Эльвиру, приблизился к ней и сказал очень тихо:

— Не стоило бы при мне упоминать имя Божие! Мы не очень ладим меж собой. Здесь ли живет Дон Хуан Тенорио?

— Да, это его дом, Командор.

— Ты узнал меня? Благодарю, благодарю!

Эльвира шагнула ему навстречу.

— Я Эльвира де Ульоа, дочь твоя.

Белый плащ дона Гонсало тяжелым пламенем взмыл вверх. Он отставил одну ногу назад и воздел руки.

— Как? Моя дочь Эльвира? Сам дьявол устроил нашу встречу! Я должен, должен убить тебя, я не могу даровать тебе ни дня жизни. Ты растоптала честь мою, ты испачкала грязью мое чистое имя. Приготовься же к смерти!

— За что, отец? Твоей чести я ущерба не нанесла... Он убил тебя, но со мною не был.

Командор приосанился и с уважением посмотрел на Эльвиру.

— Ты сумела устоять? Ты показала этому негодяю, как дочь Ульоа умеет хранить честь отца? Так, дочка, так! Иди, я обниму тебя!

— Нет, отец! Я ждала его. И упала в его объятия, и он поцеловал меня, а потом убежал.

— Значит, был всего лишь один поцелуй. Правда, поцелуй добровольный. За это не убивают, но заточение ты, безусловно, заслужила. Так что придется тебе остаток жизни провести в монастыре.

— Зачем, отец? Об этом знаем лишь мы трое и больше никто. Да и сколько времени прошло!

— Но ведь надо блюсти видимость, формальности. Честь, как тебе известно, это вопрос формальный. Все зависит от того, каким манером что-то делается, и ты либо лишаешься чести, либо, напротив, украшаешь ее новыми заслугами.

— Тогда скажи мне, отец, каким манером убить мне Дон Хуана, чтобы спасти свою честь?

— Что за глупости! Коли он не лишил тебя чести, зачем убивать его? Один-единственный поцелуй, рассуждая здраво, бесчестия не несет. Хватило бы и крепкой пощечины...

— Я люблю его, а он мною пренебрегает. Я — женщина, чьи надежды и ожидания были обмануты: он поманил меня, разбередил желания и покинул — вот самая жестокая насмешка, на нее способен насмешник, лишенный души. Разве ты считаешь, что этого мало, чтобы я убила его?

Дон Гонсало слушал ее в изумлении, легко покачивая головой. Когда Эльвира кончила, он вышел на просцениум, чтобы исполнить свою арию.

— Мое отцовское сердце, хоть и стало теперь хладным мрамором, растрогано; но мое положение, моя незапятнанная... Да, незапятнанная, безупречная репутация... Я не должен поддаваться чувствам. И все же я восхищаюсь мужеством дочери и благодарю небеса за то, что с кровью она унаследовала и лучшие черты нашего рода. Она тоже Ульоа! Так вот, отдав дань чувствам, взглянем на положение дел бесстрастно. Эльвира может убить его, а может и не убивать. В первом случае ее заточат в темницу, ибо судьи никогда не прощали преступлений, совершенных на любовной почве, и хотя дурная слава жертвы послужит смягчающим обстоятельством, нескольких лет неволи ей не избежать. А если не убьет? Если не убьет, репутация ее изрядно подпортится, ибо преступление возвеличивает, а задуманное, но не совершенное преступление делает человека посмешищем. Кроме того, все складывается таким образом, что вроде бы чья-то смерть просто необходима... Не для того же вытянули меня из преисподней, чтобы я посидел на дружеской пирушке. Мое присутствие в этом доме возвещает трагическую развязку, которая станет и развязкой вполне логической, потому что типы, подобные Дон Хуану, не могут закончить свои дни тихо и мирно — в собственной постели. Кто с мечом пришел, тот от меча и погибнет! Око за око, зуб за зуб! Так что вывод один: смерть его неизбежна, только надо извлечь из всего этого какой-никакой прок.

Он с задумчивым видом сделал несколько шагов и застыл в дальнем конце сцены.

— Дон Хуан дал мне поручение, но я не сумел его выполнить. Вот уж полчаса как ношусь я по звездным высям, взывая к небесам, но небеса молчат. Мне придется признаться, что там не считаются со мной, что вопли мои затерялись на эфирных пустошах, а это подпортит мою репутацию. Потому что такой человек, как я, если он является с того света, должен непременно изрекать что-нибудь ужасное, его слова должны разить, как огненные молнии. Скажем так: «Небеса велели мне сообщить тебе, Дон Хуан, что ты умрешь завтра, и пощады тебе не будет». Или что-то в том же роде, но очень жуткое. — Он провел рукой по лбу. — Вот! Придумал! — Мраморный палец указал на Эльвиру. — Ты готова убить его?

— А ты все еще сомневаешься?

— Сегодня же ночью?

— Непременно!

— Вот и выход! Я возвещу ему близкую смерть, словно передавая волю небес, скажу, что умрет он нынче же ночью, — и честь моя будет спасена. Да! Для Дон Хуана я останусь человеком, которому небеса поверяют свои тайные замыслы, которого вводят в курс небесных расчетов. Послушай, Эльвира! А ты можешь поклясться, что рука твоя не дрогнет?

— Если только Дон Хуан не переменит решения...

Командор заломил руки.

— Нет, женщины способны любого вывести из себя! Стоит Дон Хуану улыбнуться — и все летит к черту! А мне нужен определенный ответ, я должен знать, на что мне полагаться!

— Вот мой ответ: если Дон Хуан не согласится обольстить меня, я убью его.

— Будем надеяться, что Дон Хуан не меняет своих решений. Он человек слова. Но учти, ты должна занести над ним кинжал лишь после того, как я со всей торжественностью возвещу, что пришел час его смерти.

— Ладно.

— И еще помни: ловкий адвокат сумеет защитить тебя перед любым судом, доказав, что ты стала орудием божественной мести.

— Я больше полагаюсь на свою маску, она поможет мне скрыться, убив его.

— Убив!.. Забудь это слово. Ты отомстишь за гибель отца.

Эльвира покачала головой.

— О твоей гибели я успела позабыть, да и не слишком тогда горевала. Разве ты не помнишь, отец, что я не любила тебя? Тебе нравилось поглаживать мои плечи, и это вызывало у меня омерзение.

Дон Гонсало зарычал так, что закачались декорации. Но он быстро успокоился и словно нехотя спросил:

— Так ты догадалась?

— Все кругом догадались. А я тогда думала, что если бы другой мужчина ласкал меня так же, как ты, это было бы мне приятно.

Командор зашептал ей на ухо:

— Я был влюблен в тебя, за это меня и отправили в ад. Никому не рассказывай, но, по совести сказать, только за это. Остальное мне бы простили. Знала бы ты, дочка, сколько стариков погубили так же свою душу! Кровосмешение происходит гораздо чаще, чем ты думаешь. Есть старички, которые попали в преисподнюю из-за того, что целовали дочерей за ушком, или за то, что подглядывали в замочную скважину, когда те одевались, или за то, что совершенно невинно щипали их за мягкое место. Но главным образом в ад попадают те, кто убил любовников своих дочерей, якобы защищая их честь, но по правде-то — из ревности. Ах, дочь моя, в аду все всплывает наружу! — Он положил руку Эльвире на плечо, потом прижал ее к своей мраморной груди. — Зато, когда ты умрешь, в аду я смогу любить тебя безнаказанно. Там прощаются любые грехи.

— И в аду я буду любить Дон Хуана.

— Одна надежда, что твой Дон Хуан и на том свете откажет тебе в любви! А теперь пойдем отсюда! До ужина осталось полчаса.

— Я спрячусь где-нибудь здесь.

— А почему ты не желаешь побыть с отцом? За эти полчаса мы могли бы прогуляться меж звездами. Это так забавно. Ну же! — Он отворил дверь-зеркало и показал Эльвире дорогу в пустоту. Эльвира заколебалась. — Да лучшего укрытия ты не найдешь. Мы будем все видеть, а нас никто не заметит.

Эльвира пожала плечами и медленно перешагнула порог зазеркалья. Дон Гонсало последовал за ней и закрыл зеркало за собой. Возникла пауза. Башенные часы пробили четыре. Сцену залил естественный дневной свет. Тут распахнулась левая дверь и появился Лепорелло. Не закрывая двери, он застыл в низком поклоне. Следом вошла Мариана. На ней был черный плащ с капюшоном.

Мариана огляделась.

— Но ведь это дом Дон Хуана!

— Это дом, который вы покинули, чтобы принести покаяние, но он остается вашим.

— Зачем вы привели меня сюда? Мне так тревожно. Ведь я поклялась не возвращаться в этот дом, пока в него не воротится мой муж. Но коли супруга моего здесь нет, кто защитит меня?

— Здесь находится лучший друг вашего мужа, тот, что привез вам весточку, он не даст вас в обиду. Не желаете ли снять плащ? Вот зеркало, взгляните, как сидит на вас платье.

— Мне нет до этого дела. Красивой я хотела бы быть только для супруга. Но если он и дальше будет оставаться где-то далеко, вернувшись, он найдет меня старухой. Не правда ли?

Лепорелло мягко снял с нее плащ. На Мариане было великолепное шитое золотом платье, волосы распущены по плечам.

— Взгляните в зеркало. Вы забыли это платье? Это ваш свадебный наряд.

Мариана закрыла лицо руками.

— Я боюсь!

— Успокойтесь. Вы стали еще красивей. Побудьте здесь. Я доложу о вашем прибытии.

Мариана осталась одна, она вышла на просцениум и встала с левой стороны, чтобы исполнить свою арию.

— Боже мой! — воскликнула она. — Почему в душе моей просыпаются былые страхи? Почему я слышу бесстыдную песнь тоски?

Но ария ее на этих словах и оборвалась: на сцену вышел Дон Хуан. Мариана услыхала его шаги. Она скрестила руки на груди и опустила голову.

— Сеньора!

Дон Хуан протянул ей руку. Чуть помешкав, Мариана робко подала ему свою, и Дон Хуан поцеловал эту руку.

— Где же мой супруг? Какую весть привезли вы от него?

Дон Хуан, не отпуская руки Марианы, заглянул ей в глаза.

— Ваш супруг далеко, и он любит вас.

— Зачем же он не едет?

— Ему запрещает море. Стоит Дон Хуану сесть на корабль, как из пучины морской начинают подниматься ужасные чудовища.

— Море? Боже! — Мариана зарыдала. — Раз море не хочет этого, он никогда не воротится. Чудовища не знают пощады и никогда не умирают. А мне так нужно, чтобы он приехал!

— Он просил передать вам прядь своих волос.

Свободной рукой Дон Хуан протянул Мариане медальон. Но она не осмеливалась принять его.

— Прядь его волос? Белокурая прядь! Разве Дон Хуан был светловолос? Ах, не могу припомнить! Столько времени прошло!.. — Внезапно Мариана отпрянула от Дон Хуана, схватив медальон. — Его волосы! Он посылает мне свои волосы! Словно посылает свое сердце!

— Да, но почему вы отняли у меня свою руку? Почему не хотите взглянуть мне в глаза? Разве вы не угадываете там глаз Дон Хуана?

Мариана снова протянула ему руку и наконец оторвала взгляд от медальона.

— Вот вам моя рука, коли желаете. А ваши глаза... Зачем вы так смотрите? Они не похожи на глаза Дон Хуана. Нет, никакого сходства... Но зачем вы так смотрите на меня?

— Просто смотрю.

— А мне нравится. Ваши глаза похожи на звезды. Две звезды, и я уже видала их однажды... Да, да... Однажды эти звезды смотрели на меня, как и теперь. Вы не помните, когда это было?

— Нет.

— И я не помню... Наверно, мне только показалось. Смотрите же на меня! Так хорошо, когда на тебя смотрят звезды!.. Словно внутри у меня что-то засветилось.— А мои руки? Вам хочется, чтобы они обняли вас?

— Ваши руки?

Дон Хуан обнял ее и прижал к себе.

— Ваши руки!.. Да, мне нравится, нравится... Но зачем...

— Я хочу обнять вас еще крепче. Ваши губы...

Дон Хуан поцеловал ее. Мариана бессильно повисла на его руках, но губ своих не отвела, ответив на поцелуй. В зеркале появилось напудренное лицо дона Гонсало.

Занавес стремительно упал.

6. Но не более чем через минуту снова взмыл вверх. На сцене стояла живописная и пестрая группа, шесть человек в масках — по три с каждой стороны — встали у зеркала: архиепископ, коррехидор, капитан, председатель рыцарского общества, настоятель картезианского монастыря и главный судья. Все разряжены в пух и прах.

Перед ними, спиной к публике, стоит и что-то пылко объясняет им Командор. В стороне, тоже не снимая маски, застыла Эльвира.

— Я видел, как он вошел! — вопил Командор. — И последовал за ним! Он взял ее на руки и понес в спальню, потом раздел ее и возлег с ней на постель. Мариана — его жена, но не знает, что обнимает собственного мужа. Так что Дон Хуан наставляет рога самому себе!

— Можно сказать, он воздает себе же по заслугам, — заметил коррехидор.

— Но я хочу вас спросить: не зазорно ли для нашей чести сесть за стол с рогоносцем? — спросил капитан.

— Все зависит от подхода, — ответил архиепископ. — Психологически Дон Хуан сам себя украшает рогами, но с нравственной точки зрения он всего лишь выполняет свой супружеский долг. Время и место выбраны не слишком удачно, хотя надо иметь в виду и то, сколько лет они не виделись.

— Протестую, — подал голос главный судья. — Доведись мне разбирать это дело, я обвинил бы супругу в прелюбодеянии...

— Я вел речь не о ней. С ней все ясно: она дала себя соблазнить незнакомцу.

— А я, — заявил капитан, — брошу в лицо Дон Хуану перчатку, как только он здесь появится. Если все было так, как рассказывает Командор, супругу винить не в чем — Дон Хуан ее загипнотизировал.

— Так как мы поступим?

Рыцарь указал на Командора.

— Мы могли бы составить трибунал, который рассмотрит дело и вынесет решение. Нас как раз столько, сколько нужно. Настоятель возьмет на себя защиту.

— Почему вы молчите, падре?

Картезианец поднес палец к губам, и архиепископ поспешил пояснить:

— Но он же картезианец и не может говорить. Если понадобится, я сделаю это за него.

— Где же наш подсудимый? Не станем же мы разбирать его дело, если он так и будет оставаться в соседней комнате.

Дон Гонсало, который стоял все это время посреди сцены — плащ свисает с одного плеча, шпага касается пола, — призывая всеобщее внимание, поднял руки:

— Минуту, сеньоры, минуту! Ведь прежде чем мы учредим трибунал, надо решить один важный вопрос. Кто будет его главой?

Архиепископ и судья хором ответили:

— Я! Кто ж еще?

Они взглянули друг на друга, и в этом взгляде крылось извечное соперничество церкви и государства.

Командор со смешком встал между ними.

— Ну? Я так и знал! Теперь мы затеем нескончаемый спор. А Дон Хуан меж тем своевольничает!

— Нет, я не отступлюсь, — в сердцах заявил судья. — Там, где речь идет о протоколе, суд будет непреклонен.

— А разве могу уступить я? Ведь даже после смерти я останусь архиепископом. Нет, не могу я совершить такой страшный грех.

— Сделаем иначе, — положил конец раздору Командор. — Пускай каждый из вас двоих займет свое место, а я сяду посередине. Я единственный умерший среди вас и покинул сей мир по вине Дон Хуана, что дает мне некоторые права. К тому же я — статуя, то есть существо безжизненное, но и значительное, я могу занять вот это кресло в центре, не задевая чьей-либо чести... И наконец, белизна моего мрамора, оказавшись в центре, пригасит всю эту пестроту, ведь одеяния ваших милостей никак не гармонируют меж собой.

— А я — справа от вас, — решительно заявил архиепископ и сел.

— Ваша пурпурная мантия очень кстати на этом месте, при условии, что черная мантия главного судьи окажется у меня по левую руку. А остальные пусть рассаживаются как им угодно.

Все в мгновение ока расселись.

— Ты, Эльвира, будешь свидетелем обвинения, — повернулся к ней отец. — А так как людей у нас маловато, станешь выполнять и мелкие поручения суда. Вызываем обвиняемого!

Эльвира бросилась к двери, расположенной справа.

— Дон Хуан! — крикнула она дрогнувшим голосом.

Но появился Лепорелло.

— Мой хозяин просит вас проявить немного терпения. Пока он еще занят с неким гостем, коего долго ожидал, но вот-вот освободится и предстанет перед вами. Ежели желаете, я приведу музыкантов, к тому же сеньоры могут что-нибудь выпить.

— Какая еще музыка, какое выпить! Мы не гости Дон Хуана — мы судьи его.

Лепорелло отвесил поклон.

— В таком случае мой хозяин сию же минуту явится. Он всегда с уважением относился к правосудию.

— Как он смеет заставлять суд ждать себя!

— Мой хозяин смеет все, Командор. Вам ли этого не знать!

Лепорелло, снова отвесив поклон, вышел, и Командор, вскочивший было, чтобы сказать ему что-то в ответ, так и остался стоять.

— Господа, мы можем использовать эту небольшую паузу, чтобы договориться меж собой.

— Все и так ясно! — крикнул капитан. — И для вас, и для меня Дон Хуан — человек, запятнавший свою честь, для судьи — преступник, для церкви — грешник.

— Тогда не о чем больше и толковать.

— Но пока он не явится, нам надо о чем-то говорить. Не станем же мы молчать как статуи.

— Правда, мы уже успели убедиться, что статуи порой болтают без умолку, — неожиданно вставил слово монах-картезианец.

Но как раз в этот момент в зал вошел Дон Хуан. На нем был черный костюм. Лепорелло шел следом и нес его плащ и шляпу.

— Сеньоры...

— Сеньоры судьи, следовало бы сказать, — поправил его Командор.

— Как друзей я готов принять вас в своем доме и приветствовать, но в качестве судей даю вам отвод. Кто дал вам право судить меня? Кто вы такие?

— Мы те, на ком держится власть в этом мире; мы — власть и сила.

Дон Хуан повернулся спиной к архиепископу.

— Я не верю в абстрактные понятия...

Со своего места резко поднялся капитан.

— Как вы смеете?..

— Как я смею? Сметь — мой обычай.

— Моя шпага научит вас быть учтивей.

— Спросите у Командора, как я поступаю с теми, кто любит хвататься за шпагу.

— Вы должны с уважением относиться к королевскому правосудию, — торжественно произнес судья.

— Король помиловал меня, так что руки у его альгвасилов отныне связаны.

— А церковь? С нашей властью вы тоже считаться не желаете?

Дон Хуан повернулся к Лепорелло.

— Предъяви сеньору архиепископу буллу его святейшества. Ваша милость сможет убедиться, что я получил полное отпущение грехов и могу многое себе позволить.

— Здесь какой-то подвох! — сердито крикнул Командор. — Дон Хуан убил меня, и смерть моя осталась неотмщенной!

— Обвинение снято за давностью лет.

— Тогда зачем мы собрали этот трибунал?

— Чтобы слегка поразвлечься, пока не настал час ужина.

— Он насмехается над нами!

— Я вовсе не желал обидеть вас. Напротив, я оценил остроумие вашей шутки... Но время идет, прошу в столовую. Ужин подан. Лепорелло, пригласи сеньору.

Лепорелло вышел, Эльвира выступила на середину сцены.

— Не позволяйте обмануть себя! Его устами говорит сам дьявол! Судите же его, пока он не скрылся!

Дон Хуан протянул к ней руки.

— Эльвира! Ты здесь? Прости, что не поклонился тебе первой. Я надеялся увидеть тебя сегодня и оставил за тобой место по правую руку от себя. Думаю, отец твой не станет возражать: я буду почтителен к тебе.

Дон Гонсало подпрыгнул на стуле.

— Негодяй!

— Не тревожьтесь, Командор. У нас с Эльвирой особые отношения. Ах да... Не принесли ли вы для меня какой-нибудь весточки? Или небеса не слишком считаются с вами?

Командор стукнул по столу каменным кулаком.

— Небеса услыхали меня! Как им не услыхать меня? И я принес их приговор.

— Каков же он?

— Ты хочешь услышать его прямо сейчас? Без должной торжественности? Ты полагаешь, что послания небес можно передавать вот так, мимоходом — по пути из гостиной в столовую? — Командор покинул свое место во главе стола и вышел вперед. Остальные судьи встали. Лепорелло высунул свою хитрую рожу из двери. — Сеньоры, вообразите огромнейший четырехугольник, небо, пересеченное по диагонали величественным облаком. По этим бескрайним пространствам скитается, затерявшись в небесной синеве, моя душа, она взывает к отмщению. Время от времени я складываю руки рупором и вопрошаю Тайну: «Когда придет смертый час Дон Хуана?» Но Тайна хранит молчание. А молчание небес, сеньоры, страшно. Оно не похоже ни на одно другое молчание. Это Молчание с большой буквы. И что есть мой глас в этой пустоте? Ничто, меньше чем ничто. Я начинаю опасаться, что меня вообще нет и что мои вопли — всего лишь сон призрака, который приснился сам себе. «Когда придет смертный час Дон Хуана Тенорио?» — повторяю я на весь мир, пытаю у всех ветров, и мною овладевает отчаяние. И ветры молчат. Но я вопрошаю все настойчивей, вопрошаю смиренно и уже совсем теряю надежду получить ответ, когда небеса вдруг разверзаются и верхушка облака озаряется волшебным светом. Из облака летят сильнейшие раскаты грома и молнии, и звездный мир содрогается словно от страшного землетрясения. Бабаххх! Я падаю на колени и закрываю лицо руками. «Свят! Свят! Свят!» — восклицает мое сердце. И тут с вышины докатывает до меня, словно огромная волна: «Дон Хуан умрет нынче ночью!»

Командор сопровождал рассказ лихорадочными жестами, решительными ударами по столу, весь изгибался, приседал, размахивал кулаками и грозно топал ногами. Плащ свалился с него — его тотчас подхватил Лепорелло, — гофрированный воротник измялся. (Актер играл очень хорошо. Публика встретила аплодисментами этот монолог, написанный на безупречном французском. Дон Гонсало поблагодарил зрителей за аплодисменты.)

— Нынче ночью? — вкрадчивым голосом переспросил Дон Хуан.

— Так сказали небеса, а небеса никогда не лгут! Это случится нынче ночью, Дон Хуан!

— Что ж, сеньоры, тогда мы должны поспешить, не умирать же мне прежде, чем мы поднимем бокалы. Лепорелло, ты пригласил сеньору?

— Она ждет вас. Я не рискнул прервать пылкие речи Командора.

Он отворил дверь. Все повернули головы в ту сторону. Лепорелло застыл в низком поклоне. Появилась Мариана — босая, растрепанная, в одной рубашке. Она остановилась, прислонившись к дверному косяку, опустив голову и скрестив руки на груди.

Архиепископ вышел из себя.

— Еще одна шутка, Дон Хуан? Кто эта женщина?

Он ткнул в сторону Марианы рукой, затянутой в пурпурную перчатку, на одном из пальцев сверкал епископский перстень. Мариана подняла голову.

— Я — продажная женщина. — Она тряхнула волосами, и взорам гостей открылось ее бледное, угасшее лицо. — Я была шлюхой много лет назад, уж не помню сколько, но однажды я встретила того, кто стал моим супругом, и он своей любовью возвысил меня до Господа. А потом мой супруг уехал, а я принялась каяться. Все вы видели, как я собирала на улицах Севильи подаяния для бедных. Но час назад меня нарядили в золото и привели в этот дом. И какой-то мужчина поцеловал меня, и я отдала ему свое тело. Отчего я так поступила? Трудно сказать, но из его объятий я вышла такой, какой была прежде. Теперь все мужчины Севильи могут снова насладиться моим телом, и я стану все глубже и глубже погрязать в грехе. — Она покачала головой из стороны в сторону. — Не глядите на меня так. Разве вы никогда не видели вблизи потаскуху? Грустное зрелище, ведь даже молодостью я не могу теперь похвастаться. За час я постарела на двадцать лет. Я — старая шлюха. — Она резко выпрямилась и пошла через сцену. Присутствующие расступались. — Только, ради Христа, никому о том не рассказывайте. Чтобы супруг мой ничего не прознал. Надеюсь, Господь приберет меня прежде, чем он вернется. — Она остановилась. — Ведь он вернется, правда? Вернется, когда на море не останется чудовищ. И в тот день, когда он вернется, он убьет всех мужчин, которые мной попользовались... — Она быстро повернулась к Дон Хуану. — А тебя — первого, ведь ты разрушил то, что он сотворил. — Она сделала несколько неверных шагов в сторону мужа. — Тебя — пер-

вого, но ты должен бежать, скрыться... Обещаешь? Я не хочу, чтобы ты погиб. — Она глубоко вздохнула. — Ведь я была счастлива в твоих объятиях, очень счастлива, совсем как с Дон Хуаном. Но это не снимет с нас вины.

Она обняла его и поцеловала. Потом выбежала из комнаты. Все повернули головы в сторону двери, за которой исчезла Мариана. В тишине — за сценой — послышались звуки виолончели, на самых низких, волнующих нотах. Яркий свет прожектора был направлен на маски, так что резкими пятнами выделялись киноварь и свинцовые белила. Командор, гости застыли в неподвижности, застыли внезапно — на полуслове и полужесте. Руки одних указывали на дверь, руки других — на Дон Хуана. Застышие в воздухе руки проклинали и угрожали. Ноги же их не успели опуститься на пол, они тоже застыли в движении, не закончив шага. Из партера кто-то щелкнул фотоаппаратом, и в тот же миг замершие фигуры ожили, каждое движение получило завершение. Дон Хуан вышел на просцениум.

— Что ж, и теперь небеса хранят молчание? — крикнул он. — И нет у ангелов хоть капли милосердия? И Дон Хуану не будет послано раскаяние?

— Что там говорит этот человек? — спросил Командор. — О чем он? К чему это теперь?

— Кажется, он спятил, — прошептал коррехидор.

— Это — часть спектакля, — капитан положил руку на эфес шпаги. Эльвира так и стояла в стороне. Дон Хуан, занявший место посредине сцены, воздел руки к небесам и уже начинал сжимать кулаки. Эльвира приблизилась к нему.

— Хуан, но осталась я... Если тебе нужно утешение, сорви его с моих губ. А если тебе нужно забвение, я сотру из глаз твоих воспоминание. Пойдем со мной. Суд Божий — далеко: до того как нас настигнет смерть, мы успеем насладиться жизнью. Пойдем со мной, Хуан! Цветы в моем саду наполняют воздух ароматом! Пойдем и вместе вдохнем его, забудемся любовью!

— Любовью? А что это такое?

— То, что мое тело может дать тебе! То, что нужно твоему телу!

— Мне нет дела до любви, Эльвира. Я мечтаю об одном — чтобы Бог дал мне хоть какой-нибудь ответ, чтобы явил мне свой гнев иль милость свою, пусть сердце мое наполнится болью, лишь бы он крикнул мне: «Ты пред моими очами, Хуан! Я не забыл о тебе!» Ты, Эльвира, сулишь мне опьянение и слепоту, а я хочу бодрствовать.

Эльвира вытащила кинжал.

— А если я и есть ответ Всевышнего?

Дон Хуан спрятал руки за спину, накрепко сцепив их сзади.

— Так отвечай же, пусть ответ падет на мою грудь. Я не боюсь. И все приму как справедливую кару. Тот, кто обольстил Мариану, кто покусился на ее святость, должен умереть. Как и тот — разумеется! — кто наставил мне рога.

— Смерть ему! — возопил Командор.

— Смерть ему! — закричали гости.

Зрители повскакивали с мест и тоже проорали:

— Смерть ему! — и тотчас сели на свои места.

— Ты слышишь, Эльвира! — сказал Дон Хуан спокойно. — Все требуют моей смерти.

Рука Эльвиры дрожала. Ладонь ее разжалась, и кинжал упал на пол. Дон Хуан нагнулся, поднял его и протянул ей, подставив в то же время свою грудь. Эльвира глянула на кинжал.

— Нет! — зарыдала она. — Нет, не могу. Не могу. — И вдруг, оглушительно вскрикнув, вонзила кинжал в собственную грудь.

— Это ошибка, — закричал дон Гонсало. — Сцена должна быть иной. Умереть должен Дон Хуан, а никак не моя дочь.

Он вырвал кинжал из ее нежной груди. Дон Хуан все еще стоял, готовый принять удар. Дон Гонсало взглянул на кинжал и обратился к публике:

— Кто-то ведь должен сделать это!

И решительно вонзил кинжал в Дон Хуана. Ноги Дон Хуана подогнулись, он рухнул на пол.

— Ни небеса, ни земной мир не отважатся оспаривать мои права! — провозгласил Командор и торжественно отступил на задний план. Он словно ждал продолжения сцены, но, казалось, ход действия приостановился.

Свет на сцене опять изменился. И шесть гостей, не произнеся ни слова, деловито стали снимать костюмы и маски и вешать их — платье за платьем, маску за маской — на вбитые в стену гвозди, так что каждая маска оказалась поверх соответствующего одеяния. Трое остались в черном, трое — в красном. Они расселись на судейские кресла, по обе стороны от пустого председательского места.

Лепорелло опустился на колени рядом с хозяином и склонился над ним. Командор перевел взгляд с покойного на прочих участников сцены и, увидев, что они вновь расселись, воскликнул:

— Вот так да! Но о таких штуках надо предупреждать заранее! Тут я попал впросак! Я-то принял вас за всамделишных гостей... Да вы никак бесы? Сразу видно.

— Если желаешь опять быть главным, садись вон туда, — сказал один из тех, что были в черном.

— Нам все равно, и коли тебе хочется...

— Я сяду, но при одном условии: мы станем судить Дон Хуана за то, что он убил меня.

— Сначала любопытно было бы прояснить кое-что другое. Потом, ежели желаешь, мы устроим суд над ним. Был он свободен или не был? Это нам предстоит установить.

— Он был свободен! — закричали черные.

— Он не был свободен! — закричали красные.

Лепорелло приблизился к столу и оперся на него обеими руками. Он с насмешкой смотрел на судей.

— А почему бы вам не спросить его самого? В конце концов, ему есть что сказать на сей счет.

— Спросить-то можно, но этого мало. Надо изучить вопрос с предельной тщательностью. Если он и считал себя свободным, это вовсе не значит, что так оно и было на самом деле. К тому же в финале он возжелал раскаяться, но не сумел. Отчего бы это? Нет ли тут нашей вины? Нет и нет, мы держались в стороне. Если Другой отказал ему в милости...

— Не пойму, о чем вы тут толкуете, галиматья какая-то, — вмешался в разговор дон Гонсало. — Но если можно пробудить Дон Хуана, то сделайте это. По чести говоря, я должен сообщить ему кое-что еще.

Лепорелло неспешным шагом приблизился к тому месту, где лежал Дон Хуан.

— Поднимайтесь, хозяин.

— Так ты продолжаешь величать его хозяином? — спросил, корчась от смеха, Командор. — По мне, так и ты — один из этих.

Лепорелло встал, уперев руки в боки.

— Я зову его так, как звал всегда, как буду звать во веки веков. Дон Хуан, вставайте! Давайте-ка я подсоблю вам!

Он помог Дон Хуану приподняться. Тот провел ладонью по глазам, огляделся, увидал новый состав суда и указал на него пальцем...

— Что это? Еще один суд?

— Видимо, так, хозяин.

— Скажи им, чтобы убирались вон. Я уже знаю дорогу в ад и душу сумею погубить без посторонней помощи.

Один из красных поднялся.

— Дело вот в чем: если будет доказано, что судьба твоя явилась исполнением предначертания Всевышнего, мы закроем перед тобой наши врата и пусть с тобой разбираются небеса.

Дон Хуан уже успел подняться на ноги. Кинжал продолжал торчать у него из груди. Он выдернул его, искоса оглядел и передал Лепорелло.

— Держи. Сохрани на память. Что касается вас, — он обращался к бесам, стоя к ним вполоборота, всем видом своим выражая пренебрежение, — в вашем суде я не нужда-

юсь. Дон Хуан во мне умер, и я останусь им навеки. Где найду я приют? Как знать! Да и какая разница! Ад — это я сам.

Один из красных продолжал настаивать:

— И все же мы должны провести дознание. Ты был — как бы получше выразиться? — чем-то вроде подопытного кролика, а опыт наш имел трансцендентальное значение. И спор между ними и нами может быть разрешен, только когда станет ясен результат эксперимента.

— А я могу отказаться? — спросил его Дон Хуан.

— Мы такого варианта не предполагали, но, думается, можешь.

— Тогда я отказываюсь.

В разговор вмешался Лепорелло:

— Разве это что-нибудь доказывает?

Красный плюхнулся на свое кресло.

— Доказало бы, что он свободен дьявольски.

— Я не только отказываюсь, но и отвергаю мысль, будто могу попасть в вашу преисподнюю. Разве вам неведомо, что мы, Тенорио, располагаем собственным, приватным адом? Господь пожаловал нам эту привилегию, подивившись нашему высокомерию и нашей гордыне! «Таких людей, как эти, надо держать отдельно, а то преисподняя у меня взбунтуется!» — Дон Хуан взял из рук Лепорелло шляпу и плащ. — Мои предки вот-вот призовут меня к себе. А чтобы предстать перед ними достойным образом, никак не обойтись без шпаги и шляпы с перьями. Тенорио ревностно следят за соблюдением приличий. Они скорее простят смертный грех, чем прегрешение против этикета.

В тот же миг, благодаря искусной игре света и движению занавеса, сцена преобразилась. На первом плане стоял Дон Хуан. Шпага — на поясе. Шляпа — в руке. Фигура его попала в белый луч. На втором плане, окутанные красным светом, сидели шесть бесов. Они выглядели слегка растерянными, но старались держать марку. Дон Гонсало успел занять место среди них. А на заднем плане, над зеркалом, простиралось темное и, как казалось, бесконечное пространство. Игра мрачных бликов и искусственных перспектив создавала особый эффект: где-то очень далеко можно было различить толпу теней, стоявших полукругом.

— А вот и они! — воскликнул Дон Хуан радостно. — Они, Тенорио, род, от которого унаследовал я кровь и жизненные заповеди. Что за беда, если и небеса и ад отвергают меня, лишь бы Тенорио были рады принять меня к себе. Я здесь, предки!

Из полукруга отделилась одна тень и шагнула к зрителям. Казалось, она явилась очень издалека — шла медленно и устало. Разумеется, на ней были черные одежды, и правая перчатка свисала с левой руки, словно по небрежности. Дон Хуан взмахнул шляпой.

— Добрый вечер, дон Педро!

Дон Педро сделал еще несколько шагов. Он словно не касался ногами пола и парил в воздухе, над сценой.

— Добрый вечер, Дон Хуан.

— Наконец мы снова свиделись и на сей раз уж никогда не расстанемся.

— Ты ошибаешься, — ответил дон Педро торжественным и слегка надменным голосом. — Мы больше никогда не встретимся. Род Тенорио возложил на меня обязанность уведомить тебя об этом.

Дон Хуан попятился назад.

— Как? — спросил он. — Разве я не умер? А ты — разве не отец мне? Разве нет рядом с тобой места для меня?

— Место-то и вправду есть, но ему суждено пустовать во веки веков. Мы единодушно порешили изгнать тебя из нашего сообщества.

— Вот это славно, славно! — вмешался дон Гонсало. — Так и должны вести себя благородные люди.

— Я выполнял ваш закон и ни на миг не отступал от него. Я убил дона Гонсало и теперь нахожусь здесь.

— Да, это так, и спешу тебя уверить, что это нас сильно порадовало.

— Так в чем же причина?..

— Не причина, а причины, мелкие причины. Прежде всего — людская молва. Ты не проявил должного уважения к Богу, что простительно, и мы тебе это простили. Многие из нас тоже не слишком его почитали. Но ты отказал в уважении обществу, чему нет прощения. Представь, какой скандал разгорелся бы, если б мы, Тенорио, самые почитаемые люди в Севилье, благодушно приняли в свои ряды на веки вечные того, кто насмеялся над издревле заведенными порядками? Это будет воспринято как одобрение, но ведь мы не можем одобрить человека, который вел себя порой как наглый смутьян. Да, как наглый смутьян, хоть и величайший из великих! Поди поищи среди нас такого, кто не совращал невинных девиц! Кто не наставлял рога мужьям! Но при этом мы никогда не посягали на основы основ. А основы в данном случае известно каковы: обольститель — пленник страсти, но он признает за отцом или супругом право наказать соответственно дочь или супругу. Но ты-то, соблазняя, никогда не пылал страстью, ты всегда был холоден. Ты впутывал в свои дела Бога, и победы твои получались такими возвышенными, неземными, что права отца и мужа лишались должного смысла. Ведь женщину ты оспаривал не у них, а у Господа! Ты не их полагал оскорбить, а Всевышнего! И вот скажи мне теперь: какую роль оставлял ты за отцами и мужьями? С чего им наказывать соблазненную тобой, если обида их вроде и не затрагивала? Хуан, сын мой, я просто обязан защитить права тех, с кем ты так дурно обошелся. Вы, трагические герои, несете в себе угрозу общественному порядку... Во имя отцов и мужей, которых ты выставил на посмешище, я отрекаюсь от тебя. Ступай прочь!

Он говорил очень сурово, а в это время клан Тенорио медленно приближался к ним, так что к концу речи старика родичи уже окружали его, и, когда дон Педро, вытянув руку, указал перстом в глубь театра, множество бледных рук взметнулись из мрака и повторили его жест.

Дон Хуан, казалось, растерялся. Он точно окаменел, не произнеся ни слова в ответ и низко опустив голову. Лицо его было освещено лучом света. Но внезапно он весь как-то сжался, затем схватился за поясницу и принялся хохотать. Словно волна колыхнула клан Тенорио.

— Значит, из почтения к этим глупцам я навсегда рассорился с Богом? — воскликнул Дон Хуан. Он вытащил шпагу и ткнул в толпу теней: — Вон! Ступайте в ваш ад и оставьте меня в моем, мне и его достанет. Я проклинаю вас, ненавижу! Я не зовусь больше Тенорио, меня зовут просто Хуан!

Тени сбились в кучу. Из толпы полетели крики возмущения, проклятия. Призраки повернулись спиной к зрителям и бегом кинулись туда, где сгущался мрак. Три красных беса и три черных толкались перед зеркалом, пытаясь загородить его своими телами. Дон Гонсало остался один за столом в председательском кресле и не знал, что делать: рука его искала колокольчик, чтобы навести порядок в зале.

Дон Хуан высокомерно бросил:

— Не тревожьтесь. Путь в мой ад пролегает не через эту дверь. Лепорелло, мой плащ!

Лепорелло вынырнул из угла и протянул ему плащ.

— Вот он, хозяин.

Дон Хуан перебросил плащ через руку. Надел шляпу. Глянул в одну сторону, потом в другую. Дон Гонсало встал, будто готовясь зачитать приговор.

— Ну что ж, Командор, выходит, я обречен быть самим собой на веки вечные.

Дон Хуан прыгнул со сцены и приземлился в узком проходе, разделявшем партер, где внезапно вспыхнул свет. Твердым шагом Дон Хуан двинулся по проходу к двери, тоже ярко освещенной.

Лепорелло с середины сцены кричал:

— Подождите, хозяин! Не покидайте меня! Возьмите с собой! Коли вы сотворили для себя свой собственный ад, бес-бунтарь сгодится вам в товарищи — хоть и навечно.

Он тоже спрыгнул в зал и пробежал по проходу. Когда он оказался близко от меня, я разглядел его потное, покрытое гримом лицо, неестественно блестевшие глаза, линялый костюм из костюмерной, сбившийся набок парик. И в этот миг, только в этот миг, я поверил, что и Дон Хуан, и он были всего лишь актерами.

Я повернулся к Соне, чтобы сообщить ей о своем открытии, но соседнее кресло

оказалось пустым. Взглянув на дверь, я увидел, что она бежит следом за Дон Хуаном.

— Вот так-то! Выходит, и она тоже — актриса.

На сцену вышли некоторые исполнители: Мариана в рубашке, Эльвира в мужском костюме. Командор и тут исхитрился встать в центре и оттуда кланялся — гораздо картиннее других.

7. В ту ночь я не решился вернуться домой. Я поужинал в какой-то забегаловке, побродил по улицам левого берега, а на рассвете снял комнату в прежнем отеле, где с меня взяли деньги вперед. Я долго не мог заснуть, а потом все же погрузился в сон, ожидая, что меня станут преследовать кошмары. Но, насколько помнится, мне вообще ничего не снилось.

Когда я пробудился, солнце уже подступало к бахроме на покрывале. С улицы доносились бешеные автомобильные гудки — водители возмущались затором на дороге. Побриться мне пришлось в парикмахерской.

Потом я отправился в посольство, где занял у знакомых денег на обратный билет. Мне было стыдно просить взаймы и что-то врать в объяснение своей несостоятельности. Выручивший меня человек, видно, решил, будто я был обобран какой-то дамочкой: «Хватит, ничего не объясняй! В Париже такое может случиться со всяким. Сколько тебе нужно?»

С деньгами в кармане я бросился за билетом. Потом пообедал в дешевом ресторанчике, поблизости от площади Звезды. Еще час ушел на покупку всяких мелочей.

В ту квартиру я вернулся, когда времени уже было в обрез. Собирая чемодан, я все время поглядывал на дверь, опасаясь, что нагрянет Лепорелло. Сердце прыгало у меня в груди. Я не заходил ни в гостиную, ни на кухню. Несколько носовых платков, которые я повесил сушиться в ванной комнате, так там и остались. А под подушкой осталась моя пижама: я не пожелал ее доставать из страха, что там обнаружу какую-нибудь прощальную записку.

Я успокоился только после того, как вручил ключ консьержке, и, сев в такси, поехал на вокзал Аустерлиц. Мы мчались по берегу Сены. Золотистое и мягкое солнце освещало кроны деревьев, над рекой поднимался голубоватый туман.

До отхода поезда оставалось несколько минут. Я устроил чемоданы и выглянул в окошко. Пассажиров было немного, перрон показался мне почти безлюдным.

Поезд тронулся. Не знаю почему, я почувствовал грусть. Мне хотелось, чтобы кто-то — возможно, какая-нибудь девушка из северной страны, с короткими ресницами, чуть выше меня ростом — бежал теперь рядом с вагоном и в последний раз пожимал мне руку. Еще мне хотелось, чтобы перестала визжать тележка носильщика.

Я ехал в предпоследнем вагоне. Поезд еще не успел набрать скорость. Я еще мог, взбреди мне такое в голову, без особого риска спрыгнуть с подножки и задержаться в Париже. Я подумал об этом, возжелал этого и устыдился собственного желания.

К середине перрона людей было побольше, и над головами мелькало несколько белых платков. Но я разглядел и еще что-то — черное и круглое. Сначала я не понял, что это такое было. Но проезжая мимо, узнал шляпу Лепорелло, которой он с жаром махал мне, а еще итальянец посылал мне приветы и второй рукой.

— Adios, adios! — кричал он по-испански. — Может, скоро вернетесь!

И тут я увидал рядом с ним Дон Хуана. Он шляпы не снял и, как всегда, прятал глаза за темными очками. Мы взглянули друг на друга.

Дон Хуан поднял к краю шляпы затянутую в перчатку руку и улыбнулся мне.

Я поискал глазами вокруг. Сони на перроне не было.

■

К. Д. БАЛЬМОНТ

ТИП ДОН ЖУАНА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ[1]

Есть вопросы, которых разрешить нельзя, которым можно дать лишь частичное и временное разрешение, хотя именно о них, и только о них постоянно думают люди в самые напряженные моменты своей жизни. Это вечные вопросы о смысле жизни, о цели жизни, о Боге, о личности, о смерти, о любви. То, что велико, и то, что действительно ценно, всегда ускользает от нас. Мы забрасываем наши сети в глубокое море, и мы полны в этот миг молодою надеждой. Мы влечем наши сети к земле и с гордостью чувствуем, как велика наша добыча: сколько мы сейчас увидим редкостных рыб, и небесных жемчужин, и иных морских сокровищ. Мы вытянули наши сети из глубины на плоскую сушу и, нищие, скучные, стоим на бесплодных песках, с убогой добычей. Когда мы с жадностью протягиваем наши пустые и сильные руки, нам грезится сказочный клад, — когда мы достигаем до конца стремления, мы видим, что в наших руках насмешка над нашей мечтой.

И мы снова и снова будем ставить все те же волнующие нас вопросы и без конца будем давать их частичное разрешение, чтобы завтра опрокинуть наши собственные сооруженья и приняться за новые построения.

Из таких вечных вопросов один из двух или трех самых жгучих — вопрос о любви.

Мы понимаем, что такое любовь, только тогда, когда мы любим. Мы утрачиваем понимание этого чувства, когда сами перестаем любить. Отсюда наши вечные разговоры о любви и наше вечное ее непонимание. Но так как жажда любви живет в нас всегда и так как смутное воспоминание о том, как мы любили, неразрывно с нами связано, ни один из типов мировой поэзии не приобрел такой славы и не имел стольких творческих истолкователей, как тип человека, который всю свою жизнь построил на чувстве любви и трагически оттенил это вечное чувство жестокой насмешкой и собственной гибелью.

В самом деле, существуют великие мировые типы, неизменно приковывающие наше внимание. Похититель небесного огня Прометей, обративший свою неземную душу к земножителям; волшебник и чернокнижник Фауст, вступивший в договор с Дьяволом; несчастный отец неблагодарных детей король Лир; смешной и трагичный рыцарь мечты Дон Кихот; гений сомнения Гамлет; царственный себялюбец и убийца Макбет; демонический Ричард Третий, полный разрушительного сарказма; злой дух обмана Яго, этот дьявол в образе человека; красивый соблазнитель женщин Дон Жуан — эти призраки, более живучие, чем миллионы так называемых живых людей, нераздельно слиты с нашею душой, они составляют ее часть и влияют на наши чувства и наши поступки.

Но мы знаем лишь единичную разработку Лира, Дон Кихота и Гамлета. Мы только в Мефистофеле видим родного брата и двойника Яго. Мы любим Ричарда Третьего главным образом за тот демонизм, который частично повторяется в Яго и в Севильском обольстителе. И лишь один Дон Жуан нашел целую толпу высокоталантливых художников, которой он овладел, как смеющийся и страшный атаман владеет шайкой разбойников. Ну, конечно, это не совсем так. Мы знаем, что Прометей и Фауст тоже не раз приковывали к себе внимание талантливых и гениальных поэтов. Кроме искаженной волею случая трилогии Эсхила, есть христианские разработки типа Прометея; есть принадлежащая Кальдерону. Есть сильный и заносчивый Прометей Гёте. Есть Прометей Байрона и великолепный, отмеченный печатью сверхчеловеческой красоты, Прометей Шелли. Фауст нашел еще больше почитателей. Современник Шекспира, Кристофер Марло изобразил его в своей «Трагической истории доктора Фауста». Мы видим испанского Фауста в драме Кальдерона «El mágico prodigioso» («Волшебный маг»). Весь мир знает «Фауста» Гёте. Есть малоизвестный, но превосходный «Фауст» Ленау. Есть и другие, менее значительные, вариации типов Прометея и Фауста. Но Дон Жуан превосходит всех, он владычествует над более обширной толпой, он входит в блестящий зал, где общее внимание уже сосредоточилось на двух-трех лицах, и внезапно все взоры обращаются к нему. И не потому ли главным образом так нравится нам и Фауст, что в нем, кроме алхимика идей, скрывается еще и волшебник любовных чувств? Мы неизмеримо меньше любили бы этого чернокнижника, если бы он не был братом Дон Жуана, если бы он не изменил книгам ради Гретхен и не изменил Гретхен ради новой свободы и новых любвей.

Среди многочисленных поэтических разработок Дон Жуана наиболее интересными и оригинальными являются следующие: первая по времени драматическая его разработка, принадлежащая одному из самых замечательных испанских и мировых поэтов, Тирсо де Молина, «El burlador de Sevilla y convidado de piedra» («Севильский обольститель, или Каменный гость»); повесть знаменитого автора «Кармен» Проспера Мериме «Les âmes du Purgatoire» («Души Чистилища»), превосходная поэма самого мелодичного из испанских поэтов Хосе Эспронседы «El estudiante de Salamanca» («Саламанкский студент»); и, наконец, две современные вариации данного образа, роман Д'Аннунцио «Il piacere» («Наслаждение») и роман Пшибышевского «Homo sapiens».

---

[1] Фрагменты статьи К. Д. Бальмонта, опубликованной в журнале «Горные вершины» (М., 1904).

***

В чем же основная черта типа Дон Жуана? При каких условиях он возник? Несколько ликов у Дон Жуана или один? Жив Дон Жуан или умер?

Слишком часто забывается, что Дон Жуан не только мировой тип, но и испанский. Цветок, выросший на особой почве, в особой стране, исполнен причудливой красоты и экзотической чрезмерности. Дон Жуан родился красивым, в стране, которая красива, в атмосфере, насыщенной романтическими мечтаниями, отсветами католического искусства и перезвонами монастырских колоколов, в пленительном городе красавиц, в роскошном саду, за стенами которого — темный фон средневекового Чистилища и Ада. Последний представитель старой расы, с детства соприкасаясь с элементами власти и красоты, он, естественно, должен до необузданности жаждать счастья и господства, любви и завладеванья, очарований мгновенья без мысли о последствиях, ибо он чувствует себя избранником и потому, что в его жилах течет горячая кровь, не только горячая, но и умная, слишком умная кровь его предков, знавшая много разных сказок и давно понявшая их смыслы. Понявшая своекорыстно, с военной решительностью и с военной грубостью. Дон Жуан живет в той стране, где мужчины молятся женщине — и презирают ее, где они жертвуют для нее жизнью — и запирают ее на ключ. В стране, где умеют красиво хотеть и ярко достигать, но где двое влюбленных после высших ласк должны чувствовать холод пропасти, потому что им не о чем говорить друг с другом. Есть чудовищное выражение, сделавшееся теперь непристойным в Испании, как оно непристойно по существу, но в старое время запросто и часто повторявшееся в испанских драмах: gozar la mujer, наслаждаться женщиной. Обладая, наслаждаться. Очень точное определение. Отсюда только один шаг до взгляда на женщину как на бессловесную рабыню, неодушевленный источник удовольствий и напряженных настроений завоевателя, господина. Позорный взгляд, слишком укоренившийся именно в тех странах, которые более всего притязают на утонченность: во Франции, в Италии и в Испании, и по иронии судьбы донельзя умаляющий именно то, что он хотел бы расширить, — наслаждение любви, превращающий любовь в плоскую, скучную, бессодержательную игру. Дон Жуан окружен атмосферой издевательства, лжи и сознательного обмана. Он прежде всего не влюбленный, а соблазнитель, издевающийся обольститель, обманщик. Женщина для него естественный враг. «Я всегда ненавижу того, кого люблю», — говорит Фальк[1], а врага, разумеется, можно одурачить, обмануть, бросить его в ров, проделать с ним все, лишь бы победить. Однако и в войне существуют правила, и безгранична разница между закованным в латы рыцарем, который сажает с собой рядом за пиршественный стол побежденного им врага, и свирепым дикарем, который добивает томагавком сраженного. Мы уже более этого не можем. Мы не можем быть наивно-грубыми и наивно-циничными. Мы не в состоянии более восхищаться тем, что казалось удивительным при старой впечатлительности. Как ни проклинают романтического Дон Жуана обманутые отцы и мужья, они, как бы сами того не сознавая, глубоко преклоняются перед ним. Их ослепляет то, что он покорил столько женщин, гипнотизирует то, что он, как говорится в «Don Juan Tenorio» Соррильи,

В дворцы роскошные входил,
В лачуги жалкие спускался,
К зубцам монастыря взбирался
И все, что видел, отравил.

Мы же, видя человека, который всю жизнь свою построил на этом, не можем ничего испытывать, кроме отвращения и презрительной усмешки.

Старый, романтический Дон Жуан безвозвратно умер, как умерли временные условия, создавшие его жизненный и литературный тип. В современной обстановке тип Дон Жуана не имеет даже того местного случайно-исторического очарования, каким он был окутан в романтическую эпоху, его создавшую. Как ни украшают его современные художники исключительными качествами, делающими его избранником среди несносных плебеев, он уже не может завладеть нашими симпатиями, как Дон Жуан старых дней.

Не то отталкивает нас в Дон Жуане, что он любил многих женщин, а то, что он смешал любовь с обманом.

Однако все ли в этом и действительно ли умер Дон Жуан? Почему наша мысль так упорно возвращается к этому образу? Почему ни пошлые его литературные вариации в стиле Мольера, ни отвратительные жизненные карикатуры на него в будничной реальности не могут убить в нашей душе невольного влечения к соблазнителю?

На этот вопрос легко ответить.

Есть явный романтический, общепонятный Дон Жуан, который умер, и есть символический лик Дон Жуана, есть Дон Жуан, который никогда не умрет. В сложном явлении много сторон, и в сложной душе Дон Жуана много скрытых ликов. Не забудем, что Дон Жуан легенды неукротим в своей смелости, что он во всем доходит до последней грани, что он не боится

---

[1] Эрик Фальк — герой романа С. Пшибышевского «Homo sapiens» (1895—1898). (*Здесь и далее — прим. ред.*)

смерти и что к нему приходят с мистическими предостережениями обитатели запредельного, этим самым показывая, что у него бессмертная душа, о которой заботится Вечный Дух, правящий бурями Хаоса. Прекрасно говорит о Дон Жуане немецкий фантаст Гофман: «Природа наделила Дон Жуана как любимое свое чадо всем, что приближает человека к божественному, возвышая его над обычной толпой, над этими дюжинными произведениями фабричной работы, которые, подобно нулям, имеют цену лишь тогда, когда перед ними стоит какая-нибудь цифра. Он был предназначен к тому, чтобы побеждать и господствовать. У него прекрасное сильное тело, в душе его вспыхивает искра, зажигающая предчувствия высшего мира, он глубоко чувствует, у него быстро воспринимающий ум. Он ищет счастья в женской любви и постоянно обманывается. Беспрерывно проходя от прекрасной женщины к другой, более прекрасной, до опьянения, до пресыщенья, но вечно думая, что он ошибся в выборе, и надеясь достичь удовлетворяющего идеального, Дон Жуан должен был наконец почувствовать, что вся земная жизнь бледна и мелка. Отсюда презрение к людям, у которых даже лучшее недостаточно хорошо. Наслаждение женщиной сделалось для Дон Жуана уже не утолением его души, а дерзким издевательством над Природой и над Богом» («Phantasiestücke in Callot's Manier». «Фантазии в манере Калло»). Дон Жуан — мститель и искатель. «У меня девическая душа, — говорит Фальк, — и поэтому я никому не позволю к себе приблизиться». Но известно, что никто так не любопытен, как девические души. Дон Жуан полон психологического любопытства, и это действительно сближает его с женщинами и делает его похожим на них. В драме Аларкона «La verdad sospechosa» («Подозрительная правда») есть любопытные строки:

У дьяволов, как и у женщин,
Есть общий путь, одна дорога:
За душами, что им покорны,
Они уж больше не следят,
Они уж их не искушают,
Но о добыче забывают
И помнят лишь о тех, что могут
От их соблазнов ускользнуть.

Дон Жуан полон горячей завоевательной жадности, и ему вечно чудятся роскошные, непознанные и, быть может, единственно совершенные миры в тех душах, которые скользят перед его глазами и могут безвозвратно ускользнуть. Дон Жуан Ленау хотел бы замкнуть в безмерный заколдованный круг всех женщин, которые красивы, всех женщин, которые были когда-то красивы, и ко всем прикоснуться, от каждой узнать ее высшую тайну, поцеловав последнюю, умереть. Дон Жуан Барбе д'Оревильи[1] в книге «Les Diaboliques» («Le plus bel amour d'un Don Juan») так же, как герой Д'Аннунцио, считает, напротив, самой прекрасной своей любовью ту единственную в длинном списке любовь, где у него не было никакого телесного соприкосновения с женской душой, озаренной влюбленностью. Дон Жуан разнообразен, он неисчерпаем, как наша душа, и, как наша душа, он переходит весь свой мир, от полюса до полюса, и, дойдя до предельной черты этих полюсов, тоскует и смотрит дальше.

Наше влечение к Дон Жуану коренится в самой технологии любви. Любовь есть драгоценнейший наш талисман, который дал нам лучшие наслажденья и самые страшные страдания, бросал нас тысячу раз в бездонные пропасти и дикие леса и открыл нам тысячу раз ослепительную бездонность неба. Мы вечно глядим на этот талисман, но мы никогда не можем его разгадать. Я сегодня говорю тебе *люблю*, и ты видела, как я бледнел. Но я завтра скажу *ей*, что она моя первая любовь, потому что мой взгляд утонет в ее глазах и потому, что каждая любовь есть первая и последняя любовь.

Если б я дерзко и неразумно захотел определить то, что навсегда неопределимо, я сказал бы, что любовь есть желанье красоты, таинственно совпадающей с нашей душой. Когда мы достигаем желанного, красота, которой мы так хотели, или исчезает, как цветочные лепестки или цветочный аромат, подчиняясь неумолимому закону мироздательной Природы, или скрывается от наших глаз покровом ежедневности. По странному психологически-оптическому закону мы перестаем видеть то, на что мы слишком долго смотрели. Красота, если она и не погасла от нашего прикосновения, делается для нас не тем, чем она была. Мы хотим небесного в любви, хотя бы наши желания были, по-видимому, совсем земными. Мы хотим небесного и достигаем всегда только земного — небесное скрывается перед земным прикосновением. И потому мы всегда хотим новой красоты и новой любви. В каждом из нас в большей или меньшей степени есть то тревожное неутоленное беспокойство, которое сделало из Дон Жуана Вечного Жида любви. Мы отрицаем это, но это так. Мы ненавидим и лелеем скрывающегося в нашей душе Дон Жуана. Лелеем, потому что душа наша, прикасаясь к любви, не насыщается ею и вечно хочет любви. И ненавидим, потому что смутно чувствуем, что в этом влечении, разрушающем пределы земного, кроется трагическая сила и что, если мы предадимся ему всецело, мы неизбежно должны погибнуть.

---

[1] Жюль Амеде Барбе д'Оревильи (1808—1889) — французский писатель; речь идет о рассказе «Самая прекрасная любовь Дон Жуана» из сборника «Дьявольские лики» (1874, рус. перев. 1908).

ЛИТературный ГИД

XX век: СТОП-КАДР

В этом гиде
мы начинаем
знакомить
нашего читателя
с документальными
свидетельствами
о глобальных
событиях прошлого
и просто
занимательных
происшествиях.
Мировые войны
и артистический быт
Парижа 20-х годов,
русская революция
и затмение Солнца,
распад Британской
империи
и путевые
наблюдения...
Репортажи,
хроники,
воспоминания,
дневниковые записи
известных
писателей,
многие из которых
были
и профессиональными
журналистами,
складываются
в мозаичную
панораму
уходящего столетия.

МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО

ЛЕГЕНДА О ЗАТМЕНИИ

Господин редактор газеты «Насьон»!

Разве мог я не отправиться в Пласенсию[1] наблюдать затмение, когда одному богу известно, сподоблюсь ли я увидеть другое... Вещь это неповторимая, вот и двинулись мы из Саламанки 28 мая — сотня любопытствующих, среди которых было изрядное число священников.

В Пласенсии я не стал подниматься на гору Беррокалильо (мне-то к чему?) — там установили свои приборы сотрудники Мадридской обсерватории и исследователи из нескольких научных английских экспедиций. Вокруг только и говорили об ученых, приехавших издалека почтить наше затмение, причем слово *ученые* произносилось со сдержанным пафосом. Еще бы: ученый — преемник древнего астролога, чернокнижника и алхимика — почти всегда представляется этаким диковинным существом, чья голова набита всякой всячиной, которая, при всеобщем безразличии к ней, порождает *достижения*, всеми нами почитаемые.

Перекусили и, невзирая на удушающий зной, пустились праздновать затмение! Небо вело себя как нельзя лучше: ни облачка, одно сплошное сияние. Куда ни глянь — люди налаживаются глядеть на Солнце сквозь задымленные стекла. У одних они заправлены в картонные, на манер подзорных, трубы, у других — в коробки вроде складывающихся гармошкой стереоскопов. Тут же, под открытым небом, предприимчивый мальчонка открыл производство сих приборов, которые он мастерил из двух стеклянных пластин, сведенных закопченными сторонами и скрепленных бумажными полосками, намазанными клеем, — затмение предоставило ему возможность заработать первые в жизни песеты, попутно выявив его призвание. Как во время народных гуляний, прибывали все новые и новые группы, многие люди — с провизией, большинство в приподнятом настроении, будет что рассказывать.

Вместе с друзьями я поднялся на склон, где мы расположились у выступа, которым заканчивалось ржаное поле; на плоском плитняке развернули простыню. Любуясь дивным видом окрестных гор, стали ждать. Совсем рядом размахивали косами крестьяне, безразличные к приближению редкостного события, — они с головой ушли в свое дело. Наибольшим докой среди нас, а также хронометристом оказался врач, не скрывавший, что прочитал *нескольких авторишек*, пишущих о затмении.

Я уверен, у многих из нас в глубине души шевелился червь сомнения, хоть мы смущенно и скрывали это. В конечном счете наша — профанов — вера в науку тверда, как дуб, мы считаем, что наука не может ни обмануться, ни обмануть нас, — а вот как обстоит дело с ее преданными служителями? Ведь большинство образованных людей, слепо верящих в то, что Земля вращается, верят в это, полагаясь на авторитеты, и не более того. А пока червь сомнения трудился в потаенных уголках нашего сознания и нам казалось, что время течет невероятно медленно. Нетерпение все больше нас возбуждало, а Солнце светило как ни в чем не бывало.

Где-то в половине третьего начитавшийся *авторишек* врач, который теперь жадно поглядывал на зажатые в руке часы, уставился в задымленное стекло и торжествующе воскликнул: «Вот оно!» Мы тут же направили в сторону Солнца наши стекла — действительно, на том месте солнечного круга, которое на циферблате соответствует четырем часам, обнаружилось явно видимое скозь темное стекло покраснение, нечто вроде щербинки. Мы почувствовали облегчение, каждый подумал: ну слава богу... Луна не подвела... ученые верно предсказывали... священнослужителям науки отныне буду верить на слово...

Всех снедало нетерпение. Нам казалось, что тень продвигалась слишком медленно, время от времени вскидывая наши стекла, мы следили за ее прибавлением, проникаясь торжественностью момента. Разве что кто-то из все еще сомневающихся бормотал: «А вдруг тень отступит и больше ничего не будет?» Тем временем Луна наступала, и вскоре солнечный диск стал напоминать тазик брадобрея. «Вот! Вот! Сейчас!» — вскрикивали мы, дрожа от нетерпения. Когда Солнце исчезло наполовину, один из нас, видя, что какое-то время не наблюдалось ощутимого убывания света и

[1] Город в Испании, столица одноименной провинции. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО (1864—1936) — испанский писатель, философ, общественный деятель; активно сотрудничал с журналами и газетами разных стран. Публикуемое эссе впервые было напечатано в мадридской газете «Насьон» в 1900 году.

© П. Грушко. Перевод, 1999

тепла, изрек: «По мне, достаточно и половины Солнца, а целое — излишняя роскошь». Он не понимал, что даже оставшаяся часть Солнца все еще нас освещала и грела. Солнечный диск стал походить на полумесяц. Я решился посмотреть на него в открытую и заметил на нем нечто странное, но знакомый с *авторишками* предостерег меня: «Берегитесь солнечного мидриазиса!»[1] Так как зрение мое оставляет желать лучшего, то, испугавшись диковинного словечка, я тут же припал к моему задымленному стеклу. Крестьяне продолжали косить рожь, с виду совершенно безучастные к нашим хлопотам.

Заметно потемнело, быстро надвинулись сумерки, но тени при этом не удлинились, предметы печально потускнели, словно от рассеянного электрического света. Посвежело. Всех нас охватило неописуемое чувство, словно мы присутствуем на торжественной литургии природы, став свидетелями чего-то, что, возможно, никогда больше в нашей жизни не повторится — никогда! Некоторые искали глазами животных, чтобы понаблюдать за ними. В зените появилась Венера, а затем и другие звезды. По простыне, расстеленной на плитняке, стали перекатываться летучие волнистые тени, о которых мы были наслышаны. Приближался главный момент, у меня учащенно забился пульс, все молчали. Когда, услышав возглас «Наконец-то!», я отнял от глаз мой дымчатый круг, Солнце было сплошь закрыто — затмение совершилось, хотя я пропустил *жемчужный момент*, который мне так восхваляли. В некоторых группах зааплодировали, возможно самому событию, это был выход нервного, долго сдерживаемого напряжения — успокоение. Мы остались довольны.

Опустились глухие сумерки, какие бывают в здешних местах в восемь часов вечера; при остаточном свете затмения можно было читать, и оттуда, где мы находились — в двух километрах от города, можно было различить его дома. На небе — пять-шесть звезд, контур горных кряжей словно выгравирован на фоне свинцового неба. Крестьяне, опершись на рукояти кос, глядели на солнечную корону. И мы на нее смотрели, жадно, стараясь запечатлеть в памяти ее образ, чтобы при случае сказать: а как же, в 1900 году я видел его! Из светящегося кольца на неодинаковом расстоянии выбивались огненные завитки. И все мы сознавали, что наблюдаем то, что скорее всего *никогда больше* в нашей жизни не повторится — никогда! А поблизости ученые выпытывали у Солнца его тайны. Это длилось минуту с четвертью — минута с четвертью торжественного умиротворения.

Всего прекраснее был распад затмения. С момента, когда началось отступление темного лунного диска, стало казаться, будто окруженный лучащимся обручем шар в каком-то месте лопнул и сквозь дыру выплеснулась мощная световая струя, которая в мгновение ока высветлила шар и, изливаясь, начала пожирать края прорехи. Борьба эта длилась какие-то мгновения — завихрение радужных всплесков, и теперь глядеть на Солнце в открытую мы уже не могли. Я бросил взгляд в сторону крестьян — они снова работали, косили рожь.

Больше ничего не предвиделось, и люди стали расходиться, вид у всех был, как это бывает после тягостного ожидания, грустный и расслабленный — этакая отрешенность и вялость, свойственные не только душе, но и телу после секунды высочайшего напряжения, которую тщательно готовили и долго ждали. Время от времени кто-то снова посматривал сквозь задымленное стекло на отступление Луны, но таких было немного. Сомневаюсь, чтобы кого-нибудь занимало исчезновение тени — полное освобождение от нее Солнца. В глубине души каждый испытывал некоторое разочарование, как бы спрашивая себя после пережитого: и это все? Уникальное видение растаяло и для большинства уже никогда не повторится!

Никто теперь не замечал печаль и необычность все еще ущербного света — иная печаль одолевала нас. Разве что некоторые (только не я) приметили, что тени от деревьев напоминают павлиньи хвосты.

Именно здесь начинается моя работа, ибо в этот день я отправился наблюдать не столько затмение, сколько нарождение легенды о затмении. Кто знает, может быть, для того, чтобы создать контрлегенду?

Еще лунный диск не открыл всего Солнца, еще не завершилось затмение, а уже начала створаживаться легенда о нем, да что там — створожилась она еще загодя. Я теперь и не знаю толком, что я видел своими глазами, а что слышал, — скоро мы вмонтируем в наше непосредственное, подлинное впечатление все, что мы о затмении читали или слышали от других наблюдателей, — не пройдет и несколько лет, как светящийся обруч покатится по нашей памяти, оплетенный разного рода реминисценциями. И я, чего доброго, начну рассказывать о покинувших пещеры летучих

---

[1] Мидриазис *(греч.)* — медицинский термин; ненормальное расширение зрачка с неподвижностью радужной оболочки.

мышах, о перепуганных насмерть птицах, вьющихся у колокольни, о закукарекавших петухах, о цыплятах, забившихся под крыло курицы, — обо всем, чего не видел, но о чем слышал.

Кто, вспоминая, может вылущить из всех напластований простейшее подлинное ядро непосредственного впечатления? Только-только сложилось некое представление, а уж оно оплетено диковинными кружевами.

Печать более всего выпекает легенду, раздувая до невероятия ее основу, которая и нарождается в обстоятельствах легенды, подобно любому историческому событию. Разве мы знаем, что нам дает действительность и что мы даем ей? Мы извлекаем из мира то, что помещаем в него, и помещаем в него то, что из него извлекаем, — мы часть мира. Нет ничего более неестественного, чем быть наблюдателем в отрыве от наблюдаемого, от того, что я наблюдаю также в себе самом, а не только вне самого себя.

Девственных впечатлений не было никогда — все люди так или иначе были готовы увидеть то, что им навязали, — или не видеть вовсе.

Для того, кто ждет затмения и знает в связи с ним, каких понятий придерживаться, или убежден, что знает, этот спектакль природы и впрямь лишен чего-то пугающего или хотя бы величественного. Рассказ Аларкона[1] о затмении 1860 года — чистый вымысел. Не знаю, правда ли, что ныне в Португалии крестьянин из Сантарена, застигнутый убыванием Солнца, пустился бежать, испуская страшные вопли, и бросился в лагуну. Я слышал, что затмение в 1860-м вызвало ужас у сельских жителей, одни падали на колени, испрашивая у неба прощения, другие зарывались лицом в землю, однако за минувшие сорок лет печать проникла во все уголки, так что никого теперь это явление врасплох не застало. Мы не имеем возможности судить о том апокалипсическом ужасе, который в глубокой древности испытывали при виде подобных явлений люди, чьи души были переполнены тысячелетними мистическими страхами. Уже и Бог-то пугает нас не столь часто, мы повязали его законами природы. На другой день после означенного явления я прочитал, что пишет о полных затмениях в своих дивных «Elementary lessons in Astronomy» известный астроном Норман Локьер[2], приехавший в Испанию наблюдать наше затмение, — он объясняет, что это один из самых «ужасающих» спектаклей, не имеющий себе равных, *«one of the most aweinspring sights»*[3]. По правде сказать, мы не нашли в нем ничего *aweinspring* — ужасающего. Ужас в иные эпохи проистекал от невежества и внезапности. И, вспомнив изречение *«Primus in orbe deos fecit timor»* («Ужасом был тот, кто первым сотворил богов»), я подумал: так же и боги затмеваются — и будут ли они светить снова? Конечно, но каждый раз другие: боги — боги и боги суеверия, они будут зваться не Юпитером, не Сатурном, не Хормустой[4], не Брахмой, а микробом, атомом, клеткой, хромосферой или фотосферой — чем не боги?

Эчегарай[5] говорил, что по мере того как микроб наступает, дьявол отступает. Я полагаю, микроб кончит тем, что станет дьяволом столь же фантастическим, что и древний. Религия природы, каковая при чисто поверхностном христианстве продолжает жить в народной душе, возможно, будет заменена религией науки, — это уже в сознании многих, — и останется в такой же мере религией, что и та, — во всем, даже в плохом, даже в суеверии, если только суеверие является чем-то плохим, а не плодотворным и великим, как считал Кольридж. Надо только выяснить, каким видят люди проносящийся паровоз, каким тоном произносит неуч: «Наука учит...» Наука — это ли не суеверие! Уже не поражает атом или то же затмение — явление, загодя предсказанное. Что беспокоит большинство (догадываются они об этом или нет), так это предсказание. «Ишь как точно все рассчитали! Прямо колдуны какие!.. У этих ученых демон в голове...»

Мы возвращались из Пласенсии, и, проезжая Бехар, я залюбовался закатом.

Солнце погружалось в клубящийся пожар, над алыми облаками, подобно золотистому углью, возносился горный кряж, но куда восхитительней кряжа (этот уходящий вдаль щербатый клинок называют здесь Францией, хотя и весьма далек он от соседней нации) были багряные облака заката, наводящие на мысль, какими должны были представляться в первобытные времена выплавляющиеся миры. Обожествленная земля ликовала перед моим взором. И, упиваясь этим небесным видом, я подумал: вот бы затмение Солнца случалось у нас каждый месяц — мы бы тогда поняли, насколько это явление, возможно последнее в нашей жизни, уступает гигантским закатам, на которых отдыхает взгляд одних только поэтов.

---

[1] Педро Антонио де Аларкон (1833—1891) — испанский писатель.
[2] «Основы астрономии» (*англ.*) английского астронома и писателя Джозефа Нормана Локьера (1836—1920).
[3] Одно из наиболее ужасающих зрелищ (*англ.*).
[4] Хормуста — верховное небесное божество в мифологии монгольских народов.
[5] Хосе Эчегарай (1832—1916) — испанский драматург, лауреат Нобелевской премии.

Возвращались усталыми, почти без сил, клевали носом, молчали. Подумать только: встали ни свет ни заря, десять часов тряслись в поезде, полдневная жара, еда впопыхах, да и расходы... На все про все ушло четыре дуро... А заплатят, может быть, и все сорок... Такое у нас гнусное ремесло — видеть во всем способ наживы. Я рассказываю о том, что видел, не *потому что* видел это, а потому что отправился это увидеть, *чтобы* об этом рассказать. Кто отнимет у меня право говорить в будущем: «В 1900-м я видел его своими глазами»? Не стоит ли это любых денег? Хорошо сказал Гомер: боги заваривают войны, чтобы потомкам было что рассказывать, — не относится ли это к затмениям?

Домой я добрался с желанием тут же лечь в постель и с памятью о затмении в виде двух темных стеклянных кружков, скрепленных четырьмя полосками клейкой бумаги, — через эти стекла я наблюдал явленное природой зрелище. Я храню их в коробочке с надписью: «Затмение 28 мая 1900 года. Пласенсия». Что касается пласентийцев, то они намереваются установить на горе Беррокалильо, где располагались приборы астрономических экспедиций, мемориальную плиту в честь упомянутого мероприятия, то бишь в честь Провидения, избравшего нашу родину ареной для явления природы, столь полезного для астрономии, а на нашей родине — Пласенсию как одно из наиболее предпочтительных мест для небесных проделок.

Мало-помалу воспоминания улетучиваются, но перед моим мысленным взором все еще стоит светящееся кольцо, коим так жадно упивались наши глаза, жаждущие запечатлеть его на своей сетчатке.

Факт остается фактом: в 1900-м я видел его своими глазами.

6 июля 1900 г.

Перевод с испанского П. ГРУШКО

ДЖЕК ЛОНДОН

ИЗ ВОЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

РУССКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ПОЗИЦИИ ЯПОНСКОЙ АРМИИ

Пхеньян, через Сеул, 2 марта. Русские дерзко и яростно наступают к югу от реки Ялу. Разведывательный казачий отряд передвигается по северной Корее далеко впереди основного корпуса.

Триста русских взяли местечко Анджу в 45 милях от Вижу, порта, который Корея провозгласила открытым. Вижу, в свою очередь, расположено в 25 милях от Пхеньяна, где разыгралась первая великая битва китайско-японской войны. Японцы пока не предпринимали попыток выбить отчаянный русский авангард из Анджу. Местность между Анджу и Пхеньяном гористая, в силу этого военные действия там будут крайне затруднены. Но поскольку у японцев здесь собраны значительные силы, столкновение нельзя будет оттягивать бесконечно. Неизвестно, насколько основные силы русских отстают от авангарда, однако, по уверению отступающих корейцев, они весьма многочисленны.

Корейцы не делают никаких попыток сдержать наступление русских, но относятся к ним с непримиримой враждебностью. Люди спасаются бегством, и некоторые сцены заставляют вспомнить «Бегство татарского племени» Де Куинси.

Население Пхеньяна охватила паника. Кажется, корейцы чувствуют, что эта земля снова станет полем брани. Десять тысяч человек уже покинули город, и бегство продолжается. Севернее, ближе к Ялу, десятки тысяч беженцев снимаются с насиженных мест. Страх перед русскими перерастает в слепой ужас.

Но помимо страха перед русскими в северной Корее нет никакой неприязни к другим иностранцам. Рассказы о зверствах русских распространяются быстро и подстегивают паническое

ДЖЕК ЛОНДОН (ДЖОН ГРИФФИТ; 1876—1916) — американский писатель. В 1904 г., во время русско-японской войны, был военным корреспондентом. Публикуемый очерк взят из сборника его репортажей, выпущенного в Нью-Йорке в 1970 году.

© А. Борисенко, В. Сонькин. Перевод, 1999

бегство на юг. По-видимому, корейцы совершенно не боятся японцев и ищут убежища за спинами японских солдат.

Следующий шаг русского наступления — захват корейских телеграфов, вследствие которого Вижу и Юэнь Сан, как и Пхеньян, остались без телеграфного сообщения с северной Кореей. Очевидно, это было сделано с целью скрыть от японцев подробности русского наступления.

Можно сказать почти наверняка, что в течение ближайших дней не избежать яростных стычек между передовыми отрядами обеих армий.

Ситуация во всем северном Китае критическая. Войска и население воодушевляются при виде воззваний, расклеенных по всем стенам. Пропаганда сильно преувеличивает успехи японской армии и призывает китайцев восстать и разбить русских...

Русские боятся, что в результате наступления китайской армии будет перекрыта Транссибирская магистраль. Пятнадцать тысяч отборных китайских солдат находятся на северной границе. Эти войска ежедневно получают подкрепление. Они хорошо обучены и до зубов вооружены. Здесь собран цвет китайской армии.

В этом большом корпусе многие настаивают на скорейшем нападении на российскую железную дорогу. Но вице-король издал указ, согласно которому всякая попытка поднять бунт будет караться смертной казнью. При этом все здесь боятся, что Китай не сможет долго сохранять нейтралитет. Любой пустяк может нарушить равновесие, что неизбежно приведет к удару в тыл русских.

Иностранцы в Пекине и Тяньцзине утверждают, что если воинственные настроения возьмут верх, то убивать будут невзирая на национальность, под общим лозунгом «Смерть проклятым инородцам».

Поэтому все иностранные общины готовятся к худшему. В Тяньцзине находятся две тысячи американских и европейских военных, еще полторы тысячи охраняют в Пекине дипломатические миссии. Но в случае общего восстания и им придется спасать свои жизни.

Посол Конджер сказал мне, что китайские власти твердо намерены сохранять нейтралитет и порядок, но в такие времена чрезвычайно трудно контролировать войска и население. Он думает, что достаточно малейшей провокации, чтобы разразилась катастрофа.

ЯПОНЦЫ В КОРЕЕ

Сеул, 4 марта. Для корейцев японская оккупация — источник неиссякаемой радости.

Цены растут день ото дня; кули и купцы сбиваются с ног, собирая деньги, которые позже выжмет из них правящий класс — класс чиновников.

Сейчас в среде чиновников и аристократии царят растерянность и страх, а несчастный, слабый император не знает, куда податься. Он не может ни сбежать, ни остаться в своем дворце и потому издает любые указы, на необходимость которых ему вежливо намекают японцы, — например, выставляет своих солдат из бараков, чтобы разместить японских солдат со всеми возможными удобствами.

В Чемулпо все кипит и бурлит, но в строго установленном порядке. Никакой путаницы, никаких заторов. Каждый день из Японии прибывают корабли, становятся на якорь в гавани, а затем артиллерийские орудия, лошади и солдаты выгружаются и их отправляют по железной дороге в Сеул. Не скоро еще придется этим людям снова дать отдых ногам и довериться силе пара. После Сеула их ждет 180-мильный марш-бросок на Пхеньян, а оттуда — дальше на север. Через заснеженные вершины корейских гор они пройдут до Вижу, к реке Ялу, где их поджидают русские.

Не знаю, есть ли еще в мире столь же спокойные, дисциплинированные солдаты, как японцы. Наши американцы давно бы всколыхнули весь Сеул своими выходками и веселым разгулом, но японцы к разгулу не склонны. Они убийственно серьезны.

Однако местное население их не боится. Женщины в безопасности, деньги в безопасности, добро в безопасности. О японцах еще с 1894 года известно, что они платят за все, что берут, и они по сегодняшний день оправдывают свою репутацию.

«Хорошо, что это не русские!» — говорят корейцы, а местные европейцы и американцы многозначительно поддакивают. Я еще ни разу не видел пьяного японского солдата. Я даже не наблюдал ни одного нарушения порядка или просто развязности — а ведь это солдаты.

Можно процитировать генерала Аллена: «Японская пехота не уступает ни одной пехоте мира. Она отлично себя проявит».

Они маршируют без видимых усилий в сорокадвухфунтовом снаряжении. Не сутулятся, не волочат ноги, никто не отстает, никто не поправляет ремешки ранца, не слышно звона баклажек или других посторонних звуков. Так идет вся армия, так идет каждый отряд. Главное — это человек. Он работает безупречно. И работает ради определенной цели.

Японцы — нация воинов, и их пехота соединяет в себе все достоинства идеальной пехоты; но нельзя сказать, что они — нация всадников. Для западного глаза их кавалерия выглядит смехотворно. Лошади у них небольшие и сильные, это правда, но не выдерживают никакого сравнения с нашими жеребцами. Да и умеют ли японцы управляться со своими лошадьми? Часто можно увидеть всадника, держащего поводья в одной руке, и все они сидят в седлах крайне неловко.

Между жеребцами, из которых практически без исключения состоит японская кавалерия, постоянно вспыхивают драки, и солдаты не в силах с ними справиться. На днях потребовалось вмешательство американского генерала — генерала Аллена, — чтобы усмирить коней, дерущихся перед гостиницей в Сеуле. Несколько присутствовавших при этом кавалеристов не знали, что делать, и безуспешно пытались уберечь своих коней от увечий.

Но пехота — выше всяких похвал. В любом случае кавалеристы, спешенные или конные, — это солдаты, и воюют они с солдатами; к тому же в скором времени они могут оседлать крупных русских лошадей.

КАЗАКИ НАСТУПАЮТ И ОТСТУПАЮТ

Пхеньян, 5 марта. Первое сухопутное сражение!

Первая стычка японцев и русских на суше, первые прозвучавшие выстрелы — это Пхеньян, утро 28 февраля.

Передовой отряд русских казаков, пересекший Ялу в районе Вижу, прошел 200 миль на юг по корейской территории, чтобы встретиться с японцами и выяснить, насколько далеко на север они продвинулись.

Три американца, вывозившие женщин с приисков американской концессии в пятидесяти милях к востоку от Анджу, встретились с этим отрядом в Анджу, на главной Пекинской дороге. Они ехали вместе с ними целый день и утверждают, что казаки — бравые солдаты, всадники, отлично управляющие своими коренастыми лошадками.

О дисциплине разведчиков было рассказано следующее: один из американцев дал казаку табак и бумагу. Тот, сидя в седле, только-только начал скручивать папиросу, как прозвучала команда «В галоп!». Табак и рисовая бумажка полетели в пыль — солдат немедленно подчинился команде.

У казаков не было ни малейшего представления о том, где они столкнутся с японцами; каждая деревня грозила засадой. Приближаясь к поселению, казаки спешивались и рассыпались — так и входили в деревню, прикрываясь лошадьми.

Но японцев они встретили только у стен древнего города Пхеньяна, места избиения китайцев японцами в 1894 году. Письменные свидетельства об этом городе впервые появились за много веков до Рождества Христова. Теперь здесь, в живописной долине под стенами Пхеньяна, двадцать казаков наткнулись на пятерых японских всадников. Началась погоня, казаки преследовали неприятеля и отступили лишь перед шквальным огнем с городских стен.

Было произведено тридцать выстрелов, оставшихся без ответа. Казаки выполнили свою задачу — нашли японцев, однако мудро воздержались от штурма Пхеньяна.

Примечательно, что никто не был убит или ранен, хотя огонь велся с близкого расстояния. Японцы объясняют это тем, что боялись попасть в своих. Тем не менее они отмечают, что видели, как два казака слезли с лошадей — очевидно, раненых — и увели их. Так что русская кровь все же пролилась в этой первой стычке, пусть даже это была всего лишь лошадиная кровь.

Первые сведения о происшедшем я получил от лейтенанта Абэ, который пришел ко мне в японскую гостиницу, и я принимал его там на японский манер — у меня, собственно, не было выбора. Мы сидели на циновках в моей комнате, без обуви, пили чай и сакэ и ели палочками маринованный лук. Между нами стоял традиционный хибачи с несколькими тлеющими угольями; туда же стряхивался пепел бесконечных сигарет. Японцы — заядлые курильщики, и вежливость требует непременно угощать гостя сигаретами, что, конечно, очень мило, но несколько обременительно для бедного корреспондента, не располагающего стратегическими запасами курева.

Лейтенант Абэ, кстати,типичный офицер новой Японии. Несмотря на европейскую униформу и коротко постриженную бороду, он — восточный человек. Ему, по-видимому, было удобно

сидеть подобрав под себя скрещенные ноги, в то время как я то и дело принимал неловкие позы, чтобы конечности не затекали. Абэ закончил военную академию в Токио, знает французский, английский и китайский, а сейчас изучает немецкий. По его словам, после войны он собирается вернуться к научной карьере и продолжить изучение военного дела.

Японцы, несомненно, воинственная нация. Все их мужчины — солдаты.

БОЙ С ДАЛЬНЕГО РАССТОЯНИЯ

Вижу, 30 апреля. Бой на дальнем расстоянии — это, конечно, здорово. Это блестящая иллюстрация того, насколько человек поднялся над своими естественными возможностями и как много он знает о запуске ракет в воздух. Долог путь от пращи, с которой вышел на бой Давид, до современного пулемета; однако — вот парадокс! — праща и ручное оружие Давидовых времен, с учетом затрат энергии, были в сто раз более смертоносными, чем цивилизованное оружие сегодняшнего дня. Иными словами, мечи и копья давних дней проще и нагляднее выполняли свою задачу, чем сегодняшнее оружие. Во-первых, ручное оружие убивало больше людей; а во-вторых, оно убивало больше людей с гораздо меньшими затратами силы, времени и мысли. Триумф цивилизации, похоже, не в том, что Каин не убивает, а в том, что ему приходится сидеть ночи напролет, планируя, как он будет убивать.

Возьмите, к примеру, нынешнюю ситуацию на Ялу. На одной стороне реки, петляющей по цветущей долине, — множество русских. На другой — множество японцев. Японцы хотят пересечь реку. Они хотят пересечь реку, чтобы убить русских на другом берегу. Русские не хотят, чтобы их убили, поэтому они готовятся к тому, чтобы убить японцев, когда те пойдут на переправу. В этом нет ничего личного. Они редко видят друг друга. Справа, на северном берегу, несколько русских упорно стреляют с дальнего расстояния в японцев, которые отстреливаются с островов на реке. Японская батарея на южном берегу, справа, начинает забрасывать русских шрапнелью. В четырех милях слева русская батарея поливает эту японскую батарею анфиладным огнем. Никакого результата. Из центра японских позиций батарея стреляет по русской батарее. С тем же успехом. С центральных позиций русских батарея начинает изрыгать снаряды через гору, в направлении центральной японской батареи. Японская батарея на правом фланге бьет по пехоте русских. Так продолжается до бесконечности: русская батарея слева теперь стреляет по центральным позициям японцев, русская батарея в центре начинает стрелять по правой батарее японцев.

Окончательный результат этой перестрелки, если иметь в виду человеческие жертвы, практически нулевой. Каждая из сторон не давала другой убивать. В результате длительного процесса, некой пятиугольной дуэли, в которой участвовало множество людей и пушек, было сожжено немало пороха, принято немало решений, и никто не пострадал.

Конечно, с другой стороны, японцы могли добиться стратегического перевеса. Но что такое стратегический перевес? Стратегический перевес, как я его понимаю, это такое управление солдатами и оружием, которое делает позицию противника необороняемой. Необороняемая позиция — это такая позиция, в которой противник должен либо сдаться, либо погибнуть. Но никакой командир, если он знает свое дело, не остается на необороняемой позиции. Он быстро снимается и ищет позицию обороняемую. Стратегическими усилиями его порой удается выбить и оттуда, и он ищет третью. Это продолжается не до бесконечности, а до тех пор, пока он не займет последнюю из возможных обороняемых позиций. Затем перед ним встает первоначальная дилемма: сдаться или погибнуть. Конечно, он сдается. Это все тот же старый вопрос разбойника на большой дороге: «Кошелек или жизнь?» Путник, к которому обращаются с таким вопросом, обычно находится в необороняемой позиции и, естественно, выкладывает денежки. Нация, когда ее армия наконец оказывается загнанной в необороняемую позицию, делает в точности то же самое, отдавая свои цветущие провинции, политические привилегии или денежные контрибуции.

По крайней мере, таковой представляется современная война профану. Идет ли речь о небольших группах солдат, об армии или о нескольких армиях, стратегическая цель одна, а именно — загнать в необороняемую позицию технику и людей, где все они будут уничтожены, если не сдадутся.

Но именно бой с дальнего расстояния делает современные военные действия столь отличными от древних. Во времена Давида генерал не знал, что его позиция необороняема, до тех пор, пока противоборствующие стороны не сходились лицом к лицу с оружием в руках; и тогда отступать уже было поздно, потому что начиналось убийство. В войне XX века, если генерал не

дурак и не бездарь, те люди, которые все же гибнут, гибнут случайно. Слово «случайно» здесь вполне уместно. Как известно, «пуля цель найдет», но лишь у немногих пуль есть своя цель, и лишь немногие солдаты видят цель, когда стреляют. Видимо, метод заключается в том, чтобы обрушить на землю такое количество свинца, что случайные попадания неизбежны. Что же касается снарядов и шрапнели, то убить человека с их помощью можно лишь по невероятному стечению обстоятельств.

Естественно, если бы солдаты не прятались, они бы погибли. Солдаты погибли бы, встав друг напротив друга на расстоянии пятисот ярдов и стреляя из винтовок. Когда же летит шрапнель, они прячутся за естественными возвышениями и чувствуют себя в полной безопасности.

На войне отношение числа погибших к затраченной энергии несравненно ниже, чем во время ограблений домов и банков, боксерских или футбольных матчей.

Когда война была проста, а оружие примитивно, смертей было больше. Мужчины сходились лицом к лицу, и каждый бой был решающим. Почти до самого конца XIX века решающие бои были возможны. Даже во время гражданской войны враг мог быть обращен в бегство на поле боя. Но это вряд ли будет происходить в грядущем — по крайней мере при столкновении цивилизованных народов. Армия-победительница неторопливо займет территорию, а побежденная армия попросту отступит. Первая вытеснит неприятеля с позиций при помощи дальнобойных орудий, а вторая, при помощи тех же дальнобойных орудий, не позволит первой прострелять все поле и превратить простое поражение в сокрушительное. Позиция побежденной армии будет необороняемой, и она отступит, чтобы занять новую, обороняемую позицию. В древних войнах все решало уничтожение врагов; в современных войнах решающую роль играет возможность уничтожения. Проще говоря, удивительная и ужасная военная техника наших дней поймала самое себя в капкан. Созданная для убийства, она способствует тому, что убийство на войне становится все менее возможным.

Когда военная техника достигнет предела совершенства, убийства прекратятся вовсе. Когда одна армия добьется преимущества, другая сдастся и предоставит в распоряжение победителей то, что обороняла. И тогда прощание солдата с матерью станет не более драматичным, чем проводы паренька на летние каникулы.

ДАТЬ БОЙ И ЗАДЕРЖАТЬ ПРОТИВНИКА

Антунь (Маньчжурия), 1 мая. Русские явно не собирались занимать прочную позицию на Ялу. Они ни разу не сосредоточили на северном берегу значительные силы; очевидно, их намерение заключалось лишь в том, чтобы сдержать продвижение японцев и тем самым выиграть время для приготовлений, которые велись в их тылу в глубине Маньчжурии.

Вечером 29 апреля русские подожгли таможню и несколько деревень и ферм на речных островках и отошли на северный берег. Японцы наконец могли приступить к переправе после нескольких недель вынужденного ожидания и тщательных приготовлений. На востоке располагалась одна дивизия, на западе — другая, а третья удерживала центр в Вижу. Речные острова были захвачены — некоторые без боя, некоторые после небольших стычек, через каналы наводили мосты: во многих местах вдоль течения Ялу понтоны были готовы к переправе, и повсюду прятались батареи, так и не обнаруженные русскими...

Утро 30 апреля было туманным. Солнце светило тускло, долины и каньоны казались наполненными дымом, как от большого пожара. Но потом туман рассеялся, и нашим взорам открылась долина Ялу. В полумиле перед нами возвышался замок Вижу, где возле летнего павильона расположилась полевая батарея из шести орудий. Справа, на ферме, на вершине сопки, как мы знали, стояла другая батарея. Чутье подсказывало нам, что слева есть еще пара батарей, — вот и все. О японских позициях нам было известно даже меньше, чем русским, которые залегли на противоположном берегу...

В десять часов японская батарея на правом фланге выпустила первый залп. За звуком выстрела раздался другой звук, как будто кто-то яростно разорвал огромную простыню, — снаряд продырявил воздух и исчез вдали. В двух милях за рекой, справа от Тигровой сопки, полыхнула яркая вспышка, поднялся клуб дыма и облако пыли — там, где шрапнель вгрызлась в землю.

Русские ответили огнем двух батарей. Полчаса продолжалась эта артиллерийская дуэль без всякого видимого вреда для японцев. Несколько снарядов упало к подножию нашего холма, где находился резерв, но никого не задело.

В половине одиннадцатого, когда в стрельбе наступило затишье, справа от Тигровой сопки

загорелась ферма. Когда занялся второй дом, наши бинокли различили нескольких русских — виновников пожара. Как только из дома кто-то выбегал, сразу же загоралась крыша. Русские отступали.

В этот момент темная линия не толще волоса появилась у подножия зубчатых гор, которые возвышались к востоку от маньчжурского берега. Эта линия повторяла изгиб берега и двигалась на запад к горящим домам и Тигровой сопке. Японцы привели в действие свои силы на северном берегу. Войска микадо вошли в Маньчжурию. Это были солдаты Восточной дивизии, которые прошлой ночью переправились через реку на понтонах.

Японцы — азиаты, а азиаты не ценят жизнь так, как мы ее ценим. Японские генералы знают, что население не спросит с них за жизни солдат, отданные в обмен на победу, — население хочет победы, блестящей победы, победы любой ценой.

С другой стороны, могли быть и другие причины для предпринятой японцами лобовой атаки. Престиж Японии вырос во всем мире благодаря удивительному успеху ее флота в Порт-Артуре. И все же мир с сомнением качал головой и говорил: «Посмотрим, на что способна Япония на суше».

Может быть, чтобы рассеять эти сомнения и сравнять славу сухопутных войск со славой флота, Япония и пошла в лобовую атаку через обнаженные пески Ялу. Это, бесспорно, продемонстрировало мужество японских солдат. Было захвачено четыреста русских пленников, двадцать восемь орудий и несколько обозов.

Сколько русские потеряли убитыми и ранеными, пока доподлинно неизвестно. С японской стороны было убито и ранено около тысячи человек. Это была цена, которую заплатила Япония, — по ее мнению, заплатила не зря.

Есть и другое соображение. Недоверчивый старый мир качал головой и говорил: «Японцы — азиаты. До сих пор они и дрались только с азиатами. Но что будет, когда им придется сойтись с нашим племенем, с белой расой?»

Японцы очень чувствительны к этой теме, и они рвались утвердить свою доблесть в глазах белых, сражаясь с белыми. Доказать свою доблесть с самого начала значило существенно укрепить свой престиж и заставить Россию «потерять лицо» в глазах других азиатских народов.

Все эти факторы оправдывают на первый взгляд ненужную лобовую атаку японцев. Япония доказала, что ее солдаты — отчаянные и умные бойцы. Она доказала, что может на равных сойтись на поле брани с белым человеком. Тем не менее мне не кажется, что подобные соображения заставили бы белого командира бросить войска в лобовую атаку. Я уверен, что белый командир, который поступил бы таким образом, не нашел бы понимания среди соотечественников.

Кстати, насчёт схватки на равных с белыми людьми. Я ехал мимо мертвых и раненых японцев на дороге и чувствовал ужас при виде военных бедствий. Заметьте, что к этому времени я уже несколько месяцев жил среди азиатских солдат. Лица вокруг меня были азиатскими лицами, кожа — желтой и смуглой. Я привык к людям другого племени. Мой разум привык принимать как должное, что здесь у воюющих людей глаза, скулы и цвет кожи отличаются от глаз, скул и цвета кожи людей моей расы. Я привык к этому, таков был порядок вещей.

И вот я въехал в город. В окна большого китайского дома с любопытством заглядывало множество японских солдат. Придержав лошадь, я тоже с интересом заглянул в окно. И то, что я увидел, меня потрясло. На мой рассудок это произвело такое же впечатление, как если бы меня ударили в лицо кулаком. На меня смотрел человек, белый человек с голубыми глазами. Он был грязен и оборван. Он побывал в тяжком бою. Но его глаза были светлее моих, а кожа — такой же белой.

С ним были другие белые — много белых мужчин. У меня перехватило горло. Я чуть не задохнулся. Это были люди моего племени. Я внезапно и остро осознал, что был чужаком среди этих смуглых людей, которые вместе со мной глазели в окно. Я почувствовал странное единение с людьми в окне. Я почувствовал, что мое место — там, с ними, в плену, а не здесь, на свободе, с чужаками.

В глубокой тоске я повернулся и поехал вдоль Ялу в город Антунь. На дороге я увидел пекинскую повозку, которую тащили китайские мулы. Рядом с повозкой шли японские солдаты. Был серый вечер, и все вещи на повозке были серые — серые одеяла, серые куртки, серые шинели. Среди всего этого сверкали штыки русских винтовок. А в груде серой ветоши я разглядел светлую голову, только волосы и лоб — само лицо было закрыто. Из-под шинели высовывалась голая нога, судя по всему, крупного человека, белая нога. Она двигалась вверх-вниз вместе с

подпрыгивающей двухколесной повозкой, отбивая непрерывный и монотонный такт, пока повозка не скрылась из виду.

Позже я увидел японского солдата на русской лошади. Он прицепил на свою форму русскую медаль; на его ногах были русские офицерские сапоги; и я сразу вспомнил ногу белого человека на давешней повозке.

В штабе в Антуне японец в штатском обратился ко мне по-английски. Говорил он, конечно, о победе. Он сиял. Я ни намеком не выдал ему своих сокровенных мыслей, и все же он сказал при прощании:

— Ваши люди не думали, что мы сможем победить белых. Теперь мы победили белых.

Он сам сказал слово «белые», и мысль была его собственная; и пока он говорил, я снова видел перед собой белую ногу, отбивающую такт на подпрыгивающей пекинской повозке.

Перевод с английского А.БОРИСЕНКО и В.СОНЬКИНА

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

Из книги «РОДНАЯ ЕВРОПА»

ВОЙНА

Через много лет после второй мировой войны, когда Гитлер и Муссолини уже стали бледными призраками, я попал на пляж острова Олерон у берегов Франции, к северу от Бордо. Океанский отлив обнажил железные останки вросшего в песок корабельного остова. Трудолюбивая вода выдолбила возле ржавых балок рытвины, и получились прудики, в которых мой сын учился плавать. Мы решили, что остов лежит здесь со времен вторжения англо-американских войск, но оказалось, что намного дольше. Тут нашел свое пристанище плававший под уругвайским флагом корабль, перевозивший медь для французской армии, которая вела бои с войсками Вильгельма II. Прочность вещей и непрочность людей всегда поразительны. Я прикасаюсь к обросшим ракушками и водорослями бортам, не совсем еще готовый смириться с мыслью, что две великие войны теперь столь же нереальны, как пунические войны.

Первые мои сознательные впечатления совпали с войной. Высовывая голову из-под бабушкиной пелерины, я знакомился со страхом: рев перегоняемого куда-то скота, паника, густая пыль на дороге, темный горизонт, на котором сверкало и громыхало. Немцы наступали, царские войска отступали из Литвы, и с ними — толпы беженцев.

К тому лету 1914 года относится четко прорисованная сцена. Яркое солнце, газон, я сижу на лавочке с молодым казаком — он черный, тонкий в поясе и очень мне нравится. На груди у него перекрещиваются ленты с патронами. Он вытаскивает пулю, высыпает из гильзы на скамейку зернышки пороха. И тут происходит трагедия. Я люблю белого барашка. И вот я вижу: за ним среди зелени гонятся казаки, заступают ему дорогу. Чтобы его зарезать. Красивый казак вскакивает и бежит им на помощь. Мой отчаянный крик, нежелание признать неотвратимость беды — первый протест против Неизбежности.

В это же время появляются кладбища, которые позже станут излюбленным местом наших игр, — тщательно ухоженные могилы (мы натыкались на них в зарослях малины и ежевики) с каменными или деревянными крестами с фамилиями Шульц, Мюллер, Хильдебранд. Только о немецких павших возьмет на себя заботу чья-то рука. Никто не позаботится о солдатах царя.

На протяжении всего моего раннего детства реки, городки, пейзажи сменялись с огромной быстротой. Отца мобилизовали, он строил дороги и мосты для российской армии, и мы колесили с ним по прифронтовой полосе, вели кочевую жизнь, нигде не задерживаясь дольше двух-трех месяцев. Часто домом нам служил фургон, иногда — вагон военного эшелона с самоваром на полу, который опрокидывался, когда поезд внезапно трогался с места. Такое отсутствие оседло-

---

ЧЕСЛАВ МИЛОШ (род. в 1911 г.) — польский поэт, эссеист, прозаик, лауреат Нобелевской премии (1980). Публикуемые фрагменты взяты из сборника эссе «Родная Европа» (1959).

© К. Старосельская. Перевод, 1999

сти, подсознательное ощущение, что все временно, входит, как мне кажется, в уравнения, составляемые в зрелом возрасте, и может быть причиной пренебрежительного отношения к государствам и строям. История становится текучей, обретает характер непрерывного странствования.

На меня обрушился хаос заманчивых и многоцветных картин: пушки разнообразной формы, винтовки, палатки, паровозы (один, похожий на огромную зеленую гусеницу, надолго поселился в моих сновидениях), моряки с кортиками, постукивающими по бедрам, киргизы в халатах до земли, китайцы с косичками. Возле какой-то станции я разглядывал самолет — путаницу веревок и тряпок. Мне подарили несколько игр — все с боями крейсеров. На всех накаляканных мною рисунках бежали в атаку солдаты и рвались снаряды.

Постоянно слыша вокруг себя русскую речь, я говорил по-русски, совершенно не понимая, что я двуязычен и по-разному складываю губы — в зависимости от того, к кому обращаюсь: к родным или чужим. Знание русского языка осталось навсегда, и потом никогда не было нужды специально его учить. Акцент, значение слов вдруг выскакивали из запертой кладовой памяти.

В одной местности, где мы задержались дольше обычного, проявилось мое призвание — видно, мне предназначалось стать бюрократом. Мы с моим приятелем Павлушкой, сыном бородатого старовера Абрама (библейский Авраам впоследствии неизменно представлялся мне только таким), прокрадывались в комнаты, где люди в мундирах с погонами писали и считали на счетах. Там мы усаживались за свободный стол, и я строгим голосом приказывал: «Павлушка, давай бумагу!» Насупив брови, я выводил нечто изображавшее подпись — движение карандаша наполняло меня сознанием своего могущества — и отдавал бумагу Павлушке, чтобы он приобщил ее к делу.

Вскоре после этих посещений армейской канцелярии мне надели на рукав красную повязку. Конец зимы 1916/17 года, отречение царя. Я гордился тем, что цвет моей повязки красивее, чем у местной детворы. Я узнал, что этот, малиновый, цвет — польский и патриотический. Очень хорошо, что прогнали царя, так ему и надо. Но мы — это одно, а русские — совсем другое.

Прибой омывал остов уругвайского корабля на песках Олерона и тогда, когда иприт на полях Фландрии отравлял людей, и когда рушились троны и государства, когда я проживал свою жизнь надежд и поражений, когда сооружались газовые камеры и сторожевые вышки концлагерей. В шуме океана всегда есть привкус бренности. Лучше довольствоваться малым человеческим временем.

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

Барский дворец стоял в парке, спускающемся к Волге. Березовая аллея вела к расположенному в полутора верстах городу Ржеву. В подвалах дворца разместились армейские кухни, нижние этажи занимала семья владельца, в комнатах на чердаке жили мы, то есть «беженцы». Любимыми моими друзьями были русские солдаты. Лицо приятно щекотали их рыжие бороды, мягкие, как обезьянка, которую мне сшили из лоскутков. Я участвовал во всех их трапезах в кухне внизу, сидя у кого-нибудь из бородачей на коленях. Мне совали в руку ложку и велели есть. Я относился к этому как к скучной обязанности, которую — неизвестно почему — надо исполнять, чтобы насладиться радостью общения. Потом я поднимался наверх, где меня ждал ритуал второго обеда: я все сметал с подсовываемых матерью тарелок не из жадности, а из послушания. В результате я стал мучеником аскетизма навыворот, подобно набожным ханжам-распутницам. Я тяжело заболел расширением желудка, что, как я сейчас понимаю, в преддверии приближавшихся великих событий было совсем некстати.

С хозяевами дворца я дружбы не завел и в их комнаты — сферу таинственную и недоступную — не заглядывал. Исключение составляла добрая старушка, которая уводила меня к себе по длинному, заставленному сундуками коридору. В ее комнате пахло ладаном, поблескивала позолота икон и красновато светились лампадки с плавающим в масле фитилем.

Кроме того, я, кажется, был влюблен в Лену. Правда, я мог только издали ею восхищаться. Это была двенадцатилетняя особа, гордая и надменная. Каждое утро к парадному крыльцу подкатывала коляска с кучером на облучке. Она отвозила Лену в Ржев, в школу. Я стоял поодаль и, глотая слюну, созерцал шею в вырезе матросского воротника. «Шея твоя, как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных», — мог бы я сказать, однако не говорил. Меня не смущало, что у предмета моего восхищения веснушки и прыщи. Но тогда ни в чем не было ясности. Я постоянно слышал вокруг: «Ленин, Ленин», и этот звук ничего

не означал. Однако он ассоциировался с шеей, и оттого в моем воображении странным образом переплелись Лена и Ленин.

«Десять дней» представились мне следующим образом. Я лежал в кровати, открыл глаза и увидел одного из моих бородатых друзей. Его гимнастерка была сплошь забрызгана кровью. Вел он себя не так, как обычно. Каким-то хриплым шепотом, словно куда-то спешил, спросил, где родители. Потом исчез, и тут же вбежали мать с отцом с криком, не испугался ли я. «Сережа зарезал петуха», — ответил я и, перевернувшись на другой бок, заснул.

Для свободы есть разные определения. Одно из них гласит, что свобода — это возможность пить водку в неограниченных количествах. В Ржеве солдаты разгромили казенную винную лавку. Спиртное потекло по сточным канавам, и жители города, не в силах глядеть на такое расточительство, ложились на край канав и пили. Сережа ввязался в пьяную драку и деловито зарезал не петуха, а одного из своих товарищей, вследствие чего другие погнались за ним, чтобы ответить ему тем же. Он влетел на наш чердак в поисках убежища. И кажется, мои родители где-то его спрятали, что было благородно.

Возникают новые линии раздела между людьми. Немаловажно деление на тех, кто знает Россию, и тех, кто ее не знает: разнится их глубинное, порой трудно определимое отношение к одним и тем же явлениям жизни. Знание это вовсе не обязательно осознанное. Поразительно, до какой степени дух той или иной страны может проникнуть в ребенка. Сильнее мысли зрительный образ: например, сухие листья на дорожках, сумерки, тяжелое небо. В парке пересвистывались революционные патрули. Волга была свинцово-черной. Я навечно впитывал ощущение подспудной опасности, непостижимых диалогов — шепот, перемигивания. Дворец покорно ждал обещанной расправы с его обитателями — этой печальной участи вряд ли избежали бы случайные приживальщики-беженцы, — и в воздухе был разлит страх. Я впитывал в себя и церковные луковки на фоне сине-красного неба, испятнанного тучами галок, булыжные мостовые Ржева, на которых за проезжающей телегой тянулся ручеек семечек из распоротого мешка, детей в ушанках, с криком запускающих змея. По неизвестным мне причинам — вероятно, из-за переездов конторы, где служил отец, или по соображениям безопасности — мы вскоре снова отправились в путь и поселились в Дерпте — городе на западном рубеже бывшей империи. Деревянная лестница в доме была грязная, двор унылый. Вокруг меня не стихали разговоры о голоде. Не хватало сахара, мяса, был хлеб, больше чем наполовину состоящий из опилок, сахарин и картошка. Ночью меня будил громкий стук в дверь, шаги и грубые голоса. При свете коптилки люди в кожанках и высоких сапогах высыпали на пол содержимое ящиков и шкафов. Отец мой был «спецом», утвержденным рабочим советом предприятия, и в списке подозрительных лиц не значился. Обыски во всех домах города были, по-видимому, делом обычным. Ужас на лицах женщин, крик брата в колыбели, перевернутый вверх дном убогий семейный очаг, то бишь нора, — все это ранит детскую душу.

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

ЭРНСТ ЮНГЕР

Из книги «В СТАЛЬНЫХ ГРОЗАХ»

МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА

30 июля 1918 года мы остановились на отдых в Соши-Лестре, истинной жемчужине в ожерелье сверкающих под летним солнцем рек и озер Артуа[1]. Но через несколько дней отступили еще дальше, до Эскодёвра, обычного рабочего предместья, будто отторгнутого аристократическим Камбре.

[1] Историческая область на севере Франции. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

ЭРНСТ ЮНГЕР (1895—1998) — немецкий писатель и эссеист. Участник первой и второй мировых войн. Публикуемые главы взяты из военного дневника «В стальных грозах» (1920).

© А. Егоршев. Перевод, 1999

В квартире типичной для севера Франции рабочей семьи на Рю-де-Буше меня устроили в гостиной. Обстановка состояла из огромной кровати, обязательной в таких комнатах, камина с красными и синими стеклянными вазами на полке, круглого стола и полудюжины стульев. Вместе с почтовыми открытками на стенах висели дешевые цветные литографии «Vive la classe!» и «Souvenir de premiére communion»[1]. Из окна открывался вид на обширный церковный двор.

Полнолуние благоприятствовало частым визитам вражеских летчиков, из чего мы заключили, что превосходство противной стороны в боевой технике непрерывно возрастало. С наступлением ночи десятки самолетов подплывали по светящемуся небу к Камбре и его окрестностям и сбрасывали свой смертоносный груз. Из душевного равновесия меня выводили не столько комариное нытье моторов и долгое эхо разрывов, сколько топот ног и тревожные голоса хозяев, торопливо спускавшихся в подвал. Впрочем, за день до того, как я тут обосновался, одна из бомб разорвалась прямо под окном гостиной, развоpотила угол кровати, швырнула на пол спавшего там главу семейства, оглушив его, а также испещрила осколками каменную кладку дома. Однако благодаря именно этому случаю я вдруг ощутил себя почти неуязвимым, ибо склонен был верить в примету бывалых воинов, что свежая воронка — самое надежное укрытие.

После короткого отдыха снова пошла муштра. Строевая подготовка, учебные занятия, поверки, совещания и осмотры занимали бóльшую часть дня. Как-то раз офицерский суд чести заседал с утра до обеда, прежде чем вынес окончательный вердикт. Питание опять стало скудным и плохим. Одно время на ужин давали одни огурцы, и солдаты со свойственным им горьковатым юморком тут же окрестили их «колбасками огородника».

Я занимался в основном подготовкой небольшого ударного отряда, поскольку в последнее время все отчетливее видел, что боеспособность наших войск неуклонно снижалась. При нанесении главного удара можно было положиться лишь на немногих — тех, что прошли огонь, и воду, и медные трубы, твердых как кремень, в то время как основная масса годилась разве что для огневой поддержки. В таких условиях охотнее командуешь взводом проворных храбрецов, чем ротой нерешительных увальней.

В свободное время я читал, купался, упражнялся в стрельбе, совершал прогулки верхом. За час-другой после обеда нередко делал более сотни выстрелов по бутылкам и консервным банкам. Луга и рощицы, по которым я скакал, были густо усеяны листовками: пропагандистские службы противника все интенсивнее использовали их для подрыва боевого духа наших солдат. Наряду с призывами политического и военного характера они обычно содержали описания комфортной жизни в английских лагерях для военнопленных. «А еще сугубо по секрету: очень легко заблудиться, возвращаясь в темноте с полевой кухни или после рытья окопов!» — прочитал я в одной из листовок. На другой было тиснуто даже стихотворение Шиллера о вольной Британии. При попутном ветре листовки переправляли через линию фронта на небольших аэростатах. Нанизанные пучками на нитки, они спустя некоторое время отделялись с помощью запального шнура. Вознаграждение в 30 пфеннигов за каждую найденную листовку свидетельствовало о том, что командование явно опасалось их разлагающего воздействия на солдатскую массу. Все издержки, правда, должно было покрывать население оккупированной территории.

Как-то после полудня я сел на велосипед и отправился в Камбре. Уютный старинный городок выглядел пустынным и заброшенным. Магазинчики и кафе были закрыты. Улицы казались вымершими, хотя по ним катился людской вал в униформе стального цвета. Господин и госпожа Планко, у которых год тому назад я квартировал прямо-таки в роскошных условиях, искренне были рады снова увидеть меня. По их словам, жизнь в Камбре во всех отношениях ухудшилась. Больше всего досаждали частые налеты, заставляя пожилых людей по нескольку раз за ночь сбегать и подниматься по лестнице, споря о том, где и как легче погибнуть — на верхнем этаже подвала от самой бомбы или на нижнем, под обломками. Глядя на их озабоченные лица, я испытывал к почтенным супругам сердечную жалость. Через несколько недель, когда заговорили орудия, им пришлось в страшной спешке покинуть дом, где прошла вся их совместная жизнь.

23 августа около 11 часов вечера, едва погрузившись в безмятежный сон, я был разбужен лихорадочным стуком в дверь: вестовой принес приказ на марш. Еще накануне — на службе, в столовой, за картами — мы слышали со стороны фронта монотонный гул и глухие раскаты необычайно мощной канонады, как бы говорившей в течение всего дня, что надеяться на длительную передышку бессмысленно.

Наскоро собрав амуницию, мы построились под проливным дождем у дороги на Камбре.

---

[1] «Да здравствует демобилизация!», «Воспоминание о первом причастии» *(франц.)*.

Пунктом назначения был Маркьон, куда мы прибыли около пяти утра. Роте отвели большой двор с разоренными хлевами и конюшнями, где каждый должен был сам найти себе пристанище. С лейтенантом Шрадером, единственным офицером в моей роте, мы заползли в выложенный кирпичом полуподвальчик, в котором, судя по специфическому запаху, в более спокойные времена содержались козы, а теперь обитали только крысы величиной с добрую кошку.

На совещании после обеда объявили, что ночью мы должны занять позиции справа от шоссе Камбре — Бапом, близ Беньи. «Не исключено, что противник двинет на вас новые, скоростные и маневренные танки», — предупредил командир полка.

Лейтенант Эрнст Юнгер

Для постановки боевой задачи взводам я собрал роту в небольшом саду. Стоя под яблоней, обратился с короткой речью к солдатам, обступившим меня полукругом. Лица были серьезны, глаза полны решимости. Убеждать этих людей не требовалось. Проникнутые единым моральным духом, присущим — наряду с духом боевым — любой армии, все они в последние дни, видимо, поняли, что дела наши идут все хуже и хуже. При каждом крупном наступлении противник применял все более эффективные технику и вооружение. Его удары становились внезапнее и мощнее. Было ясно, что побеждать мы больше не можем. Но все были готовы сражаться до конца.

Мы поужинали со Шрадером за столом, сооруженным из тележки и двери, выпив по бутылке вина. Потом нырнули в наш хлев и проспали там до двух часов утра, пока часовой не доложил, что грузовики поданы на рыночную площадь.

В призрачном свете мы тряслись по перепаханным снарядами полям, где в прошлом году разыгралось ожесточенное сражение[1], и петляли по улочкам селений, превращенных вражескими артиллеристами в груды причудливых развалин. В полукилометре от Беньи мы выгрузились, чтобы направиться к исходным позициям. Батальон занял дефиле у шоссе Беньи—Во. Около полудня моя рота получила приказ выдвинуться к дороге между Фремикуром и Во. Теперь сомнений не было: еще до вечера нам предстоял кровавый бой.

Все три взвода один за другим зигзагами пересекли довольно большое поле, над которым кружили самолеты противника, пытаясь уничтожить нас бомбами и пулеметным огнем. Достигнув заданного рубежа, мы рассредоточились по воронкам и колдобинам, так как отдельные снаряды перелетали через дорогу.

В этот день я чувствовал себя столь скверно, что сразу залег в небольшой окопчик и уснул. Немного передохнув, вытащил из планшета «Тристрама Шенди» и провел послеобеденное время за чтением — с благодушием больного, греющегося на солнышке.

В 6.15 капитан Вайе через связного вызвал всех ротных к себе.

«Должен сделать вам серьезное сообщение, — сказал он, — мы атакуем. После получасовой огневой подготовки, ровно в семь. С западной окраины Фаврёя в направлении на колокольню в Сапиньи».

Перебросившись парой слов и крепко пожав друг другу руки, мы кинулись в свои роты: до начала артподготовки оставалось десять минут, а от рубежа атаки нас отделяло приличное расстояние. Проинформировав взводных, я приказал строиться.

«Отделения в одну шеренгу, дистанция по фронту двадцать метров. Направление — кроны деревьев Фаврёя!»

О твердости духа, по-прежнему царившего в роте, говорило то, что мне самому пришлось назвать солдата, который должен был остаться, дабы известить полевую кухню о нашем маршруте, — добровольцев не нашлось.

Вместе с ординарцами и фельдфебелем Райнеке, превосходно знавшим местность, я шел далеко

---

[1] В ноябре 1917 года в районе Камбре английские войска впервые массированно применили танки для прорыва немецкой позиционной обороны.

впереди роты. Наши орудия вели огонь из-за живых изгородей и развалин. Стрельба напоминала скорее тявканье взбесившейся собачьей стаи, чем рокот штормового вала, крушащего все на своем пути. Оглядываясь, я видел, что солдаты следовали за мной в образцовом порядке. Рядом с ними, поднимая пыль, секли землю пулеметные очереди с аэропланов, между тонкими людскими цепочками с жутким шипеньем проносилась шрапнель. Справа, из Бёньятра, по которому наши орудия лупили довольно рьяно, летели, рыча или жужжа, железные болванки с рваными краями и после короткого шлепка вгрызались в глинистую почву.

Еще неуютнее мы почувствовали себя за дорогой Бёньятр—Бапом. Неожиданно возле нас рванули сразу несколько бризантных снарядов. В мгновение ока строй рассыпался — все попадали в ближайшие воронки. Я угодил коленом в продукт страха, испытанного в той же воронке каким-то бедолагой, и приказал денщику живо хоть как-то почистить меня ножом.

Окраина Фаврёя была окутана дымом, повсюду, словно в безудержной пляске, взмывали и опадали бурые фонтаны взрывов. Подыскивая удобную позицию для роты, я дошел до первых развалин и тростью дал знак солдатам следовать за мной.

За разрушенными сараями постепенно концентрировались подразделения первого и второго батальонов. На последнем отрезке пути застучал пулемет. Взметая облачка пыли, пули как бы протягивали нити силков, в которых запутывались продвигавшиеся вперед солдаты. Среди пострадавших был и вице-фельдфебель Бальг из моей роты — пуля пробила ему ногу.

Какой-то человек в коричневом вельветовом костюме невозмутимо пересек простреливаемое пространство и долго тряс мне руку. Киус и Бойе, капитан Юнкер и Шапер, Шрадер, Шлегер, Хайнс, Финдайзен, Хёлеман и Хоппенрат стояли за расчесываемой свинцом и железом живой изгородью и в обычной манере вели громкие дебаты об исходе предстоящей атаки. Судьба неоднократно сводила нас в роковые дни на поле брани, и на сей раз клонившемуся к закату солнцу предстояло бросить прощальные лучи на окровавленные тела многих моих соратников.

Подразделения первого батальона вошли в парк, окружавший замок. Из второго батальона лишь моей и пятой роте удалось пройти огневую завесу почти без потерь. Карабкаясь по развалинам домов, переползая через воронки, мы достигли наконец западной окраины селения и спустились в ложбинку. По пути я подобрал и нахлобучил чью-то каску. Обычно я позволял себе такое лишь в самых критических ситуациях. К моему удивлению, в Фаврёе не было ни души. Видимо, англичане решили оставить этот участок обороны, и потому тут уже царила напряженная атмосфера, характерная в подобные моменты для бесхозных помещений и предельно обостряющая зрение.

Капитан фон Вайе, свалившийся с тяжелым ранением, как мы потом узнали, в какую-то воронку, еще раньше отдал приказ наступать тремя эшелонами: в авангарде — пятая и восьмая роты, за ними — шестая и наконец наша — седьмая. Поскольку ни шестой, ни восьмой не было видно, я решил атаковать, не очень-то заботясь о месте роты в наступательных порядках.

Часы показывали семь. Сквозь прогал между остовами разрушенных домов и обгорелыми стволами деревьев я увидел, как на поле, где не было ни кустика, под слабым ружейным огнем появилась цепь пехотинцев — очевидно, пятая рота.

Используя ложбинку в качестве естественного укрытия, я построил роту и отдал приказ наступать двумя эшелонами. «Дистанция — сто метров. Сам пойду в центре».

Начинался последний бой. Как часто за эти годы в таком же настроении мы шагали на запад — туда, где садилось солнце! Лез-Эпарж, Гиймон, Сен-Пьер-Вааст, Лангемарк, Пассендале, Мёвр, Врокур, Мори!.. И снова нас манил кровавый пир.

Мы вышли из ложбинки так, будто были на обыкновенном плацу, только вот «я сам» — выражаясь чеканным слогом немецких приказов — почему-то вдруг оказался на голом поле рядом с лейтенантом Шрадером перед первой цепью.

Самочувствие чуть улучшилось, но мне было все еще не по себе. Когда потом мы прощались с Халлером, решившим попытать счастья в Южной Америке, он рассказал, как его сосед по цепи обронил такую фразу: «Сдается, что сегодня лейтенанту живым отсюда не выбраться!» Халлер был странный парень, он нравился мне своим мятежным, разрушительным духом. Он поведал мне тогда истины, о которых я и понятия не имел. К своему удивлению, я узнал, например, как простой солдат нутром чует, что творится в душе у командира, ведущего подчиненных в атаку. Действительно, я был тогда на пределе сил и к тому же с самого начала считал эту атаку напрасной затеей. Однако больше всего люблю вспоминать именно о ней. Тут не сошлись в могучем порыве две армии, тут не было борения страстей, свойственного великим сражениям. Зато у меня было такое чувство, очень безличное, смутное, будто я наблюдаю сам за собой в подзорную тру-

бу. Впервые за годы войны показалось, что пули свистят не мимо меня, а мимо какого-то предмета. Воздух был прозрачен, как стекло.

Со стороны противника слышались пока лишь отдельные выстрелы. Быть может, нас просто плохо было видно на фоне развалин. С тростью в правой и пистолетом в левой руке я, тяжело ступая, шел вперед и даже не заметил, как пехотинцы пятой роты частью остались за моей спиной, а частью оказались справа от меня. В какое-то мгновение я почувствовал, что Железный крест оторвался от мундира и упал на землю. Шрадер и денщик начали вместе со мной усердные поиски, хотя стрелки, затаившиеся на той стороне, без сомнения, держали нас на мушке. Наконец Шрадер нашел орден в густой траве, и я вновь прикрепил его к груди.

Местность пошла под уклон. Какие-то фигурки передвигались в сизой дымке перед бурым глинистым откосом. Потом короткими очередями по нам начал бить пулемет. Ощущение безысходности усиливалось. Тем не менее мы перешли на бег. Перепрыгивали через окопчики и наспех вырытые траншеи. В момент одного такого прыжка удар в грудь пронзил меня, как дичь на взлете. С криком, при котором вместе с воздухом из легких уходила, казалось, жизнь, я несколько раз крутанулся и грохнулся наземь.

Вот и до меня дошла очередь... Пуля рвала не только мою плоть — она рвала мою жизнь. Еще под Мори я ощутил руку смерти. Теперь — ее мертвую хватку. Свалившись в траншею, я понял, что пришел конец. Как ни странно, но именно это мгновение я отношу к тем, совсем немногим, о которых могу сказать, что они были действительно счастливыми. Мне внезапно открылась сокровенная суть моего бытия. Неужели все должно закончиться именно тут, думал я с неожиданно радостным удивлением. Потом стрельба стала стихать, и у меня появилось ощущение, будто я опускаюсь на дно глубокого бурного потока. Туда, где нет ни войны, ни вражды.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мне не раз доводилось видеть подстреленных романтиков. Вокруг гремел бой, бушевали человеческие страсти, а они лежали недвижно, с потухшим взором, и смею сказать, что тайный ход их мыслей и душевные переживания не были мне совсем чужды.

Судя по развитию событий, я пролежал без сознания не очень долго: по крайней мере, наша первая цепь успела достичь траншеи, в которую я свалился. Зажатый ее глинистыми стенками, я очнулся с ощущением какой-то большой беды и тут же услышал крик: «Санитары, к ротному!» Краем глаза заметил, что по траншее, пригнувшись, бежали солдаты.

Пожилой пехотинец с добродушным лицом — из другой роты — склонился надо мной, расстегнул ремень и мундир. Справа на груди у меня алело кровавое пятно, другое такое же было, наверное, где-то под лопаткой. Я был не в состоянии пошевелиться, от жары и тесноты все тело покрылось липким потом. Сердобольный солдат поднял мой планшет и стал махать им, как веером. Хватая ртом воздух, я почувствовал некоторое облегчение. Оставалось ждать спасительной темноты.

Внезапно со стороны Сапиньи послышался рев орудий, тут же заполнивший все пространство между небом и землей, и на нас обрушился шквал огня. Это, безусловно, означало нечто большее, чем ответ на нашу плохо подготовленную вылазку. Над собой я увидел окаменевшее под стальной каской лицо лейтенанта Шрадера. Он стрелял как машина, то и дело передергивая затвор. Между нами завязался разговор, напомнивший сцену в башне из «Орлеанской девы». Правда, мне было не до шуток, ибо я прекрасно понимал, что моя песенка спета.

Шрадер лишь изредка бросал мне отрывистые фразы, ведь я уже был не в счет. Не в силах что-либо делать сам, я попытался определить по выражению лица Шрадера, как обстояли дела наверху. Контратакующим удалось, по всей видимости, значительно продвинуться вперед, так как Шрадер все чаще и яростней требовал от своих соседей по траншее стрелять по конкретным целям; значит, солдаты противника были совсем близко.

Неожиданно по цепочке вдоль траншеи пронесся крик: «Они прорвались слева! Нас обошли!» В голосах звучал ужас людей, застигнутых врасплох прорывом плотины. Во мне же этот истошный вопль опять зажег искру жизни. Вытянув вверх руку, я нащупал в стенке траншеи крохотную выемку — скорее всего, вход в норку мыши или крота, — засунул туда два пальца и начал медленно подымать тело, чувствуя, как накопившаяся в легком кровь потекла из ран. И чем сильнее она текла, тем легче мне становилось дышать и выпрямляться. С непокрытой головой, в мундире нараспашку, сжимая в руке пистолет, я медленно оглядел поле боя.

Сквозь бледно-желтые клубы дыма вперед цепью бежали солдаты с тяжелыми ранцами за

плечами. Некоторые падали как подкошенные, другие сперва делали кувырок, точно подбитые зайцы. Последних из цепи, метрах в ста от нас, поглотили воронки. Наверняка это были новобранцы, еще не нюхавшие пороху и оттого безрассудно храбрые.

Четыре танка вползали на высотку, точно связанные одной веревочкой. За считанные минуты артиллерия буквально вколотила их в землю. Один развалился пополам, как игрушечный. Справа от меня, пронзительно вскрикнув, рухнул на дно траншеи фаненюнкер Морман. Он был храбр, как молодой лев; в этом я убедился еще под Камбре. Пуля попала ему прямо в лоб. Это был поистине снайперский выстрел, гораздо более точный, чем тот, после которого бравый юноша сделал мне перевязку.

И все-таки мне казалось, что бой еще не проигран. Еле ворочая языком, я приказал фенриху Вильски сместиться влево и закрыть брешь в обороне пулеметным огнем. Через минуту он вернулся и доложил, что в двадцати метрах от нас все уже сдались. Это было одно из подразделений другого полка. До сих пор я стоял на ногах, ухватившись левой рукой за пучок травы, и даже пытался отдавать команды. Теперь мне удалось повернуться, и глазам моим предстала неожиданная картина. Англичане ворвались в траншеи, примыкавшие к нашей слева, а некоторые из них шли с винтовками наперевес вдоль окопов поверху. Не успев осознать всю опасность ситуации, я был отвлечен другой, еще более страшной угрозой: сзади, ведя пленных с поднятыми руками, к нам приближались другие вражеские солдаты! Значит, противник занял оставленную нами деревню почти сразу после того, как мы пошли в атаку. Перерезав наши коммуникации, он теперь затягивал мешок.

Между тем положение осложнялось... Нас окружили с полсотни англичан и пленных немцев, требуя сложить оружие. Замешательство было полное, как на корабле, получившем пробоину. Хоть и тихим голосом, но я все же призвал тех, кто еще находился рядом со мной, продолжать сопротивление. Они сразу открыли огонь — и по чужим, и по своим. Кольцо из орущих или мрачно молчащих людей все теснее смыкалось вокруг нашей группки. Невдалеке два дюжих англичанина раз за разом с силой тыкали штыками в траншею, откуда, моля о пощаде, тянулись вверх чьи-то руки.

Рядом со мной солдаты тоже стали выкрикивать: «Эй, ребята, сколько можно?! Бросай винтовки! Не стреляйте, братцы!»

Я взглянул на двух офицеров, стоявших поблизости. В ответ они пожали плечами, улыбнулись и сбросили поясные ремни...

Плен или пуля. Иного выбора не было. Подумав так, я выкарабкался из траншеи и побрел в сторону Фаврёя. Все происходящее казалось дурным сном, когда ног не оторвать от земли — они будто свинцовые... Единственным благоприятным обстоятельством была, пожалуй, царившая кругом сумятица: одни уже угощали друг друга сигаретами, другие продолжали стрелять, бить, колоть. Дорогу мне преградили два британца. Они конвоировали группу пленных солдат соседнего полка. До ближнего томми было не более полутора шагов. Я вскинул пистолет и нажал курок. Второй разрядил в меня всю обойму — и не попал. От резких движений кровь из легкого потекла сильнее. Дышать стало легче, и я побежал вдоль траншеи. Лейтенант Шлегер, присев за земляной выступ, отстреливался вместе с группой солдат. Они присоединились ко мне. Завидев нас, несколько солдат противника залегли, установили «льюис» и открыли огонь. Пули сразили всех, пощадив меня, Шлегера и еще двоих моих спутников. Шлегер, страдавший сильной близорукостью и потерявший к тому же очки, рассказал мне потом, что не видел перед собой ничего, кроме моего подпрыгивающего планшета. Тот служил ему ориентиром. От большой потери крови я почувствовал свободу и легкость, какие обычно приносит опьянение. Боялся только одного — обессилеть и упасть раньше времени.

В конце концов мы оказались справа от Фаврёя у земляной насыпи в форме полумесяца. Несколько крупнокалиберных пулеметов и здесь поливали свинцом своих и чужих. Значит, в кольце была брешь или по крайней мере островок, и нам таки повезло. Попадая в укрепления, вражеские снаряды разлетались на сотни осколков, офицеры то и дело срывались на крик, солдаты метались, не зная, какую команду выполнять. Санитар с погонами унтера из шестой роты содрал с меня мундир и посоветовал немедленно лечь: «А то сейчас же помрете от потери крови...»

Меня завернули в плащ-палатку и понесли по задам селения. Сопровождать командира вызвалась горстка солдат моей и шестой роты. В селении уже было полно англичан, и вскоре они с кратчайшего расстояния открыли по нам огонь. Пули попадали в людей с каким-то чваканьем. Санитар из шестой роты, который нес меня вместе с другими, упал с простреленной головой. Шлепнулся на землю и я...

Другие мои спасители мгновенно залегли, а потом поползли к ближайшей лощинке.

Я остался в поле один, запеленутый в плащ-палатку, и почти равнодушно стал ждать пули, которая закончит мою одиссею.

Однако и в этом, казалось безвыходном, положении я не остался брошенным. Солдаты, спрятавшись в лощинке, наблюдали за мной и вскоре вернулись. «Я возьму господина лейтенанта на спину, и мы или прорвемся, или ляжем тут», — услышал я голос ефрейтора Хенгстмана, белобрысого верзилы из Нижней Саксонии.

Увы, мы не прорвались: на задах селения собралось слишком много метких стрелков. Я обхватил шею Хенгстмана, и он побежал. Тотчас поднялась пальба, как на полигоне, когда до мишени сто метров. Уже после двух-трех коротких рывков что-то цокнуло о металл, и Хенгстман начал медленно оседать... Он падал без единого звука, но я почувствовал, что смерть овладела им прежде, чем мы коснулись земли. Высвободившись из его рук, еще крепко державших меня, я увидел, что пуля пробила каску и прошла сквозь оба виска. Смельчак был сыном учителя из небольшого городка под Ганновером. Как только опять смог ходить, я навестил его родителей и рассказал им, как он погиб.

Смерть Хенгстмана не испугала других радетелей, и один из них предпринял новую попытку спасти меня. Это был сержант медико-санитарной службы Стрихальски. Он взвалил меня на плечи и донес под градом пуль до того места за ближайшим пригорком, которое не простреливалось.

Смеркалось. Мои спасители подобрали плащ-палатку убитого солдата и понесли меня через пустынную местность, над которой непрерывно вспыхивали ослепительные звезды с ломаными лучами. Мне страшно не хватало воздуха, и я чуть не задохнулся от дыма сигареты, когда солдат, шагавший метрах в десяти впереди, закурил.

Наконец мы добрались до блиндажа, где исполнял свои обязанности мой старый приятель доктор Кай. Он приготовил восхитительный напиток с лимоном и, сделав укол морфия, погрузил меня в живительную дрему.

Ухабистая дорога, по которой утром меня доставили на автомобиле в госпиталь, была последним суровым испытанием для моих жизненных сил. Там я попал в руки медсестер и продолжил чтение «Тристрама Шенди» с того самого места, где оно было прервано приказом идти в атаку.

Участие друзей помогло перенести периодические ухудшения состояния, характерные при легочных ранениях. Приходили солдаты и офицеры из дивизии. Правда, участники атаки под Сапиньи или полегли там, или, как Киус, были в английском плену. Когда в Камбре начали рваться снаряды медленно, но неуклонно продвигающегося вперед противника, супруги Планко написали мне очень милое письмо и послали отнюдь не лишнюю банку молока и единственную дыню, созревшую тем летом в их саду. Самые горькие дни были для них еще впереди. Мой денщик ничем не отличался от вереницы его предшественников. Он остался при мне, хотя довольствия ему в госпитале не полагалось и еду на кухне приходилось выпрашивать.

От скуки, неизбежной при долгом лежании, я решил однажды сосчитать все свои ранения. Помимо таких мелочей, как кровоподтеки и царапины, на мою долю пришлось не менее четырнадцати попаданий: пять пуль, два осколка снарядов, шрапнельная пуля, четыре гранатных осколка и два от разрывных пуль. У меня осталось двадцать шрамов — некоторые огнестрельные ранения были сквозными. Участвуя в войне, когда огонь вели уже больше по площадям, нежели по отдельным людям, я все-таки добился того, что одиннадцать из несметного количества пуль были выпущены лично в меня, и поэтому имел полное право прикрепить к груди Золотой знак за ранения.

Через две недели санитарный поезд увозил меня на северо-восток. Покачиваясь на пружинном матрасе, я скользил взглядом по немецкому ландшафту. Осень уже слегка позолотила листву. К счастью, меня выгрузили в Ганновере и поместили в приют св. Клементины. Вскоре появились первые посетители, и среди них мой брат. Видеть его было особенно радостно. После ранения он словно еще больше вытянулся, но правая сторона тела по-прежнему плохо слушалась.

Я делил комнату с молодым летчиком из эскадрильи барона Рихтхофена. Венцель принадлежал к когорте атлетически сложенных, отчаянно смелых людей, которые еще рождаются в нашей стране. Он свято следовал девизу своей эскадрильи «Железная воля и безоглядный риск!» и уже сбил двенадцать самолетов противника. Лишь в последнем бою пуля раздробила ему предплечье.

Свое выздоровление я отпраздновал с Венцелем, братом и еще несколькими фронтовыми товарищами, дожидавшимися отправки домой, в офицерской столовой ганноверского Гибралтарского полка. Поскольку сидевшие за соседним столиком усомнились в нашей способности вновь отправиться на фронт, мы почувствовали горячее желание доказать обратное и начали прыгать

через громадное кресло. Однако упражнения эти кончились плачевно. Венцель сломал руку, а у меня температура на следующее утро поднялась до сорока. Более того, ртутный столбик порой устремлялся к той красной черточке, которая ставит предел и искусству самого опытного врача. При такой температуре теряешь ощущение времени. Пока сестры боролись за мою жизнь, в мозгу у меня проносились картины одна бредовее, а порой веселее другой.

В один из этих дней, 22 сентября 1918 года, я получил от генерала фон Буссе телеграмму следующего содержания:

«Его величество император наградил Вас орденом Pour le mérite[1]. Поздравляю Вас от имени всей дивизии».

Перевод с немецкого А. ЕГОРШЕВА

СЕСАР ВАЛЬЕХО

ПАРИЖСКИЕ ХРОНИКИ

«РОТОНДА»

Вот он — двусмысленный склеп, радужный притон, гудящий улей космополитической чесотки. Вот оно, шумное кафе, излюбленное пристанище художников и артистов, бродяг, снобов и сомнительных женщин, от Мими до Маргариты, от гризетки до *garçonne*[2].

«Ротонда»! Бульвар Монпарнас осенней ночью под печальным дождем, где у самых твоих висков текут воздушные провода с вестями от далеких лагун, петляющие в каштанах бульвара около прогуливающихся теней и бледной ушной раковины изгнанника. «Ротонда»! Таинственный костер с шаткими языками пламени в оливковой роще Ночи.

«Ротонда»! Тут и бесконечно длинные, обволакивающие тебя канапе, и разъяренные полотна последней выставки «NOVIESPACIAL», и метрдотели с маленькими усиками, в безукоризненных куртках. Многоязыкое скопище заполняет танцевальные залы, амурные салоны и террасы. Тут мы видим Айши, смеющуюся сенегалку в зеленом травяном тюрбане, не забывающую позировать для Монпарнасской академии, и известного шведа, расслабленного и печального, в белом складчатом тюрбане, какие носят в Хайдарабаде... В одном уголке, где уминают абрикосы два багровых, не от мира сего, британца, видна тучная фигура японского художника Фудзиты[3] в больших роговых очках, из которых выкарабкиваются выразительные ликующие глаза. Вот-вот появится мадам Лурити из театра Питоева[4], позже — Хильда де Нис, прелесть, а не певица, которая не так давно дала замечательный концерт Вагнера...

«Ротонда»! В этом кафе обычно витийствует Морис Метерлинк, встряхивающий своей пышной, почти белоснежной шевелюрой, а рядом — не менее состарившийся, неразлучный с ним Энрике Гомес Карильо[5], там разительно бледный Клод Фаррер[6] коротает дождливые сумерки, невозмутимо созерцая окружающее, а здесь Тристан Тцара, Макс Жакоб и Пьер Реверди[7] со всей своей дадаистской братией пьют и гримасничают для галерки, являя публике свои личины нелепых ловцов случая.

Куда как завлекательный вид у этого шумного средоточия всеобщей нервозности, имеющего оргийную славу, похоже, что здесь тлеет фитиль, сплетенный из многих раздражителей, будо-

---

[1] За заслуги *(франц.)*

[2] Мими — действующее лицо оперы Д. Пуччини «Богема»; Маргарита — героиня романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями»; *garçonne* — эмансипированная девица; так же назывался нашумевший роман Виктора Маргеритта (1866—1942). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[3] Цукухару Фудзита (1886—1968) — известный японский художник, долго живший в Париже.

[4] Жорж Питоев (1884—1939) — режиссер, ученик Мейерхольда и Станиславского.

[5] Энрике Гомес Карильо (1873—1927) — гватемальский писатель и журналист.

[6] Клод Фаррер (настоящее имя — Фредерик Эдуар Баргон; 1876—1957) — французский писатель.

[7] Пьер Реверди (1889—1960) — французский поэт.

СЕСАР ВАЛЬЕХО (1892—1938) — перуанский поэт, прозаик. В 1923 г. эмигрировал в Европу, продолжая активно сотрудничать с газетами и журналами Лимы. Публикуемые заметки печатались в газетах «Норте» и «Мундьяль» с 1924 по 1926 г.

© П. Грушко. Перевод, 1999

Фудзита. «Ротонда»

ражащих артиста, художника и писателя, — это и эксцентричные богатеи, заглядывающие сюда из чистого любопытства, чтобы поглазеть на бессмертных, и сверхсовременные парижанки, и туристы, и сибариты. Двусмысленный склеп, сказал я, радужный притон, гудящий улей космополитической чесотки, где наличествуют и ногти — расчесывать наши самые интимные и неизъяснимые язвы.

Сердце ищет свое местечко слева и постукивает со звуком спичечного коробка — не осталось ли спичек, и знай себе запаляет всю ночь эти свои желтые палочки. Дождь как лил, так и льет, и порой спичка роняет большие капли сладкого жира. <...>

1924 г.

РЕДКИЕ ЗВЕРИ И ПТИЦЫ ПАРИЖА

В Париже в моде редкие птицы и звери. В первую голову леопард, помимо этого видели огромного ужасного орла, севшего на одну из оград музея Клюни, — он обмахивал крылами обломанные загривки меровингских быков. Позже одна из газет оповестила, что на Северном вокзале, в то время как на него прибывал поезд с находящимся в нем инкогнито главой британского правительства сэром Болдуином и его супругой, из пустых вагонов вылетели две птицы с Британских островов — каркающие и словно бы раненые. Накануне вечером, спасаясь невесть от каких невидимых преследователей, в Оперу проник молодой дурно пахнущий лис, и актриса, которая в это время репетировала роль в «Борисе Годунове», упала в обморок и навсегда потеряла голос. В кинотеатре «Могадор» начался показ «Дикого броска» — это фильм о бизоне, которого одновременно полюбили и оспаривают друг у друга женщина и невиданных размеров черепаха с трехметровым панцирем. <...>

Не чурается зверей и литература: прибывший из Экваториальной Африки Эмиль Громье, представитель Музея естественной истории, повествует в журнале «Иллюстрасьон» о своих похождениях среди дикой фауны черного континента в окружении поистине страшенных, но великолепных слонов; он рассказывает, как дорогостоящие клыки пасутся, любят своих подруг, описывает пылающие закаты в пустыне, ярость этих гигантских тварей божьих при виде человека и многое-многое другое...

А в Германии только что раскрыт ку-клукс-клан, куда более звериный, нежели в Соединенных Штатах, хотя германский Орден рыцарей пылающего креста насчитывает уже несколько тысяч приверженцев, имеет несколько уровней и управляется своего рода сенатом, то бишь Вальхал-

лой[1] под руководством служащего электрокомпании «Сименс». Большинство членов общества, включающего предшествовавшие ему объединения «Стальные каски», «Бисмарк» и другие, — это мелкие скромные служащие, рабочие, а также, в наименьшем числе, коммерсанты и студенты.

Формула клятвы, которую все члены общества должны давать, сводится к нижеследующему: «Будучи достойным германцем, клянусь исполнить мой долг по освобождению германского народа. Я использую все имеющиеся в моем распоряжении средства, чтобы сражаться с евреями, французами, поляками, китайцами, японцами, неграми и прочими цветными...» <...>

Подобная клятва дается перед черепом, за которым должно быть знамя с вышитым черным крестом.

Французы испытали шок. А газеты тут же сообщили, что свой ку-клукс-клан только что создан и во Франции. Да не узнают об этом господин Кашен[2] и посол России господин Красин.

Вчера было сообщено, что поединок между предполагаемым французским ку-клукс-кланом и передовым отрядом Советов может состояться на церемонии открытия памятника Мопассану в парке Мироменил, где помимо тех и других будут присутствовать представители правительства. В чем провинился посредственный новеллист, что на его родной земле намерены подраться красные и желтые? В том, что его произведения повлияли на русскую литературу и что для Ленина они стали любимым чтением, как сказал министр просвещения господин Моузи?..

6 ноября 1925 г.

НЕГРЫ ЗАВОЕВЫВАЮТ ПАРИЖ

<...> Сейчас я хочу сообщить о крайне любопытном событии — о завоевании Парижа негритянским театром, привезенным непосредственно из негритянского квартала Нью-Йорка в Мюзик-холл на Елисейских полях. Негритянский балет — нынешняя парижская сенсация.

Театр на Елисейских полях, где директором симпатичнейший Рольф де Маре, всегда отличался своей любовью ко всему экзотическому и неизвестному: здесь были явлены Парижу шведский балет, танцы Айседоры Дункан, украинские хоры, футуристические концерты и русский балет. И сегодня он представляет в Париже, также впервые, негритянский балет, чей огромный успех — еще одно свидетельство большого духовного потенциала Африки, этого племени, которое берет жизнь за рога... Бедный Гийом Аполлинер задрожал бы в своей героической усыпальнице, уловив в воздухе быстротекущего времени шумный успех расы, чью тазобедренную пластику он усвоил раньше всех — еще на заре кубизма.

Отрывки настоящего негритянского танца я уже видел на пленке в доме Мориса Рейналя, главного специалиста по Пикассо и кубизму. На этот раз речь идет не столько о пластике танца, сколько о пластике звуковой. О настоящем, первородном джазе во всей его неведомой дикости: тромбон, вызывающий зуд в зубах, разнообразные барабаны и тарелки, вибрация которых складывается в торжественную, улюлюкающую, суховатую, воинственную, протяженную, печально-сладострастную полифонию, скрип костей в танце с неожиданными, но тонко продуманными по стилистике замираниями в синкопах или под шлепающий звук внезапно падающего с головы цилиндра с двумя гармоничными тактами. Что это — незаконнорожденный вагнеризм на радость кларнету желания?.. Как бы там ни было, Париж поражен. Никогда он не имел дела с такой музыкой, со столь чудовищными инструментами, со столь дикими, скандально-анатомическими плясками — разве семь католических уздечек нашей цивилизации в силах обуздать таинственную скорбь животного, которое поворачивается спиной к человеку! Танец тропической чащобы, перед почти зоологической откровенностью которого бессильны какая-либо мораль или критика.

Пикассо, Жан Кокто на верху блаженства. Если бы жив был Эрик Сати — как бы порадовался этот великий старый подросток!..

Многие критики, враги Бернарда Шоу, радуются, что успех негритянского ревю совпал со спектаклем «Святая Иоанна», который в эти же дни показывают в Театре искусств. Однако, вне всякого сомнения, выше всех похвал искусство Людмилы Питоевой, исполняющей роль Жанны д'Арк в этом произведении Бернарда Шоу. Ни Ида Рубинштейн в «Идиоте» Достоевского, ни Сесиль Сорель в «Муках святого Себастьяна» Д'Аннунцио не могут сравниться с ней.

Похоже, эта русская актриса сегодня является наиболее яркой представительницей фран-

---

[1] Вальхалла — в мифологии скандинавов и германцев дворец бога Одина, куда попадают павшие в бою храбрые воины.

[2] Марсель Кашен (1869—1958) — один из основателей (1920) и руководителей Французской компартии.

цузской сцены. Особенно в роли святой амазонки, гарцующей на боевом коне под носом у самого архиепископа Реймского, — кристально чистая гуманность Питоевой, ее простота, самородное золото ее таланта, не подверженного ни плавке, ни какой-либо ремесленной обработке, настолько далеки от старцев и повивальных бабок «Комеди Франсез» и «Одеона», в том числе — Ламберта и Мадам Лизики, которые только что показали «Полифема» Самэна в руинах Алжира...

11 декабря 1925 г.

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ

Эсперанто мало-помалу прокладывает себе путь. В прошлом году Министерство народного образования Франции рекомендовало изучение этого языка во французских школах. В Японии только что сделали то же самое. В общем, эсперантистские заведения приумножаются в Соединенных Штатах, в Германии, в России, в Скандинавских странах. С каждым днем растет потребность в международном языке. Нынешняя пора — пора сердечного взаимопонимания между народами, а когда такие слова, как *мир и счастье между людьми,* произносит Вильсон, они обретают и политическую значимость. Оборонительные договоры, договоры о гарантиях, о разоружении, пакты — Лондонский, Парижский, Женевский... Слово начинает пользоваться своим древним правом на уважение. <...>

Впрочем, всегда полезно поразмыслить — необходим ли международный язык? Некоторые отвечают утвердительно. А кто против? Господин Муссолини, к примеру, — он объявил о серьезных санкциях для тех в Италии, кто публично вознамерится использовать какой-либо язык сверх языка Данте. Не меньше битва за лингвистический национализм и во Франции. Я сказал — национализм. Для несведущих: Франция не только не допускает умаления ее языковой сокровищницы, но и не прочь навязать ее всему иноговорящему миру. Что это — языковой национализм или политический империализм? Слышали бы вы, как кудахчут в Париже, воюя против употребления чужеродных языков. Не одного иностранца силком заставили изъясняться публично не на родном языке, а непременно на французском.

— Либо говорите на французском, либо молчите! — такое можно услышать не только на улице, но и в театре.

В Париже враждебность к иностранным языкам проявляется яростно, агрессивно. Еще бы! На площади Пигаль, в театрах, на Больших бульварах и в кафе можно услышать дьявольское смешение языков. В этом огромном городе есть места, где французский звучит в столь малых дозах, что кажется робким иностранным языком — петухом в чужом курятнике. Парижанин готов лопнуть от ярости, он изнемогает от патриотической боли.

Смешение языков — свершившийся факт, и избежать этого в Париже не представляется возможным. Одна из газет уже подстрекала правительство решительно запретить во Франции употребление какого-либо языка, кроме национального. Издаст ли правительство подобный декрет?

В любом случае — каким образом смогут проверить исполнение подобного декрета? Тем более в семьях. Помимо этого, кто сможет указать лингвистическому национализму, каких границ он должен придерживаться? <...>

В языке, как и в политике, неизменно приходится выбирать между Нацией и Интернационалом.

14 марта 1926 г.

Перевод с испанского П. ГРУШКО

ИВЛИН ВО

КОРОНАЦИЯ 1930 ГОДА

Они все еще танцевали, когда перед самым рассветом 19 октября 1930 года «Azay le Rideau» вошла в джибутийскую гавань. Оркестр — несчастный, пропотевший насквозь в плотных смокингах из альпаки квартет — уже давно упаковал инструменты и отбыл в свою затерянную где-то на задах корабля душную каюту. Юнга-аннамец драил палубу и распихивал по шпигатам намокшие груды серпантина. Два или три стюарда снимали развешанные по всему судну флаги и гирлянды разноцветных лампочек. Осталась одна пара: девушка-полукровка, второй класс до Маврикия, и офицер из французского Иностранного легиона. Их ноги вяло двигались по мокрым доскам в такт портативному граммофону; время от времени они останавливались и отлеплялись друг от друга, чтобы покрутить ручку и перевернуть все ту же, единственную пластинку. <...>

Помимо обычных пассажиров, нас, плывущих до Джибути, чтобы отправиться оттуда на коронацию императора Абиссинии, было на борту человек двадцать. При том что шесть недель тому назад даже имя рас Тафари[1] мне вообще почти ничего не говорило. Я гостил в Ирландии, в одном особняке, где китайщина и викторианская псевдоготика все никак не могли решить, которая из них окончательно присвоит георгианский остов дома. В библиотеке, над раскрытым атласом, мы обсуждали виды на поездку — я собирался в Китай и в Японию. Речь зашла о путешествиях вообще и о путешествиях в Абиссинию в частности. Среди гостей оказался человек, который только что приехал в отпуск из Каира; он более или менее разбирался в абиссинской политике и знал о предстоящей коронации. За дальнейшей информацией пришлось обратиться к не вполне надежным источникам; мы узнали, что абиссинская церковь канонизировала Понтия Пилата, а свежеиспеченным епископам при посвящении в сан там принято плевать на голову; что истинного наследника престола держат в горах закованным в кандалы из чистого золота; что люди там живы сырым мясом и медом; мы разыскали королевскую фамилию в «Готском альманахе» и проследили родословное древо вплоть до Соломона и царицы Савской; мы обнаружили исторический очерк, который открывался следующей фразой: «Первые достоверные сведения из эфиопской истории относятся ко времени, когда, сразу же после Потопа, царский трон занял Куш»; допотопная энциклопедия сообщила нам, что «формально абиссинцы являются христианами, однако, несмотря на это, их моральный уровень прискорбно низок, полигамия и пьянство распространены даже среди высших классов и в монастырях». Час от часу эта удивительная страна нравилась мне все больше. Две недели спустя я вернулся в Лондон и заказал билеты до Джибути. Пятью днями позже, уже в Марселе, я ступил на борт «Azay le Rideau», а еще через десять дней, стоя на палубе, в пижаме, наблюдал поверх голов танцующей под изнемогший граммофон пары, как над низкой береговой линией Французского Сомали разгорается заря.

Спать все равно не было никакой возможности, поскольку под утро обслуживающий персонал египетской делегации принялся составлять хозяйский багаж как раз напротив двери в мою каюту. Один обитый жестью сундук следовал за другим в сопровождении по-воински зычных команд дежурного сержанта и не менее внятного по-штатски разгильдяйского нытья его подо-

---

[1] Рас Тафари Маконнен, сын раса Маконнена, одного из виднейших полководцев императора Менелика II, участника победоносной итало-абиссинской войны 1895—1896 годов; начиная с 1910-х годов становится одной из виднейших политических фигур в стране. После свержения с престола в 1916 году внука Менелика II императора Лидж Ясу становится регентом и соправителем при императрице Заудиту. Сторонник европейски ориентированных реформ (в том числе отмены института рабства), лидер партии так называемых младоэфиопов. В сентябре 1928 года получает титул негуса, приобретая тем самым высший возможный в стране после императора административно-военный статус. После смерти императрицы Заудиту провозглашен императором под именем Хайле Селассие I. Впоследствии стал культовой фигурой в целом ряде расово ориентированных течений, вплоть до самоназвания одного из них — раста, растафари. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

ИВЛИН ВО (1903—1966) — английский писатель, в годы второй мировой войны служил в морской пехоте, автор серии репортажей о второй итало-абиссинской войне. «Коронация 1930 года» — глава из книги «Когда не ездить было — грех» (1946).

© В. Михайлин. Перевод, 1999

печных. Представить, что пять человек могут иметь такое количество одежды, было крайне сложно. За жестяными сундуками последовали огромные клети с подарком императору от короля Египта. Эти последние прибыли на борт в Порт-Саиде в сопровождении вооруженной охраны и нахо-

дились с тех пор под неусыпной, а отчасти даже и демонстративной охраной; их содержимое сделалось среди пассажиров предметом самых смелых догадок, и фантазии наши поднимались порой до высот откровенно библейских — ладан, сардоникс, кораллы, порфир. В действительности же, как выяснилось некоторое время спустя, внутри был не лишенный изящества, но вполне обычный спальный гарнитур.

На борту находились еще три официальные делегации, из Франции, Голландии и Польши; четвертая, японская, поджидала нас в Джибути. <...>

На первый взгляд, в этом внезапном нашествии на Абиссинию посланцев цивилизованного мира было нечто поразительное, и мне кажется, сами абиссинцы были удивлены не меньше остальных. После того как весной 1930 года внезапно скончалась императрица Заудиту — сразу

вслед за поражением мужа, раса Гугзы[1], — рас Тафари известил Великие Державы о своих намерениях в ближайшее, насколько позволят приличия, время принять титул императора Эфиопии и приложил к сему заявлению в адрес тех немногих стран, которые поддерживали с его двором дипломатические отношения, приглашение на церемонию. Несколько лет тому назад он возложил на себя корону негуса; по такому случаю прокатились к нему на пару дней с визитами его ближайшие соседи, с прочими же состоялся сдержанный обмен любезностями — по телеграфу. Императорская коронация предполагала нечто более масштабное, однако реакция Великих Держав превзошла все возможные ожидания, разом польстив эфиопам и приведя их в замешательство. Две страны прислали членов царствующих фамилий; Соединенные Штаты Америки прислали некоего джентльмена, эксперта в торговле электроприборами; прибыли также, во всем разнообразии мундиров и чинов, губернаторы Британского Сомали, Судана, Эритреи, наместник Адена, маршал Франции, адмирал, три авиатора и военно-морской оркестр. Немалые суммы были выделены из бюджетов на приобретение соответствующих случаю подарков; немцы привезли фотографию генерала фон Гинденбурга с автографом и восемьсот бутылок рейнского; греки — модерновую бронзовую статуэтку; итальянцы — самолет; британцы — пару элегантных жезлов с дарственной надписью, выполненной по-амхарски и даже почти без ошибок.

Простые эфиопы расценили сие как подобающую дань абиссинскому величию, свидетельство уважения со стороны повелителей мира сего. Иные, чуть более сведущие в мировой политике, узрели некий заговор против территориальной целостности Абиссинии — *ferangi* — и приехали в эфиопскую землю разнюхивать, что к чему. <...>

Большая часть новейших книг об Абиссинии — а я между Уэстмитом и Марселем проштудировал не одну и не две — содержит красочные описания железнодорожного маршрута между Джибути и Аддис-Абебой[2]. Обычно поезд ходит раз в неделю, путешествие занимает три дня и две ночи; на ночевку пассажиры останавливаются в отелях Дирре-Даувы и Хаваша. На то, чтобы поезд ночью оставался на станции, есть свои более чем веские резоны: во-первых, фары у локомотива имеют обыкновение выходить из строя; во-вторых, в сезон дождей вода зачастую смывает целые участки пути; кроме того, племена галла и данакиль, по чьей территории проходит линия, суть прирожденные диверсанты — им нужна сталь для перековки в наконечники копий, а потому на ранних стадиях существования абиссинской железной дороги у них вошло в привычку заимствовать то здесь, то там необходимое сырье, каковая привычка и до сей поры не совсем еще вышла из обыкновения. Однако на время коронации власти сочли необходимым наладить бесперебойное сообщение, дабы имеющийся подвижной состав справился, так сказать, с возросшим объемом перевозок. Мы выехали из Джибути в пятницу после обеда и прибыли в Аддис в воскресенье утром. <...>

Аддис-Абеба город новый; настолько новый, что, кажется, ни единого здания здесь еще не успели достроить до конца.

Первое, очевидное и совершенно неизбежное впечатление: ничто не готово и за оставшиеся до коронации шесть дней готово не будет. Не то чтобы вам время от времени бросались в глаза какие-то случайные недоработки, строительные леса или пятна незастывшего бетона; такое впечатление, что весь город находится на самой что ни на есть рудиментарной стадии строительства. На каждом углу законченный едва наполовину дом; часть строек уже заброшена; на других работают бригады оборванных гураджей. Как-то раз после обеда я наблюдал за одной такой бригадой, человек в двадцать или тридцать, под началом армянина-подрядчика — они убирали груды бутового и строительного камня, загромождавшие дворик перед главным входом во дворец. Камень полагалось накладывать в подвешенные меж двумя шестами деревянные короба, а потом высыпать в одну большую кучу ярдах в пятидесяти. Каждые носилки, весом чуть больше обычного лотка кирпича, несли два человека. Между ними, с длинной тростью в руках, ходил десятник. Стоило ему отвлечься, и тут же всякая работа прекращалась. Рабочие не садились, не болтали и

---

[1] Рас — высший княжеский титул в Эфиопии. Рас Гугза Уолле был одним из лидеров так называемых староэфиопов, противников проводимой расом Тафари политики реформ, находивших поддержку в окружении императрицы Заудиту. Заудиту доводилась дочерью Менелику II, символизировавшему национальное единство, мощь и победу над европейскими (итальянскими) колонизаторами, и как таковая была весьма популярна в народе. В начале 1930 года рас Гугза поднимает восстание против режима раса Тафари, которое вскоре закончилось для него поражением и смертью. Во намекает на то, что скоропостижная смерть императрицы Заудиту, состоявшей некоторое время в браке с расом Гугзой, вряд ли была случайностью.

[2] Единственная в те времена железнодорожная ветка, связывавшая Эфиопию с морем и с внешним миром через Французское Сомали. Находилась под французским управлением с обязательным участием в совете директоров представителей Великобритании, Италии и Эфиопии.

вообще не пытались хоть как-то расслабиться; они просто застывали на месте, неподвижные, как коровы на лугу, иной раз не выпуская из рук очередного камня. Как только десятник обращал на них внимание, они снова начинали двигаться, апатично, как будто в замедленной съемке; если он их бил, они не оглядывались, не протестовали, а только лишь едва заметно ускоряли шаг; с последним ударом возвращалась привычная скорость, пока десятник не поворачивался к ним спиной и они опять не застывали. (А что, вдруг пришло мне в голову, если и пирамиды строились тем же манером?) И такая вот работа кипела в городе на каждой улице, на каждой площади.

Аддис-Абеба имеет в диаметре миль пять или шесть. Железнодорожная станция находится на южной оконечности города, и оттуда к почтамту и торговому центру ведет широкая дорога. Город пересекают два глубоких канала, и вдоль дамб, в разбросанных между более или менее долговечными строениями эвкалиптовых рощицах, теснятся *tukal*, круглые, крытые пальмовыми листьями хижины без окон. Средняя часть центральных улиц города шоссирована под моторный и колесный транспорт, по бокам же тянутся широкие полосы пыли и гравия — для пешеходов и мулов; то и дело попадаются на глаза караульные будки из ржавого железа с начинкою из сонного — но при оружии — полицейского. Порою дело доходит до попыток регулировать движение пешеходов при помощи все той же трости, но местные жители подобные заскоки понимать отказываются. Рядовой абиссинский джентльмен путешествует обыкновенно верхом на муле, по самой середине дороги и в сопровождении десяти—двадцати вооруженных вассалов, бегущих близ господина трусцой; между городскими полицейскими и свитами сельских джентльменов то и дело происходят стычки, которые часто заканчиваются отнюдь не в пользу полиции.

Всякий уважающий себя мужчина в Абиссинии имеет при себе оружие; то бишь имеет при себе кинжал и патронташ на поясе и мальчика-раба, который носит за ним винтовку. Патроны суть символ благосостояния и служат на внутреннем рынке стандартной единицей обмена; их совместимость с той или иной конкретной системой огнестрельного оружия принимается во внимание в последнюю очередь.

Улицы всегда оживлены: универсальные белые одежды разбавлены там и сям насыщенными синими и фиолетовыми пятнами местного траура или цветистыми плащами знати. Мужчины ходят по двое или небольшими группами, держась за руки, и нередко ведут с собой упившегося до бесчувствия собутыльника. Женщин можно встретить на рынках, но в обычной уличной жизни они участия почти не принимают. Разве что изредка проследует верхом на муле какая-нибудь аристократка; лицо под широкополой фетровой шляпой сплошь закрыто белым шелком — на виду остаются одни только глаза, как у балахонника из ку-клукс-клана. Часто попадаются священники, облаченные в длинные рясы и в высоких тюрбанах. Время от времени на красной машине, в окружении отряда копейщиков-марафонцев, проносится император. Позади сидит паж и держит над головой повелителя расшитый блестками зонтик с золотыми кистями. На переднем сиденье гвардеец нянчит закутанный в бархатное покрывало пулемет; шофер — европеец, и одет он в зеленовато-голубую ливрею со Звездой Эфиопии.

Составной частью общего плана по наведению глянца к приезду заграничных гостей было строительство вдоль улиц высоких частоколов, чтобы скрыть от глаз жилища бедноты, и кое-где их даже успели закончить. На полпути к вершине холма стоит «Отель де Франс», владельцам которого, французской чете, видевшей лучшие времена в Джибути, где они торговали кожами и кофе, свойственно незатейливое, но зато сердечное гостеприимство.

Есть в городе еще один большой отель, «Империал», его держит грек, но большую часть комнат в первый же день успела реквизировать египетская делегация. Владельцы двух-трех гостиниц поменьше, а также кафе и баров здесь либо греки, либо армяне. <...>

Гебби[1] представляет собой беспорядочное нагромождение зданий на высоком холме в восточной части города. По ночам, на протяжении всей праздничной недели, Гебби был освещен гирляндами электрических ламп, днем, однако, вид у него был слегка потасканный. Весь комплекс окружен высокой стеной, и проникнуть внутрь можно через одну-единственную бдительно охраняемую двойную дверь, предназначенную равно и для мясников, и для послов. Внутри тем не менее полным-полно каких-то побродяжек, они сидят на корточках, бранятся между собой и глазеют на визитеров. <...>

Неабиссинцев в городе хватало и помимо дипломатического состава представительств, и публика была разнообразна до крайности. Кавказец, управляющий казино «Хайле Селассие»; француз, издатель «Courier d'Ethiopie», человек удивительно сердечный, всегда готовый прийти

---

[1] Императорская резиденция.

на помощь, вникающий во всякую мелочь, и притом скептик; англичанин, на жалованье у правительства Абиссинии; архитектор-француз, женатый на абиссинке; разорившийся немец-плантатор, ушедший с головой в свои печали; дряхлый пьяненький австралиец, старатель, который подмигивал вам поверх стакана с виски и намекал на горы, чуть не целиком состоящие из платины, о коих он мог бы вам рассказать, если бы захотел. Был еще некий мистер Холл, в чьем офисе я провел целую череду совершенно невероятных часов; он был торговец смешанных германо-абиссинских кровей, поразительно красивый, прекрасно одетый, неизменно спокойный и вежливый человек, в монокле и с удивительным талантом к языкам. На время коронации его поместили в маленький обитый жестью домик бок о бок с казино и назначили шефом и, насколько можно было судить, единственным сотрудником *bureau d'étrangèrs*. В обязанности ему вменялось выслушивать жалобы всех как есть иностранцев, официальные и неофициальные, снабжать новостями прессу, распределять билеты и составлять списки приглашенных на различные торжества; если итальянской телеграфной компании приходило вдруг на ум часок-другой передохнуть, претензии выслушивал мистер Холл; если не в меру исполнительный офицер полиции препятствовал той или иной персоне в доступе на какую-нибудь особо важную трибуну, мистер Холл должен был проследить, чтобы офицеру поставили на вид; если канцелярия Его Величества забывала распространить текст торжественной службы, мистер Холл обещал всем и каждому копию текста; если автобус, который должен был отвезти оркестр на ипподром, не приезжал вовсе, если выбитых в честь коронации медалей не хватало на всех желающих, если по какой-то причине или безо всякой на то причины у кого-нибудь в Аддис-Абебе случался приступ дурного расположения духа — а в подобном случае даже самый уравновешенный человек способен ни с того ни с сего выйти из себя, — направлялись прямиком к мистеру Холлу. И на каком бы языке он ни заговорил, мистер Холл был готов понять, и посочувствовать, и, с деликатностью почти что женской, успокоить, и наговорить комплиментов, и чисто мужским решительным росчерком оставить заметку в блокноте, и встать, и поклониться, и, не жалея улыбок и самых искренних уверений в готовности всегда прийти на помощь, выставить умиротворенного посетителя за дверь — и тут же обо всем забыть.

Самих абиссинцев нам видеть приходилось достаточно редко, за исключением бесстрастных и достаточно мрачных фигур на разного рода официальных приемах. Там бывал рас Хайлу, хозяин богатейшей провинции Годжам, который, по слухам, был богаче самого императора; властный человек с очень темной кожей, маленькой, острой, выкрашенной в черный цвет бородкой и дерзкой искоркой в глазах. Среди прочих его богатств значился ночной клуб в двух милях от Аддис-Абебы по дороге на Алем. Он сам его спроектировал и, желая идти в ногу со временем, решил назвать на английский манер. Так и назвали: «Робинзон». Был еще почтенный рас Касса-и-Мулунгетта, главнокомандующий абиссинской армией, человек-гора с седой бородой и налитыми кровью глазами, в парадном мундире (алый с золотом плащ, кивер, увенчанный львиной гривой), утративший едва ли не всякое сходство с человеческим существом.

До самого вечера предшествующего коронации дня гости терялись в догадках насчет того, где эта самая коронация состоится. В дипломатических миссиях никто ничего не знал. Мистер Холл тоже ничего не знал, а его контора находилась в перманентной осаде отчаявшихся журналистов, чей единственный шанс успеть дослать репортаж ко времени, когда его еще не поздно будет вставить в понедельничный номер, состоял в том, чтобы написать и отправить написанное задолго до начала мероприятия. А что они могли написать, не зная даже, где, собственно, все это будет происходить?

Едва скрывая раздражение, они взялись-таки в конце концов за дело, пытаясь выжать все, что можно, из имеющегося в их распоряжении скудного материала. Горгис[1] и его окрестности были оцеплены и недоступны; сквозь ограждение можно было различить очертания большого шатра, притулившегося к одной из стен церкви. Кое-кто из репортеров уже описывал коронацию, происходящую в этом самом шатре; другие избрали его местом официального — светского — приема по случаю коронации и рисовали фантастические картины церемонии «*в сумеречном храме, полном запахов ладана и густого, удушающего чада сальных свечей*» (Ассошиэйтед пресс); специалисты по коптскому богослужению уверяли, что, поскольку в силу сложившейся традиции коронация имеет место быть во внутреннем святилище, в которое ни один мирянин не то чтобы войти, а даже и заглянуть не имеет права, нечего даже и надеяться кому-либо из нас хоть

[1] Собор Св. Георгия, главная церковь эфиопской столицы.

что-нибудь увидеть. Киношники, коих только доставить в Аддис-Абебу вместе со всей их аппаратурой кинокомпаниям влетело в изрядную копеечку, начали проявлять признаки беспокойства, а от некоторых корреспондентов, судя по всему, ожидать приходилось чего угодно. Мистер Холл тем не менее был сама невозмутимость. Делается все возможное, заверил он нас, для нашего же удобства и комфорта; вот только где и когда, этого он наверняка не знает.

Наконец, часов за четырнадцать до начала церемонии, в миссиях были распространены пронумерованные билеты; места хватило всем, за исключением, как выяснилось впоследствии, самих абиссинцев. Расам и придворным чинам достались золоченые кресла, а вот о местных вождях, кажется, просто-напросто забыли; большая их часть осталась снаружи — тоскливо глазеть на бывший Его Величества Кайзера экипаж и на цилиндры европейских и американских визитеров; тех же, кому удалось протиснуться внутрь, оттеснили на самые зады, где они и просидели все время на корточках бок о бок или же, завернувшись в свои роскошные праздничные одеяния, дремали в дальних углах огромного шатра.

Ибо церемония в конце концов состоялась именно в шатре. Он был высокий и светлый и покоился на двух рядах драпированных легких колонн; перед сидячими местами был натянут шелковый занавес, за коим скрывалось импровизированное святилище, куда из храма перенесли киот. Застланный коврами подиум в половину ширины шатра. На подиуме стол под шелковой скатертью, а на нем императорские регалии и корона, аккуратно упакованные в картонные коробки из-под дамских шляп; по обе стороны — двойные ряды позолоченных кресел для придворных и дипломатического корпуса, а в самом конце, спиной к залу, — два трона под балдахином. Их величества провели всю ночь в неусыпном бдении, окруженные — в стенах собора — духовенством, а по периметру стен — вооруженными силами. Один смышленый журналист назвал свой репортаж «Медитация за щитками пулеметов» и был на седьмом небе от счастья, когда его наконец допустили в святая святых и он убедился, что угадал на все сто: на ступенях собора был расположен пулеметный взвод — так, чтобы простреливались все возможные подходы. <...>

Император и императрица должны были выйти из собора в семь часов утра. Нам надлежало собраться в шатре примерно за час до того. По сей причине, одевшись при свечах, мы с Айрин[1] были там около шести. Задолго до рассвета улицы, ведущие к центру города, были запружены представителями окрестных племен. Мы видели, как мимо отеля (улицы в ту ночь были, против обыкновения, освещены) движутся густые, одетые в белое толпы, кто на муле трусцой, кто пешком — если в свите вождя. Как и следовало ожидать, вооружены были все поголовно. Наш автомобиль, беспрерывно сигналя, медленно продвигался в сторону Горгис. Машин было много; частью с европейцами, частью с местными чинами. В конце концов мы добрались до церкви и, после тщательной проверки документов и собственных наших персон, были допущены за ворота. Площадь перед церковью была относительно пустой; с церковных ступеней, с поистине епископским нелюбопытным спокойствием, на нас смотрели дула пулеметов. Из храма доносились голоса священнослужителей: всенощная близилась к концу. Сбежав от многочисленных солдат, полицейских и чиновников, которые пытались загнать нас в шатер, мы проскользнули во внешнюю галерею храма, где целый хор бородатых священников в полном церковном облачении танцевал под тамтамы и маленькие серебряные погремушки. Барабанщики сидели на корточках вокруг танцующих, погремушкой каждый священник орудовал сам, размахивая одновременно зажатым в другой руке молитвенным посохом. У некоторых в руках вообще ничего не было, эти хлопали в ладоши. Они сходились и расходились, они пели и раскачивались на ходу; двигались в основном не ноги, а руки и верхняя часть тела. Танцем они наслаждались от всей души, а некоторые — едва ли не до экстаза. Яркий свет восходящего солнца лился сквозь окна на них самих, на их серебряные кресты, на серебряные же набалдашники посохов и на большую, богато изукрашенную рукописную книгу, по которой один из них, не обращая никакого внимания на музыку, читал из Евангелия; в косых столбах света поднимались и набухали клубы ароматного дыма.

Потом мы отправились в шатер. Он был почти полон. Публика оделась более чем пестро. Большая часть мужчин явились в визитках, но некоторые были во фраках, а двое или трое — в смокингах. Одна из дам была в солнцезащитном шлеме и воткнула в него сверху американский флажок. Младшие члены миссий в полном составе и при полном параде суетились между кресел, проверяя, всё ли там в порядке. К семи часам прибыли официальные делегации.

Императорская чета, однако, вышла из церкви лишь много времени спустя, после того как последний приглашенный занял отведенное ему место. Из-за шелкового занавеса все так же доно-

---

[1] Айрин Рейвенсдейл — близкая знакомая Во.

силось пение. Фотографы, любители и профессионалы, проводили время, снимая исподтишка все, что попадалось на глаза. Репортеры отправили боев на телеграф, послать дополнения к переданным ранее шедеврам. Однако из-за неверно понятых указаний соответствующего чиновника телеграф был закрыт и открываться, судя по всему, не собирался. Следуя обычной манере туземных слуг, посланцы, вместо того чтобы известить хозяев о данном обстоятельстве, обрадовались возможности передохнуть и расселись на ступеньках телеграфной конторы — обменяться текущими сплетнями и подождать — а вдруг да откроется. Правда выплыла наружу едва ли не к вечеру, прибавив хлопот все тому же мистеру Холлу.

Церемония предполагалась невероятно долгой, даже если судить по изначальному плану-распорядку, но святые отцы с успехом растянули ее еще на полтора часа. Следующие шесть праздничных дней были в основном отданы на откуп военным, но день коронации всецело принадлежал Церкви, и священники старались вовсю. Псалмы, распевы и молитвы следовали бесконечной чередой, зачитывались длинные отрывки из Писания, и все это на древнем священном языке, на гиз. По порядку, одна за другой, зажигались свечи; произносились и принимались престольные клятвы; дипломаты ерзали на своих позолоченных креслах, а у входа в шатер то и дело разгорались шумные ссоры между императорской гвардией и свитами местных вождей. Профессор Y., известный по обе стороны Атлантики специалист по коптскому обряду, время от времени комментировал происходящее: «Вот, начали литургию», «Это была проскомидия», «Нет, кажется, я ошибся, это было освящение даров», «Нет, я ошибся, это, наверное, была тайная заповедь», «Нет, должно быть, это было из Посланий», «Н-да, как странно, а это, кажется, и вовсе была не литургия», «А теперь они *начинают* литургию...» и далее в том же духе. Но вот священики засуетились у шляпных коробок — инвеститура началась. Императору вручили мантию, потом, выдерживая всякий раз долгую паузу, — державу, шпоры, копье и, наконец, корону. Громыхнул артиллерийский салют, снаружи заполонившие все возможное пространство людские толпы разразились приветственными криками; императорская упряжка взбрыкнула, лошади зашлись курбетами, сшибли позолоту с передка кареты и оборвали постромки. Кучер соскочил с облучка и принялся с безопасного расстояния охаживать лошадей кнутом. В шатре также царили радость и облегчение; все удалось на славу, оч-чень впечатляет, а теперь бы выкурить по сигарете, и чего-нибудь выпить, и снять с себя эту сбрую. Но не тут-то было. На очереди значились коронация императрицы и наследника престола; еще один салют, и грума-абиссинца, пытавшегося распрячь императорских лошадей, унесли с переломом двух ребер. Мы снова нашарили было перчатки и шляпы. Но коптский хор пел не переставая; епископы с подобающими молитвами, речитативами и распевами принялись возвращать регалии на место.

«Я обратил внимание на ряд весьма любопытных отклонений от канона литургии, — заметил профессор, — в особенности в том, что касается поцелуя».

И тут началась литургия.

В первый раз за все утро император и императрица оставили свои троны; они исчезли за шелковым занавесом, в святилище; большая часть священников также нас покинула. На сцене остались сидеть одни дипломаты — с застывшими, отупелыми лицами и в позах, лишенных всякой элегантности. Подобное выражение я видел на лицах пассажиров переполненных железнодорожных вагонов, под утро, между Авиньоном и Марселем. Только костюмы в данном случае были куда забавней. Единственный, кто держался молодцом, был маршал д'Эспрэ — грудь колесом, жезл от колена торчком, сам бравый, точно памятник защитникам отечества и, судя по всему, сна ни в одном глазу.

Время шло к одиннадцати — согласно протоколу, император должен был как раз выйти из шатра. В полном соответствии с планом три аэроплана абиссинских ВВС встали на крыло, чтобы приветствовать Его Величество. Они давали над шатром круг за кругом, они демонстрировали свежеобретенное искусство высшего пилотажа, пикируя на шатер и выходя из пике в нескольких футах от его полотняного верха. Грохот стоял ужасающий; местные вожди, как по команде, дернулись во сне и перевернулись на живот; о том, что священники все еще поют, можно было судить исключительно по губам и периодическому переворачиваню страниц.

«Как это все не вовремя, — сказал профессор. — Я пропустил огромное количество стихов».

Литургия закончилась где-то к половине двенадцатого; император и императрица, при коронах, проплыли под красно-золотым балдахином, более всего похожие, по меткому замечанию Айрин, на золоченые статуи во время крестного хода в Севилье, к пышной трибуне, откуда император и прочел тронную речь; она же, растиражированная, была сброшена с аэроплана, и герольды еще раз прочли ее народу через громкоговорители. <...>

Святые отцы снова ударились в танцы, и кто знает, сколько бы еще это могло продолжаться, если бы фотографы не затолкали танцующих, не засмущали и не оскорбили их религиозное чувство до такой степени, что они предпочли закончить священнодействие подальше от профанов, в стенах храма.

Затем наконец императора с императрицей проводили к экипажу, и измученная, но все еще взбрыкивающая время от времени упряжка увезла их на торжественный обед. <...>

Засим последовали шесть дней непрерывного празднества. В понедельник дипломатические миссии должны были отметиться на возложении венков в мавзолее Менелика и Заудиту. Мавзолей находится невдалеке от Гебби и представляет собой круглое, подведенное под купол здание, отдаленно напоминающее нечто византийское. Интерьер оформлен ретушированными и сильно увеличенными фотографическими портретами членов императорской семьи, дедушкиными часами из мореного дуба и несколькими разного фасона столиками, чьи ножки косо торчат из-под положенных углом расшитых полотняных скатертей; на столиках стоят конические серебряные вазы, полные незатейливо сработанных из проволоки и крашенной фуксином ваты сережек. Ступени ведут вниз, в склеп, где покоятся два мраморных саркофага. Лежит ли в каждом саркофаге соответствующее тело, да и вообще какое бы то ни было тело, — вопрос более чем спорный. Дата и место смерти Менелика суть дворцовая тайна, но принято считать, что он испустил дух года за два до того, как об этом сообщили народу; императрица же, вероятнее всего, похоронена в Дебра Лебанос[1], под горой. Все утро одна за другой добросовестно прибывали делегации великих держав, и даже профессор Y., не пожелавший отставать от прочих, явился с мрачной миссiи и букетом белых гвоздик.

Ближе к вечеру в американской миссии состоялось чаепитие, теплая, дружеская вечеринка, а итальянцы устроили бал с фейерверком, однако самый живой интерес привлек устроенный императором для своих соплеменников *gebbur*. Подобные пиршества являются неотъемлемой частью эфиопской жизни и составляют основу той едва ли не родственной по сути связи, которая существует здесь между простым народом и его повелителями, чей престиж в мирное время напрямую зависит от частоты и богатства *gebbur*. Еще несколько лет назад приглашение на *gebbur* было обязательным пунктом программы для каждого, кто приезжал в Абиссинию. Едва ли не всякая книга об этой стране содержит подробный, от первого лица отчет об особенностях национальных трапез, с описанием сидящих тесными рядами на корточках участников пира; рабов, разносящих свежие, дымящиеся четвертины туш только что зарезанных коров; манеры, коей каждый гость отрезает себе свой кусок; резкого, снизу вверх, движения кинжала, при помощи которого едок отсекает от сочащегося кровью куска и переправляет в рот очередную порцию мяса; плоских, круглых, как блюдо, местных хлебов из сыроватого теста; как отхлебываются из рогов немалыми глотками местные *tedj* и *talla*; мясников, которые чуть поодаль режут и разделывают быков; императора и присных его за высоким столом, передающих друг другу от обильно сдобренных специями и куда как более изысканных блюд. Таковы традиционные черты *gebbur*, и я не сомневаюсь, что и в данном случае традиция была соблюдена. По крайней мере, именно в этих словах его описывали журналисты, вдохновенно пересказавшие избранные места из Рея и Кингсфорда[2]. Верный Мистер Холл частным образом пообещал каждому из нас употребить все свое влияние, задействовать каналы и так далее, однако в результате никто на *gebbur* так и не попал, за исключением двух особо назойливых леди и — мы расценили это как недостойную эксплуатацию идеи расового превосходства — цветного корреспондента от синдиката негритянских газет.

Все, что мне удалось увидеть в тот вечер, — это последняя партия гостей, с трудом выбиравшаяся из ворот Гебби. Объевшиеся и упившиеся до полного отупения, они были совершенно счастливы. И как им было не позавидовать! Полицейские пытались хоть как-то направить и ускорить их движение, но зады были глухи к пинкам, а спины — к ударам тростью, и ничто не могло нарушить тихой радости. Верные приспешники сообща заталкивали своих вождей на мулов, и вожди сидели в седлах моргая и лучась улыбками; какой-то ветхий старик, усевшийся в седло задом наперед, неуверенно шарил по крупу в поисках узды; иные стояли обнявшись, молчаливой, колеблемой туда-сюда группой; другие, лишенные дружеской поддержки, блаженно катались в пыли. Я вспомнил о них ближе к ночи, когда сидел в гостиной итальянской миссии и принимал участие в мрачной дискуссии по вопросу об императорских капризах в распределении поче-

---

[1] Самый почитаемый в Эфиопии монастырь, центр религиозной жизни всей христианской части страны.
[2] Авторы популярных книг об Эфиопии.

стей и о том, что это, пожалуй, можно квалифицировать как легкое нарушение дипломатических приличий.

Но был еще парад всех возможных вооруженных сил, как регулярных, так и не очень, в самой гуще которого проследовала удивленная Айрин на такси и в окружении конного оркестра, игравшего на шестифутовых трубах и седельных барабанах из дерева и воловьей кожи. Когда проехал император, к аплодисментам добавился пронзительный, переливчатый свист.

Было открытие музея сувениров, в экспозицию коего входили образцы местного народного творчества, корона, захваченная генералом Нейпиром[1] при Магдале и возвращенная музеем Виктории и Альберта, а еще немалый камень с лункой посередине — некий абиссинский святой носил его вместо шляпы.

Был войсковой смотр на равнине за железнодорожной станцией.

Но нет такого перечня событий, который мог бы передать подлинную атмосферу тех удивительных дней, ни с чем не сравнимую, и зыбкую, и незабываемую. Если я и заострил внимание на беспорядочности торжественных мероприятий, на непунктуальности и даже порой на явных провалах, так только оттого, что именно в этом и состояла характернейшая особенность празднеств и основа неповторимого их очарования. Все в Аддис-Абебе было наугад и наудачу; вы привыкали с минуты на минуту ждать чего-то необычного, и тем не менее всякий раз вас заставали врасплох.

Каждое утро мы просыпались и нас ждал ясный, полный по-летнему яркого солнечного света день; каждый вечер приносил прохладу, свежесть, и был заряжен изнутри тайною силой, и пах едва заметно дымком от очагов в *tukal*, и пульсировал, как единое живое тело, непрерывным рокотом тамтамов, откуда-то издалека, из не пропускающих свет эвкалиптовых рощ. На богатом африканском фоне сошлись на несколько дней люди всех рас и нравов, смешавши воедино все возможные степени взаимных подозрений и вражды. Из общей неуверенности то и дело рождались слухи: слухи насчет места и времени каждой конкретной церемонии; слухи о разногласиях в верхах; слухи о том, что в отсутствие всех ответственных чинов Аддис-Абебу захлестнула волна грабежей и разбоя; что эфиопскому посланнику в Париже запрещено возвращаться в родную столицу; что императорский кучер не получал содержания вот уже два месяца и подал прошение об уходе; что одна из миссий отказала в приеме первой фрейлине императрицы. <...>

Из всей той недели один эпизод запомнился мне особенно четко. Стояла поздняя ночь, и мы только что вернулись с очередного приема. Жил я <...> во флигеле, чуть поодаль от гостиницы; во дворе, через который мне нужно было пройти, спала серая лошадь, спали несколько коз и спал, завернувши голову в одеяло, гостиничный сторож. За флигелем, отделенная от гостиницы деревянным палисадничком, стояла небольшая группа местных *tukal*. В тот вечер в одной из них был какой-то праздник. Дверной проем глядел как раз в мою сторону, и я мог видеть отблески горевшей в доме лампы. Там пели монотонную песню, хлопали в ладоши и отбивали ритм руками на пустых канистрах. Поющих было, наверное, человек десять—пятнадцать. Какое-то время я стоял и слушал. Как был, в цилиндре, во фраке и в белых перчатках. Вдруг проснулся сторож и дунул в маленький рожок; звук подхватили другие сторожа в соседних дворах (принятый здесь способ демонстрировать хозяину бдительность); потом он опять завернулся в одеяло и отошел ко сну.

Тихая ночь, и одна эта долгая, бесконечно долгая песня. И вдруг абсурдность всей прожитой здесь недели предстала мне воочью — мой нелепый костюм, спящие звери и, по ту сторону изгороди, не знающий ни сна, ни устали праздник.

Перевод с английского В. МИХАЙЛИНА

[1] Роберт Нейпир (1810—1890) — британский военачальник.

ЖОЗЕФ КЕССЕЛЬ

КОМЕДИЯ СУХОГО ЗАКОНА

Из всех тем, какие есть на свете, это самая избитая, но в то же время и самая животрепещущая. Откровенное, радостное, безмятежное и общепринятое беззаконие так прочно укоренилось в американских нравах, что даже в самом непритязательном и кратком очерке о жизни в Соединенных Штатах нельзя не упомянуть о двух-трех из множества случаев нарушения запрета на продажу спиртного. Но можно ли тут вообще говорить о «нарушении»? С законом попросту не считаются, его игнорируют как бесполезную и глупую затею.

Люди, побывавшие там, рассказывают поразительные вещи, однако, чтобы представить себе подлинные масштабы этой комедии, надо увидеть все собственными глазами. Увидеть — и выпить, разумеется. Ибо прекращение легальной продажи спиртных напитков в США привело к парадоксальному результату: американцы непременно хотят показать иностранцу, особенно французу, что в их стране можно напиться так же успешно, как и в любой другой. Они делают это с детской радостью, с чувством долга и дружелюбной настойчивостью, которой очень трудно сопротивляться. И в этой якобы непьющей стране за день приходится выпивать больше коктейлей и порций виски, чем в обычной стране за целую неделю.

Я начал постигать эту истину, еще не успев сойти с парохода. А приобщил меня к ней один англичанин из Южной Африки, с которым я познакомился на борту. Его богатая приключениями жизнь началась в бескрайнем вельде, где он верхом на лошади пас громадные стада. От тех далеких лет у него сохранились яркие воспоминания и кнут длиной в пять метров, с которым он никогда не расставался. Былой сноровки он не утратил и действовал этим кнутом метко и ловко, словно циркач. Он мог обвить концом кнута любой предмет на расстоянии пяти метров. Однажды утром, когда мы были на палубе одни, он таким образом вырвал у меня изо рта недокуренную сигарету. Согласившись подвергнуться этому эксперименту, я заслужил его дружбу.

И вот перед тем как сойти на берег, он сказал мне, что привез своим нью-йоркским знакомым четыре бутылки прекрасного шотландского виски, и попросил меня пронести две из них через таможню. Признаюсь, я немного волновался, когда засовывал эти плоские бутылки в карманы брюк. Таможенник, который досматривал наш багаж, случайно задел рукой оттопыренный брючный карман моего спутника. Они взглянули друг на друга, улыбнулись, и этим все было сказано.

Друзья, которым был предназначен этот маленький контрабандный груз, ждали на пристани. Получив виски, они заставили нас отведать его вместе с ними в отеле, еще до того как багаж был распакован. Затем один из них заявил, что виски, конечно, превосходного качества, но он знает подпольный кабак, где подают такое же. Чтобы у него не возникло впечатления, будто ему не поверили, пришлось немедленно отправиться туда.

Это был маленький особняк, обнесенный крепкой решетчатой оградой. Мы позвонили, и в окошке показалось лицо, отмеченное той особой бледностью, какая появляется от ночной жизни. Нас очень внимательно рассмотрели; затем, узнав нашего приятеля, швейцар в смокинге открыл дверь.

— Боитесь полиции? — спросил я у него.

Мои спутники от души расхохотались.

— Шутите, — сказал один из них. — Они просто хотят удостовериться, что их клиенты — приличные люди.

С виду заведение походило на дорогой клуб для избранных. Первая из комнат была библиотекой, где на полках стояли серьезные книги. В следующей помещался бар: подававшиеся там напитки вполне соответствовали лестным отзывам о них. Дальше был зал ресторана, служивший также для танцев.

— Правда, приятное заведение? — с наивным удовлетворением спросил тот, кто нас привел.

ЖОЗЕФ КЕССЕЛЬ (1898—1979) — французский писатель и журналист. Публикуемые очерки впервые были напечатаны в 1933 г., а позднее вошли в многотомное собрание репортажей Ж. Кесселя «Свидетель среди людей» (т. 2, 1956).

© Н. Кулиш. Перевод, 1999

— Мое, пожалуй, еще лучше, — заявил другой.

— Вы забыли про мое, — подхватил третий.

Это было первое знакомство с тем, что мне предстояло наблюдать во все время моего пребывания в Нью-Йорке, — я имею в виду почти спортивное состязание за звание лучшего подпольного кабака и лучшего поставщика спиртного.

Ибо в Нью-Йорке существует *тридцать тысяч* тайных погребков всех разрядов и для всякого кошелька, по крайней мере тридцать тысяч официально зарегистрированных. Кто мог составить такую статистику, если не полиция? Эти кабаки платят ей дань и потому пользуются ее покровительством. Но сколько других заведений, у которых нет на это средств, остаются вне контроля?

Я видел подпольную торговлю спиртным в офисах небоскребов, в негритянских трущобах Гарлема, в роскошных гостиничных апартаментах. В моем отеле имелся свой бар с богатым набором напитков, хотя стоили они очень дорого, однако можно было заплатить сразу за ночь вполне умеренную цену в 10 долларов. Это не оскорбляло общественной нравственности. Кроме того, у каждого посыльного отеля был свой поставщик спиртного, которого он называл, не дожидаясь, пока его об этом попросят.

Любопытства ради я посетил одного из поставщиков. Он трудился в маленькой комнатке, в стенах которой были устроены ниши, заполненные бутылками; все торговое оборудование сводилось к одному телефону, а штат состоял из десятка молодых людей, доставлявших товар. Правда, телефон звонил не умолкая, а молодые люди непрерывно сновали туда-сюда. Преуспевающий коммерсант курил огромную сигару и принимал деньги. Он продавал как более или менее сносное виски по 10 долларов бутылка, так и «смок» (дым) — чудовищную и совсем дешевую бурду.

Единственными конкурентами, вызывавшими у него опасения, были хитрецы, которые изготавливали себе выпивку самостоятельно.

Я присутствовал при этом процессе в квартире одного маклера с Уолл-стрит, которого застой в делах принудил к экономии. В спирт, полученный от друга-парфюмера, он добавлял безалкогольные эссенции бенедиктина или кальвадоса. На вкус напиток был довольно-таки скверным, но изготовитель этого не замечал: как у большинства американцев, чувство вкуса у него притупилось.

А разве может быть иначе, если в ресторанах подростки заказывают бульон, достают из кармана фляжку со спиртным и добавляют в тарелку изрядную порцию? Ибо владельцы ресторанов закрывают глаза на то, что клиенты тайком приносят с собой спиртное.

Единственные, кому разрешается выставлять его напоказ, — это дипломаты. Никогда не забуду официальный обед, на котором я присутствовал вместе с французским дипломатом: в огромном зале один только наш столик был уставлен винами.

Вино для дипломатов, вино лечебное и вино церковное — официально этим ограничивается употребление вина, дозволенное в Соединенных Штатах. Но можно ли принимать всерьез этот запрет после того, что произошло со мной через неделю после прибытия в Америку?

Как-то вечером в метро меня окликнул человек, которого я сначала не узнал. Потом вспомнил, кто это. Американский майор, у которого я часто бывал в 1919 году во Владивостоке. Такую неожиданную, чудесную встречу следовало отметить возлиянием. На этом настаивал майор, успевший с тех пор уйти в отставку. Мы вышли на первой же станции. Майор не знал района, в котором мы очутились. Где здесь отыскать выпивку? Бывший майор не растерялся. Он спросил адрес подпольного кабака у первого же полицейского, который попался нам навстречу.

А полицейский проводил нас до запретной двери.

Но в то время над сухим законом, с его неповторимым колоритом, его бесполезностью и бессмысленностью, с преступлениями, которые ему сопутствовали, уже нависли тучи. Недавно избранный президент Рузвельт только что нанес ему первый удар. И мне предстояло присутствовать на похоронах.

ПОХОРОНЫ СУХОГО ЗАКОНА

Дело сделано. Сегодня, 7 апреля 1933 года, в полночь, с последним ударом часов в штате Нью-Йорк и в восемнадцати других штатах Америки сухой закон перестал существовать. После тринадцати лет полного запрета опять можно производить, продавать и потреблять пиво и вино.

Разумеется, свобода эта весьма относительна: в разрешенных напитках содержимое алкого-

ля не должно превышать трех процентов. Само слово «салун», иначе говоря, бар или пивная, до сих пор наводит такой страх на робкие души граждан, что законодатели штата Нью-Йорк, просидев больше недели, так пока и не смогли решить, где и как следует продавать это безобидное зелье.

Переход от сухой эры к влажной произошел при крайне нестабильном режиме с глубоко коррумпированной администрацией. И тем не менее день этот — великий день для Америки. Сделан первый шаг к упразднению закона, научившего граждан презирать законность; он имел своей целью перевоспитать сто двадцать миллионов человек, а вместо этого вынудил их постоянно пить отраву, развратил молодежь, из-за него коррупция и преступность разрослись до невероятных размеров, он лишил государство громадных доходов, навязав ему при этом нелепые и совершенно бесполезные расходы на контроль за соблюдением запретов.

Если бы из всех мер, обеспечивших президенту Рузвельту неслыханную популярность, ему удалось осуществить одну лишь эту, он все равно стал бы национальным героем. Продажа пива и вина, пусть даже крепостью в три градуса, — добрый знак, обещание, начало пути, ведущего к более свободной, лучшей жизни, да еще в такое время, когда кругом царит мрак и могучая нация, обычно всей душой устремленная в будущее, рвущаяся вперед, полная несокрушимой, деятельной надежды, испытывает растерянность при виде крушения главных своих ценностей.

Только так следует рассматривать это событие, если хочешь осознать его масштаб и значение, понять бурную реакцию американцев. Только так можно объяснить напряженное внимание прессы к приближающемуся 7 апреля.

Каждое утро и каждый вечер, начиная с крупных заголовков на первой полосе и кончая краткими заметками на двадцать пятой или тридцатой, пресса сообщала о дебатах, о решениях, принятых в разных штатах по вопросу *доступности*, как здесь выражаются, пива и вина; о грандиозных приготовлениях к легальному утолению жажды; об интригах партий, каждая из которых хочет использовать к собственной выгоде налоги, отчисления, льготы и другие приятные последствия реформы. Рассказывалось также о том, как бутлегеры стараются оттянуть принятие закона, чтобы успеть продать свое контрабандное пиво, пока оно не обесценилось. По мере приближения роковой даты пишущие машинки в редакциях стучали все быстрее, репортеры и корреспонденты неустанно и нещадно проводили расследования, высматривали, опрашивали.

Все, кто по роду занятий имел отношение к новому закону, трудились день и ночь. Прежде всего, конечно, поставщики, но также и те, кто изготавливал ящики, бутылки, пивные насосы, холодильники, трубы и краны. Владельцы отелей и ресторанов, бакалейщики, продавцы минеральных вод и лимонада, аптекари — в американских аптеках можно выпить и поесть — спешно занялись ремонтом. В одном только Нью-Йорке на это было израсходовано более ста миллионов долларов. Громадное множество людей наконец-то сможет вполне законно и по доступной цене получить то, что хоть немного поддержит и развеселит их. У предпринимателей снова появятся миллионы и миллионы клиентов.

К 6 апреля за лицензией на торговлю спиртным обратились сорок тысяч коммерсантов. Поскольку нью-йоркский губернатор-демократ и конгрессмены-республиканцы не смогли договориться о форме документа, мэр решил выписывать временные разрешения и поручил их выдачу департаменту общественной гигиены. Но это решение приняли в последнюю минуту: служащие были не готовы, бланки лицензий не отпечатаны. И тогда разрешения позаимствовали у службы пожарной охраны. Бланки предоставил отдел горючих и взрывчатых веществ. Огромные кипы бумаги срочно доставили в районные отделы гигиены. Там поверх слов «взрывчатка» и «горючее» на бланк ставили красные штампы: «пиво» и «вино». Эту работу смогли завершить только после полудня.

А тысячи поставщиков, владельцев пивных, приказчиков уже с шести утра, под проливным дождем, ждали, когда откроются заветные двери. Я видел нескончаемые очереди, выстроившиеся перед отделами гигиены Манхэттена, Бронкса, Бруклина. Лица ожидавших поочередно выражали то усталость, то нетерпение. Среди них было немало женщин, однако каждый и каждая стойко переносили ожидание, стараясь не потерять очереди. Мало-помалу промокшие до нитки люди начали злиться; послышались раздраженные выкрики. Стали стучать в дверь. Понадобилось вмешательство полиции, чтобы ограничить выражение протеста одной лишь руганью.

А за дверью без устали штамповали бланки на выдачу взрывчатки и горючего.

Когда конторы наконец открылись, началась свалка. Первой прорвалась женщина, и во всех газетах появилось имя миссис Джервазо, итальянки по происхождению, которая проявила истинный героизм, сохранив свое место в очереди и получив исторический документ — лицензию № 1

по Манхэттену. И с этой минуты огромные суммы снова стали поступать в государственную казну.

Но пока желающие в невообразимой суете и давке добывали разрешения на легальную торговлю спиртным, нелегальные торговцы в последний раз попытались обмануть судьбу. Во второй половине дня бутлегеры разослали во все подпольные кабаки своих людей с бочонками пива по 36 долларов, которые завтра должны были стать втрое дешевле. Владельцам пивных пришлось смириться с этим вымогательством, ибо во времена сухого закона выработались особые средства убеждения. Лучше потерять деньги, чем получить пулю или быть прошитым автоматной очередью.

Наступил вечер; дождь все еще лил, и это облегчало задачу полицейским патрулям, наблюдавшим за ночными увеселительными заведениями: приближалась заветная полночь, и власти опасались слишком бурных изъявлений радости по случаю *доступности* пива, поскольку вино, в сущности, никого не интересовало.

Однако поставщики пива сами, и весьма строго, следили за порядком. Сказалась психология американцев, сформировавшаяся за долгие годы, когда спиртное было под запретом, а вокруг царило дикое пьянство. Коммерсанты боялись, что бесшабашное веселье может обернуться для них бедой, что сторонники сухого закона воспользуются этим и добьются восстановления запрета или, во всяком случае, приостановят дальнейшие послабления. Они-то прекрасно знали: если в первые минуты 7 апреля весь Нью-Йорк будет мертвецки пьян, то вину за это свалят на их безобидное трехградусное пиво.

Уже набралось огромное количество заказов, и поставщики могли позволить себе немного выждать; они решили не отгружать пиво до шести утра, исключение было сделано только для отдаленных пригородов.

И ночь, когда прекратилось действие антиалкогольного закона, стала самой спокойной ночью, какую помнят в этом громадном городе.

На Бродвее, где ослепительные огни сверкали сквозь стену дождя, а верхушки небоскребов терялись в тумане, в Гарлеме, где негры прохаживались в костюмах светлых, пастельных тонов, в бедных кварталах, где дома сотрясались от проносившихся по металлическим мостам поездов, на берегу Гудзона, в многолюдном Бруклине — повсюду эта удивительная бессонная ночь прошла без происшествий, благодаря предосторожности поставщиков и скверной погоде. Каждый знал, что завтра сможет пить не таясь и по дешевке, а потому в эту ночь было выпито меньше, чем в другие ночи. Лишь немногие фанатики пошли за шутовской похоронной процессией: в гробу лежал бочонок безалкогольного пива, который несли к месту последнего упокоения — канализационному люку.

Единственным зрелищем, поистине достойным события, стала перевозка пива. В дело пошли многие сотни грузовиков самого разного возраста и всевозможных марок, от допотопных до новейших. Бригады специально нанятых грузчиков перетаскивали сотни тысяч ящиков, бочек, бутылок. И все это повезли в рестораны, бакалейные лавки, аптеки, к поездам, на корабли и даже в аэропорты. То же самое происходило по всей Америке. Ревели грузовики, рокотали винты самолетов, тряслись на рельсах вагоны: «янтарная волна», как здесь ласково называют трехградусное пиво, свободно разливалась по стране.

Ровно в полночь, в Белом доме, бочонок этой «янтарной волны» вручили как символический дар президенту Рузвельту.

1933 г.

Перевод с французского Н. КУЛИШ

ЛАРРИ ЛЕЗЕР

БИТВА ПОД МОСКВОЙ. ДЕКАБРЬ 1941-го

16 ДЕКАБРЯ

Нас разделили на две группы и усадили в машины — ЗИСы. Снаружи для маскировки они были покрашены белым, зато внутри все сиденья покрывали пестрые и толстые бухарские ковры. Вместе со мной в кабину сели два русских офицера и военный цензор.

На рассвете поднялся ветер. Мы двинулись по Ленинградскому шоссе на север. Несмотря на ранний час, на улице было людно: сотни рабочих в черных телогрейках спешили к трамвайным остановкам — заводы находились где-то на окраинах. На своем пути мы миновали одно за другим несколько заграждений — это были огромные блокгаузы из грубо отесанных бревен, между ними оставался узкий проход, который при необходимости не составляло труда перекрыть. Эти заграждения выглядели довольно примитивно по сравнению с бетонными «драконьими зубами», что выставили англичане вдоль Дуврской дороги во время прошлогодней воздушной битвы. Русские просто рубили деревья и сваливали их тут же на месте штабелями, и это походило на наши старинные форты.

Сидя в тряской кабине — асфальт Ленинградского шоссе был покрыт бугристым слоем льда, — мы поминутно обгоняли крестьянок, возвращавшихся из города в недавно освобожденные селения. Каждая везла за собой на веревке деревянные санки, на которых грудой лежал весь скудный домашний скарб. У некоторых на санках не было ничего, кроме гроба.

Вдруг наша машина, резко затормозив на льду, стала: мы пропускали вперед колонну рокочущих советских танков, тоже для маскировки выкрашенных белилами. Но вот танки прошли, и два наших ЗИСа снова влились в бесконечный поток подвод, груженных желтой соломой и боеприпасами. Коренастые сибирские лошадки привычно тянули оглобли, суровые красноармейцы смело смотрели вьюге в лицо. Они тоже держали путь на север, на фронт.

Не доезжая до взорванного моста, мы свернули с шоссе на заснеженную проселочную дорогу. Часовые очень долго проверяли наши пропуска, наконец подняли шлагбаум.

Колеса то и дело буксовали, но мы каким-то чудом все же двигались вперед по темному сосновому бору: деревья были такими высокими, что кроны их почти не пропускали дневного света. Иногда то справа, то слева нам открывалось странное зрелище: на белых полянах из глубоких сугробов нелепо торчали стволы немецких танков и пушек. Еще совсем недавно здесь бушевала Московская битва — пик германского наступления. Мы были сейчас милях в двадцати пяти от Москвы. Совершенно неожиданно немцы потерпели здесь, вероятно, самое досадное поражение за всю историю войн. Отсюда гитлеровцам открывалась прямая дорога к советской столице.

Через противотанковые рвы были переброшены временные мостки. Эти рвы, глубиной метров пять, русские вырыли еще с осени — для этого в городе провели трудовую мобилизацию, — теперь их доверху засыпало снегом. Через поля и водоемы тянулись ряды обледенелой колючей проволоки. Здесь хорошо подготовились к обороне. Оборонные рубежи возводились с точным математическим расчетом именно там, где неизбежно должны были пройти, огибая густые леса, неприятельские танки. Похоже, самым надежным противотанковым заграждением в Красной Армии считались конструкции из скрещенных двухметровых рельсов, напомнившие мне нашу игрушку-головоломку. С какой бы стороны к ним ни приблизился танк, он натыкался на толстенный шип. Их нелегко было уничтожить и артиллерийским огнем, поскольку у них отсутствовали плоские поверхности, по которым мог бы ударить снаряд.

Затем на нашем пути стали попадаться первые сожженные деревни. Черные обуглившиеся руины на ослепительно белом снегу — ужасное зрелище. Уныло торчат вверх закоптелые печные трубы. Кое-где от развалин все еще поднимается дым. Женщины бродят по пепелищу, надеясь найти хоть что-нибудь целое. Они шли сюда пешком от самой Москвы, да еще сани за собой тащили — неужели только для того, чтобы убедиться, что дома у них больше нет?! Женщины постарше беззвучно рыдали.

ЛАРРИ ЛЕЗЕР (род. в 1909 г.) — американский журналист. В годы второй мировой войны работал военным корреспондентом ряда изданий. Публикуемый репортаж взят из книги «Двенадцать месяцев, которые изменили мир» (1943).

© А. Соколинская. Перевод, 1999

При дороге мы заметили маленькое кладбище с рядами аккуратных крестов. Притормозили, чтобы получше его рассмотреть. Кресты были сработаны на совесть. На свежеструганой древесине четко выделялись имена и даты жизни погибших немцев. Часто под именем стоял знак «железного креста». Поразительно, насколько молоды были эти солдаты — судя по датам на крестах, в среднем от девятнадцати до двадцати трех лет. Ехавший вместе с нами советский полковник заметил: «Мы подсчитали, что в двух наступлениях на Москву немцы потеряли восемьдесят пять тысяч молодых солдат».

Мы выехали на опушку леса: как на автомобильной свалке, по всему полю разбросаны русские и немецкие танки. А по соседнему лесу словно ураган прошелся. Сплошной бурелом, вековые стволы навалены грудой, точно высыпавшиеся из коробка спички. Все это — наглядное свидетельство яростного артиллерийского обстрела и смертельных танковых битв. Рядом — спаленные дотла деревни, вид которых оставлял тягостное впечатление. И здесь тоже одна-две крестьянки молча рылись на пепелище, пытаясь хоть что-нибудь вытащить из-под развалин. Но вокруг были лишь черные дымящиеся головешки.

Наша маленькая автоколонна часто останавливалась, пропуская войска. Как и во времена войны с Наполеоном, русские солдаты упорно шагали вперед, невзирая на снег и мороз. На большинстве солдат были не стальные каски, а теплые овчинные ушанки. Только на некоторых заметил я белые каски, надетые поверх легких остроконечных шлемов. Видимо, Красной Армии не хватало обмундирования, зато в огневых средствах недостатка не было. Мимо нас то и дело проезжали орудия: легкие везли на лошадях, тяжелые тянул за собой тягач. Орудия отправлялись на фронт в такой спешке, что не хватило времени даже на перекраску. Землисто-зеленые, прямо с заводского конвейера, проезжали они, грохоча, мимо сброшенных на обочину белых немецких пушек, разбитых и искореженных, развороченные стволы которых напоминали лепестки дикорастущих цветов.

По мере нашего продвижения все различимее становился артиллерийский грохот. Мы обогнали бригаду красноармейцев. Глядя на них, можно было подумать, что они уже много дней и ночей шагают, не зная сна и отдыха. Их лица почернели от усталости. Они с трудом переставляли ноги. Несколько раз прямо на наших глазах один какой-нибудь солдат вдруг спотыкался и падал прямо на снег. Колонна продолжала движение, но я видел, как однополчане поднимали боевых друзей и укладывали их, бесчувственных, на проходящие возы с сеном. Я вдруг вспомнил, что солдаты наполеоновской армии, отступая, насмерть замерзали в снегах под Москвой. «Какая же участь ждет этих измученных красноармейцев? —подумал я. — Ведь у них нет даже одеял...» Позднее я узнал, что в Красной Армии одеял на зиму не выдавали — солдаты спали, завернувшись в свои шинели. Когда им нужно было заночевать в сожженном селе, они быстро выкапывали яму поближе к фундаменту — там, где земля еще не успела остыть и была мягкой и податливой, — затем сооружали из снега и веток блиндаж. Сверху натягивали брезент, спускали на дно печурку, тесно прижимались друг к другу — и спали, как медведи в берлоге.

Меня очень удивило, что все солдаты до одного, даже те, кто участвовал в марш-броске, были чисто выбриты. Сопровождавший нас полковник пояснил, что советские офицеры требуют, чтобы их подчиненные ежедневно брились — для дисциплины. Я поинтересовался, как им это удается на морозе. Оказалось, солдаты растапливают снег, делятся на пары и одновременно бреют друг дружку.

Проходя мимо мертвецов на обочине, солдаты старались не смотреть в их сторону. В этих окаменевших фигурах осталось мало человеческого. Мертвецы напоминали восковые манекены, выброшенные из магазинной витрины, одни воздевали руки к небу, другие словно застыли на бегу. Их лица были как белые восковые маски. В свежем морозном воздухе совсем не чувствовалось запаха тлена. Лишь иногда ветер доносил до нас запах гари от сожженных деревень.

Наконец мы остановились на привал в Солнечногорске. Кое-как выбрались из кабины и на негнущихся, онемевших ногах поковыляли туда, где несколько местных жителей прямо на площади долбили ломами мерзлую землю — копали общую могилу. Возле ямы лежала груда окоченелых тел. Эти красноармейцы погибли при освобождении города. Солнечногорск — от слов «солнечная гора» — первый крупный населенный пункт, который русские отбили у немцев во время беспрецедентного зимнего наступления, когда была спасена столица. Именно здесь произошел окончательный перелом в успешном до тех пор блицкриге. Поеживаясь от холода, я старался запомнить, что говорили мне русские офицеры: «Город практически не пострадал, за исключением нескольких домов, попавших под артиллерийский обстрел. Посреди ночи русские нанесли внезапный удар с фланга — и немцы бежали, побросав все имущество, даже не успели напоследок подпалить дома».

Затем нас провели в просторный одноэтажный дом — жилище местного аптекаря. Еще два дня тому назад в нем квартировали немецкие офицеры. Жена аптекаря, Гаран Багранова, стройная женщина с красивым смуглым лицом, родом была из Армении, а замуж вышла за русского. Говорила она тихим голосом, ничем не выдавая своего волнения:

— К нам на постой пришли шесть санитаров. Они заняли все кровати, так что мы с девочками перебрались на кухню. Нас они не тронули — боялись офицеров. Потом вломились в аптеку и стали хватать все, что понравится: зубные щетки, мыло, духи. Что написано на пузырьках, прочесть не могли, надписи были по-русски, вот они со зла и стали бить пузырьки об пол. Все, что попадалось под руку: детскую микстуру от кашля, все подряд били. Я говорю: «Перестаньте», а они мне на это: «Теперь мы здесь хозяева». И давай снова бить пузырьки. В конце концов я пожаловалась на них офицерам. Офицеры велели прекратить погром, но, как только они ушли, солдаты снова принялись за свое. По-моему, их бесили русские этикетки на пузырьках.

Тут Багранова замолчала, и черные глаза ее гневно сверкнули.

— Я снова кинулась в аптеку, — продолжала она, — и говорю им: «Что вы делаете, у нас же не останется лекарств на зиму!» Но они меня оттолкнули и продолжали искать духи и бить пузырьки. Я, как была, без пальто, выскочила на улицу — и опять к офицерам. Через какое-то время один из них пошел и прибил на стене аптеки табличку. Там было написано, что отныне аптека является собственностью германской армии. Только тогда солдаты прекратили крушить все вокруг. Примерно неделю спустя я поняла: что-то происходит на Московском фронте. Все больше немцев стало возвращаться назад, с фронта. Как-то раз приходят в мой дом те двое нацистов, к которым я когда-то ходила жаловаться, и садятся на кухне за стол. Один стал всхлипывать, другой обхватил голову руками, сидел-сидел и тоже заплакал. Я сразу почувствовала, в чем дело. Они отступали от Москвы. А ночью прибежал какой-то офицер и поднял тревогу. Приближалась Красная Армия.

Багранова заговорила громче — наверно, от волнения:

— Тут все — и солдаты и офицеры — забегали как ненормальные, стали собирать вещички. Снаружи грузовики и мотоциклы так трещали, что оглохнуть можно было. А через несколько минут стало тихо. Я приоткрыла дверь в столовую, где они спали. Никого. Мы снова были свободны.

Старушка, которая не проронила ни слова за все то время, пока ее дочь вела рассказ, вдруг произнесла дребезжащим голосом:

— Они забрали у нас все одеяла.

Я спросил, пострадала ли она от немцев.

— Да не очень, — отвечала она, — только вот поголодать пришлось. Но у меня под подушкой сухарики были спрятаны — достану ночью и поем.

Женщины отправились на кухню готовить ужин, а я привалился спиной к теплой печке, после долгой поездки я все никак не мог согреться. Нам выдали в дорогу изрядное количество водки, но державший ее при себе цензор был строг: «У нас водку не пьют натощак. Придется вам подождать».

Зябко поеживаясь, мы ждали, пока принесут горячее. Еду нам выделили из армейского довольствия: суп, селедку, жареную говядину, пирожки. Водку подавали в кувшинах. Всю ночь напролет мы пили за Красную Армию и за поражение Гитлера. Я предусмотрительно выбрал себе кровать рядом с печкой; после очередного, не помню уж какого по счету, тоста я упал на постель и заснул. Проснувшись, обнаружил, что лежу одетым, правда, какая-то добрая душа прикрыла меня лоскутным одеялом. В комнате было темно. Ощупью, спотыкаясь, я стал пробираться на кухню, чтобы глотнуть воды. И услышал плач. Я понял, что приезд высоких гостей — иностранных корреспондентов — в этот истерзанный войной городок принес бедной старушке новые страдания, почти как при немцах: ее снова отправили спать на холодную террасу.

На рассвете мы вновь двинулись в путь, вслед за наступающей Красной Армией. Дорога петляла среди темных сосновых лесов; ветви деревьев, покрытые тяжелыми шапками снега, клонились к земле. В глубине леса мы заметили русских кавалеристов, расположившихся на стоянку. Днем кавалеристы отдыхали, а по ночам совершали вылазки во вражеский тыл. Время от времени из лесного мрака доносились таинственные звуки, заставляя нас резко поворачивать голову, — это падали с ветвей пласты слежавшегося снега. Мы вгляделись и различили фигуры лыжников в белых маскхалатах: они сидели у едва тлеющих костров, кипятили бесконечный чай и ожидали наступления темноты. В своих белых капюшонах они походили на куклуксклановцев, проводящих тайное собрание.

На темных лесных просеках шумно жевали овес низкорослые степные лошадки. Эта война и к животным была беспощадна. Всюду у обочины лежали припорошенные снегом лошадиные трупы. Я видел в лесу раненых лошадей — одни, спотыкаясь, брели наугад меж деревьев, другие лежали в снегу, еще живые, но уже обреченные на гибель. В противоборстве гигантов, решающем судьбу миллионов людей, некогда было думать о раненых лошадях.

Мы проехали мимо леса, заполненного чудовищными громадами белых танков, которые спрятались, выжидая, когда можно будет под покровом ночи двигаться дальше, к фронту. Несколько красноармейцев-лесорубов укрепили блиндажи аккуратными накатами из свежесрубленных бревен, как будто собирались надолго здесь остаться.

Мы то двигались вверх по обледенелым склонам, то вязли в сугробах, а один раз застряли так основательно, что пришлось останавливать военный тягач и просить водителя взять нас на буксир. На деревьях висели таблички, прибитые еще немцами, они указывали в сторону командных пунктов и полевых штабов.

Мы миновали деревню, в которой от пожара пострадала лишь половина домов. Красноармейцы оставили немецкие указатели на прежних местах — чтобы люди помнили. Интересно было заметить, как различаются между собой немецкое и русское написания названий одних и тех же городов. Немцы повесили на избы огромные щиты на латинице — они помогали ориентироваться на местности тем, кто читал карту.

Под усиливающийся гул канонады мы выехали на окруженную со всех сторон густым лесом поляну, где в бывшем лагере лесорубов расположился эвакуационный госпиталь. Приветливые толстушки медсестры обступили машины, радуясь нашему приезду. На бедре у каждой был револьвер в кобуре. Мы поинтересовались у старшей по званию, востроглазой блондинки в сдвинутой на затылок шапке-ушанке, теплая ли у них одежда. Она улыбнулась и передразнила: «Теплая!» И, расстегнув толстую шинель, стала демонстрировать слой за слоем свою одежду, а потом, хохотнув, запахнула борта. Я занимал не самую выгодную позицию, поскольку сидел в машине далеко от нее, поэтому успел увидеть только шинель, меховую куртку, гимнастерку и что-то вроде теплого розового белья. Впрочем, я мог и ошибиться. Во всяком случае, нам стало ясно, почему девушки выглядели такими тучными. На каждой было несколько слоев одежды.

Блондинка-капитан уже имела два ранения. Первый раз ее ранило в 1939 году во время трехмесячного пограничного конфликта с Японией, второй — на этой войне, подо Львовом.

Медсестры находились в приподнятом настроении из-за начавшегося наступления; когда одна из них услышала, что мы американцы, она вспрыгнула на подножку тронувшегося автомобиля и произнесла с жаром: «Я всю жизнь мечтала побывать в Америке. Возьмете с собой?» Если бы это зависело только от нас...

По обе стороны дороги трудились монтажники. Отступая, немцы спилили все телеграфные столбы возле своего опорного пункта, вдоль обочины еще валялись спутанные провода. Монтажники, как и строители мостов, сами рубили деревья, сами отесывали стволы и с поразительным проворством ставили новые телеграфные столбы.

Местность изменилась: лесистую равнину с невысокими горками сменили поросшие лесом холмы. Стало теплее, и пошел снег. Снежные хлопья приглушили все звуки, даже дальнюю канонаду. Навстречу нам ехали конные повозки с ранеными; часто в санях сидела санитарка, придерживая концы хлопавшего на ветру одеяла. Я вспомнил, что говорили медсестры: «При такой температуре раненые могут пролежать на снегу всего несколько минут, они насмерть замерзнут, если не прикрыть их одеялом». Я догадался, зачем к некоторым саням приделаны короба наподобие маленьких хижин, они тихо поскрипывали на ходу. Это были *боксы* с печками внутри. В этих боксах некоторых счастливчиков перевозили с линии фронта в эвакуационный госпиталь.

Мимо нас прошагал отряд новобранцев. Всем лет по девятнадцать-двадцать; это был их первый бой. На лицах этих мальчишек читалось явное недоумение, когда они смотрели на раненых, увозимых в тыл, на искореженные грузовики, на немецкие орудия с разбитыми стволами и на окоченевшие тела, на которые сыпал и сыпал снег.

По обе стороны этой дороги смерти шла нетронутая полоса полей и стояли щиты со знаком «череп и кости». Поля были заминированы. Офицер пояснил, что на пути отступления немцы заложили тысячи мин. Их метод был прост — можно сказать, убийственно прост. Никаких специальных усилий: ведь под снегом мин не видно, снегопад помог замести все следы.

Мы проехали мимо нескольких немецких грузовиков, груженных резиновыми лодками и множеством весел. Реки давным-давно замерзли; судя по всему, немцы так и стояли на этой позиции, пока осенние воды не сковал лед.

Мы подъехали к месту, где у нас была назначена встреча с генералом Власовым, командующим этим участком фронта. Мы знали, что он занимает немецкий штаб, захваченный при последнем наступлении, и без труда разыскали времянку с табличкой: «Германский дивизионный штаб», но внутри не оказалось ни души. Генерал Власов выехал в расположение своих войск.

Еще несколько миль по зимнему лесу — и мы в маленьком селе с необычным именем Погорелое Городище. Удивительно, что, несмотря на название, ему удалось в числе немногих уцелеть при немцах. Мы явились в самый разгар сбора трофеев. Красноармейцы обшаривали дворы, сараи и чердаки, найденные винтовки и автоматы сносили на деревенскую площадь и складывали штабелями. Немцы оставили село всего несколько часов тому назад. Какой-то красноармеец, сияя от счастья, гонял по снегу на трофейном мотоцикле. Когда я спросил, почему его мотоцикл так дико ревет, он радостно отозвался: «У немцев вся техника такая. Думают этим нас запугать».

Немцы сдали село, даже не похоронив своих покойников. На снегу лежали окаменевшие серо-зеленые мертвецы.

Мы окунулись в тепло старого деревенского дома, где теперь разместился советский дивизионный штаб. Немцы эвакуировались в такой спешке, что оставили на стенах великолепные карты местности. Генерал Власов — он командовал на Солнечногорском направлении — был где-то неподалеку, но срочно разыскать его, как нам сказали, не представлялось возможным. Вместо того один из штабных офицеров предложил нам поглядеть на пленного, которого только что взяли. Несколько минут спустя в комнату ввели довольно бодрого на вид солдата. Капрал Альберт Кёлер был родом из города Аахена. Он держался с достоинством, несмотря на то что в комнате находилось множество советских офицеров и иностранные корреспонденты. Нам позволили задать ему несколько вопросов. Он храбро сказал, что его схватили, когда он возвращался на выручку пленным, — русские офицеры согласно кивнули. На нем была двубортная шинель защитного цвета — стандартная форма, которую немцы носили во всех кампаниях. Ничего особенного, обычное толстое пальто. На голове аккуратно сидела хлопчатобумажная пилотка, ноги были обуты в добротные немецкие сапоги — но только такая одежда совершенно не годилась для похода в этот край снега и льда. Мы спросили у капрала Кёлера, не мерз ли он.

— Нет, не мерз, — неохотно ответил он, — во всяком случае, до самого недавнего времени.

Мы спросили, какое ему было выдано зимнее обмундирование.

— Мы получили по шарфу — поддевать под пилотку — и по паре рукавиц.

Кто-то поинтересовался, почему он воюет с русскими.

Кёлер был явно удивлен:

— Я солдат. Я иду туда, куда меня пошлют.

— Ради чего вы сражаетесь?

— Ради могущества Германии.

— Что вы думаете о вступлении Америки в войну?

— Я слышал об этом 14 декабря, правда, подробно этот вопрос не обсуждался, поскольку мы были заняты отступлением.

Мы поблагодарили капрала Кёлера. Он щелкнул каблуками и развернулся, собираясь удалиться, — образцовый служащий вермахта. Офицер из разведывательного управления шепнул мне: «Наверное, он из гитлерюгенд».

Солнце закатилось за лесистые холмы, и на снег опустились лиловые сумерки. Но на улицах села по-прежнему было много красноармейцев: одни снимали двигатели с брошенных немецких тягачей, другие обшаривали разбитые штабные машины в поисках ценных документов, третьи подсчитывали захваченные пулеметы, автоматы, винтовки и штыки. На снегу росли груды оружия. Я подошел поближе, надеясь присмотреть себе автомат, но русский часовой угрожающе навел на меня штык, хотя наверняка знал, что гражданские лица попадают на фронт только по спецзаданию. Я понял: ему приказано никого не подпускать к оружию.

В стороне трое красноармейцев разбирали мотор громадного немецкого транспортера. Они работали с поразительной ловкостью, не обращая внимания на мороз. Наблюдая за ними, я слышал, как они чертыхались, когда гаечный ключ срывался с замерзшего болта. Я ожидал увидеть добродушных и терпеливых крестьян, механически выполняющих порученное задание. Однако эти люди мне напомнили ремонтников в американских автомастерских — такие же порывистые и несдержанные на язык, они вовсю поносили свою неблагодарную работу. Было видно, что они страдают от холода ничуть не меньше, чем немцы, спешно отступающие всего в нескольких милях от нас.

Мне подумалось: такие вот люди и составляют костяк Красной Армии — крепкие, муску-

листые парни, они любят своего командира, готовы ринуться в бой по первому его слову и уважают специалистов, знающих толк в технике. Я понял, что представление о них как о «пушечном мясе» имеет так же мало общего с действительностью, как и байки о том, что русским солдатам штыки приваривают к винтовкам, чтобы они не кололи ими дрова. По темной улице продолжали двигаться пехотинцы; меня больше всего поразил вид их оружия, смазанного и начищенного до блеска, — такого прилежания было трудно ожидать в столь суровых условия. По моему убеждению, прямодушие этих людей нельзя путать с наивностью. Красноармейцы переживали душевный подъем, вызванный разгромом немцев под Москвой, но, судя по их речам, их отношение к методам ведения этой войны ничуть не переменилось. Оно оставалось таким же критическим, как если бы они потерпели поражение. Немецкая техника вызывала у них безграничное любопытство. Они копались во внутренностях немецких танков и транспортеров, словно мальчишки-кладоискатели.

На мой взгляд, Красная Армия, так же как и армия американская, стала настоящим плавильным котлом. Она была лишена той национальной окраски, которая свойственна армиям Великобритании или Франции. Кто в ней только не воевал: русоволосые украинцы, смуглые армяне и грузины, голубоглазые русские, белозубые узбеки со сверкающими глазами, белобрысые донские казаки — воины, закаленные в боях. Они верили в свои силы — это было видно по их лицам. Таких бойцов уже нельзя ни взять врасплох, ни запугать.

Пока я смотрел по сторонам и размышлял, солдаты, занимавшиеся каждый своим делом, вдруг как по команде подтянулись; проследив за их взглядом, я заметил двух одетых с иголочки офицеров, шагающих к нам по снегу. Это были генерал Власов и комиссар дивизии генерал Король. Оба в отлично скроенных длиннополых шинелях, прикрывавших верх белых бурок. В такой одежде они казались чуть ли не великанами. Высокие каракулевые папахи еще усиливали это впечатление. Улыбаясь, они шли к нам — и мы тоже двинулись им навстречу, за нами — группа красноармейцев, не сводивших с генерала восхищенных глаз. Солдаты не робели перед командирами, напротив, их тянуло к ним, как тянет восторженного студента к любимому профессору.

— Здравствуйте, товарищи! — крикнул генерал Власов.

— Здравия желаем, товарищ генерал! — дружно откликнулись солдаты, и многоголосое эхо прокатилось по заснеженной улице.

Когда стало понятно, что генерал желает побеседовать с американцами, красноармейцы мигом разошлись, вернувшись к своим занятиям. Мы пожали друг другу руки. Генерал Власов больше походил на учителя, чем на военного, в высокой каракулевой папахе с малиновым верхом он возвышался над нами словно башня. Он носил очки в золотой оправе, сидевшие на кончике носа. Сверкнув глазами, он сообщил, что его солдаты нынешней ночью непременно захватят Волоколамск: «Мой лыжный батальон возьмет город в кольцо. Фон Штраус пытается уклониться от прямого боя. Немцы умеют держать оборону до тех пор, пока ничто не угрожает их флангам. В противном случае они посылают бригады с бензином и факелами жечь все дома вокруг, чтобы нам не досталось ни единого прикрытия». Указывая на восток, где небо было окрашено бледно-красным заревом, он добавил: «Видите, мы уже взяли Волоколамск в клещи».

Я спросил у генерала Власова, где, по его мнению, этой зимой немцы удержат линию фронта. «В мои планы совершенно не входит, чтобы немцы где-то удерживали фронт. Мы будем гнать их, пока хватит пороха». Но я был настойчив: «Как вы думаете, они отдадут Смоленск?» Услышав про Смоленск, генерал Власов отвел взгляд: «Смоленск — это особый случай». Теперь мне стало ясно, что не стоит слишком многого ожидать от первого зимнего российского наступления.

Мы вернулись к своим машинам. Генерал Власов предупредил, чтобы мы никуда не сворачивали с дороги, поскольку местность кругом заминирована. Мы его поблагодарили, и машины двинулись дальше по накатанному снегу.

Зашло солнце, стало сильнее подмораживать. Из леса доносился сухой треск наподобие ружейных выстрелов — это лопалась от мороза кора на деревьях. До одиннадцати вечера мы тащились в машине по заснеженным холмам — то вверх, то вниз, снова и снова пропуская вереницы саней и колонны солдат. С наступлением темноты пришли в движение маскировавшиеся днем войска.

Наконец мы добрались до вчерашнего пристанища в Солнечногорске. Жена аптекаря и ее дочери ничуть не удивились нашему позднему приезду и принялись хлопотать на кухне, разогревая ужин. Подавали на стол уже знакомые нам пухлые официантки, которых специально прислали сюда из Москвы. Во время еды я как следует рассмотрел столовую. Этот российский дом на «солнечной горе» не так уж сильно отличался от домов, в которых мне приходилось бывать в

Индиане. Над старым пианино, прикрытым шалью, я заметил знакомую картинку. Это были «Три поросенка». Интересно, как этих диснеевских героев занесло так далеко на восток? На стене возле камина висела гитара, на каминной полке стояла в позолоченном окладе икона Николая Угодника — самого почитаемого святого в России.

С поистине российской широтой хозяйки выставили на стол весь красноармейский паек, который оставался со вчерашнего дня, даже неоткрытые коробки конфет — по целой на каждого из нас. Когда атмосфера за столом стала более дружелюбной, кто-то из корреспондентов предложил симпатичной официантке прогуляться с ним по снежку, полюбоваться звездами. Русский полковник категорично помотал головой: «Тут трое уже ходили гулять при луне. До сих пор не вернулись. Подорвались на мине». Мы пошли спать.

На завтрак нас угощали традиционной русской *кашей* — коричневатым варевом из немолотого ячменя с лужицей масла наверху. На столе опять стояли те же конфеты. Я не сразу догадался, что у русских конфеты к завтраку — вполне обычная вещь. Они ели их вместо сахара, клали конфетку в рот и запивали горячим чаем.

Уезжая, я окинул прощальным взглядом солнечногорскую церковь. С ее колокольни, увенчанной золотисто-синей луковкой, немцы впервые увидели в бинокль башни Москвы.

Уставшие, притихшие и задумчивые, мы возвращались по четырехрядному Ленинградскому шоссе; под колесами у нас бежала полоса обледенелого асфальта, которого так и не коснулся сапог покорителей Западной Европы.

Перевод с английского А. СОКОЛИНСКОЙ

ЭНЦО БЬЯДЖИ

КОНЕЦ ИМПЕРИИ

Полночь, 14 августа 1947 года. Англичане уходят из Индии. Льюис Маунтбеттен, последний вице-король, днем облетел на самолете колонны беженцев. Деревни в дыму от пожаров. На улицах идут бои: индусы и мусульмане убивают друг друга. Ганди обосновался в одном из рабочих кварталов Калькутты, он потрясен и расстроен. Он молится и говорит об угрозе голода. С этого момента Георг VI уже не император. Каменотесы сбивают со стен, а маляры закрашивают на дверях королевские короны и слова «Его Королевское Величество».

Не прошло и семидесяти лет с тех пор, как Виктория — «большая слониха, живущая по другую сторону моря», как ее называют обитатели ее восточных владений, — присоединила Индию к перлам своей короны. Мохандас Ганди был тогда ребенком, и учитель говорил ему: «Уважай власть англичан, англичанин правит маленьким индийцем, потому что ест мясо и ростом в пять локтей». В английских семьях с гордостью цитировали балладу Киплинга: «Просторно вдове из Виндзора, полмира считают за ней».

Многое происходит в эти дни. Лорд Маунтбеттен и леди Эдвина готовятся покинуть «Government House», его триста комнат вот-вот опустеют; Джавахарлал Неру, который провел пятнадцать лет в тюрьмах Его Величества, готов принять на себя руководство страной. Он сторонник социализма, его любимый исторический герой — Джузеппе Гарибальди. Он член Теофизического общества, верит понемногу и в индуизм, и в христианство, большой поклонник оккультных наук. Лучше всего он говорит по-английски. Дел у него невпроворот: надо похоронить сто тысяч мертвых и накормить триста миллионов голодных. Один «маленький индиец», который весит чуть более пятидесяти килограммов и питается только козьим молоком и апельсиновым соком, загнал в угол всех любителей ростбифа. Этот индиец — Мохандас Ганди. Однажды, будучи мальчишкой, он попробовал, подражая иностранцам, пренебречь вегетарианскими установками своей религии. «Той ночью я не мог заснуть, — рассказывал он, — мне казалось, что я про-

---

ЭНЦО БЬЯДЖИ (род. в 1920 г.) — итальянский писатель и журналист; был главным редактором ряда крупных газет, ведущим популярных телепередач. Публикуемый очерк впервые был напечатан в 1950 г., а позднее был включен в сборник Э. Бьяджи «Свидетельства о времени» (1970).

© М. Архангельская. Перевод, 1999

глотил живого барана». Потом он научился думать собственной головой, а главное, слушаться своего сердца. Теперь последователи называют его Махатма, что означает «великий ум», «великая душа».

«Этот воинствующий полуголый факир», как говорит о нем Черчилль, расшатал основы мощной английской империи, проповедуя принципы «ахимса» — ненасилия — и «сатьяграха» — победы над врагом через любовь силой истины. Но в эту ночь в своей нищенской обители Ганди чувствует себя несчастным. Его медитации нарушены выстрелами и криками восставших. «Я чувствую, — говорит он, — что всплеск ярости — это неспроста: пока мы сбрасываем с себя иностранное иго, на поверхность всплывают вся наша мерзость и нищета. Когда на Ганге половодье, воды его мутнеют».

Один англичанин, возможно, больше других мечтал о приближении этого дня. Его имя — Клемент Эттли, и он взял на себя малоприятную роль — покончить с империей. «То, чем мы

Джавахарлал Неру и Мохандас Ганди

владеем, мы не отдадим», — кричал Черчилль, на что Эттли спокойно отвечал: «Если индийцы хотят независимости, не понимаю, почему мы должны им в ней отказывать». Он тверд в своем решении, оскорбления, которые на него сыпятся со всех сторон, оставляют его равнодушным. «Винни» (у Черчилля и Эттли была одна и та же гувернантка) считает его «овцой в овечьей шкуре», о нем рассказывают анекдоты, над которыми смеется весь Лондон. «К дому номер 10 по Даунинг-стрит подъехал пустой лимузин, и оттуда вышел Эттли» или «Всего бы этого не случилось, будь жив старикан Эттли».

Когда приходит время ставить подпись под декларацией о независимости Индии, он, по словам свидетеля, делает это так же хладнокровно, как какой-нибудь скандинавский министр, который подписывает договор, регулирующий правила отлова сельди. Он робко улыбается жене, жалуется Идену: «Заниматься предвыборной кампанией очень утомительно. Я бы предпочел оставаться по вечерам дома и решать головоломки».

Нельзя сказать, чтобы Клемент Эттли был «большим любителем мяса»: среднего роста, худой, с тонкими чертами лица — его внешность ничем не примечательна. Он застенчив, любит одиночество, в полной мере воплощает английскую флегматичность. Когда в парламенте кипят страсти, он остается невозмутимым и что-то рисует на бумаге. Выходец из средней буржуазии, в 1907 году он стал лейбористом. Вот как он сам объясняет свой выбор: «Когда я внимательно приглядел ся к тому, как живут люди, мне захотелось выяснить, почему они так живут и что представляет собой тот социальный класс, к которому я принадлежу». За год он выступил более чем на ста митингах. «Иной раз мне приходилось самому тащить ораторскую трибуну, — вспоминает он, — случалось, я взбирался на нее, а иногда меня с нее стаскивали».

Когда началась война, он ушел на фронт добровольцем, был ранен, заработал медаль и колит, от которого так и не смог излечиться. В 1922-м его выбрали депутатом, в 1931-м — несмотря на невзрачную внешность, а возможно, и благодаря ей — секретарем лейбористской партии. Главные его достоинства — искренность и постоянство. Дважды он ездил в Индию, чтобы как следует изучить положение дел, и пришел к убеждению, что Англии нужно по-новому строить отношения со странами Африки и Азии, ибо колониальная эпоха подходит к концу.

Итак, новые отношения. Ради них королевской семье нужно отправляться с визитами на край света, нужно день за днем проводить на парадах, балах, выставках, нужно пожимать сотни рук, нужно ютиться в шатрах, развлекаясь плясками зулусов или обрядами тутси. Даже принцесса Елизавета, которой через три месяца предстоит свадьба, вместе с сестрой Маргарет пускается в утомительное путешествие. Принцесса готовится к трудной миссии королевы. В Каве, на островах Фиджи, она пьет что-то, отдающее мылом, пробует плоды хлебного дерева с Тонги и присутствует на концерте духовых инструментов, которые музыканты вставляют себе в нос. И когда в Новом Уэльсе принцесса почувствует, что силы окончательно ее оставляют, Филипп поспешит напомнить ей о ее долге: «Не падай духом, толстушка!»

За время ее правления на смену империи придёт Содружество наций; ее изображение исчезнет с марок и монет, и его заменит, как, например, в Гане, изображение вождя Нкрумы; среди королевских гвардейцев появится негр. Когда совершался обряд коронации ее отца, он именовался «государем Великобритании, Ирландии и заморских доминионов, королем, защитником веры и императором Индии». Ее присяга станет короче: без Ирландии, доминионов и Индии.

Был еще один человек, который очень старался стать ближе к своему народу. Это Ганди, несгибаемый аскет с обезоруживающей улыбкой; в неизменном дхоти он ходил по деревням и покорял словом и примером собственной жизни миллионы сердец. Мохандас Ганди, молодой блестящий адвокат, который с успехом практиковал в Южной Африке, в один прекрасный день открыл для себя истину. Его соотечественник написал такие стихи:

За кружку воды он угощает роскошной трапезой,
За дружеское приветствие кланяется до земли,
За жалкий грош расплачивается золотом.

Он прочел в Новом Завете: «Но вам, слушающим, говорю: благотворите ненавидящим вас». Один английский знакомый посоветовал ему прочитать книгу Льва Толстого «Царство Божье внутри вас». В этой книге излагается русское христианское учение — о непротивлении злу насилием. Ганди усвоил его сам и объяснял другим: «Не причиняйте зла ни одному живому существу. Живите просто, в мире и чистоте». Так начиналась революция, с которой, как думают многие, «не могут сравниться революции Дантона и Ленина». Крестьяне, пастухи, нищие падали к его ногам, лобзали их, и теперь ему приходилось бороться уже против безумия, которое могло привести к его обожествлению. Махатма чувствовал себя прежде всего носителем религиозного послания. «Если я и произвожу впечатление политического деятеля, — объяснял он, — то только потому, что сегодня политика обвивает нас, как змея, и мы ничего не можем с этим поделать. Я постараюсь побороть эту змею. Я хочу заменить политику религией».

Ганди был женат; его женили еще в тринадцать лет на Кастурбаи, дочери торговца. «Ни одна другая женщина никогда не привлекала меня так, как она», — говорил Ганди. Кастурбаи родила ему четырех детей, он дал клятву быть ей верным и не нарушил ее. Но однажды, когда ему исполнилось сорок, он попросил ее освободить его от брачных уз: Ганди решил дать обет безбрачия, чтобы иметь возможность полностью посвятить себя служению своей цели. Он часто страдал от воздержания, ему снились наслаждения, которых он себя лишил. Как говорил Лев Толстой, страсти которого обрели успокоение лишь к восьмидесяти годам, люди переживают землетрясения, эпидемии, болезни, какие угодно страдания, но самой страшной трагедией всегда была и навсегда останется трагедия спальни. Но Ганди хотел достигнуть совершенной чистоты. Он часто постился, считая, что это необходимо ему как духовному вождю своего народа и поможет преуспеть в медитации, он также занимался ручным трудом, полагая, что без этого человек неполноценен. Более того, он считал, что индийцы лучше сохранят душевный мир, если не узнают, что такое ткацкий станок.

Как только закончилась война, он организовал первую кампанию неповиновения. Женщины ложились на железнодорожные пути, выпаривали, нарушая закон, соль из морской воды, никто больше не покупал хлопок и пряности в английских магазинах, рабочие бастовали, корабли стояли неразгруженными, чай не собирался, фабрики и прядильни были закрыты. Длинные, нескончаемые колонны демонстрантов с флагами заполнили улицы. Ганди постился. Зачастую пассивное сопротивление выливалось в беспорядки: восставшие грабили магазины, раздавались выстрелы, насилие и жестокость брали верх. Ганди терзался угрызениями совести: в 1922 году он объявил о прекращении акции протеста и взял на себя вину за нее. «Я совершил ошибку, огромную, как Гималаи». Английский губернатор Бомбея сказал: «Это был самый дерзкий эксперимент в мировой истории, и он едва не удался».

Ганди, однако, не отказался от своих намерений и продолжил борьбу против социального зла. «Трудно научить самопожертвованию и дисциплине четыреста миллионов людей». Это было время рождения двух национализмов: индийского и мусульманского, объединившего семьдесят миллионов мусульман под предводительством гордого и благородного Мухаммеда Али Джинны, которого его единоверцы называли «царем царей». Махатма требовал уничтожения каст, уважения и равенства для «неприкасаемых», боролся против алкоголизма, против скупости землевладельцев, хотел уничтожить старые законы, которые лишали женщину каких-либо прав. Еще прародитель людей Ману провозгласил: «Для женщин не может быть свободы». Ганди ратовал также за отмену жестокого обычая женить детей. Для наглядности он приводил примеры из собственной жизни: «Урок непротивления преподала мне моя собственная жена, когда я попытался подчинить ее своей воле». Предстоящий путь был еще долог и труден.

«Я никогда не буду руководить низвержением империи», — говорил Уинстон Черчилль. Но через десять лет, в 1945 году, на выборах побеждают те, кто выступает за «социальное государство», которое возьмет на себя заботу о жилье, о стариках, о медицинском обслуживании, побеждают те, кто хочет национализировать банки, электростанции, шахты и транспорт и кто на многие годы установит в стране жесткий режим экономии.

«Что принесла нам победа в войне?» — этим вопросом задаются многие. Об этом спрашивает себя и великий Черчилль, только что потерпевший поражение на выборах: «Все наши враги безоговорочно капитулировали или собирались это сделать, а мне ни с того ни с сего дает расчет британский избиратель». Старому льву избиратели предпочли овечку, умеющую держать слово: в 1946-м выведены войска из Египта, 15 августа 1947-го провозглашаются республики Индия и Пакистан, 15 мая 1948 года закончился британский мандат на Палестину и появляется независимое еврейское государство Израиль. «С чувством глубокой печали я смотрю на крушение Британской империи, на ее счету столько славных дел, она оказала человечеству столько благодеяний», — скажет позднее Черчилль. Англичане во многих странах положили начало судебной и административной системам, дали многим народам язык, культуру, а зачастую и чувство собственного достоинства. Ни в одной из их бывших колоний нет коммунистической партии, способной бороться за власть. «С конца войны советская Россия присоединила к своему блоку по меньшей мере сто миллионов человек, не спрашивая, хотят ли они этого; с конца войны империалистическая Великобритания, если вам нравится так ее называть, дала свободу и независимость пятистам миллионам человек», — сказал Макмиллан.

Теперь Цейлон, Бирма, Гана, Нигерия, Сьерра-Леоне, Камерун, Гамбия, Танганьика, Уганда, Британская Гвиана, Кения сами распоряжаются своей судьбой.

Английские колонии вошли в Содружество наций: оно объединяет четвертую часть планеты и ее населения, в его руках — треть мировой торговли. Свобода не избавила Индию от вековых проблем. Народ Индии питается еще более скудно, чем китайцы, девяносто жителей из ста неграмотны, в стране разговаривают на двухстах двадцати пяти языках. Все возрастает число эмигрантов, как индусов, так и мусульман, они уезжают, спасая свою жизнь. Полтора миллиона людей находятся на грани голодной смерти. Землевладельцы и торговцы продуктами питания обогащаются, их спекуляции приносят им миллиарды рупий. Пакистанцы и индийцы разделили Калькутту на кварталы, огородили их колючей проволокой и понаставили пулеметов. Ганди в отчаянии. 18 января 1948 года он начинает «самый великий пост», он не притронется к еде, пока в Нью-Дели не восстановится порядок. Через два дня в «Birla House» в двух шагах от Махатмы взорвется бомба. Дело рук фанатика. Ганди настаивает, чтобы «сбившегося с пути юношу» не наказывали, а переубеждали. Однажды он сказал: «Когда умираешь от руки брата без горечи и гнева, это не больно».

Вечером 30 января, опираясь на своих племянников Аву и Ману, он не спеша направляется на встречу с единоверцами, чтобы сообща предаться молитве. «Если мне суждено умереть, — как-то сказал он, — пусть это случится во время молитвы». Молодой парень — его имя Годсе — трижды стреляет в него из пистолета. «О господи, — шепчет Ганди, — о господи!»

На следующий день с заходом солнца тело Махатмы выносят на берег реки Джамны и кладут на возвышении, на груду дров из благовонного дерева; венки из жасмина, из красных цветов джунглей и из самых ярких садовых сгорают на костре вместе с ним. Вороны оглашают своими криками глянцевое небо. Вокруг толпится народ, и ветер, колышущий накидки на головах женщин, развеет пепел Мохандаса Ганди, сына бакалейщика, который своим словом сверг горделивую империю и построил на ее обломках новый мир. Он пал жертвой нетерпимости, этот человек, который, по свидетельству его биографа Нанда, утверждал, что все религии справедливы и ни

одна из них не совершенна, потому что от их имени вещают зачастую не самые умные головы и не самые благородные сердца.

«Возможно, грядущие поколения с трудом поверят, что подобный человек, человек из плоти и крови, когда-то ступал по земле», — сказал Эйнштейн.

26 января 1950 года в «India House» в Лондоне была подписана Декларация о независимости Индии. Чай подавали в фаянсовых чашках военного образца, пирожные начинены не слишком съедобным суррогатным кремом: импорт строго под контролем, действует система нормирования продовольствия. Многие индианки под сари надели шерстяные свитера — в зале прохладно, уголь тоже экономят. Клемент Эттли непринужденно выполняет все бюрократические формальности.

В Нью-Дели 26 января провозглашено Днем республики. Президент Раджендра Прасад вступает во владение огромным Домом правительства. Его сопровождают жена, сестры, двое детей, семнадцать племянниц, два племянника и три священные коровы. Он говорит мажордому: «Боюсь потеряться в этом лабиринте».

Днем он садится в королевский экипаж, с дверей которого были предварительно сняты короны, и отправляется в парламент. Его сопровождает индийская гвардия вице-короля, на гвардейцах — пунцовые раджпутские мундиры и тюрбаны цветов радуги. На стадионе проходит парад трех тысяч шестисот солдат, моряков и летчиков; президент невольно поднимает руку для приветствия, повторяя жест высокопоставленных британских военачальников. Народ и армия отдают почести памяти человека, который прежде всего верил в любовь. Шестьдесят лет тому назад махараджа Синдия так приветствовал королеву Викторию: «Величайшая из королев, Индия благословляет вас и молится о том, чтобы во владениях ваших царили мир и спокойствие».

Спустя пять лет Клемент Эттли удаляется от общественной жизни. Он переселяется в деревню, его дом носит имя «вишневого». Это очень уставший, замкнутый человек. Он пишет мемуары — в форме дневника, пишет прилежно, но без вдохновения и блеска, курит трубку, наконец-то он спокойно может заняться своими головоломками. Государство выделило ему пенсию, которая позволяет не думать о деньгах. Двести пятьдесят тысяч фунтов в месяц.

1950 г.

Перевод с итальянского М. АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ХАНС КОНИНГ

ЗАМЕТКИ О XX ВЕКЕ

Он оказался самым кровавым в истории, но принес с собой и что-то хорошее

Судьба XX века — возможно, последний раз в истории — ковалась в основном на Западе. Технический прогресс до неузнаваемости изменил нашу повседневную жизнь, но еще больше изменились наши взгляды на мир и на самих себя. Именно на этом, на эволюции западного мира и западного человека, мне и хотелось бы остановиться.

Я прожил на этом свете большую часть столетия и успел побывать в самых отдаленных уголках нашей планеты. Думаю, что способен взглянуть на историю не только с точки зрения благополучных белокожих европейцев и американцев, поскольку мне тоже приходилось терпеть гонения и несправедливость. Я сидел в тюрьмах как участник политических выступлений, а в то

ХАНС КОНИНГ (род. в 1924 г.). — американский писатель, журналист, общественный деятель. В годы второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления в Голландии, затем воевал в составе вооруженных сил Великобритании. Активный участник общественного движения против вьетнамской войны и в защиту гражданских прав в США. Публикуемое эссе взято из журнала «Atlantic monthly» (1997 г., сентябрь).

© «The Atlantic Monthly», 1997
© Н. Калошина. Перевод, 1999

глухое средневековое пятилетие, когда немцы оккупировали страну моей юности — Голландию — и большую часть Европы, я был беженцем и «опасным террористом».

Для Запада столетие началось с больших надежд. Самая его заря осталась в истории как La Belle Époque — Прекрасная эпоха. И действительно, окажись мы с вами на Парк авеню в Нью-Йорке, или в лондонском Мейфэре, или в восьмом и шестнадцатом округах Парижа, мы увидели бы поистине небывалое скопление шикарных женщин и мужчин. Все они жили в особняках, разъезжали в авто с откидным верхом и отличались поразительной самонадеянностью. Они ни секунды не сомневались в том, что олицетворяют собой прогресс, которому не будет конца. Представители белой расы пребывали в святой уверенности, что им суждено править миром; у остальной же части человечества — «братьев наших меньших», по Киплингу, — было на этот счет свое, по большей части иное мнение. В книге Э. М. Форстера[1] «Поездка в Индию» (1924) индийский доктор Азиз говорит своему другу, англичанину: «Мы избавимся от вас, даже если для этого понадобится пятьдесят пять столетий». Прошло всего двадцать пять лет с тех пор, как были написаны эти слова, и британскому владычеству в Индии пришел конец.

Для Запада это было время, когда внезапная смерть считалась редкостью. Крушения поездов, большие пожары и гибель «Титаника», резко выделявшиеся на фоне общего благополучия, запечатлелись в памяти народов как величайшие трагедии. Это было время, когда разговоры о сексе и сифилисе — СПИДе тех дней — велись только шепотом: редкая газета позволяла себе обмолвиться о них на своих страницах. Евгеника открывала перед столетием новые перспективы: она уже прекрасно зарекомендовала себя при работе с собаками и лошадьми, и профессор Чезаре Ломброзо из Турина уже научился предсказывать по форме ушей и черепа младенца, вырастет он преступником или нет. Ослабление национализма обещало вот-вот покончить с неудержимым ростом военных расходов. «В скором времени национальные различия останутся только в области образования и экономики», — говорилось в знаменитом одиннадцатом издании «Энциклопедии Британники» в 1910 году.

Ни Земля, ни даже Солнце уже не были для человека центром Вселенной, но, как писал еще в XIX веке Чарльз Кингсли, капеллан королевы Виктории, «железные дороги, лайнеры «Кьюнарда»[2] и электрический телеграф суть... свидетельства того, что мы, хотя бы отчасти, пребываем в согласии со Вселенной; что среди нас трудится великий и могущественный дух... Господь созидающий и управляющий». В этот период люди, как никогда до или после, чувствовали, что Земля — их дом, и верили, что могут сами распоряжаться собственной судьбой. Демоны природы, изгнанные разумом и электричеством, остались в прошлом, демоны же человеческие, порожденные новым столетием, еще себя не проявили.

Не стоит завидовать той кажущейся идиллии: за ней скрывался другой мир — мир эксплуатации, расизма, колониализма, классового высокомерия. Кули надрывались на каучуковых плантациях за пятьдесят сантимов в день; шахтеры дышали угольной пылью и газами, пока их легкие окончательно не изнашивались; трубочисты умирали, не дожив до восемнадцати, а любая горничная рассматривалась как объект для безнаказанного совращения. И все эти унижения мир терпел ради «цивилизации», ради общества, которое знает толк в балетных прыжках и умеет оценить нового тенора или новую школу живописи. В результате многие люди стали врагами системы, в которой жили. Они тоже верили в нескончаемость прогресса, но считали, что у человечества есть шанс выйти на путь истинный лишь после великого революционного переворота.

В книге «Судьба века» (1931) французский писатель Жан Ришар Блок (1884—1947) назвал Наполеона «первым представителем современности». Современность, по его словам, характеризуется отсутствием ограничений: беспредел власти уже не стеснен ни религиозными, ни нравственными рамками. Наполеон был первым практиком-одиночкой современности, а Ницше (проживший до 1900 года) — ее первым пророком: идеи уже витали в воздухе, но он первый облек их в слова. Очень скоро, а точнее, в 1914 году Запад начертал идеи Ницше на своих знаменах. Судьба, рок, трагедия — все превратилось в политику. Это подорвало нашу веру в разумность хода истории и в то, что в конечном итоге деяниями человека и вправду управляет справедливость.

---

[1] Эдуард Морган Форстер (1879—1970) — английский писатель. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

[2] «Кьюнард» — с 1839 года крупная судоходная компания, обслуживающая линии между Великобританией и Северной Америкой; названа по имени основателя С. Кьюнарда.

DER FRISCHFRÖHLICHE KRIEG[1]

«Последняя война между белыми». В 1895 году Уинстон Черчилль отправился на Кубу, где испанские колонизаторы воевали с кубинскими повстанцами. Он писал, что просто обязан присутствовать на месте событий, поскольку это, по всей вероятности, последняя война, в которой белые воюют против белых. (Склонность преувеличивать значение современных событий — извечная беда футуристов). Однако Черчилль напрасно беспокоился. Величайшая война белых против белых сама пришла на его порог солнечным субботним днем 1 августа 1914 года, когда германские пехотинцы пересекли границу Люксембурга. В тот день мы вступили в эпоху современности, и воплощением ее стала война.

К 1914 году в Европе, как и в США, война воспринималась позитивно — возможно, даже более позитивно, чем в Римской империи периода расцвета. Жюль Верн, писатель-футурист, изображая XX век без войн, вкладывает в уста своего героя, представителя этого века, такие слова: «Воинственность наша увядает, а вместе с ней и наши возвышенные идеалы». Бесстрашие и своеобразные представления о мужественности и чести приобрели политическое значение, стали своего рода свидетельствами того, что правящие классы и все белые вообще согласны платить за свое право властвовать над миром. Горстка офицеров во главе армии, набранной из местных, легко удерживала в повиновении обширные колониальные владения, поскольку предполагалось, что эти офицеры готовы умереть в любой момент, в то время как коренное население не готово даже убивать. В той же «Энциклопедии Британники» 1910 года английский офицер писал в статье «Египет», что из египетских крестьян получились бы прекрасные солдаты, «если бы только удалось заставить их убивать». Профессиональные военные относились к «штатскому населению» крайне пренебрежительно, а уж цветные были для них «штатскими вдвойне». Им даже в голову не приходило, что хорошими солдатами людей делает не цвет кожи, а цель, дело, ради которого они взялись за оружие.

Что касается Соединенных Штатов, там не было «военной касты», поскольку в те времена Америка служила прибежищем для тысяч европейцев, уклонявшихся от военной службы, но и здесь понятия о мужской чести мало чем отличались от европейских. У преуспевающего генерала было и до сих пор остается больше шансов пробиться к президентскому креслу, чем у любого среднего американца.

В условиях полного приятия войны генералов, правивших бал в 1914 году, не страшили вызванные их тактикой кровопролития. Наоборот, если спланированная и часто заранее объявленная операция оказывалась безуспешной, кровопролитие становилось самоцелью — это называлось войной на истощение противника. Газеты, послушные каждая своему правительству, описывали окопную жизнь в стиле комментария к крикетному матчу. Жизнь в воюющих странах практически нормализовалась — разве что между ними пролегла некая линия, вдоль которой молодые люди должны были убивать друг друга всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Так, на реке Зомме[2] за одно утро погибало до двадцати тысяч британских и канадских солдат — просто потому, что командиры приказывали им выйти из окопов. В Вердене в первый день наступления немцы обрушили на французские позиции шквал из миллиона снарядов. И лишь когда война уже заканчивалась, широкие массы начали осознавать всю бессмысленность этой преступной бойни. Презренному штатскому населению открылась вдруг чудовищная истина: множество людей на войне было убито, задушено газом и изувечено из-за одной только тупости самодовольных офицеров. Именно тогда пацифизм перестал быть бранным словом.

Горькая ирония состояла в том, что, когда подошла вторая очередь тридцатилетней гражданской войны между белыми, эта перемена общественного мнения так ослепила политиков, что они попросту не увидели угрозы. Невилл Чемберлен был неглупым человеком, но даже он, вместе со многими другими, буквально отказывался верить, что бойня может начаться снова.

Была ли тогда альтернатива? Если бы можно было повернуть время вспять и начать с битвы при Ватерлоо, не исключено, что XX век оказался бы более мирным для Европы, но при раскладе 1914 года трудно представить, что события могли развиться иначе. Десять лет войны с двадцатилетним перемирием посередине наложили суровый отпечаток на наш век. И все же нам (нам — это всему человечеству, включая и немцев) повезло, что война закончилась именно так, а не иначе. Правители Германии в 1914 году решительно вознамерились сделать свою страну мировой державой — точнее говоря, единственной мировой державой. Тогда их лозунгом года было

---

[1] Веселая война *(нем.)*.
[2] Имеется в виду сражение на Зомме в 1916 году.

«Am deutschen Wesen wird die Welt genesen» («Излечим мир по-немецки»). Их не остановили бы ни дипломатия, ни гандизм, и в случае победы Германии даже при более здравомыслящем правительстве 1918 года всем жителям планеты стало бы гораздо неуютнее. Что касается фашистского правительства 1945 года, то его победа попросту положила бы конец западной цивилизации. Приведу лишь один пример, до сих пор не так уж широко известный. В оккупированной Голландии некоторые еврейские семьи пытались спасти своих детей, оставляя их как подкидышей на церковном крыльце. В ответ германские власти объявили, что отныне каждый подброшенный младенец считается евреем и подлежит отправке в газовую печь.

Остается верить, что отголоски Катастрофы, руины городов и деревень 1945 года надолго искоренили в нашем сознании образ «веселой войны», хотя события в бывшей Югославии заставляют нас усомниться в том, что человечество когда-либо сможет исправиться. Мне, к примеру, не раз приходило в голову, что эволюции — или судьбе, или Богу — угодно избавиться от человечества ради сохранения жизни на планете и что ввиду отсутствия более сильного вида, способного взять над нами верх, нас запрограммировали на самоуничтожение.

И все же сегодня мы посылаем войска не завоевывать земли, а восстанавливать мир, и в этом — как бы скептически мы ни относились к благим намерениям политиков — мне видится несомненный сдвиг. Разумеется, в этих играх задействованы и нефтяные интересы, и сферы влияния, и немало других факторов, но все же вполне различим и зародыш новой идеи: мы призваны заботиться о наших братьях и сестрах. Идея, возможно, уже запоздала. Двигаясь напролом к поставленной цели, мы утратили доверие, перестали быть «белой цивилизацией в авангарде прогресса». Когда мы у себя на Западе раздавали футболки с надписью: «Я — ЗА МОЮ СТРАНУ, ПРАВА, НЕ ПРАВА — НЕ ВАЖНО», — мир верил нам на слово. Правительства легко забывают собственные ошибки и злодеяния и ждут, что все остальные последуют их примеру. Но у людей — и у народов — длинная память. Однажды, сидя в дакарском баре за бокалом французского вина, темнокожий выпускник Сорбонны говорил мне, что, как только у африканцев появится первая атомная бомба, они сбросят ее на Ливерпуль — символ рабства для его соотечественников. Сомневаться ли в его словах? Возможно, вооружающиеся ныне нации должны пройти тот же кровавый путь, что и Запад. В мусульманском мире 2000 год будет всего лишь 1420-м — а в 1420 году Англия и Франция только-только перевалили за вторую треть Столетней войны.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТИГРОВ

Наши страхи. В начале этого века страх на Западе стал переживанием личным. Массовые страхи прошлого, которые охватывали Европу в разные времена, рассматривались теперь как проявления средневекового кликушества — наравне с боязнью ведьм, призраков, оборотней, привидений и про́клятых перекрестков. В своей самоуверенности мы преисполнились презрения не только к другим расам, но и к нашим собственным предкам. Народные обычаи, часто связанные с забытыми дедовскими поверьями, были отброшены — тех, кто не успел вовремя перестроиться, это надолго выбило из колеи. Страхи наши ослабли, вместе с ними ослабла и вера в мистическое, и наше восприятие природы в корне переменилось. Из злейшего врага природа сперва превратилась для нас в служанку, готовую выполнить любой наш каприз, а затем — очень скоро — в жертву.

В прежнем нашем страхе перед природой было свое благородство — точнее, благоговение. В приключенческих книжках моего детства речь чаще всего шла о том, как герой — взрослый или ребенок — противостоит дикой природе с ее свирепыми животными и кровожадными туземцами. А как часто мне и моим одноклассникам снилось, что за нами гонятся волки или тигры! Что бы ни говорил Фрейд, в том страхе было что-то здоровое и подстегивающее — и в зоопарке, когда мы видели зверей за решетками клеток, нас охватывала приятная дрожь. Больше всего нас восхищали тогда белые охотники, которые по доброй воле покидали города и отправлялись навстречу опасности. Я помню фильм братьев Маркс, в которых Граучо[1] покоряет всех — включая и богатую леди, за которой он волочится, — байками о своих охотничьих подвигах. Дикие животные считались в те времена «вредными» и посему «подлежали уничтожению». Помню, когда я учился в начальной школе в Амстердаме, на стене нашего класса висели два цветных плаката. Один назывался «Полезные животные», а другой — «Дикие животные». Но век продолжался, и скоро мы убедились, что человек человеку уже не волк, как определил когда-то Плавт, а гораздо

[1] Граучо Маркс (1890—1977) — младший и самый известный из трех братьев-актеров, авторов множества комедийных фильмов.

страшнее и волка, и любого другого зверя, жившего на Земле от начала времен. Думаю, теперь большинство из нас сочтет за лучшее встретиться на пустынной дороге с диким зверем, чем с незнакомцем. Незнакомца, «чужака» мы боимся. Мы решительно не можем его понять — для нас он как бы вышел из леса (по-итальянски «незнакомец» так и звучит — «forestiere», буквально: «вышедший из леса»). А может, наоборот, мы знаем его слишком хорошо, и знаем, что он ненавидит нас за что-то, о чем мы сами предпочли забыть. Что ж, к ночи все цыплята возвращаются домой, как говорил Стоукли Кармайкл. Нашим детям в наследство достался мир со множеством запоров и систем сигнализации, с телефонными кабинками без дверей и залами ожидания без сидений (отовсюду словно слышится: «Давай, давай, проваливай!»), мир, в котором — если хочешь жить — не стучись в незнакомую дверь, даже если у твоей машины заглох мотор. Даже посадка в самолет непременно овеяна мрачной подозрительностью — какой контраст с тем радостным волнением, которым сопровождалось когда-то отплытие теплоходов!

Все это отнюдь не мелочи. Забота об интересах личности, о которой так пекутся нынешние правительства, изменила само качество жизни: вместо обогащения общества на первый план выступило личное обогащение. Общественные владения в Америке постепенно приходят в упадок, в то время как собственные наши дома превращаются уже не просто в крепости, а в крепости со рвами и поднятыми мостами. При этом мы все же остаемся животными общественными, и новые запоры и засовы лишь усиливают наше одиночество и обостряют страхи.

Величайшим из человеческих страхов всегда была смерть. До 1914 года смерть как бы не допускалась в повседневную жизнь: сама тема смерти наравне с сексом считалась запретной в «приличном обществе». Великая война принесла миллионы жертв, но после победы союзники постарались поскорее нейтрализовать, изгнать, вычеркнуть смерть из людской памяти, возведя тысячи и тысячи монументов. Имена погибших были повсеместно увековечены в бронзе: казалось, они продолжают существовать где-то рядом с живыми, будто и не погибали. (В одном французском фильме того периода, «La vie et rien d'autre»[1], есть запоминающийся эпизод: староста деревни, в которой никто не погиб, просит соседнюю общину выделить им несколько погибших для возведения памятника.) Но калеки-ветераны, жившие подаянием, знали смерть хорошо, даже слишком хорошо. Сегодня инвалидам войны на Западе не приходится больше ходить с протянутой рукой, но их место на улицах не пустует: его занял новый класс обездоленных и отверженных («les exclus», как называют их французы). Мы никогда не поймем этих людей и их жестокости, если забудем о том, как хорошо они знакомы со смертью.

В «опустошительные» (по выражению Черчилля) годы между двумя великими войнами озлобленные, доведенные до отчаяния ветераны побежденных армий вступали в своего рода союз со смертью. Они шли в государственные машины своих стран, чтобы служить антигуманному «новому порядку», порядку, якобы призванному преодолеть хаос, а на самом деле сумевшему его лишь закамуфлировать. Об этом хаосе нет ни слова в романе Ремарка «На Западном фронте без перемен» или в других известных антивоенных романах, зато его можно найти на каждой странице у Кафки, в чьем дневнике начало первой мировой войны упомянуто лишь вскользь. Этот хаос выражался в музыке и искусстве того времени, в сюрреалистической поэзии и в боевом кличе испанских фашистов «Да здравствует смерть!». Представителей «нового порядка», по их собственным словам, не страшила ни смерть, ни даже жизнь. Они были беспощадны («rücksichtslos» — любимое слово Гитлера), то есть в любой момент готовы действовать, не останавливаясь ни перед чем.

Таково было их политическое кредо, их «Миф XX века», как назывался нацистский катехизис, — его создатель, теоретик немецких национал-социалистов Альфред Розенберг, был повешен в Нюрнберге в 1946 году. Впрочем, это был не столько миф, сколько псевдонаучные разглагольствования, смесь мании величия, арийского расизма, замешенного на «крови и земле», и веры в этакую Вальхаллу после смерти. Правда, когда союзники в мае 1945 года низвергли нацизм, его уцелевшие апостолы решили, что Южная Америка все же привлекательнее воспетой Вагнером гробницы.

КОНЕЦ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

После 1945 года ни в Америке, ни в Англии или Франции не наблюдалось уже той циничной, несколько преувеличенной всеобщей веселости, как в 1918-м. Во-первых, для цинизма не было

[1] «Жизнь и ничего другого» *(франц.)*.

повода: все понимали, что эта война была отнюдь не бессмысленной бойней, поскольку избавила нас от нового средневековья. И во-вторых, в отличие от 1918 года, страх уже нельзя было оттеснить на задний план при помощи чудес новоявленной авиации, биржевых игр и чарльстона. Наоборот, выяснилось, что страх — страх перед ядерной катастрофой — превратился в нашего постоянного спутника. Удивительно то, что люди каким-то образом ухитрялись мириться с его присутствием и продолжали жить как ни в чем не бывало. На тех из нас, кто видел в предотвращении угрозы свою первейшую задачу, смотрели как на апологетов коммунизма, чуть ли не безумцев, которым не место среди нормальных людей. (Во время одной антиядерной сидячей забастовки в Англии кто-то из зевак убеждал меня: «Если Господь задумал истребить нас огнем, как вы смеете стоять у него на пути?») Думаю, что этот подавленный страх, разрушивший еще одну иллюзию человечества — иллюзию его якобы бессмертия, — нанес большой урон нашей общей психике.

В мрачные годы холодной войны все это приняло весьма неприглядный вид. Политики в Америке, Англии, России и Китае изощрялись кто во что горазд: одни демонстрировали свою стойкость и бесстрашие, заявляя, что сто миллионов жертв для них ничто, другие впадали в противоположную крайность и уверяли, что нужно лишь вырыть в земле яму и накрыться старой дверью — и никакие ядерные бомбы не страшны. Последовавшая борьба за первенство в космосе направила человеческую агрессивность в небесное русло. Она приблизила банкротство Советского Союза и помогла нескольким американцам высадиться на Луне. Мы — то есть я и те, с кем я тогда работал (группа «Сопротивление» в Кембридже, штат Массачусетс, а также участники кампании за ядерное разоружение в Англии), не считали, что «Райт стафф» или любая подобная ей космическая программа так уж обогатит нашу жизнь; во всем этом мы видели лишь начало милитаризации космоса и очередную попытку отвлечь нас от проблем вьетнамской войны.

Сегодня впервые за много лет атомные ракеты не нацелены на американские города. Однако сюжеты боевиков о негодяях, которые грозят нанести и наносят предательский ядерный удар, кажутся нам все более правдоподобными. По всей вероятности, это наше нарастающее ощущение опасности — один из симптомов странного недуга, присущего концу девяностых. (Воистину, «Прекрасной эпохой» конец нашего столетия не назовешь. К другим симптомам болезни я бы отнес агрессивный индивидуализм, за которым, возможно, кроется кричащее одиночество; необузданный эгоизм, отягощенный сознанием собственной вины и от этого еще более отвратительный; отсутствие понятий о чести; засилье лести и лжи.) И все же, коль скоро наша самонадеянность сто лет назад породила самый кровавый в истории век, есть и некоторая надежда на то, что неуверенность и страх перед будущим помогут сделать двадцать первое столетие лучше двадцатого.

Возможно, церковники были правы, затыкая рот Галилею. С тех пор как выяснилось, что Земля не является центром творения, мы сильно изменились. Хуже того, мы уже знаем, что не только Бог или судьба, но и мы сами способны приблизить собственный конец. Вселенная — даже если мы можем подсчитать число составляющих ее электронов — по-прежнему остается непознанной, но сегодня парочка физиков — выпускников Йейльского университета, или бездарный политик, у которого хватило тщеславия пролезть в Белый дом, или полковник, несущий службу в песках какой-нибудь нефтяной державы, — все они в силу своего положения могут запросто оборвать человеческое познание Вселенной.

Перестав ощущать себя центром мироздания, некоторые утешаются соображением (отнюдь не бесспорным), что разумная жизнь есть только на Земле. Что ж, может, это и утешительно. Но в таком случае зыбкость нашего будущего должна внушать нам еще большую тревогу. С тех пор как английский епископ Джеймс Ашер подсчитал, что мир был сотворен в октябре 4004 года до рождества Христова, мы прошли долгий и трудный путь. Пора признаться самим себе: возврата к прежней наивности быть не может. Чем сомнительней утверждение, что человечество пребывает «sub specie aeternitatis»[1], тем важнее сделать этот мир справедливым для всех. Впрочем, в настоящий момент многие, вместо того чтобы усовершенствовать мир вокруг себя, предпочитают смотреть на него через пелену наркотического дурмана.

---

[1] Под знаком вечности *(лат.)*.

ГОСУДАРСТВО ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ: ТРИУМФ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

И все же — значительная часть человечества сегодня избавлена от некоторых глубинных страхов. В Западной Европе (и в меньшей степени в Канаде и Австралии) нет больше страха перед бедностью — той бедностью, которая приходит к нам в старости и болезни. В 1900 году Западная Европа — наряду с Соединенными Штатами — считалась самой процветающей частью мира, но до искоренения бедности было еще далеко. Бедность — понятие относительное; современному человеку даже трудно представить нищету, царившую в «процветающей» Западной Европе 1900 года. Крестьянки по двенадцать часов в день гнули спину в поле, собирая оставшиеся после жатвы колоски, а вечером приносили домой весь свой урожай в подоле фартука. Семьи экономили гроши — в пересчете на американские деньги по десять центов в неделю, — чтобы обеспечить себе скромные похороны, и служащие страховых компаний регулярно раз в неделю обходили своих клиентов и собирали эти гроши, потому что имели от этого хоть какой-то доход. В Амстердаме во времена моего детства любой работник, состоявший на муниципальной или государственной службе — пусть даже простой подметальщик улиц, — чувствовал себя лицом привилегированным, поскольку мог смотреть в будущее без страха: в старости его ждала гарантированная пенсия. По той же причине кондуктор трамвая считался завидным женихом.

В 1945 году, после тяжких испытаний войны и оккупации, время в Европе словно на миг застыло. Появилась возможность остановиться и подумать — а подумать было над чем. Правительства оказались в долгу у своих народов, поскольку в самые тяжелые времена не обеспечили людям защиту и поддержку, а после потребовали непомерных жертв и получили эти жертвы; фактически людям пришлось расплачиваться за ошибки властей. Подобное уже было однажды, в 1918 году, — тогда правительства отступились от своих обещаний. Это могло повториться и в 1945-м, но все же не повторилось. В сложной исторической обстановке были созданы законы, направленные на искоренение бедности и связанного с ней неравенства. Была разработана совершенно новая модель общественных отношений, коренным образом изменившая саму повседневную жизнь. Именно с этого момента общественный климат США начал явно отличаться от климата Западной Европы. Однако американец, приехавший в Амстердам или Осло, может и не заметить различий, поскольку они не подкреплены видимыми расхождениями на уровне идеологии.

Изменения состояли не в уравнивании доходов. В первую очередь они касались расширения сферы общественного пользования — больниц, школ, университетов, парков, спортивных центров, библиотек и тому подобного, которые одинаково бесплатно могли посещать граждане с высоким и низким уровнем доходов. Идея состояла в том, чтобы создать «общество без бедных» — государство всеобщего благоденствия. Цель была достигнута, хотя и с известными ограничениями, поскольку активный приток иммигрантов из «третьего мира» породил новый пролетариат и новое расслоение общества. В США нам без конца внушают, что европейцы, будучи якобы не в состоянии обеспечить социальные гарантии для всех, постепенно сворачивают деятельность «системы благоденствия». Это не так. Я наблюдал за жизнью своих голландских и французских друзей и родственников в тяжелые для них времена и могу с уверенностью сказать, что ни о каком «сворачивании» речи не идет. Разумеется, система повсеместно упорядочивается и претерпевает множество изменений — иначе она недолго продержалась бы в нынешних экономических джунглях. Однако ее основополагающие принципы остаются неизменными — даже в Британии, после восемнадцати лет правления консерваторов.

В пику всем представлениям европейцев, в США бедняки тоже не оставлены на произвол судьбы: если сами они приходят в соответствующие учреждения и сообщают о себе необходимые сведения, то почти никто не голодает и в случае необходимости все получают срочную медицинскую помощь. Однако все это происходит в духе милосердия XIX века, а не через равный доступ к общественным благам — разумеется, оплаченным за счет налогов, но бесплатным для пользователя. К этому я должен добавить, что обстановка унизительной убогости, которая якобы царит во всех бесплатных европейских учреждениях, не более чем американский политический миф. Именно в силу того, что система подходит ко всем членам общества одинаково, без какой бы то ни было имущественной мерки, в государственных приемных и учреждениях перед чиновниками оказываются не «подозреваемые», как это зачастую бывает у нас, а обычные граждане. Очередь к бесплатному доктору в Голландии не длиннее, чем к стодолларовому доктору в Нью-Йорке.

Все это вовсе не второстепенные вопросы. Благодаря «системам благоденствия» люди становятся гораздо менее агрессивными (или, если взглянуть под другим углом, менее деловыми и предприимчивыми). Всякий, кому не надо заботиться о крыше над головой, питании, образовании и медицинской помощи, ведет себя в жизни уже иначе. Часто в доказательство того, что лю-

дям не нужны все эти гарантии, мне указывают на число самоубийств в Швеции, которое временами приближается к показателю США (по данным последнего десятилетия, около 12 на 100 000 человек), но Швеция все же очень сложная страна.

Впрочем, я прекрасно понимаю, что европейские системы не сработали бы здесь, в Америке. В основе своей наше общество не так однородно, наше население не подсчитано и не описано с такой точностью, как в Европе. У нас нет той солидарности, которую Европа обрела только после опустошительных бедствий этого столетия. В нашей жизни тоже было множество войн, но все они гремели далеко; и наконец, в нашей истории не было паузы, чтобы остановиться и подумать. Пожалуй, небольшая передышка была лишь в 1932 году, именно она сделала возможным «новый курс»[1]. Он был заклеймен деловыми кругами как «антиамериканский», тем не менее именно он помог спасти американскую экономику. По всей видимости, переход от своекорыстия стихийного к своекорыстию разумному и рациональному не такой болезненный процесс, как всякий раз представляется деловым людям.

ДЛИННЕЕ ЖИЗНЬ, БЕСПОКОЙНЕЕ СМЕРТЬ

В 1943 году, когда я вступил в Британскую армию, рядового невозможно было спутать с офицером, даже если оба стояли друг против друга в уставном нижнем белье. Эти двое как бы принадлежали к разным видам: рядовые, как правило, были ниже ростом, выглядели старше своих лет, у них была скверная кожа и гнилые зубы. В последующие годы войны эти различия постепенно стирались — как на фронте, так и в тылу. Военные пайки оказались для бедных не более скудными, а, наоборот, более питательными и разнообразными, чем их рацион в мирное время. Теперь, после полувека бесплатного медицинского обслуживания, тот разительный внешний контраст между представителями разных классов совершенно сгладился.

В течение всего столетия искусство медицины продвигалось вперед семимильными шагами. Еще в 1900 году знаменитый британский хирург Джозеф Листер объявил, что конец человеческим болезням настанет «в обозримом будущем». К несчастью, он ошибся, и нашей жизнью вскоре завладели мириады новых вирусов. Мы сами помогаем их распространению, поскольку мечемся как угорелые по всей планете. «Х-лучи» Вильгельма Рентгена, принесшие ему в 1901 году Нобелевскую премию (первую в истории физики), задали хороший старт медицине в начале века. Чтобы показать, сколь огромен был скачок, происшедший в этой области, достаточно вспомнить смелые заявления о том, что «скоро можно будет сфотографировать душу человека». Душу сфотографировать не удалось, но к началу 1950-х рентгеновские лучи, по оценкам более позднего Нобелевского лауреата, физика Артура Комптона, спасли более тридцати миллионов детских жизней. Около 1940 года появились сульфаниламидные препараты, за ними пенициллин, остальные антибиотики и весь современный арсенал электронных и химических средств борьбы с болезнями, которые были известны и раньше, и люди умели облегчать их течение, но не лечить. Показательным является увеличение продолжительности жизни — с сорока девяти лет в 1900 году до семидесяти пяти и более в конце девяностых. Цифры, касающиеся взрослых людей, выглядят не столь впечатляюще, поскольку главной причиной увеличения продолжительности жизни на Западе является падение детской смертности (в начале века на первом году жизни умирал один ребенок из десяти, теперь один из ста или даже меньше). Но и сорокалетний человек сегодня проживет на пять лет дольше, чем если бы он достиг тех же сорока лет в 1950 году, к тому же в среднем он заметно здоровее. А состояние здоровья человека, которому сегодня восемьдесят, соответствует состоянию семидесятилетнего двадцать лет назад.

Пока еще нельзя с полной определенностью сказать, как все это отражается на нашем мироощущении. Согласно французским источникам 1995 года, тот факт, что друзья и сослуживцы вокруг нас умирают теперь реже, чем раньше, «влияет как на религиозные воззрения людей, так и на эстетическое и общее восприятие ими действительности. Они как бы начинают чувствовать себя бессмертными». Но, говорится далее в той же публикации, «сама идея смерти страшит их гораздо больше. Поскольку смерть в меньшей степени, чем раньше, присутствует в коллективном сознании, она воспринимается как явление почти аномальное». В этом проявляется своего рода парадокс, возврат к менталитету, превалировавшему до первой мировой войны. Не уверен, что и нам, американцам, смерть тоже кажется редким и исключительным явлением: мы слишком

---

[1] Система мероприятий правительства Ф. Рузвельта в 1933—1938 годах для ликвидации последствий экономического кризиса. В «новом курсе» меры по усилению государственного регулирования экономики сочетались с некоторыми реформами в социальной области.

сосредоточены на росте насилия и преступности. Кроме того, в цитируемой французской публикации ни слова не сказано о появлении СПИДа, а ведь он снова, как в начале века туберкулез, приучает нас к мысли о том, что умирать могут и молодые.

Хотя в те далекие дни многие болезни оставались еще неизлечимыми, отношения между врачом и пациентом — исключая, быть может, бедняков — были очень доверительными и поддерживали веру больного в выздоровление. Из романов и биографий того времени мы знаем, что значило тяжело заболеть в начале девятисотых и как врач умел поддержать своих пациентов и помочь им выжить. В те дни, когда даже в самых тяжелых случаях прописывались лишь морские ванны да ежедневный бокал красного вина, недостаток медицинских знаний у пациентов был, возможно, благом. Современные средства лечения куда мудреней и дороже старых, но я все же надеюсь, что если за недостатком средств избирательный подход к спасению пациентов станет неизбежным (как когда-то с раненными на полях сражений), мы все же никогда не пойдем на то, чтобы основывать свой выбор на благосостоянии человека, ибо в конечном итоге это привело бы к признанию черного рынка, на котором преступники будут предлагать нам отдельные органы и целые человеческие тела. Тогда нам придется положить конец этому чудовищному смешению милосердия и спекуляции и поставить вопросы нравственные выше политики.

ЗАГАДКИ ТЕХНОЛОГИИ

Век предоставил каждому или почти каждому из нас не только дополнительные годы, но и дополнительное время внутри этих лет. В 1900 году средний рабочий промышленности трудился примерно половину времени своего бодрствования и имел около десяти процентов свободного времени. Теперь это соотношение изменилось до тридцати процентов рабочего и пятидесяти свободного времени. У нас в Соединенных Штатах картина не такая четкая, поскольку наши работодатели в отличие от западноевропейских не стремятся к уменьшению безработицы путем сокращения рабочей недели. Наоборот, они стараются сократить собственные социальные расходы (точнее, частично переложить их на общество), увольняя часть своих служащих и предлагая остальным работать сверхурочно. И все же средний служащий может работать около двух тысяч часов в год, имея при этом три тысячи часов свободного времени (причем вся его трудовая деятельность продолжается менее пятидесяти лет). Футуристы давно уже предсказывали такой избыток досуга. Еще в 1932 году Олдос Хаксли в своей антиутопии «О дивный новый мир» пытался представить, чем люди будут заполнять свое свободное время. Но кто же тогда мог предположить, что наш досуг, весь без остатка, сведется к просиживанию у телеэкрана? На гражданскую и общественную деятельность времени сегодня остается гораздо меньше, чем в дотелевизионную эпоху; мы теперь предпочитаем «играть в кегли в одиночку», как выразился убежденный противник телевидения социолог Роберт Патнем. Телевидение, по его словам, убило в американцах всякую гражданственность.

Мои дети утверждают, что мое неприятие телевидения есть не что иное, как проявление «конфликта поколений». И действительно, у меня просто не укладывается в сознании, как люди — будь то мои дети или чужие — способны выносить это многочасовое сидение перед экраном, это изливаемое на их головы презрение, этот бесперебойный и бессмысленный поток стандартных новостей, натянутого смеха, извечных шуточек вокруг погоды и так далее. Вероятно, отчасти это можно объяснить тем, что всем нам, вне зависимости от возраста, давно уже невыразимо скучно, даже если мы сами этого не замечаем. (Такова тенденция новейшей истории: там и тогда, где и когда для людей начинается мирная жизнь без чрезмерных экономических трудностей, скука превращается в философский лейтмотив — это началось еще с Шопенгауэра.) Телевизионное изображение воздействует даже на самых пассивных реципиентов, и постепенно все мы оказываемся посреди целой лавины сменяющих друг друга картинок. Австралийские аборигены отказывались фотографироваться, потому что боялись утратить при этом свою душу, нас же снедает суеверие с обратным знаком: то, чего мы не видим в изображении — а изображение в этом смысле прямо противоположно воображению, — для нас не существует.

В июле прошлого (то есть 1996-го) года газета «Нью-Йорк таймс» писала о «знаменитой футуристке» Эстер Дайсон, которая извещала «компьютерную элиту» нации о том, что «в скором времени интеллектуальная собственность должна значительно снизиться в цене». Почему? Да просто потому, что теперь каждый может ввести в компьютерную сеть собственную книгу, эссе или музыкальное сочинение и, таким образом, предложение намного превысит спрос. Резкое падение рыночной стоимости «заставит интеллектуалов сильно понервничать», и, чтобы прокор-

миться, им придется выступать перед публикой, выжимая из своей собственности хоть какой-то доход.

В этих рассуждениях кроется глубочайшая ошибка. Конец двадцатого столетия действительно изобилует новыми технологиями, но ведь они в основном касаются молниеносной пересылки, запоминания и извлечения информации, а не ее создания. Все мы знаем людей, которые время от времени заверяют нас, что «могли бы написать книгу о том-то и том-то», — слава Богу, что до сих пор не написали. Теперь они ее напишут, но мудрость и талант, которых мы так ждем, останутся, как и всегда, в дефиците.

Немногие люди старше сорока, а может быть и вообще немногие, чувствуют себя комфортно в современном мире. Начало нашего столетия тоже было отмечено всплеском новых технологий, и переход от конных экипажей к экспрессам и автомобилям, от посыльных к телеграфу и телефону был не менее головокружительным, чем все наши современные новшества. Однако есть и одно немаловажное отличие. В те времена любой мало-мальски грамотный человек мог хотя бы смутно представить, как работают новые изобретения. Паровой двигатель и двигатель внутреннего сгорания были хитроумными устройствами, но работали на довольно простых принципах; если обывателю удавалось уяснить, что электричество каким-то образом движется с невообразимой скоростью, то и телефон и телеграф легко вписывались в общую картину. Совсем иное дело — полупроводники и микрочипы. Они основаны на новейших достижениях физики и математики, и никакой Джеймс Ватт уже не продемонстрирует принципы их работы с помощью кипящего чайника. Парадокс математики состоит в том, что хотя она способна предсказать и объяснить многие явления, тем не менее эти явления не имеют ничего общего с логикой повседневной жизни, и очень возможно, что на самом деле все происходит совсем не так, как представляется математикам. Авторы новых технологий знают, что за чем следует, но они не могут поверить свою логику ощущениями, «пощупать» ее, как астроном не может пощупать Вселенную накануне предсказанной им космической катастрофы. Человек снова, как в каменном веке, оказался среди непостижимых разумом загадок, только на сей раз автор загадок не природа, а сам же человек. Теперь главное, чтобы эти загадки не повергли нас в чрезмерный трепет.

Однако мы нахальны и самоуверенны. Мы поднимаемся на крыши своих домов и через стекла телескопов разглядываем миры, отстоящие от нас на миллиарды световых лет; мы рассуждаем об атомах и электронах так, будто речь идет о морских камешках, а не о туманных математических абстракциях. Неудивительно, что порой голова у нас идет кругом. Впрочем, мы можем утешаться тем, что Шекспир смыслил в учении Коперника гораздо меньше, чем мы в теории Эйнштейна, но это не помешало ему увидеть, что мы прекрасны, как ангелы, и всепонимающи, как боги.

ИТОГИ

Вряд ли мы станем составлять для нашего века список плохого и список хорошего, как когда-то Робинзон Крузо для своего острова: наше плохое слишком чудовищно, чтобы можно было сопоставлять его с хорошим. Моя мама, успевшая родиться в XIX веке, учила меня, что «в конце концов, все — к лучшему». Это было основное кредо ее времени, и она сохранила его на протяжении всей своей нелегкой жизни, включая и пять лет фашистской оккупации. Вот и мне удалось прожить жизнь под тем же девизом. Я никому не собираюсь его навязывать: принимаем мы его или нет, определяется скорее нашими генами, чем неоспоримостью заложенной в нем истины. Но если не верить в лучшее, то во что верить?

Мы пережили две самые чудовищные войны за всю историю человечества, плюс множество менее масштабных, но не менее страшных войн, плюс Катастрофу в годы фашизма — а под Катастрофой я понимаю участь не только евреев, но и цыган, славян, политических заключенных и военнопленных, которые жили и погибли вместе с евреями. Мы продолжаем писать и думать о них — в надежде хоть когда-нибудь осознать масштабы и сущность массового уничтожения наций. Мы наблюдали хаос, к которому привела русская революция: наобещав даже больше, чем французская революция 1789 года, она закончилась таким же полным провалом; для Запада это объективно и субъективно уменьшило необходимость хитрить и лицемерить в отношениях с другими нациями. Однако на нас самих поток ура-патриотических призывов изливается так же щедро, как и прежде. Речи политиков нацелены в основном на самую думающую часть населения («элиту», как теперь принято с усмешкой говорить) или в крайнем случае на малограмотную и легковерную «улицу», которая, как полагают политики, услышит их скорее. Не услышит: люди «с улицы» умнее политиков и давно уже глухи к любым призывам. Тем временем во множестве

стран, от Норвегии до Новой Зеландии, продолжается иная революция — революция во взглядах людей на общественную жизнь. Люди начинают понимать, что все они равны перед обществом и несут полную ответственность за социально-демократические свободы в своих странах.

В свое время мы подняли волну молодежного протеста, которая обошла весь мир. Я тоже был ее участником, но теперь, тридцать лет спустя, я склоняюсь к мысли, что в конечном итоге результаты нашей борьбы оказались негативными: в одних она породила глубокое разочарование, других подвигла на активное противодействие (и как же наивны оказались все наши надежды). И все-таки, как мне кажется, мы вправе сказать, что именно молодежный протест спас Вьетнам от окончательного разрушения. Промолчи мы — эта маленькая страна зимой 1971/72-го была бы отброшена к состоянию каменного века, так что в конечном итоге все и на этот раз «обернулось к лучшему».

Как это ни удивительно, мы сами в XX веке оказались ввергнутыми в некий новый феодализм, правда, основанный не на землевладении, а на владении недвижимостью. Подобно издольщикам и крепостным прошлого, мы несем половину своего урожая землевладельцу — то есть домовладельцу. Печально, но нашим детям уже не заложить камень в фундамент собственного дома. Города, подобные Нью-Йорку, фактически закрыты для бессребреных писателей и художников. В наше существование по всем линиям внедряются неведомые нам, почти анонимные силы. Что же касается «Интернационала», то он звучит с нужным пафосом только на спевках самоуправляемых общин, да и то с изменениями текста. «Третий» и «четвертый» миры, и без того далекие от нас, словно планеты, отдаляются еще больше, втягиваясь в клубок войн, где нет передовых, а есть лишь хаос и страдания.

В этом средоточии чуждых безымянных сил мы страдаем от одиночества и невольно пялимся на своих знаменитостей, истинных или мнимых: кто, как не они, пребывает в неведомом нам эпицентре событий и продолжает при этом жить в обществе равных? Для нас-то самих это равенство давно уже утрачено.

Скрепляющим веществом человеческих отношений остается, как и прежде, любовь; но если в 1900 году было слишком много ханжеских рассуждений о ее духовной сущности, то теперь куда больше внимания уделяется механике. Слово «любовь» в повседневной жизни и средствах массовой информации превратилось в условное обозначение гидродинамики половых органов. «Секретный агент» — фильм 1945 года, который и сейчас время от времени появляется на экранах, — заканчивается любовным эпизодом: Чарльз Буайе целует Лорен Бейколь. При этом он не снимает ни шляпы, ни прочих предметов туалета, но его слова «Ты возвращаешь мне веру» — слова, вполголоса произнесенные прекрасным актером, — несут в себе больше страсти, чем самая «жесткая» порнография и боевики последнего года. Во всяком случае, для меня.

НАШЕ ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ

Разумеется, любое деление времени является произвольным и имеет не больше значения, чем меловая линия, прочерченная ребенком посреди длинного шоссе, конец и начало которого теряются за горизонтом. Земной год как единица измерения времени имеет какое-то значение только для жителей Земли. Десятичная система удобна лишь потому, что на руках у нас по десять пальцев, и ни по какой иной причине. Десятилетия и века не более чем бухгалтерские понятия, которые помогают нам упорядочить историю и расставить события по местам.

Тем не менее мы можем выделить в XX веке вполне зримые черты, определяющие его характер. Я не случайно пишу, что в 1900 году мир был молод. Действительно, человечество в нашей части мира заметно повзрослело с того времени: оно не только потеряло за минувшие сто лет изрядную часть своих наивных надежд, но и после всего пережитого стало более зрелым, мудрым, а заодно менее высокомерным, менее жестоким, менее пристрастным в своих оценках — словом, более сознательным, пусть даже эта сознательность проявляется порой лишь в понимании, а не в самих действиях.

Как завершить эти сумбурные заметки? Просьбой. Не нужно смотреть на происходящее покорно — глазами европейских крестьян или американских индейцев, которые сложа руки наблюдали, как их земли опутывают сети железных дорог. Изменения, предлагаемые или навязываемые нам в конце двадцатого столетия, исходят от наших ближайших соседей, наших же с вами соотечественников. Они могут быть обращены во благо или во зло. В них нет никакой предопределенности.

Они должны определяться нашим общим решением.

Перевод с английского Н. КАЛОШИНОЙ под редакцией О. ВАРШАВЕР

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ

ОСКОЛКИ ПОВСЕДНЕВНОГО

Хотя «римской школы» как таковой, видимо, все же не существовало, в последнее время часто возникает желание объединить наиболее интересных живописцев эпохи Муссолини. Одна из подобных попыток, предпринятая недавно парижским Павильоном искусств, что вблизи Центра Помпиду, так и называлась: «Римская школа. 1925—1945». Большую часть работ для выставки отобрали из частных собраний: итальянское государство в 30-е годы таким искусством практически не интересовалось.

Сегодня многие не склонны вовсе отрицать наличие такого движения, говоря о сосуществовании нескольких «римских школ». Одни живописцы тяготели к экспрессионизму, как Фаусто Пиранделло, сын знаменитого драматурга, с отцом, впрочем, имевший непростые отношения. Или к магическому реализму, как Рикардо Франкаланчиа или Франческо Тромбадори. Других влек к себе сюрреализм. Так произошло с Де Кирико, сперва причисленным Бретоном к семи чудесам света, а затем так же неистово отлученным от движения за то, что отказался от своего «метафизического» дебюта и стал коммерсантом в искусстве (версия Бретона). Или просто не смог терпеть диктата этой «международной шайки папенькиных сынков, бездельников, онанистов, дегенератов, истериков, снобов и придурков» (позднейшая версия самого художника)?

Всех этих авторов объединяло лишь одно — город, где многие были счастливы. Ведь стилистически довольно трудно найти нечто общее в работах Леончилло Леонарди и Антонио Донги, Сципионе и Альберто Дзивери, супругов Марио Мафая и Антониетты Рафаэль. Размытые, словно в дымке увиденные дома и фигуры соседствуют здесь с портретами удвоенной, утроенной четкости. Да и может ли быть стилистически единым течение, собирающее скорее тех, кто *против*, скептиков и циников, не разделяющих с народом его единый порыв? И разве не из-за этого художественного разномыслия полотна римлян долгие годы оставались в тени даже для искусствоведов и лишь в начале 80-х, в свете новых разговоров о судьбах реализма, выплыли из забвения?

Из-под тени

В итальянском фашизме, как и в германском нацизме, существовали вещи, не сразу укладывающиеся в схему абсолютного зла. Так, жившему в Висбадене Алексею фон Явленскому в 1933 году нацисты запретили выставляться — а год спустя он получает немецкое гражданство. Противоречива и реальность Италии. Оппоненты режима свободно показывали свои работы и до войны, и после ее начала. Ренато Гуттузо, активист Сопротивления, в апреле 1942-го участвует в X выставке Фашистского синдиката изящных искусств области Лацио. А четыре месяца спустя он получает поощрительную премию «Бергамо» — за «Распятие», картину, однозначно воспринятую как противостояние власти.

В 1937-м на международном конгрессе в итальянской столице «Соотношение архитектуры и фигуративного искусства» (похоже, излюбленная тема всех диктаторов) друг за другом выступают: французский левак-реалист Андре Лот, бывший футурист Джино Северини (само движение к середине 30-х лишилось былого влияния), мироперeустроитель Ле Корбюзье и официозный скульптор Антонио Марайни, «служивший» к тому времени генеральным секретарем Венецианской бьеннале.

Но повседневность межвоенного Рима, остававшегося магнитом для итальянских живописцев, не была столь уж радужной. Многие познавали искусство жизни sub umbra[1] не по античным драмам. Впрочем, лучшего пространства для наблюдений над текущим и вечным, чем берега Тибра, найти невозможно. Где, как не в городе, чьи узкие улицы пропитаны памя-

[1] В тени; во мраке (*лат.*).

© А.Мокроусов, 1999

тью власти, а необъятные площади, спокойно воспринимающие всю временность царящих здесь фонтанов, только и ждут нового Микеланджело, — где, как не в Риме, первородителе империй, размышлять об имморализме политиков, их тяге к прекрасному? И хотя слава этой художественной Мекки к концу XIX века безнадежно поблекла, жители его не спешили сдаваться.

Рим как кулиса

Поначалу все складывалось довольно удачно для римского арт-ландшафта. После первой мировой число манифестов и групп стало возрастать в геометрической прогрессии. Благо идеологи недолго занимались теорией: провозглашенные футуристами цели (разрушение государства и мироустройства) реализовывались прямо на глазах. А главный реализатор, будущий дуче, был еще и не чужд изящного.

В 1918-м появился «Valori plastici» («Пластические ценности»), журнал, призванный противостоять натиску унылого реализма, апеннинского варианта наших передвижников, и вступить наконец-то в диалог с новыми веяниями. Одним из идеологов «Ценностей» стал Роберто Лонги, быстро обретший славу лучшего итальянского критика, в России более известный как специалист по Возрождению. Позднее вышел первый номер «Novecente» («Двадцатый век»), чьи авторы хотели увидеть магическое в реальном и, отказавшись от знаменитых традиций, породить новое искусство. А заодно и супергород, «страчитту», этот образ будущего. В 1931-м художник Сципионе открывает журнал «Front» («Фронт»), ориентированный на вкусы его друзей — Марио Мафая и Антониетты Рафаэль, чья мастерская на улице Кавур, с видом на Колизей и деревья Палатина, притягивала многих. И хотя трех этих художников считают типичными для «римской школы», журнал не стал ее опорой — еще один аргумент для скептиков, соглашающихся тем не менее на «особую» римскую ситуацию той поры, сложную, контрастную, объединяющую поколения скорее через мировоззрение, нежели эстетику.

Впрочем, одно обстоятельство существенно омрачало римские радости: неизбывная провинциальность, в которую давно уже впал «вечный город». Как и многие русские той поры, на заре века итальянцы стремились в столицу мира, Париж, где и проводили годы, а то и целую жизнь (Модильяни). Не случайно и манифест футуристов появился сперва в «Фигаро», и первое их групповое явление публике произошло в галерее Бернайма. Сам термин «римская школа» французский критик Вальдемар Жорж употребил по случаю вернисажа в 1933-м в парижской галерее Жака-Бонжана, да и дебютная выставка «Valori plastici» тоже состоялась за границей, в Берлине. Быть может, Германия начала века вообще повлияла глубже, чем это принято думать, на итальянскую, а с ней и на всю европейскую культуру. По крайней мере, в Мюнхене состоялась «роковая» встреча Де Кирико с творчеством Бёклина, после чего первый стал зачитываться Ницше и Шопенгауэром, а многослойная символика его полотен оказалась одинаково ценной и для тех, кто в искусстве искал забавы, и для тех, кто все еще алкал в нем мессий и откровений, — ведь у «*новой вещественности* и сюрреализма общий корень: Де Кирико»[1].

Но, в отличие от «парижской школы» (по аналогии с которой, видимо, и возникло название «римская школа»), город был слишком важен для нарождавшегося течения как образ, доверенный вечности и одновременно бесконечно интимный, принадлежащий миру частного, где уже не находится места «классическому», имперскому Риму. Прошлое, чьи драпировки уже не столь изысканны и притягательны, становится малоприметным, уступая место случайным видам с балконов да тихим перекресткам, куда редко добредает турист. Хотя сама арт-жизнь протекает в центре, на парижский манер — в кафе (вспомним знаменитый третий зал «Араньо»).

В «чистых» городских пейзажах давно уже сплавилось воедино античное язычество и христианство нового времени. Одним из первых эту невозможность противостоять явленному положению вещей, исторической ауре, признал Пикассо, чье путешествие в Италию в начале 20-х явно омолодило его отношения с фигуративным искусством. Пример Пикассо позволил его итальянским коллегам стать более «итальянистыми», чем раньше, и не бояться кажущейся провинциальности собственного творчества, что и выразилось в излюбленном термине тех лет — «Italianita».

Каждый город вынужден доживать судьбу, предпосланную ему историей. Тем более если это такие театрализованные столицы, как Рим или Петербург, где роскошь декораций, улиц и площадей предопределяет трагическое будущее. Где, как не в Риме, было переживать «глубочайшее одиночество, в котором очутился человек постренессансной эпохи»? «Ренессанс, мнимо преданный мифам, противопоставил человека природе, лишив его не только единства с ней, но и собственной целостности. Одиночество это особенно глубоко для итальянца, окруженного осколками мифов, живущего сре-

---

[1] *Werner Spies*. Rosarot vor Miami. Ausflüge zu Kunst u. Künstlern unseres Jahrhunderts». München, Prestel, 1989. S.50.

ди остатков великой культуры и бережно сохраняемых памятников»[1].

Одиночество, пустынность, изолированность становятся главными спутниками взгляда, скользящего по безлюдным площадям и улицам, отрешенным лицам известных или безымянных портретируемых. Порою кажется, что эти городские виды — тот, вплывающий в окно капеллы городской пейзаж, который кажется почти случайным, необязательным на возрожденческих полотнах. Но именно эти осколки повседневного напоминали о мирском в бесчисленных изображениях мадонн и коленопреклоненных донаторов. В XX веке эти же осколки — увеличенные до размеров отдельного полотна, повышенные в статусе ради поисков истинного пространства, объемлющего всех и вся, и в то же время глубоко личного, — оказываются вне времени, вовсе без права на какое-либо время. Порой меня, зрителя, давит абсолютная глухота остановившихся часов — при скрытой нежности и к стоицизму парализованной стрелки, и к беспомощному взгляду *другого*, кто этот паралич наблюдает.

Впрочем, пока художник не отправляется в концлагерь — в качестве апологета или узника, — пока к нему не применяют излюбленный девиз 30-х «Философы должны маршировать», жизнь продолжается. И потому к гипотетической «римской школе» относят не только тех, кто от итальянского фашизма негромко так открестился, но и публично и горячо его принявших, каковых обнаружилось немало среди живописцев той поры. Марио Сирони, например, с 1922 года работал в фашистском журнале «Popolo d'Italia» («Народ Италии»), а с годами стал ведущим его арт-критиком; с начала 40-х много печатался в газетах и Де Кирико[2].

Вкусив всего понемногу — и экспрессионизма, и новой вещественности, — римские художники не пали жертвой моды, не поддались мейнстриму. Стилю они предпочли жанр — автопортреты. Джузеппе Капогросси, Роберто Мелли, Леончилло... Целая галерея лиц с метафизическим гражданством и недопроявленным настоящим — тем более очевидным на фоне ясной и чистой биографии города, которая, увы, никак не может стать твоей собственной. Разве только в одном случае: биография города присваивается художником. Тот наполняет ее иным содержанием, и именно такой оставляет потомкам — подчищенной от всего случайного.

Искусство, обычно использующее реальность как исходный материал для создания параллельного мира, в критические моменты само превращается в демиурга. Изменяя официальные хроники, оно записывает поверх существующей канвы собственную летопись. Неизбежные войны, конфликты и раздоры если не вычеркиваются вовсе, то уходят на второй план. История обретает не воинственный, но человеческий облик. Уродство уступает место гармонии, не совершившемуся, но задуманному, идеальному. То есть единственно реальному.

В этом бесконечном цикле автопортретов, и объединяющих, собственно, всех «римлян», дошел до нас не только город с его набережными и пустырями, с его жителями, пытающимися уцелеть под очередным обвалом истории, но и сама эпоха, обернувшаяся для одних громким крахом иллюзий, а для других оставшаяся временем приглушенных желаний и затухающих снов. Лишенные каких бы то ни было примет времени, автопортреты оказываются едва ли не главным свидетельством об этом самом времени — свидетельством людей, не подчинивших себя воле народа и отказавшихся разделить с ним его безрадостную, бездарную судьбу.

Убежище они находят в жанре, который недоступен постороннему. Нетрудно подделать чьи-то письма или дневник, но бесполезно имитировать чужой автопортрет. Собственно, и прибегают к нему от невозможности выказать себя, когда смотришь на переулок, тающий в тумане, или мутноватую воду реки. Что бы там ни говорили, другие тоже способны увидеть так же. Но так же рассказать о себе — никогда.

Ускользающий город

Поначалу немецкий авангард тяжело переживал свое «несовпадение» с политической эпохой. Василий Кандинский печалился в одном из писем апреля 1933 года: «Конечно, для нас, современных художников, неприятно, что новое правительство неверно понимает новое искусство. В Италии это выглядит совершенно иначе. Новая архитектура и новое искусство признаны там как фашистское искусство».

Тем не менее либеральная на первый взгляд ситуация в Италии дала другие неожиданные плоды. Среди работ авторов, оставшихся при фашизме во внутренней эмиграции (как Фаусто Пиранделло) или воспринимавших власть сквозь призму иронии (как Донги или Де Кирико, портретировавший членов семьи Муссолини), особое место занимают полотна и снимки, запечатлевшие градостроительный процесс. Точнее, градоразрушительный. Снос старых кварталов во времена грандиозной чистки города над Тибром стремились зафиксировать график Мария Бароссо и фотографы Филип-

---

[1] *Елена Зайцева*. Метафизика Де Кирико. — «Цифровой жук», 1998, № 2, с. 151.

[2] Впрочем, к этому времени он стал уже вести себя, как Дали в эпоху кризиса: охотно писал для галеристов и заказчиков копии ранних метафизических полотен, и новая Италия антипатии у него, судя по всему, не вызывала.

по Реале, Микеле Валентино Кальдеризи и другие мастера. Подготовленные ими альбомы не увидели света, хотя и были заказаны правительством.

Политика последнего мало чем отличалась от сталинского плана по благоустройству Москвы. Так же сносились церкви (в 1933-м, например, были разрушены монастырь и церковь XVII века Сант Урбано ай Пантани, а пятью годами раньше — Санта Рита XVI столетия) и старые кварталы, мешавшие, на взгляд властей, созданию новых, вполне имперских перспектив, где главенствовали бы Форум Цезаря или памятник Виктору Эммануилу II.

Фотографии той поры и акварели Бароссо (часто ассистировавшей крупнейшим археологам на раскопках) лишены комплиментарности по отношению к происходящему. Насильственное вторжение в веками складывавшийся городской ландшафт, вторжение, порожденное идеологией, а не логикой развития самого города, вызывает у (фото)художников скорее недоумение. Тем более отчетливое на фоне печалей немецких авангардистов: ах, отчего мы не востребованы новой властью!?

Видимо, в этой неготовности совпасть с внешним временем (или в *возможности* не совпасть, возможности, предоставленной самой эпохой?) таилось обаяние римских авторов. Они шли не столь стройными колоннами, как футуристы, и меньше заботились о поисках национального, на чем сломали себе шею адепты нового искусства. Революция, в отличие от меланхолии, безродна, ей все равно где кричать. А меланхолия привязана к гению места, который одаряет ее формой. Причем и безымянный пруд с нависшей ивой, и пустынная площадь знаменитого города в равной степени способны пробудить щемящие чувства. Фотография сентиментальней живописи. Оттого не сразу признаёт её современность, жаждущая мифологизировать географию, но не способная стать персонажем мифа. Или, по меньшей мере, овладеть им, подвергнуть демифологизации genius loci, в кои-то веки обнаружив этот духхранитель в поле частного, внеисторического.

Если разрушение квартала Бонги и домов вокруг мавзолея Августа можно датировать точно (равно как и исчезновение после принятия расистских законов в середине 30-х последних иллюзий относительно мягкости режима), то конец «римской школы» более расплывчат. Согласуясь с общей картиной событий, устроители упоминавшейся экспозиции в Павильоне искусств обозначили «римские» даты как 1925—1945. Но итальянские реалии отличны от среднеевропейских. Еще 24 июля 1943 года Большой фашистский совет низверг Муссолини (сам арест произошел лишь на следующий день), а в ноябре 1944-го была национализирована вся собственность семьи экс-диктатора. Немецкие войска по-прежнему оставались на итальянской земле, но, пока на севере страны расстреливали участников Сопротивления, в Риме светило солнце, открывались новые выставки, выходили статьи и журналы... Жизнь вновь казалась прекрасной, ars longa, dictatoris brevis.

■

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: КРУГ МНЕНИЙ

1. С чего началось и как развивалось Ваше знакомство с зарубежной литературой?
2. Творчество каких авторов, какие книги оказались для Вас принципиально важными?
3. Главное, на Ваш взгляд, событие мировой литературы этого столетия.
4. Дутые величины и недооцененные авторы в зарубежной литературе XX века.
5. Обоснованны ли разговоры о кризисе мировой литературы?
6. Отдаете ли Вы предпочтение какой-либо определенной национальной культуре?
7. Как Вы оцениваете воздействие зарубежной культуры на современную отечественную?
8. Как влияет Ваша профессиональная деятельность на восприятие литературы?
9. Ваши открытия последних лет в области зарубежной литературы.
10. Назовите, пожалуйста, книги, без которых, на Ваш взгляд, немыслим круг чтения в детстве, отрочестве, юности.
11. Что бы Вы могли посоветовать журналу «Иностранная литература»?

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ, писатель

1. Мое знакомство с зарубежной литературой ознаменовалось в юном возрасте чтением книги «Мордовские народные сказки» (1941 г., Саранск, название издательства не помню). Эти сказки были напечатаны на серой шершавой бумаге и содержали, в отличие от известных мне к тому времени дистиллированных и адаптированных для юного возраста отечественных сказок, мотивы и сюжеты «идейно ущербные, находящиеся на грани клеветнических, с элементами цинизма и порнографии», как выразились в так называемом «прокурорском предупреждении» через 30 примерно лет после указанного знакомства сотрудники КГБ по Москве и Московской области, арестовавшие мой архив и запретившие, согласно литзаключению какого-то до сих пор неизвестного мне говнюка из Союза советских писателей, существование на территории СССР и всего мира ряда моих сочинений, написанных, как я только теперь запоздало начинаю понимать, явно под влиянием не только окружавшей меня в те годы реальности, но и вследствие этого раннего чтения. В мордовских сказках совершенно не было того самого Патриотизма и той самой Духовности, о которой всегда любили и любят толковать хитрые озабоченные большевики. В них описывались пьяные и скабрезные похождения народных мордовских граждан, глумящихся над властью и собственным телом, фигурировал обделавшийся священник «в испачканной и провонявшей одежде», орудовали разбойники, засолившие в бочке женские груди, а суровой принципиальной нравственной оценки происходящим на серых шершавых страницах безобразиям дано не было, отчего закономерно отсутствовал катарсис, если не считать таковым бессмысленное пьяное уханье и другие пластические дикости, столь любезные сердцу смешливого ребенка, тянущегося к культуре, как подсолнух.

Продолжение. Начало см.: 1998, № 7, 10.

Позже появились и другие хорошие книги. «Робинзон Крузо», «Гекльберри Финн», «Похождения бравого солдата Швейка», Ремарк, Хемингуэй, Фицджеральд, Бёлль, Сэлинджер, Петроний, Воннегут, Кафка, Кобо Абэ, «angry young men», Хаксли, Джойс, Оруэлл — много есть хороших зарубежных книг на свете. Читалось все это, разумеется, в переводах — официальных или самиздатских. «Без языка» — клеймо моего поколения. Еще знакомство развивалось с помощью малотиражного бюллетеня, который назывался «Современная художественная литература за рубежом». Там кратко рецензировались свежие книги, как «буржуазные», так и «стран народной демократии», давалась им принципиальная партийная оценка, из которой следовал простой вывод — если книгу ругают, она хорошая, а если нет, то — нет. Кроме того, существовали труды типа «Модернизм без маски», из которых тоже можно было почерпнуть немало полезных сведений о текущем мировом литературном процессе, а также отдельные статьи в «Литературной газете» и литературных журналах, где злобно облаивались Набоков и др.

2. Принципиально важными для меня были книги «Похождения бравого солдата Швейка» Гашека, «Сатирикон» Петрония, «Не жалейте флагов» Ивлина Во, «Уловка-22» Хеллера, «Том Джонс» Филдинга, «Гулливер» Свифта, «Одиссея» Гомера, «Тропик Рака» Г. Миллера и весь Джойс. Я говорю только о Зарубежной и только о Художественной литературе. И не вторгаюсь в область живой, еще не забронзовевшей литературы.

3. «Улисс» Джойса. Это книга для читателей и писателей. Если меня лишат всех других книг этого столетия, а оставят только «Улисса», я не почувствую особого дискомфорта. Равнозначной Джойсу величиной является в русской литературе Андрей Платонов. Они соотносятся, как Маркс и Ленин.

4. Дутыми величинами являются Сартр, Камю, Экзюпери, а также Макс Фриш, герой которого от не хрена делать прикинулся слепым. Недооценен Гашек.

5. Совершенно не обоснованны. Плохих, средних, хороших, гениальных, а также непризнанных писателей ровно столько же, как и всегда. Количество вдумчивых и поверхностных читателей осталось практически прежним. Кино не вытеснило театр, телевидение не вытеснило кино, так чего же бояться литературе, если в основе практически любого жанра и вида искусства находится Слово? Даже масскультура не может обойтись без концентрированного слова, которое потом разбавляется ее бредом, как это делает продавец дешевых, недобросовестных спиртных напитков. Другое дело, что изменилась общественная роль писателя, и это особенно болезненно воспринимается в нашей традиционно идеологизированной стране. Писатель традиционно воспринимает себя как сакральную персону, и его совершенно не устраивают лавры виртуозного лжеца, искусного сказочника или умного веселого собеседника, с которым приятно провести вечерок, но которого вовсе не обязательно впускать в дом, семью и душу. Все бы ему, как диктатору, «властвовать думами», как гестаповцу или чекисту, «жечь сердца людей» или, как ВОХРовцу, «пасти народы». Поскромнее бы надо быть, помня, во-первых, о грязной тоталитарной литературе и ее роли в угнетении трудящихся, а во-вторых, о том, что ни один культурный шедевр не избавил человечество от мерзостей XX века, включающих сюда ГУЛАГ, Хиросиму, голод, геноцид и две мировые войны. Разумеется, я рассуждаю об этом, глядя со своей российской колокольни. Так ведь я и живу в России, а не еще где-нибудь. Конкретно у нас перманентный кризис чего угодно, но только не литературы, в том числе и мировой. А как в других странах — не смею компетентно судить, пусть они там сами разбираются. Нам же книжек — читать не перечитать, и книжек этих очень много, в том числе и новых, в том числе и зарубежных. Поэтому какой уж там кризис, когда писателей на исходе второго тысячелетия от Р. Х. развелось немерено и среди них попадаются очень интересные!

6. После русской я отдаю предпочтение англосаксонской культуре. Она, фигурально выражаясь, для меня такой же хороший собутыльник, каковым для лесковского Левши был английский «полшкипер».

7. Воздействие зарубежной культуры на современную отечественную я оцениваю положительно, равно как и обратный процесс. В свое время русские классики XIX века сильно воздействовали на умы западных писателей и в какой-то степени породили Фолкнера и Хемингуэя. Хемингуэй и Фолкнер породили шестидесятников, а те — «другую литературу». Механистический поп-арт расцвел на нашей родине пышным, долгие годы

плодоносящим соц-артовским древом, концептуализм он и есть концептуализм, а постмодернизм — это вообще «реализм без берегов». «Обэриуты» появились, когда Ионеско и Беккет еще ходили в гимназию и колледж. Восточные философии укрепили дух не только Сэлинджера, но и многих наших поэтов. Все смешалось в международном Доме культуры, и как мне кажется, к явной пользе для участников его кружков и секций. А вдруг это есть строительство новой Вавилонской башни, а вдруг на этот раз все закончится хорошо? «Американизация» же грозит только тем, кто с утра до вечера смотрит телевизор, но это их частная медицинская проблема.

8. Поскольку я есть читающий писатель, то помимо гедонистического удовольствия от чтения я извлекаю из зарубежных книг нечто неопределенное, но помогающее мне в моем собственном хозяйстве. Я присматриваюсь к чужому производству, но думаю о своем. Мне кажется, что не ворую и не заимствую. Хотя... рецензируя мой роман «Прекрасность жизни», некоторые критики поминали Бориса Пильняка и Артема Веселого, а я-то, вводя в текст советские газетные вырезки за 25 лет, с 1961-го по 1985-й, скорее ориентировался на трилогию «U.S.A.» Джона Дос Пассоса.

9. У. Б. Йейтс с его «Кельтскими сумерками», опубликованными (как бы для иллюстрации моего ответа на вопрос № 7) в саратовском журнале «Волга». Новая финская проза, опубликованная в совместном русско-финском сборнике «Семеро братьев».

10. Все, какие только попадутся, сказки, «Алиса в Стране чудес» Кэрролла, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Робинзон Крузо» Дефо, «Том Сойер», «Гекльберри Финн» М. Твена, «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан» и «Таинственный остров» Ж. Верна, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера в переводе Р. Райт-Ковалевой, «Три товарища» Ремарка, «Рыжик» Ренара, «Фиеста» Хемингуэя, «Квартал Тортилья Флэт» Стейнбека, «Смок Белью» Джека Лондона, Библия.

11. Я советую журналу «Иностранная литература» найти спонсора-шестидесятника, не разорившегося после 17 августа 1998 года, и убедить его больше не заниматься всякими глупостями типа спекуляций на бирже или вкладывания денег неизвестно куда, а, согласно принципу раскаяния и самоограничения, отдать все свои деньги на издание новых номеров журнала, оставив себе лишь необходимую сумму на проживание, икру, шампанское, теннис и одно экзотическое путешествие в год. Ему следует напомнить, что журнал «Иностранная литература», несмотря на свою прежнюю КГБшную подоснову, неизбежно связанную с тесным общением представителей коммунистов с внешним культурным миром, свою функцию выполнил и социализм разрушил, тем самым позволив легально существовать таким типам, как этот вычисленный потенциальный благодетель.

Кроме того, хочу при содействии вашего журнала извиниться перед теми любимыми мной зарубежными писателями, которых я случайно забыл упомянуть в пылу ответов.

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН, поэт

1. Разумеется, с «Робинзона Крузо». С кого же еще? Это первая книга, которую я прочитал самостоятельно. С тех пор регулярно и перечитываю. Вот так знакомство и развивалось. Приходилось в детстве и позже читать и разных «прогрессивных» авторов, ибо их в основном и переводили.

2. В классе примерно десятом я прочитал несколько рассказов Кафки (в вашем, кстати, журнале). Позже прочел целую его книгу (черная такая). Это было очень существенно для меня. Потом — Пруст, потом — «Лолита». С тех пор я заподозрил, что словесность — это не совсем то и даже совсем не то, что ею было принято считать до этого. Это было важно.

3. Одного главного события нет и быть не может. XX век слишком уж разнообразен, и много в нем вполне конгениальных явлений. Многие полагают, что Джойс фатально повлиял на пути мировой литературы. Возможно. Но вообще я бы так вопрос не ставил.

4. Кем дутые? В советской издательской традиции «дули» писателей — «наших дру-

зей». Кто такой, например, Джеймс Олдридж? А кто такой Теодор Драйзер? В конце 50-х годов неадекватно большую роль в жизни интеллигенции играл Лион Фейхтвангер. Потом Ремарк. Потом Хемингуэй, вообще ставший на какое-то время знаменем ранних шестидесятников. Потом его с таким же неадекватным азартом свергали. Как будто он виноват в чем-то. Писал себе и писал. Но ведь и там, на местах, тоже всегда кого-нибудь раздувают. Это нормально. К серьезному читателю это отношения не имеет. Что же касается недооцененных, то опять-таки — что это значит? Кем недооцененных? Я таких назвать не могу.

5. Разговоры о кризисе мировой литературы велись всегда и всегда были обоснованны. Ощущение кризиса, даже искусственно созданное, очень плодотворно для появления новых художественных идей. Кризис — правильная вещь.

6. В общем-то нет. В разное время возникали разные приоритеты. Конечно, огромную роль всегда играла англоязычная словесность. Было увлечение немецкими романтиками. Потом — венской поэтической школой. Долгое время — Дальний Восток. В смысле — древний и средневековый. Никогда не разделял повального в 70-е годы увлечения латиноамериканщиной. Исключение — Борхес. Но это — скорее европейская традиция.

7. Это воздействие несомненно, но, как правило, опосредованно. Широкий доступ информации появился лишь в последнее время. В советские же годы сложилась своеобразная традиция конструировать свой собственный Запад на собственной кухне. Иногда это чрезвычайно стимулировало воображение и давало интересные результаты. Так или иначе, но горячий интерес к тому, что происходит ТАМ, был всегда. Причем интерес этот был обратно пропорционален объему информации.

8. Понятно как. Хочешь или нет, но ищешь чего-нибудь эстетически близкого. А когда находишь, то это вроде бы укрепляет в осознании собственной правоты.

9. Бывает чтение занимательное или не очень. А открытий нет, и подозреваю, что уже не будет. Дело, разумеется, не в литературе, а во мне. Просто есть время, когда испытываешь внутреннюю необходимость в эстетических взрывах. Тут-то они и происходят. Тут-то и подворачиваются «открытия».

10. То есть я должен составить рекомендательный список внеклассного чтения? Не буду. У каждого свой опыт и, соответственно, своя иерархия. Мне в детстве было бы плохо без того же «Робинзона», или «Острова сокровищ», или «Уленшпигеля». У другого поколения существует культ Толкиена. Ну и что?

11. Нынешняя стратегия журнала мне кажется в целом вполне адекватной. Может быть, следует отказаться от восходящей к советским временам традиции публикования во что бы то ни стало огромных, неподъемных романов, а больший упор сделать на что-нибудь обзорно-аналитическое. Вроде уже существующего в «ИЛ» достаточно квалифицированного и оперативного «Литературного гида». Впрочем, он уже есть. Так что и посоветовать нечего.

■

У книжной витрины

ЖОРЖ МИНУА

История атеизма

Georges Minois. Histoire de l'athéisme

Fayard, 1998

Атеизм стар, как божества, с которыми он борется. Не успело человечество придумать себе богов, как появились и люди, не согласные с их существованием, готовые идти на любые жертвы ради защиты своих убеждений.

В книге Жоржа Минуа рассказывается об истории атеистических течений — от борьбы одиночек, разочаровавшихся в боге, до появления целых научных школ, посвятивших себя борьбе с религией.

ДАН ФРАНК

Богема

Dan Frank. Bohèmes

Calmann-Levy, 1998

Начало XX века. Париж. Правый и левый берега Сены. Монмартр и Монпарнас. Между ними — вся история современного искусства.

В книге эссе Дана Франка собрана целая галерея портретов известных деятелей культуры — Сутин, Пикассо, Кокто, Аполлинер... Автор рассказывает о жизни и взаимоотношениях художников, писателей, актеров, меценатов и торговцев живописью, чьи имена неразрывно связаны с историей искусства первой половины нашего столетия. Критики единодушно приветствуют книгу, написанную настолько живо и ярко, что у читателя создается впечатление, будто он сам встречался и разговаривал с ее персонажами.

КЛОД МАРТЕН

Андре Жид, или Призвание к счастью. Т.1. 1869 — 1911

Claude Martin. André Gide ou La vocation du bonheur. T.1. 1869 — 1911

Fayard, 1998

Вышел первый том биографии Андре Жида, написанной ярко, выразительно, захватывающе. История жизни А. Жида и история французской литературы последних 100 лет — понятия родственные, так как Жид был близко знаком с большинством крупных литераторов своего времени. Исследование Клода Мартена касается не только творчества, но и личной жизни писателя, в частности его гомосексуальных пристрастий. Автор не делает тайны из наклонностей своего героя, избравшего жизненным лозунгом совет Оскара Уайльда: «Единственное средство избавиться от искушения — уступить ему».

МАНУЭЛЬ ВАСКЕС МОНТАЛЬБАН

Либо Цезарь, либо никто

Manuel Vázquez Montalbán. O César o nada

Planeta, 1998

Этот знаменитый девиз как нельзя лучше подходит для названия произведения, призванного показать беспощадную борьбу за власть. Именно так еще в 1910 году известный испанский писатель Пио Бароха озаглавил книгу, главный герой которой решает действовать как Цезарь — но не Юлий, а член семейства Борджиа, сыгравшего заметную роль в истории Италии XV—XVI веков. Позаимствовав у предшественника лишь название, Монтальбан создал «постисторический роман», где нет исторического колорита и деталей, а персонажи говорят на современном языке, что усиливает ощущение вневременности происходящего. Ключом к пониманию логики действующих лиц служит фигура Макиавелли, ибо его советами руководствуются Цезарь и его отец, понтифик Александр VI. Действия этого «мафиозного клана» всецело подчинены безудержному стремлению к власти, так что даже сластолюбивая Лукреция, сестра Цезаря и дочь Александра, выступает в этом романе как боец не любовного, а политического фронта.

ДЖУЛИАН БАРНС

Англия, Англия

Julian Barnes. England, England

Cape, 1998

Последний роман Джулиана Барнса «Англия, Англия» был назван «самым странным романом года». В этом произведении некий магнат превращает остров Уайт в луна-парк английской

истории, где любители традиционного взгляда на события прошлого могут полюбоваться макетами парламента, Стонхенджа и могилы принцессы Дианы, искусственным лондонским туманом и прочими известными достопримечательностями. Главная трагедия Англии, по мнению героев Барнса, в том, что англичане утратили способность воспринимать действительность всерьез, они уже давно научились играть самих себя. Роман — откровенная сатира на все существующие мифы о старой доброй Англии с ее незыблемыми традициями и вечными ценностями.

ВИКТОРИЯ ГЛЕНДИННИНГ

Джонатан Свифт

Victoria Glendinning. Jonathan Swift

Hutchinson, 1998

Эта написанная по всем канонам жанра биография Свифта претендует на объективность и свежий взгляд. Однако критики встретили ее без восторга. Они упрекают Викторию Глендиннинг в том, что она уделяет слишком много внимания ирландским корням Свифта и мало интересуется его творчеством, что она слишком увлеклась политическими интригами того времени, хотя, по мнению самой Глендиннинг, Свифт, эксцентрик и оригинал, не мог принадлежать ни к одной конкретной политической группировке. Автор настолько очарован своим персонажем, что даже не пытается разобраться в его психологии, и хотя читатель получает в итоге представление обо всем, что сделал Свифт, мотивы поступков писателя остаются необъясненными.

ИЭН МАКЬЮЭН

Амстердам

Ian McEwan. Amsterdam

Cape, 1998

За роман «Амстердам» Иэн Макьюэн получил в 1998 году Букеровскую премию. Критики называют его «самым веселым, озорным и приятным» романом наших дней. Несмотря на небольшой объем книги, всего 176 страниц, блестящее писательское мастерство Макьюэна проявилось здесь в полной мере. Как обычно, автор ставит своих героев в сложные ситуации, можно сказать, расставляет для них ловушки, но по сравнению с предыдущими книгами проблемы в «Амстердаме» выглядят более острыми, а наказания за ошибки, уготованные героям, более жестокими. На похоронах легкомысленной красотки Молли Лейн встречаются три ее бывших любовника: композитор Клайв Лайнли, редактор газеты Вернон Хэлидей и министр иностранных дел Гармони — претендент на кресло премьер-министра. После похорон все трое заключают между собой своеобразный пакт, который будет иметь для них совершенно непредсказуемые последствия. Почему же роман называется «Амстердам»? То, что случится с героями в этом городе, — главный из многочисленных сюрпризов, подготовленных Макьюэном читателю.

УИЛЬЯМ ГАСС

Картезианская соната и другие новеллы

William H. Gass. Cartesian Sonata and Other Novellas

Knopf, 1998

Уильям Гасс, автор четырех романов и пяти сборников эссе, неоднократно удостаивавшийся крупных литературных премий, вновь заслужил самые восторженные похвалы критики. «Картезианская соната» состоит из четырех взаимосвязанных новелл, написанных в течение последних тридцати лет. Первая новелла, давшая название книге, рассказывает о ясновидящей по имени Элла Бенд и ее занудном муже, вторая — «Постель и завтрак» — о торговце, который отказывается выезжать из отеля, потому что влюблен в висящий в номере портрет «Смеющегося философа», третья новелла — «Эмма входит в стихи Элизабет Бишоп» — о дочери простого фермера, нашедшей неожиданное утешение в стихах, а последняя — «Маэстро тайного отмщения» — о мальчике, видевшем в людях одно лишь зло и решившем стать орудием возмездия. Книга «Картезианская соната» — глубокое и неординарное исследование вечных тем добра и зла, идеального и реального, написанное присущим Уильяму Гассу блестящим стилем.

■

■ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЮБИЛЕЙ ОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В витринах английских и американских книжных магазинов появилась новая книга: «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Роскошное издание, украшенное красной лентой на переплете, выпущено специально к 150-летнему юбилею бессмертного творения основоположников научного коммунизма. На Пятой авеню в Нью-Йорке книгу держат в руках манекены, стоящие в зазывающих позах и облаченные в вечерние туалеты.

Чем же интересен «Манифест» сегодня ? В мире осталось не так уж много страстных последователей и противников теории Маркса, которые могли бы устраивать бурные дискуссии по поводу справедливости тех или иных положений книги. Эрик Хобсбаум, написавший предисловие к юбилейному изданию, предлагает рассматривать «Манифест» как исключительно литературное произведение.

Прежде всего обращает на себя внимание язык Маркса. Простые, понятные фразы, которые так и просятся стать афоризмами. Чего стоит хотя бы бессмертное «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей»! При всей немецкой основательности Маркса ему был не чужд и довольно смелый юмор. Иронизируя по поводу страха буржуазии перед коммунизмом, он замечает, что капиталистам нечего бояться, ведь они уже претворили в жизнь идею обобществления жен! Внимательный читатель заметит виртуозное использование стилистических приемов. К примеру, термин «капитализм» обязательно соседствует с негативными словами («лишения», «угнетение» и т.п.).

Любопытна позиция, которую занимает в книге сам Маркс, — позиция беспристрастного наблюдателя, стороннего выразителя благородной идеи. Коммунистов автор почему-то называет не «мы», а «они»: «Их интересы неразрывно связаны с интересами пролетариата в целом и неотделимы от них».

Итак, спустя 150 лет после написания «Манифест» воспринимается уже не как идеологическое оружие, а как памятник литературы. Может быть, придет время, когда и другие книги, считавшиеся политическими документами — «Государство и революция», «Майн кампф», «Программа КПСС», — будут оцениваться только по их литературным достоинствам.

АЙРИС МЕРДОК БОЛЬНА

В английском издательстве «Дакуорт» вышла книга «Айрис: воспоминания об Айрис Мердок», написанная ее мужем Джоном Бейли. Книга дает читателям возможность заглянуть в святая святых — дом и частную жизнь известной и любимой многими писательницы. Описывая свой брак с Мердок, Джон Бейли воссоздает историю мужчины и женщины, которые не просто полюбили друг друга, не просто стремились лучше узнать друг друга: они уважали независимость партнера и всячески старались способствовать ее расцвету. Бейли впервые увидел Айрис, когда она ехала куда-то на велосипеде под моросящим дождем. Как вспоминает автор, он сразу почувствовал, что перед ним — Дама. Не женщина, не девушка, а именно дама, не имеющая прошлого и с неизвестным настоящим. Айрис показалась ему похожей на спящую красавицу — она ехала куда-то в неизвестность, словно ожидая своего принца. Брак Мердок и Бейли можно было назвать идеальным. Но подобные отношения неизбежно приводят к тому, что, когда с одним из супругов случается несчастье и он теряет разум и все те качества, которые когда-то сблизили двух людей, второй замечает это последним. Бейли не сразу понял, что его жена поражена страшным недугом — болезнью Альцгеймера. Все началось с ерунды — работая над очередным романом, она пожаловалась, что не может больше придумывать сюжет. «Я отупела», — сказала Мердок. В истории так и не появился главный герой. Но в отношениях супругов ничего не изменилось. Бейли по-прежнему видел перед собой скромную, добрую, нежную, полную юмора женщину, какой она была до болезни. Он пишет о «призрачном сходстве» между теперешней амнезией Мердок и ее былым спокойным безразличием к прошлому.

Айрис Мердок и Джон Бейли в Сорренто в 1992 году

Книга не вызывает ощущения трагедии. Джон Бейли принял свою судьбу спокойно

и так же спокойно рассказывает о ней. Возлюбленная по-прежнему с ним — она лежит целыми днями на старинной кровати и смотрит детские мультфильмы. И когда он говорит ей: «Вот опять твои кролики», она понимает, что он имеет в виду. Рядом с ним она чувствует себя в безопасности, и он может посвятить себя работе.

■ КАНАДА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ СТАНОВИТСЯ СЕНСАЦИЕЙ

Одним из главных литературных событий последнего года в Канаде стал первый роман молодой писательницы Шани Муту «Цереус цветет ночью», отмеченный номинациями на все основные литературные премии страны.

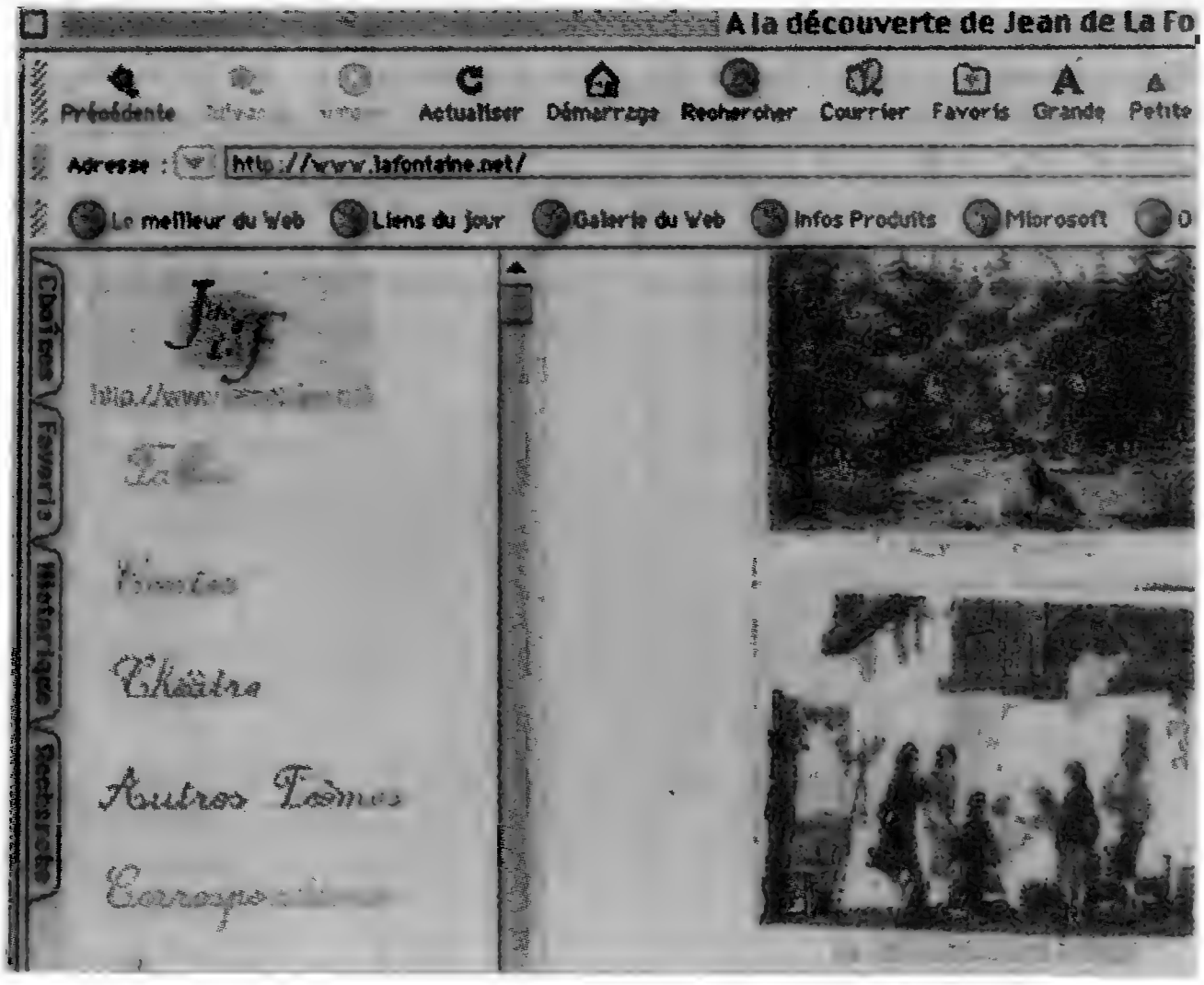
Не каждый молодой писатель отважится поместить действие своего первого романа в Рай. Однако события в книге Шани Муту происходят именно в Раю. Это громкое имя носит маленький городок на карибском островке. Впрочем, дело не только в названии. В романе удачно сочетаются все необходимые компоненты литературного успеха, те же, что предопределили триумф канадца М. Ондаатжи, индийской писательницы Арундхати Рой, датчанина Петера Хёга. Сочетание экзотического места действия, лихо закрученного сюжета, высокой мелодрамы в респектабельном соусе «политической корректности». В центре романа — цветок цереуса, распускающийся всего на одну ночь и обладающий странным двойственным ароматом «сладкой ванили и свернувшейся крови». Эта двойственность присуща и персонажам. Главные герои — молодой гомосексуалист, работающий санитаром в богадельне, его подопечная, полусумасшедшая старуха, подражающая голосам птиц, и опекающий ее юноша, оказывающийся в конце концов переодетой девушкой.

Сюжет романа может показаться надуманным, однако критики единодушно отмечают трогательную красоту образов и поэтичность стиля Шани Муту, описавшей потерянный Рай, где красота соседствует с жестокостью и разочарованием.

■ ФРАНЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА В ИНТЕРНЕТЕ

Может быть, скоро мы станем свидетелями того, как реализуется идея «Вавилонской библиотеки», о которой мечтал Борхес. Во всяком случае, только что был сделан первый важный шаг на пути создания подобной библиотеки. Теперь каждый пользователь Интернета может ознакомиться с полным собранием сочинений Лафонтена по адресу www.lafontaine.net. На сайте можно найти все, связанное с творчеством великого баснописца: его биографию, знаменитые гравюры Гюстава Доре, даже интерактивную игру по мотивам басен! И все это бесплатно. Подобный современный подход может способствовать возрождению интереса к литературе. Остается только надеяться, что этот литературный сайт, получивший премию Гражданского общества мультимедийных авторов, станет началом новой и разнообразной коллекции.



Компьютерная страница из Полного собрания сочинений Жана де Лафонтена.

САМЫЕ СТРОГИЕ СУДЬИ

Книга Франсуазы Саган «Оглядываясь назад», где писательница рассуждает о своем творчестве, заново пробудила интерес к старой проблеме: как сами писатели относятся к произведениям, вышедшим из-под их пера. Журнал «Лир» собрал сведения об оценках такого рода. Сэр Артур Конан Дойл ненавидел своего самого знаменитого героя. «Если я не убью Холмса, — говорил писатель, — он прикончит меня...» Лучшими творениями Конан Дойл считал свои романы о наполеоновских походах и похождениях бравых кавалеристов. Жорж Сименон вслед за своим английским коллегой более чем пренебрежительно относился к созданному им образу великого комиссара Мегрэ. Все повести о его расследованиях он называл развлекательным чтивом, а вершиной своего творчества считал «Маленького святого» — слащавую историю об уличном мальчишке, ставшем известным художником. Вольтер был убежден, что является драматургом и поэтом, а вовсе не романистом и сатириком. Жюль Верн заявлял, что «романом его жизни» стал «Таинственный остров», в котором он собрал на склонах уснувшего вулкана пятерых робинзонов, капитана Немо и каторжника Айртона: «Я убежден, что в этой книге вымысла больше, чем во всех остальных, и то, что я называю «крещендо», нарастает в нем с геометрической прогрессией». Франсуа Мориак искренне уверял, что «Тереза Дескейру» в подметки не годится его «Записным книжкам». Ницше, подробно разбиравший свое творчество в «Ecce Homo», называл себя автором единственной книги — «Так гово-

рил Заратустра». Сегодня большинство почитателей философа считают это произведение его единственной неудачной книгой и типичным примером поэтического кича. Владимир Набоков, в полном соответствии со вкусами широкой публики, открыто признавал своим шедевром «Лолиту» — книгу, принесшую ему всемирную, хоть и скандальную славу.

Как не вспомнить сцену, описанную в «Трех Дюма» Андре Моруа: Дюма-сын приходит к отцу незадолго до его смерти и застает его за чтением «Трех мушкетеров». На вопрос сына о том, нравится ли ему книга, Дюма сдержанно отвечает: «Это неплохо». Но потом, перечитав «Графа Монте-Кристо», он делает решительный вывод: «По сравнению с «Мушкетерами» эта книга ничего не стоит!»

ПИСАТЕЛИ И ОТДЫХ

Журнал «Лир» опубликовал подборку, озаглавленную «Как писатели представляют себе идеальный отпуск». Вот как хотели бы отдохнуть некоторые известные литераторы.

Джулиан Барнс: «Я мечтаю о таком отдыхе: 1. Рождество в Венеции. 2. Недельная поездка по неизвестной мне дороге. 3. Остаться дома, притворившись, будто я уехал: отключить телефон, факс, не получать ни писем, ни газет».

Оливье Тодд: «Шотландская ферма XVIII века, где поместились бы все мои дети, внуки и прочие... На острове посреди Тихого океана. С настоящей шотландской прислугой, но необязательно в юбках-килтах. Можно в юбках-парео».

Хорхе Семпрун: «Отпусков не существует, бывают только бесконечные побеги и исчезновения, чтобы получить возможность писать... Для меня главное — уехать из Парижа, найти место для спокойной работы, это может быть Нью-Йорк, Вена или Лондон...»

Бернар Клавель: «Я пишу уже полвека и за это время не отдыхал ни одного дня. С чего бы я вдруг отправился в отпуск? Но если вдруг мне захочется сделать передышку, это произойдет не в сезон отпусков, и я ни за что не хотел бы оказаться среди отдыхающих! Честно говоря, ничто не раздражает меня больше, чем толпа бездельников в шортах».

По материалам журналов «Лондон ревью оф букс» (Великобритания), «Лир» (Франция), еженедельника «Гардиан уикли» (Великобритания)

РОМАНЫ, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров журнала «Ю-Эс-Эй тудей» (США) от 18 января 1999 г.

1. **John Grisham.** THE STREET JOURNAL.
2. **Tom Brokaw.** THE GREATEST GENERATION.
3. **Robert C.Atkins.** DR. ATKINS' NEW DIET REVOLUTION.
4. **Billie Letts.** WHERE THE HEART IS.
5. **Nicholas Sparks.** MESSAGE IN A BOTTLE.
6. **Tom Clancy, Steve Pieczenik.** TOM CLANCY'S NET FORCE.
7. **Mitch Albom.** TUESDAYS WITH MORRIE.
8. **Nora Roberts.** INNER HARBOR.
9. **Jonathan Harr.** A CIVIL ACTION.
10. **V.C.Andrews.** OLIVIA.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

УМБЕРТО ЭКО (UMBERTO ECO; род. в 1932 г.) — итальянский ученый и писатель, профессор. Автор книг «Эстетическая проблематика у Фомы Аквинского» («Il problema estetico in Tommaso d'Aquino», 1956), «Открытое произведение» («Opera aperta», 1962), «Поэтика Джойса» («Le poetiche di Joyce», 1966), «Трактат по общей семиотике» («Trattato di semiotica generale», 1975), «Lector in fabula» (1979), романов «Имя розы» («Il nome della rosa», 1980; литературная премия «Стрега» (1981) и французская премия «Медичи» (1982); рус. перев. в «ИЛ», 1988, № 8—10), «Маятник Фуко» («Il pendolo di Foucault», 1988; рус. перев. в «ИЛ», 1995, № 7—9) и др.
Роман «Остров Накануне» издан в Италии в 1994 году («L'isola del Giorno prima». Milano, Bompiani). В «ИЛ» публикуется журнальный вариант романа.

АННА КАМЕНЬСКАЯ (ANNA KAMIEŃSKA, 1920—1986) — польская поэтесса. Ее первая книга стихов «Воспитание» («Wychowanie») вышла в 1949 году. Автор многих сборников стихов, нескольких книг прозы, книг для детей, статей и эссе о литературе и о религии. Лауреат нескольких переводческих премий. По-русски стихи Каменьской публиковались в журнале «Дружба народов» (1968, № 9), в сборнике «Современная польская поэзия» (1971), в альманахе «Поэзия» (1974, вып. 13), в журнале «Истина и жизнь» (1996, № 4).
Публикуемые стихи взяты из книг: «В глазу птицы» («W oku ptaka», Warszawa, PIW, 1960), «Второе счастье Иова» («Drugie szczęście Hioba», Warszawa, PIW, 1974), «Стихи одной ночи» («Wiersze jednej nocy», Warszawa, LSW, 1981), «Две тьмы» и «Последние стихотворения» («Dwie ciemności», «Wiersze ostatnie». Poznań, «W drodze», 1989).

СОЛ БЕЛЛОУ (SAUL BELLOW; род. в 1915 г.) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1976). Автор романов «Между небом и землей» («Dangling Man», 1944; рус. перев. в «ИЛ», 1998, № 4), «Приключения Оги Марча» («The Adventures of Augie March», 1953; Национальная книжная премия), «Герцог» («Herzog», 1964; Национальная книжная премия, рус. перев. в «ИЛ», 1990, № 11, 12), «Планета мистера Саммлера» («Mr. Sammler's Planet», 1969; Национальная книжная премия), «Дар Гумбольдта» («Humboldt's Gift», 1975; Пулицеровская премия), «Декабрь декана» («The Dean's December», 1982); повестей «Лови момент» («Seize the Day», 1956; рус. перев. 1990), «Кража» («Theft», 1988). Повести «Родственники» («Cousins», 1984) и «В связи с Белларозой» («The Bellarosa Connection», 1989) напечатаны в Библиотеке «ИЛ» (1991). В «ИЛ» (1997, № 5) напечатаны также рассказы из сборника «Воспоминания Мосби и другие рассказы» («Mosby's Memoirs and Other Stories», 1969).
Рассказ «На память обо мне» взят из одноименного сборника, изданного в США в 1991 году («Something to Remember Me By». New York, Viking Penguin).

МОКРОУСОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1965 г.) — литературный критик, автор статей по изобразительному искусству. В 1991—1996 гг. вел раздел «Книжный шкаф» в журнале «Огонек». Печатался в журналах «Современная драматургия», «Знамя», «Московский наблюдатель». В «ИЛ» были опубликованы статьи «Бестселлер: русский акцент» (1994, № 7), «Траектория шляпы» (1997, № 2), «Шепоты и крики» (1997, № 6), «Слишком красивая полячка, или История одной неудачи» (1997, № 7), «Кругом одни попутчики» (1997, № 8), «Город как идеальная машина» (1998, № 1), «После конца света» (1998, № 7).

■Переводчики:

КОСТЮКОВИЧ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА — литературовед, переводчик. В ее переводе публиковались стихи итальянских, испанских, французских поэтов. В «ИЛ» напечатаны переводы романов «Имя розы» (1988, № 8—10) и «Маятник Фуко» (1995, № 7—9) Умберто Эко и его «Внутренних рецензий» (1997, № 5) и др.

АСТАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА — поэт и переводчик польской поэзии. Автор семи книг стихов. В «ИЛ» публиковались ее переводы из поэзии К. Иллакович, М. Павликовской, Я. Ивашкевича, А. Свирщиньской, Я. Б. Ожуга, Ю. Хартвиг, В. Шимборской, Т. Новака, Е. Харасымовича, Х. Посвятовской, Е. Липской, Ю. Корнхаузера, А. Вата и др. Лауреат польских переводческих премий ЗАиКС (1979) и ПЕН-клуба (1993), премий «ИЛ» (1986, 1989).

БЕСПАЛОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА — персводчик с английского и французского языков. В ее переводе издавались романы «Пригоршня праха» И. Во, «Сладкий Боб» Б. Бейнбридж, «И сошлись старики» Э. Дж. Гейнса (совместно с Е. Коротковой, «ИЛ», 1987, № 8), повесть «Падающая башня» Энн Портер («ИЛ», 1990, № 3); рассказы У. Фолкнера, В. Вулф, Ю. Уэлти, Б. Маламуда, А. С. Байетт («ИЛ», 1992, № 7), Сола Беллоу («ИЛ», 1997, № 5); пьесы «Счастливые дни» С. Беккета, «Запад, как он есть» С. Шепарда. В Библиотеке «ИЛ» напечатаны повести «Скотный Двор» Дж. Оруэлла (1989), «Родственники» и «В связи с Белларозой» С. Беллоу (1991).

Памяти АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

На фотографии у меня в кабинете мы стоим рядом — двое из семи инициаторов так и не состоявшегося творческого объединения, которое собиралось переводить и издавать настоящую современную поэзию, не ту, которая по большей части заполняла тогдашние антологии. Снято десять лет назад: апогей перестройки, вкус обретенной свободы, планы, выглядевшие такими реальными... Первым из тех, кто на этом снимке, ушел Морис Ваксмахер. Теперь не стало и Андрея.

Он погиб в морозный ноябрьский вечер на Сухаревке, сбитый машиной. Об этом страшно и больно думать — возмущает нелепость, но никуда не деться от чувства, что в сегодняшней дикой нашей жизни несчастье все больше воспринимается как неотвратимость. Причем такая, что всегда настигает самых лучших и достойных.

Мы знали друг друга больше тридцати лет, были коллегами в тесном значении понятия — оба много работали над американской поэзией, — находили что-то общее и помимо профессиональных интересов. Как переводчик, открывший русскому читателю Робинсона, Фроста, Элиота, Гинзберга и скольких еще, Андрей был не только мастером в самом точном и полном смысле слова, он был самоочевидным и бесспорным лидером в своей области, истинным мэтром, пусть это слово так не вяжется со всем его обликом.

Переводить американскую поэзию, которую его друг Иосиф Бродский называл вергилиевской, или созерцательной, по своему определяющему качеству, — дело крайне сложное для русского поэта, воспитанного в совсем иной традиции. Андрей был именно поэтом, в свое время замеченным Заболоцким и, насколько могу судить, по своим вкусам довольно далеким от этого вергилианства, уж не говоря о верлибре (который он недолюбливал, оттого и предпочитая переводить поэтов, оставшихся, как Фрост и Элиот, непоколебимыми приверженцами правильной метрики). Но ошибутся те, кто решит, что поэтический перевод для него был просто прибежищем, вынужденным компромиссом, поскольку в советское время он не имел надежды напечататься как оригинальный поэт. Конечно, невозможность публиковаться была для него печалью, но все, что он делал как переводчик, отмечено ничуть не меньшей требовательностью к себе, и вкус его в переводе столь же выверен, и творческой энергии затрачено тут, должно быть, не меньше. Не знаю, как думал он сам, но мне кажется, что в переводе он выразил себя органично: его Робинсона, его Мастерса будут читать годы и годы. Как и его увенчанный Букеровской премией «Альбом для марок», книгу и мемуарную, и аналитичную, и позволяющую ощутить особый звук и тон целой эпохи.

О его прозе, сочинявшейся «в стол», я узнал довольно поздно: Андрею менее всего было свойственно откровенничать, провоцируя сочувствие. Он в нем не нуждался, поскольку никаких иллюзий относительно доставшегося ему времени не строил, но знал, что оправдываться скверным временем по меньшей мере глупо, — нужно делать то, к чему призван. Это слово, конечно, он тоже счел бы невыносимо громким. Что поделать, думая о нем, я не могу подобрать другого.

Его последняя прижизненная публикация была в «Иностранной литературе» (с которой он успешно сотрудничал без малого сорок лет) за месяц до гибели, в октябрьском номере прошлого года. Когда-нибудь, верю, мы соберем все, что он здесь напечатал, и этот том будет ему лучшим памятником.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

Из «ПСАЛМОВ ДАВИДА»
в переложении Андрея Сергеева

ПСАЛОМ 90

Надеющийся на Вышнего
под кровом Бога небесного,
он говорит Господу:
— Заступник мой и прибежище,
на Тебя уповаю, Боже мой.
Спаси меня от сети ловца,
от морового поветрия,
мышцей Своей защити меня,
возьми под крыло Свое;
оградой моей и оружием
да будет Твоя истина. —
Господь говорит живущему:
— Не бойся полночного ужаса,
стрелы, летящей при свете,
язвы, во тьме крадущейся,
безумья, разящего в полдень.
Падет пред тобою тысяча
и десять тысяч подле тебя,
очами своими увидишь ты,
как воздается грешникам.

Ты уповал на Вышнего,
и зло к тебе не приблизится,
и скорбь — к твоему жилищу.
Ангелам заповедано
хранить тебя на путях твоих —
на руках своих понесут тебя,
чтоб не споткнулся о камень;
наступишь ногой на аспида,
попирать будешь льва и змея.

Ты уповал на Меня —
Я избавлю тебя и укрою,
ибо знаешь имя Мое;
воззовешь ко Мне, и услышу,
с тобою в горе, спасу тебя,
доброй славой прославлю тебя,
долготою дней насыщу тебя,
тебе — спасенье Мое.

© А. Сергеев. Переложение, 1995

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

«линия-арт»

представляет ЭКСПОЗИЦИИ

с 10 февраля по 5 марта 1999 г.

ЖИВОПИСЬ

Михаил Рудаков
Игорь Кислицын
Валерий Сахатов
Людмила Попенко
Андрей Абрамов

СКУЛЬПТУРА

Олег Слепов
Андрей Ковальчук
Евгений Верещагин
Владимир Тишин

КОЛЛАЖ

Лариса Ломакина

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №2, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394